М. ДОБУЖИНСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ТОМ I

М. В. Добужинский
ВОСПОМИНАНИЯ

М. В. ДОБУЖИНСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ

ТОМ

I

НЬЮ ЙОРК . 1976

Концовки взяты из следующих книг иллюстрированных М.В. Добужинским: "Евгений Онегин" (гл. 5, 18 и статья VI*), "Белые Ночи" (гл. 2 и 12),* "Слово о Полку Игореве" *(гл. 1, 3, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 22, 24, 25 и статьи* I, II, III, *и* VII*) "Песня о Гедимине" (статья* V*), а также из альбомов художника (гл. 17, 20, 23, 27, 28 и 29).*

Художественное оформление книги, обложка и заглавные буквы Всеволода Добужинского.

Put' Zhizni, St. Seraphim Foundation Inc.
322 W. 108 St.
New York, N.Y. 10025. U.S.A.
Library of Congress Catalog Card No.

МСТИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ ДОБУЖИНСКИЙ

Портрет работы К. А. Сомова. 1910

ВВЕДЕНИЕ.

Разносторонность М.В. Добужинского исключительна. Мастер острого, выразительного рисунка, умеющий скупыми средствами передать самое характерное в природе и архитектуре, он является в то же время чудесным иллюстратором, дополняющим текст и образно воссоздающим атмосферу описываемых событий. Большую часть своей жизни он отдал театру, особенно за последние годы пребывания за границей. Многие его ученики, ставшие известными художниками помнят Добужинского, как взыскательного и чуткого педагога. А если еще добавить, что он автор многих статей и публикуемых здесь "Воспоминаний", то невольно поразишься многогранности его творческого дара.

Мстислав Валерианович Добужинский (1875 — 1957) был одним из деятельных художников группы "Мир Искусства", связанный долголетней дружбой с С. Дягилевым, Александром Бенуа, К. Сомовым, Е. Лансере, А. Остроумовой-Лебедевой, И. Билибиным, Игорем Грабарем и рядом других художников.

Значение М.В. Добужинского, как художника, оставившего крупный след в русском искусстве, и оценка всей его художественной деятельности, не входит здесь в мою задачу. Он не первый из русских художников, кто рассказывает о своей жизни. Известны воспоминания Репина, Нестерова, Остроумовой-Лебедевой, Игоря Грабаря, Петрова-Водкина, Александра Бенуа и некотрых других.

Записывать события своей жизни М.В. начал давно, но обрабатывать и приводить написанное в слитное целое стал только в последние годы, отчасти под влиянием просьб редакторов "Нового Журнала" (Нью Йорк), в котором были опубликованы отдельные главы его воспоминаний, а также в связи с предложением Чеховского Издательства в Нью Йорке издать полностью его воспоминания. Но

дело с Чеховским Издательством расстроилось, Издательство прекратило свою деятельность, а в 1957 году скончался сам М.В. Добужинский.

Рукописи "Воспоминаний" пролежали почти 20 лет без движения. Благодаря поддержке лиц, чтущих память о М. В. Добужинском, представилась теперь возможность опубликовать его записи, дополнив их несколькими статьями.

В "Воспоминаниях" М. В. Добужинского затронуты не одни только вопросы искусства, но перед взором читателя встанут картины русской жизни Петербурга, Новгорода и Тамбовской губернии конца прошлого века, учение в гимназии и в Университете, поездки на Кавказ, в Кишинев, Одессу и в Вильну, а также за-границу. С любовью описан отец и все родные, друзья детства, писатели, поэты и художники, артисты Московского Художественного Театра и многие знакомые.

В "Новом Журнале" №53, за 1958 г. опубликованы письма М.В. Добужинского к Сергею Бертенсону, по которым можно проследить, как М.В. был занят своими мемуарами и как он относился вообще к своим записям.

..."у меня написана вчерне, — сообщает М.В. в 1940 году, — хотя местами очень подробно, вся моя жизнь и окружающее до 1917 г., Я пишу всё время урывками и всё поправляю и дополняю, пишу исключительно руководствуясь памятью, которая неожиданно порой открывает совершенно забытые вещи, даже удивительно. То, что со мной нет моих писем, ограждает меня от таких подробностей, в которых я бы запутался, но конечно, есть пробелы. Поистине, когда вызываешь в памяти всю картину прошлого и нашу петербургскую жизнь, могу сказать — как мы были неисчислимо богаты!

Я пишу без всякой цели, для себя, и потому совершенно не стесняюсь писать откровенно о том, что "не предназначается для печати". Я боюсь и литературщины и стараюсь излагать всё возможно проще, без всяких "красот".

В течении трёх недель 1945 года М.В. живет в деревне у А.Л. Толстой и работает там над воспоминаниями: "Этот раз, — сообщает он, — я собрал всё, что вспомнилось о писателях и поэтах, ... но это трудно и "ответственно", т.к. приходится делать "портреты" не только внешние, но и внутренние, и я хочу избежать, конечно, шаблонной биографичности, "критических очерков" и, вообше", хрестоматии!"

К осени 1956 года относится запись: "Чеховское Издательство своим бесславным концом меня очень подвело, но моего желания

продолжать писать не подкосило, и прошлую зиму в Лондоне я много написал нового ("в прок")..."

Письмо от декабря 1956 года показывает, как серьёзно относился М.В. к своим записям: ..."Я в отвратительном настроении от всего происходящего на свете. Я только занят своими воспоминаниями, очень много написал за это время, собственно отделывал. Сокращаю, дополняю и вообще готовлю *книгу*. Только бы кончить! Но я пишу, т.к. считаю, что это мой *долг* помимо удовольствия, которое дает это погружение в прошлое... И какими ясными встают его картины! Сейчас я занят самым нужным делом: "чиню" архитектуру моих воспоминаний, убираю то, что выпирает из общего плана, и заполняю пустоты, и лазить приходится по всем зтажам. Я думаю, что переписал от руки всё раза четыре, а некотрые места и больше..."

За нескольно месяцев до смерти М.В. пишет из Лондона: "Я сейчас занят опять воспоминаниями о Московском Художественном Театре, всё уже написано, но я проверяю".

Приведенные выдержки из писем М.В. свидетельствуют о том, что до самого конца своей жизни он усиленно работал над воспоминаниями, мечтая увидеть целую *книгу,* но так эту книгу ему увидеть и не пришлось.

Некоторые статьи опубликованные в своё время автором и вошедшие в "Приложение" в конце этого тома, являються несколько сокращенными главами второго тома "Воспоминаний" подготовка которого к печати потребует ещё продолжительного времени. То, что публикуется сейчас, представляет безусловный интерес и сможет служить в будущих изысканиях правдивым источником знаний о русской жизни конца 19-го века и начала 20-го, и о русском искусстве того же времени.

Настоящее издание подготовлено к печати при содействии Р.М. Добужинского и Вс. М. Добужинского под общей редакцией Е.Е. Климова.

Всем, способствовавшим появлению *книги,* о которой мечтал М.В. Добужинский, издательство "Путь Жизни" выражает глубокую благодарность.

Е.К.

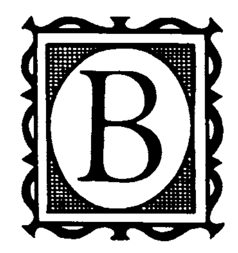
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

•

ДЕТСТВО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МАТЬ. ЖИЗНЬ С ОТЦОМ В ПЕТЕРБУРГЕ


СЁ МОЁ детство, с 3-х летнего возраста, я прожил в Петербурге с моим отцом. Я жил без моей мамы — у неё была своя жизнь далеко от нас, но отец старался, чтобы я не забывал мою мать, отсутствие же её в моей жизни объяснял мне тем, что из за своего здоровья она не могла жить в "гнилом" петербургском климате — что было правдой — и я знал, что она должна была служить в театре, в провинции, далеко от нас, и я никаких вопросов не задавал. Изредка от неё я получал коротенькие письма и благословения. Отец мне дарил книжки с надписью "от мамы".

До того, как окончательно остаться с моим отцом, я дважды был у моей матери, но не подолгу: отец возил меня двухлетнего к ней в Нижний Новгород, а через год я был у неё в Казани со своей няней. Няня, Мария Осиповна Белякова, была со мной неразлучна с первых месяцев моей жизни (она же и вскормила меня) — была на редкость ласковая и добрая, простая крестьянка, от которой я никогда не слышал резкого слова, и которую я всю жизнь любил, как родную.

Образ моей мамы оставался у меня туманным и воспоминания о ней, и о Нижнем и Казани, если и всплывали, то как о далёком сне.

В Нижнем Новгороде мать служила в опере Медведева и пела под фамилией Борецкой.* Она окончила петербургскую консерваторию по

* Это имя придумал ей мой отец из симпатии к Марфе Борецкой, новгородской посаднице — борцу за вольности Новгорода, и моей матери, которая сама была "дочерью" Новгорода, это славное имя было к лицу.

классу знаменитой в то время Ниссен-Саломон, и контральто её, по всем отзывам, было чудесным. В Нижнем она пела Ратмира в "Руслане", Ваню в "Жизни за Царя", княгиню в "Рогнеде", княгиню в "Русалке" и Зибеля в "Фаусте" — и все её арии я знал наизусть. Меня ставили в театре на стол и я, к общему восхищению, пел "Бедный конь в поле пал", "О, витязи, скорей во чисто поле" и "Расскажите вы ей, цветы мои" и проч. (Все эти арии я помню и по-сейчас от слова до слова). В Петербурге я продолжал их напевать и эти мотивы были самыми родными, связанные с мамой.

Какие-то смутные воспоминания остались и от самого Нижнего Новгорода — зубчатых стен Кремля и волжского простора, но они таяли. В Казани же я помню утро: мы с мамой лежим в постели, я смотрю как по потолку, сквозь щели ставень, двигаются тени прохожих, она мне поёт "вот лягушка по дорожке скачет вытянувши ножки" а я ей "рублю" вальс, который слышал с папой в Зоологическом саду, и мама хохочет.

Из Казани я привез сафьяновые татарские сапожки с загнутыми носками и в разноцветных разводах и в них я щеголял дома.

В Петербург я вернулся с моей няней, и на Николаевском вокзале папа вынул меня из окна вагона и крепко прижал к себе "своего дружочка", как всегда меня называл. С тех пор мы с ним уже не разлучались все безмятежные годы моего петербургского детства до 1886 года.

Когда и где после этого мой отец и мать встречались, я не знаю, но через несколько лет я снова увидел маму — она ненадолго приезжала в Петербург, но это было лишь эпизодом в моей детской жизни. Странно: её появление тогда меня не столько взволновало, как скорее удивило — среди всех бесчисленных впечатлений детства, долго оставаясь без неё, я начинал ее забывать и с трудом узнал. Она меня растормошила, смеялась, что я такой длинный, помню взрывы её смеха, помню как, крепко держа меня в своих руках, она приглядывалась ко мне и серьёзно смотрела на меня своими горящими глазами. Я не успел за те дни к ней привыкнуть, — "целований' и "нежностей" она не терпела, говорила со мной уже как со взрослым, и сентиментальности моей не затронула.

Она исчезла вновь из моего мира, но я почувствовал, что у меня *есть моя мама* и что мама моя особенная, и неизвестная жизнь её вдали от меня представлялась какой-то страшно важной. После её отъезда у меня появилось чувство гордости за неё и я показался сам себе уже "большим".

М. В. Добужинский в 3-х летнем возрасте. С. П. Б. 1878

Позже я увиделся с матерью, когда мне было лет 13, в Киеве; по настоящему же "познакомился" с ней, когда был уже в старших классах гимназии. Лишь с того времени я мог узнать этого исключительного человека, каким была моя мать — во всем полная противоположность моему отцу... (об этом в своем месте).

Когда я остался с отцом, он всего себя отдал моему воспитанию и теперь мне ясно, что в те годы, я был для него центром и даже, может быть, смыслом его жизни, и любовь его грела всё моё детство... И сам я не могу себе представить, чтобы можно было больше любить, чем я любил моего папу. Но я как-то не умел ласкаться и нежничать, раз только прорвалась к нему вся моя любовь: я очень болел, был в жару и видел страшный кошмар — какое-то бесконечное море, до ужаса гладкое, которое вдруг всё стало дрожать и это было так ужасно, что я прижался к отцу и, плача, шептал самые нежные слова, какие только приходили в голову — "папочка", "миленький", "душечка, хорошенький"... Больше всего я боялся — вдруг будет война, он пойдет воевать и его убьют, как я буду без него? Но жили мы в самое мирное время...

Однажды отец сел на мою детскую трапецию в дверях моей комнаты и его неосторожно толкнул, ходивший к нам юнкер, наш родственник. Отец упал и сильно стукнулся затылком. Как я возненавидел в этот момент этого веселого Володю, с какой злобой я кинулся на него с кулаками, чтобы "отмстить" за папу — и, конечно, сам расплакался.

Маленьким я всегда засыпал на папиных руках и бывало, что меня, ставшего уже длинноногим, он терпеливо носил по комнате, пока я не засну. Позже, вспоминая наши счастливые петербургские годы, отец как-то, смеясь, сказал мне: "ты и не подозреваешь, что я почти никогда не оставлял тебя, пока ты не будешь в объятиях Морфея и долго себя лишал удовольствия попасть в оперу к увертюре".

Если вечером отец куда-нибудь уходил, то на мои приставания: "куда?", он обыкновенно отвечал: "к Савосову". Этот мифический "Савосов" существовал очень долго и такой ответ почему-то меня всегда успокаивал. То, что было за порогом моей детской мне было неизвестно, у отца, конечно, была своя жизнь, большая и сложная, но "Савосов" покрывал всё и я никогда ни о чем не расспрашивал, и многое в жизни отца до сих пор мне кажется неясным и даже таинственным.

Однажды в минуту откровенности, когда я был взрослым, отец сказал мне: "после моей смерти ты всё узнаешь, твою мать я боготворил всю жизнь и я тебе оставлю всю нашу переписку, тогда ты

сможешь судить сам обо всем". Но когда после его смерти я действительно получил все эти письма, я не имел духу их прочитать — мне показалось это святотатством.

Я был плаксой (" глаза на болоте") и часто отец обещал мне что-нибудь подарить, если день пройдет без слёз; я редко выдерживал, но подарок всё-таки получал... Он не наказывал меня никогда, но вообще я был послушным и "пай-мальчиком", Единственный раз, когда я чем-то обидел моего приятеля Сережу Саблина, папа, будучи, вероятно, чем-то раздражен, вдруг взял меня за ухо! Но я так расплакался, что он сам испугался и стал меня целовать и с трудом успокоил.

Отец старался меня не изнеживать, я спал на твердом сеннике, мылся холодной водой, сам чистил себе сапожки и во всякую погоду ежедневно гулял с няней, — зимой в своей шубке с кенгуровым воротником и такой же шапке с наушниками. Но меня не кутали и лишь признавались вязаные "напульсники". Одевал меня отец не так, как принято было одевать тогда мальчиков, — я не знал твёрдых воротничков, которые так мучили мое поколение. Он мне придумал однобортную синюю или коричневую курточку, обшитую у пуговиц темными ленточками, вроде боярского или польского фасона, и я носил высокие сапожки с отворотами. Было просто, хоть и несколько театрально. Летом я ходил в белой матроске с синим воротником, и носил матроскую шапочку. На ленточке, на околыше, было напечатано золотом: "Слава", или "Славушка", что меня всегда конфузило. Русских рубашек и косовороток отец терпет не мог и ему вообще претило, чтобы "всё было, как у всех", недаром его вообще считали "оригиналом", а дед мой его называл "затейником". И, конечно, брезгливость его ко всему банальному передавалась и мне незаметно и безсознательно.

Отец был очень красив; свою чёрную бороду он, вопреки тогдашнему обычаю, не пробривал на подбородке, а лишь расчёсывал на обе стороны, и говорили, что был очень похож на Скобелева, и отца даже часто принимали за него на улице. Между прочим он был некогда близко знаком со Скобелевым в Туркестане.

Мне очень нравилась его красивая военная форма штабного гвардейского адьютанта он носил серебряные аксельбанты, орлы на пуговицах и белые канты на красном воротнике и на красном околыше фуражки. И я любил тонкий звон его шпор и его длинную саблю, бренчавшую по ступенькам нашей каменной лестницы. Очень смутно помню, как он однажды надел красные длинные штаны, собираясь на придворный бал (это было еще при Александре II). Помню также, что он сердился на новую "кучерскую" форму

введенную Александром III — мундир, лишенный пуговиц, с мелкими складками назади похожий на армяк, и плоскую барашковую шапку вместо красивой каски с высоким султаном. Тогда старые серебряные ножны и эта отмененная ка́ска перешли ко мне в детскую и стали моими игрушками.

Два окна моей детской комнаты выходили на восток и редкое петербургское солнце иногда будило меня. Детская была оклеена обоями с маленькими розочками, которые я рассматривал, лёжа в постели, и находил в них глазки и личики. Проснувшись, я уже слышал, как заливаются канарейки в нашем доме.

Валяться мне не полагалось, и помывшись я быстро одевался. В дверях висели кольца, обмотанные красным сукном и трапеция. И пока няня в столовой готовила мне утренний чай с сухарями или "подковкой" — я делал маленькую гимнастику и качался, или бежал в зал к аквариуму и птицам.

Я вставал позже папы, но иногда мы пили чай вместе. Папа тогда очень спешил и всегда пил стоя. (Халатов он не признавал, дома носил расстёгнутую кожаную чёрную куртку на красной фланелевой подкладке.)

Все стены моей комнаты были сплошь увешаны маленькими картинками — гравюрами, вырезанными из разных журналов, которые выписывал мой отец — из "Живописного обозрения", "Пчелы", "Нивы" и "Über Land und Meer". Они были наклеены на картон и самим им окантованы полосками цветных и золотых бумажек. (Я всегда присутствовал при этой работе отца и помогал ему приклеивать колечки.) Было много картинок с сюжетами из русской истории и из русских сказок. Мне нравились "Царевич Гвидон" и "Царь Девица" с рисунками Брожа, художника не Бог весть какого, но грамотного. Всё это отец постепенно обновлял, а когда я стал немного постарше, над моей кроватью он повесил две географических карты — два полушария с рельефными горами. И, ложась спать или вставая, я читал надписи и, само собой, незаметно, запоминал названия, чего и хотел отец — "учить шутя". А когда мы с папой начали читать "Откуда пошла русская земля и как стала быть" (Разина и Ланина), он нарисовал и раскрасил карту древней Руси с её племенами от Чуди и Мери до Печенегов и с "путем из Варяг в Греки", и она тоже поместилась на моей стене. Папа также повесил у меня вырезанные из немецкого журнала маленькие портреты Рафаэля, Рубенса, Рембрандта и Микель-Анджело, так что с детства я знал их "в лицо".

Было много и забавных картинок, листы с "Наглядными Несо-

образностями", которые я называл "ненаглядные сообразности", "История лягушки в банке" Вильгельма Буша и "Как гуси Рим спасли" Оберлендера. Эти два листа из серии "Münchener Bilderbogen" висели на "потайной" двери чулана, оклеенной обоями.

В этом чулане приятно пахло кожей от большого узорного чемодана, привезеного с войны дядей Гогой, и от папиных сапог с голенищами; там валялись и отслужившие свою службу смешное старое "кепи", а потом и та каска отца, — но чулан этот, когда я был совсем маленький, меня немного пугал. За стеной иногда слышались глухие голоса и стуки, я не знал, кто там живет и не понимал, что такое значит какая-то "слабосильная команда", которая там почему-то обитала. Мне всё казалось, что оттуда вдруг выскочит, как в "Стёпке Растрёпке", портной с большими ножницами, злой.

Частью обстановки моей детской был нянин зеленый сундучек с выпуклой крышкой, обитой крест-на-крест жестяными полосками, и привезенный ею из Казани. Он стоял между окнами и няня, что-нибудь штопая, всегда сидела на нем. Внутри, и крышка и бока, сплошь были заклеены разными картинками, которыми я любовался с самых первых лет. Больше всего я любил модные картинки (они были 1870-х годов), декольтированных дам с розами в шиньонах и с длинными шлейфами — всё это были необыкновенные красавицы.

Детская была полна игрушек, которые понемногу отживали свой век и заменялись другими. У меня были кустарные куклы Троицкой лавры и оловяные солдатики, и заводные игрушки. Дольше всех прожил с нехитрой пружинкой господин с румянцем и усиками в клетчатых панталонах и в прическе "а ля капуль", снимавший со своей круглой головки цилиндр и отвешивавший низкий поклон. Самая старая игрушка, может быть еще от мамы, была "мамка Аккулина" и совсем облупившаяся прожила дольше всех. Сохранилась только голова в кокошнике и уже без носа, которую в будущем я берег, как реликвию среди моих коллекций. Была и серая в яблоках лошадка-качалка с мочальным хвостом, были возжи с бубенчиками, в которые я запрягал няню, были разные лото с картинками и, конечно, серые и разноцветные резиновые мячики, как у всех детей. И все эти игрушки имели очаровательный запах или лаковой краски, или папье-маше, или свой особенный непонятный.

На Вербе, Пасхе и Рождестве был новый приток игрушек. На Вербе покупали лохматого "буку", с выпученными глазами, выскакивавшего из коробки, или извивающегося деревянного плоского змея; с Вербы я всегда приносил домой тугой лилово-красный воздушный шар, который аппетитно трещал под рукой; эти шары

страшно лопались, попав на лампу. В тепле шар скоро скисал и я напрасно "лечил" его, вывешивая за форточку этот сморщенный мешочек с лиловой дудочкой.

"Ёлка" была самым большим моим праздником и я терпеливо ждал, пока папа, няня и живший у нас дядя Гога, закрыв двери в кабинет, наряжали ёлку. Многие ёлочные украшения мы с папой заранее готовили сами: золотили и серебрили "грецкие" орехи (тоненькое листовое золото постоянно липло к пальцам), резали из цветной бумаги корзиночки для конфет и клеили разноцветные бумажные цепи, которыми обматывалась ёлка. На её ветках вешались золотые хлопушки с кружевными бумажными манжетами и с сюрпризом внутри. С двух концов её тянули, она с треском лопалась и в ней оказывалась шляпа, или колпак из цветной папиросной бумаги. Некоторые бонбоньерки и украшения сохранялись на следующий год,а одна золотая лошадка и сребряный козлик дожили до ёлки моих собственных детей. Румяные яблочки, мятные и вяземские пряники, подвешенные на нитках, а в бонбоньерках шоколадные пуговки, обсыпанные розовыми и белыми сахарными крупинками, — до чего всё это было вкусно именно на Рождественской Ёлке! Сама ёлка у нас всегда была высотой до потолка и надолго наполняла квартиру хвойным запахом. Парафиновые разноцветные свечи на ёлке зажигались одна вслед за другой огоньком, бегущим по пороховой нитке, и как это было восхитительно!

Как себя помню, я помню вид из окон моей детской. Перед окнами были запасные пути соседнего Финляндского вокзала с красными товарными вагонами и длинными железнодорожными складами, а на горизонте виднелся тонкий силуэт Смольного и серебрилась полоска Невы. Вдали высились заводские трубы, и ранним утром я любил прислушиваться к протяжным и печальным фабричным гудкам. Мне интересно было глядеть, как медленно двигаются по рельсам вагоны, сталкиваясь буферами, и забавлял меня маневрирующий паровоз с тогдашней смешной трубой в виде толстой воронки. Всё это были самые ранние мои впечатления.

Из моих окон я видел дважды пожары и с восторгом смотрел, как пылали деревянные дома и бушевало пламя, (но почему-то совсем не было страшно), а раз пришлось увидеть весьма замечательное и единственное явление: была вечерняя заря, я уже шел спать, когда папа меня поставил в одной рубашонке на подоконник и показал на совершенно пурпурное небо и объяснил, что это, как тогда утверждали, пепел от извержения вулкана Кракатау, прилетевший из страшно далеких стран, который взвился выше облаков и теперь освешен заходящим солнцем — что я и запомнил.

С малых лет я знал уже много про дальние страны, папа прочитал мне Робинзона и я мечтал стать путешественником, "как Миклуха-Маклай". Отец мне о нем также рассказывал и я повторял (должно быть у карапуза, каким я был, это звучало забавно): "Миклуха-Маклай, знаменитый русский путешественник". (Ни папа, ни я не думали, сколько действительно мне придется в будушем странствовать по свету...)

Внизу, перед самым нашим огромным домом, был еше узенький "черный" двор, который отделялся от железнодорожного "парка" дровяными складами и низеньким кирпичным флигельком. Этот домик под моими окнами постоянно меня занимал — кто там живет? — и я приставал с вопросами к моей няне. Она равнодушно отвечала: "жильцы". Слово было непонятное и я воображал, что это какое-то особое племя. На этом дворе стояли решетчатые сараи и конюшни. Когда я был еше совсем маленький, тут же в коровнике жила наша собственная корова! Как патриархальна еще была тогда петербургская жизнь...

На этот черный двор, куда выходили окна всех кухонь, забредали разносчики и торговки и с раннего утра распевали на всякие голоса, поглядывая на эти окна: — "клюква ягода — клюква"; "цветы — цветики"; "селёдки голландские — селёдки"; "кильки ревельские — кильки". И среди этих звонких и весёлых или охрипших голосов гудел глухой бас татарина: "Халат — халат", или "шурум-бурум". Сквозь утренний сладкий сон я уже слышал эти звуки и от них становилось как-то особенно мирно, только шарманка, изредка забредавшая на наш двор, всегда наводила на меня ужасную грусть.

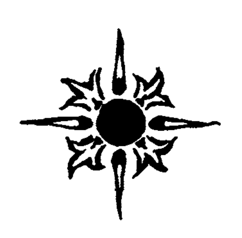
Зимой эти звуки заглушались двойными рамами. Между стекол клали белую вату (и было похоже, точно там лежал снег) и всегда по ней были разбросаны мелкие отрезки толстых разноцветных шерстинок, (до чего это было наивно и мило!) и ставились стаканчики с кислотой, чтобы не потели и не замерзали стёкла. Они всё таки замерзали и какие красивые узоры на них появлялись! ("это нарисовал дед-Мороз", — говорила няня, и я верил). А когда в одно прекрасное утро всё кругом — и крыши, и все выступы и карнизы оказывались покрытыми пушистым, сверкавшим на солнце снегом, так уютно было гляеть из окна моей тёплой детской на знакомый вид, вдруг ставший совсем новым и каким-то весёлым. Наступала зима с её радостями.

Окна других комнат выходили на запад и на огромный, как плошадь, внутренний двор Михайловского училиша, и из нашей залы я мог видеть сквозь листву комнатных растений (наш "ботанический сад"), как за длинную крышу напротив, и за ровную

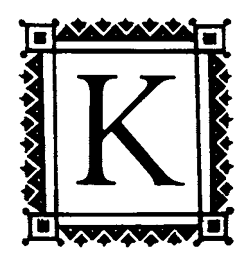
линию бесконечных дымовых труб закатывается красное солнце.

Весной, в тёплые дни, на этом пустынном дворе с каменной мостовой (между булыжниками уже пробивались чахлые травинки и листики ромашки) я играл с мальчиками соседних квартир и двор становился "моим"; я знал все закоулки, изучил и все широкие лестницы нашего офицерского флигеля, бесконечные коридоры, которые тянулись вдоль всех трёх этажей аракчеевского дома. На каменных лестницах с плоскими широкими ступенями (посередине была выемка, источенная ногами) всегда, даже и в жаркие дни, был приятный холодок. Пахло кошками и кухонным чадом, — наверно, как и в дни самого Аракчеева (дом был построен в 1820-х годах).

В дальнем углу двора низенькая дверь вела в узкий и таинственный подвальный коридор, через который был выход к набережной Невы — на площадку перед фасадом Училища. Тут стояли пушки на колёсах и в ясный день прогуливались и резвились весёлые юнкера без фуражек. Я неизменно попадался моему "врагу" — краснощёкому стриженному ёжиком юнкеру, нашему родственнику, который меня всегда дразнил, или тормошил, и потому я не очень любил туда ходить, хотя на этом кусочке набережной около Литейного моста было интересно глядеть на разные небольшие суда, которые там причаливали, и рассматривать их снасти. Когда я уже начитался морских приключений, я всё мечтал увидеть у нашей набережной какой-нибудь настоящий трёхмачтовый корабль с парусами, прибывший из-за моря, или хоть какую-нибудь шхунку, или бриг с иностранным вымпелом, и однажды действительно дождался английского флажка!



ПЕТЕРБУРГ МОЕГО ДЕТСТВА.
(1880-ые годы.)



АКАЯ-БЫ ни стояла погода, если только не шел проливной дождь, меня водили каждый день подышать свежим воздухом, хоть не на долго. Если было слишком ветренно или морозно, мы с няней гуляли на нашем дворе, укрытом от всех ветров. Тут мы прогуливались по тротуару, который шел вдоль всех четырех стен казённого дома, но в этой скучной прогулке было только маленькое развлечение — посмотреть через решетчатые ворота с чёрными чугунными орлами на нашу Симбирскую улицу, где сквозь пики решетки видна была дребезжащая конка, спящие на козлах извозчики, разноцветные вывески мелочной и бакалейной торговли и золотой крендель немецкой булочной.

Обыкновенно же наша ежедневая прогулка с няней была через Литейный мост по Литейному проспекту до Невского и обратно — конец не малый, а иногда по тихой и провинциальной стороне к Арсеналу.

Если мы шли этой последней дорогой, по Симбирской улице (вспоминается она всегда запушенная снегом), то проходили мимо маленькой лавочки в заборе около нашего дома, где седой "как лунь", добрый дедка в нагольном полушубке (с узором на груди) продавал семечки, орехи и чудесные сладкие черные стручки с овальным, блестящим и нераскусимым бобом внутри — мое любимое лакомство. И всегда от старика я слышал ласковое словечко.

Когда наш путь лежал через Литейный мост, я видел широкий простор Невы, Петропавловскую крепость с чуть заметным флагом на "кронверке" и острый золотой шпиль с ангелом наверху, видел бе-

лые колонны далёкой Биржи, плоский понтонный Троицкий мост и теряющийся в отдалении тесный ряд дворцов — с младенчества мне родной и любимый вид.

Когда шел лёд, с моста восхитительно было глядеть на плывущие льдины, которые вкусно раскалывались пополом о мостовой "бык", и казалось, что сам плывешь вместе с мостом им навстречу. А когда под аркой моста проходил буксир, тянувший барку, и его дымящая труба вдруг загибалась назад, забавно было очутиться в темном облаке дыма, от которого першило в горле.

Мне очень нравились толстые нарядные перила моста и их зеленые русалки с рыбьими хвостами, державшие в руках герб Петербурга, и, проходя, я всегда до них дотрагивался. Также я любил мимоходом погладить и страшную голову Горгоны на низенькой чугунной решетке Летнего Сада и храбро положить палец в её раскрытый зев.

С нашего моста вечером (если я откуда-нибудь возвращался домой с моим папой) открывалось чудесное зрелище: по всем набережным Невы тянулись бесконечные ровные цепочки фонарей и вдали их огоньки сливались в одну тонкую нить, которая всегда дрожала и переливалась; а когда было тихо на Неве, от каждого фонаря в воду опускалась острая и длинная игла. Зрелище это меня и привлекало и веселило, и наполняло каким-то смутным чувством: я не понимал, конечно, еще всей грусти и таинственности — словом, поэзии — этой петербургской ночной красоты.

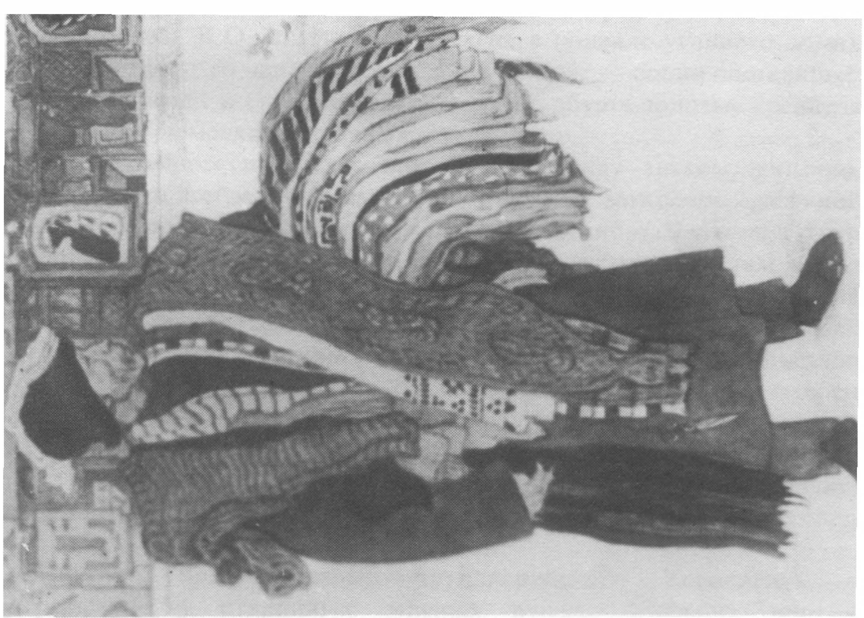
Посреди этих живых золотых нитей и бус сиял белым и неподвижным светом ряд фонарей возле дворцов — это было первое электричество в Петербурге. Но еще всюду горели газовые фонари, и живое их пламя то приседало от ветра, то опять разгоралось (по вечерам по улице бегал фонарщик с лесенкой и взбиралася на каждый фонарь, зажигая его своим фитилем). Но вскоре засветились впервые на нашем Литейном мосту лампы Яблочкова) отец мой однажды принёс и показал эту странную двойную свечу), а затем зажглось электричество и на Невском проспекте и мой дядя с восторогом принес нам новость: "теперь ночью на Невском можно читать газету!" Дуговые фонари шипели, гудели и иногда роняли красную искру, и молочно-розовый их свет, искрившийся на снегу, мне казался совершенно волшебным.

Проезжая вечером по темным улицам, я всегда засматривался на окна аптек: там стояли стеклянные банки, похожие на большие груши с какой-то прозрачной жидкостью которые как-то таинственно мерцали оранжевым, зелёным или розовым светом — тоже было волшебно!

Иногда мы делали с няней наше "путешествие" в город на конке. По Захарьевской и дальше по Знаменской надо было ехать на маленькой однолошадной конке, которая тащилась очень медленно, и на разъездах ждали встречного вагона мучительно долго. В этом вагоне четыре самых передних места и стул между ними стоили по 4 копейки, а другие сидения по 6, и все норовили сесть впереди, но я терпеть не мог сидеть на стуле на виду у всех. На Литейном конка была в две лошади с империалом и вагоны были синего цвета. Зимой верхние пассажиры "империала" от холода неустанно барабанили ногами по потолку и запомнилось, что внутри вагона между окнами были узенькие черные зеркала, а под потолком были пригвождены объявления: "Саатчи и Мангуби" — папиросы и табак с изображением усатого турка, и "Лаферм". И кучер и кондуктор, один на передней плошадке, другой на задней, постоянно отчаянно звонили, дёргая в подвешенный на пружине колокольчик. Первый трезвонил зевакам, задний давал сигнал кучеру, чтобы остановиться или двигаться дальше. На обратном пути к нам на Выборгскую, чтобы одолеть подъем на Литейный мост, прицепляли около Окружного Суда еше одну лошадь со всадником — мальчиком форейтером — и затем с гиком и звоном мчались в карьер. На мосту мальчик отцеплялся и, звеня сбруей, ехал трусцой назад. Зимой эти форейтеры, хотя и укутанные в башлыки и в валенках жестоко мерзли. Помню, что однажды мой папа сжалился над таким мальчиком и отдал ему все булки, которые вёз домой от Филиппова.

Но на конке ездить было очень скучно и куда интереснее было идти с няней в город пешком. Во время этих прогулок по Петербургу меня занимали всевозможные мелочи: вдоль тротуара стояли низенькие гранитные и чугунные тумбы, зимой на них лежал круглыми шапками снег и было приятно по дороге сбить эту шапку или сделать маленький "снежок". На уровне моих глаз я постоянно видел на прибитой к стене красной жестянке таинственную надпись "Ого", точно кто-то грозил, а это было просто "Общество Газового Освещения". Глядя под ноги и там я видел много интересного, и я старался, шагая, попадать ровно с плиты на плиту, хотя маленькому это было трудновато. Под своими ногами на корявых известковых плитах панели я иногда замечал странные отпечатки и какие-то окаменелости. Позже мой гувернер, студент-медик, меня научил, что это моллюски "ортоцерациты силлурийской формации" и мне нравилось произносить это ученое название.

Когда я стал грамотный, то прилежно, по складам, читал надписи всех встречавшихся вывесок, и няня или папа, когда с ним гулял, терпеливо дожидались, когда я кончу. А как занятно было



М. В. Добужинский. Типы Петербурга: "Татарин" и "Охтянка". Акварели. 1909.

рассматривать то, что было изображено на вывесках лавок и магазинов! На "мясной торговле" красовался бык на золотом фоне, стоящий на обрыве, внизу же мирно сидел барашек. На вывесках "зеленной и курятной" торговли были аппетитно нарисованы овощи — кочан капусты, морковка, репа, редиски или петухи, куры, утки, а иногда индюк с распушенным веером хвостом, а у "колониального" магазина — ананасы и виноград. Мелочные же лавочки были неизменно украшены вывеской с симметрично расставленными сахарными головами в синей обертке, пачками свечей и кусками "жуковского мыла" с синими жилками, в центре же красовалась стеклянная ваза с горкой кофейных зёрен, а на фоне витали почтовые марки, почему-то всегда по три вместе. Мне также очень нравилась нарядная вывеска красилен Клиодта, где развивались разноцветные ленты, приятно закручивались свертки материй и кудрявились три страусовых пера разного цвета.

Меня занимали и окна "гробового мастера" Шумилова — там былы выставлены разные гербы на овальных щитах, белые и черные страусовые перья и другие траурные украшения и длинные картинки, изображающие похоронную процессию с лошадьми в попонах и с факельщиками около колесниц. Всё это, как и все те живописные петербургские вывески, было традицией далёкого прошлого. А совсем старинными были — золотая виноградная грозь, висевшая над виноторговлей "К.О. Шитт. 1818" (всегда в подвале углового дома), золотой ботфорт со шпорой (сапожник И. Гозе — папин поставщик!) на Владимирской и столь привычные в Петербурге золотые кренделя под короной немецких булочных...

На Литейном проспекте мне был по виду знаком, конечно, каждый дом и всегда занимал мое воображение загадочный нежилой серого мрамора дворец против Симеоновской, с его пустыми громадными зеркальными окнами, — ходила легенда, что там якобы жила "Пиковая Дама" — как и другие таинственные для меня "барские" особняки. Мне нравился и громадный черный полосатый дом Мурузи в мавританском стиле и его чугунные навесы у подъездов с удивительными узорами и арабскими надписями. Дом замечателен был для меня тем, что там была большая парикмахерская, где меня впервые остригли (раньше это делалось домашним способом) и я попросил парикмахера "пожалуйста, сделайте мне такую же плешку, как у моего папы", — могу представить как я умилил и развеселил отца.

Конечно, проходя мимо Артиллерийского Управления, я задерживался у старинных зеленых пушек, стоявших против Окружного Суда, точно они собирались в него палить. Пушки были

выстроены в порядке их роста и оба симметричных ряда кончались маленькими пузатыми мортирами, которые особенно мне нравились. Интересно было рассматривать выпуклые украшения на дулах, колесах и лафетах, гербы, ручки в виде дельфинов и непонятные надписи вязью.

Если был большой праздник или Великий пост, мы с няней, гуляя по Литейному, по дороге иногда заходили в маленькую изящную Сергиевскую церковь с золотым шпилем на колокольне и с синем небольшим куполом с частыми золотыми звёздами, или в Спасо-Преображенский Собор. Няня всегда у иконы ставила копеечную свечку. Этот белый собор с черными куполами был окружен оградой из поставленных стоймя, дулами в землю, громадных черных пушек, отнятых когда-то у турок. Между этих "столбов" висели тяжелые цепи, а в ограде росли старые ветвистые деревья. В Сергиевской церкви я помню панихиду по только-что убитому Александру II. Церковь была переполнена народом с горящими свечами. Многие плакали, няня тоже и я вместе с ней заплакал. Хотя я был совсем маленький, но отлично помню "событие 1-го марта" и леденящий (иначе не могу назвать) ужас от святотатства: "царя убили", и помню, как мой дядя утром читал газету со всеми страшными подробностями убийства. Помню и фотографию, которая тогда была очень популярна — царь в гробу (она увековечена на картине Репина "Не ждали"). Меня поражало, что Государь лежить в гробу без всяких орденов и звёзд. Потом у отца появилась брошюра "Дело 1-го марта", и лет 10-ти я сам ее урывками читал с замиранием сердца и страшным любопытством, и запомнил все имена.

Зимой я с завистью смотрел, как дворники особыми зубчатыми лопатками скалывали лед на тротуарах и он отскакивал аппетитными пластинками. Иногда панель загораживалась рогатками — дворники сбрасывали с крыши снег, и тогда надо было сворачивать на середину улицы, и какой это был особенный петербургский звук — гулко бухавшие снеговые глыбы! Когда выпадал слишком глубокий снег, его усиленно счищали, и кучи его, иные с воткнутой лопатой или метлой, тянулись вдоль всех тротуаров.

Весной целые полки дворников в белых передниках быстро убирали снег с улиц (любили острить, что дворники делают весну в Петербурге). Тогда же появлялись и другие уличные звуки — когда растаявший лед вдруг катастрофически и неожиданно рушился внутри водосточных труб в зеленые кадки на тротуарах с пугающим прохожего грохотом. И сколько вообще разнообразнейших звуков неумолчно раздавалось на петербургских улицах! Звенел на конках звонок кондуктора, заливались колокольчики — дар Валдая — и бубенчики

на проезжавшей тройке (я долго думал, что "дарвалдая" значит "звеня"), гудели по праздникам церковные колокола, нередко проходила с трубами и барабанами военная музыка, а по дворам распевали на разные лады разносчики — и всё было мелодичным. Лишь било в самую душу, когда страшные ломовики везли по булыжной мостовой адски грохочущие рельсы.

Летом петербургская улица громыхала, и только на улицах, замощенных торцами (Невский, Большая Морская, набережные и некоторые другие места) было тише, лишь раздавались крики "Ванек" и кучеров: "берегись". Резиновых шин еще не было, и стук колес по камням мостовой, цоканье копыт и конское ржанье были самыми привычными звуками. Чтобы ослабить уличный шум, часто возле дома, где был больной, стлали солому и тогда стук колес вдруг становился мягким и шуршащим.

Летом мостовые повсюду чинились, деревянные торцы заменяли новыми, шестиугольные шашки образовывали тогда целые баррикады — и красные "рогатки" загораживали половину улицы. Вокруг строющихся домов возвышались временные заборы и "леса", которые надо было обходить с опаской. По деревянным сквозным настилам каменьщики таскали кирпичи на самый верх постройки, согнувшись в три погибели под тяжелой ношей, и мне было даже страшно смотреть. На верху лесов всегда был прикреплен крест во избежание несчастий, маленькая березка или засохший венок.

Петербург в летнее время пустел, "господа" разъезжались на дачи и по "заграницам", и хозяевами города делались кухарки, дворники и горничные. На лавочках у ворот лущили семечки, слышалась гармоника, весёлые маляры, которыми был полон летний Петербург, горланили свои песни. Это был "Питер".

Наши ежедневные прогулки с няней имели иногда маленькую цель — чаще всего мы ходили в булочную Филиппова, на угол Невского и Троицкой, купить мою любимую слоёную булку "подковку" с маком или тмином и солью, или же калач (у него под клапаном я любил находить белую муку и ручка его аппетитно хрустела). Иногда у Филиппова я лакомился пирожками с вареньем, капустой или грибами. К этому громадному и всегда горячему пирожку полагалась и бумажка, чтоб не пачкались от жира руки. Особенно приятно было съесть такой горячий пирожок в мороз. Часто мы шли с няней и дальше по Невскому к Гостинному Двору.

Посреди Невского бежала конка — был один путь и разъезды. Тут вагоны были красного цвета и наряднее, чем на других улицах, и двигались шибче. Рядом с конкой вдоль Невского тащились допотопные "Шапинские" омнибусы ("Сорок мучеников") и длинной

вереницей плелись "Ваньки", держась ближе к тротуару. Их перегоняли слева "лихачи", кареты, ландо, "эгоистки" (узенькие дрожки или сани на одного седока) и другие "собственные" экипажи. На кушаке кучера этих экипажей часто красовались прикрепленные над толстым задом армяка большие круглые часы, чтобы барину удобнее было следить за драгоценным временем.

Придворные кареты отличались золотыми коронами на фонарях, а кучер, одетый в русский армяк, всегда был украшен медалью и издали уже было видно, что мчится кто-то из царской фамилии. Городовые тогда подтягивались и на перекрестках движение сразу останавливалось.

На козлах придворных экипажей с английской упряжью восседали кучера и камерлакеи в треуголках и алых ливреях с золотым позументом, украшенным черными орлами, с пелеринкой и белым пуховым воротником. В дождь ливреи были из белой блестящей клеёнки, что было очень элегантно. Особенный был выезд у посланников: у кучера на спине армяка был всегда треугольник из золотого позумента, а верх шапки был голубой бархатный и "рогатый", как-бы "двуколка". Рядом с кучером сидел "егерь" с развивающимся плюмажем из петушиных перьев на треуголке и с широкой портупеей через плечо (маленьким я думал, что это и есть сам посланник, такой нарядный).

Тогда были в моде очень красивые сетки на лошадях (обыкновенно синие, редко красные), предохранявшие седока от снежной "ископыти" и комьев грязи. У саней же бывали пухлые медвежьи" полости (покрывала для ног) с кистями, которые волочились по снегу; существовали еще "запятки" — у парадных саней и у карет стоял сзади, держась за особые петли, рослый лакей в ливрее и цилиндре, на котором сбоку была кокарда. У лакея был огромный медвежий воротник — пелерина. На запятках же саней Императрицы Марии Федоровны, часто проезжавшей по Невскому, всегда высился великолепный камер-казак в красном кафтане с откидными рукавами и высокой папахе с кистями. Порой по Невскому лихо мчалась тройка с бубенцами — у кучера была круглая шапочка, надвинутая на лоб, с павлиньими перьями вокруг тулеи, мелькала белая фуражка офицера и меховая "ротонда" его дамы...

А иногда, нарушая всё благообразие Невского и перегоняя чинный поток экипажей дико мчалась от Почтамта к Николаевскому вокзалу почта, громыхая постромками и пугая извозчиков — целый поезд старомодных рыдванов, или, зимой, чудовишных саней ("макшаны"), запряженных четверкой с форейтером и с почтарями в башлыках, опоясанными саблями.

Невский проспект был необыкновенно наряден своей толпой, где больше всего было военных, носивших самые разнообразные формы. Маленьким я, конечно, глядел во все глаза на мелькавшие в толпе черкески и бурки, офицерские фуражки разных цветов, треуголки, каски с белым или черным султаном или с двуглавым орлом наверху. Однажды я даже остановился от восхищения: по улице шел настоящий витязь в шишаке, в кольчуге и с колчаном (тогда еще существовал отдельный отряд в конвое Его Величества — кавказская сотня, носившая старинные доспехи хесуров. (А наряду с этой нарядной толпой какими только типами, настоящими деревенскими, не пестрела петербургская улица моего детства. Лишь в некоторых парадных местах столицы, как на Дворцовой набережной, в Летнем саду (и на Невском и Морской, кроме утренних часов) одуревшая и напуганная тогда полиция не пускала людей, одетых по простонародному.

Извозчики — петербургские "Ваньки", — неотъемлемая принадлежность улицы, носили всегдашний традиционный, спокон веку присвоенный им мужичий синий армяк до самых пят и клеенчатую шляпу — приплюснутый низкий цилиндр с раструбом и загнутыми полями (непременно с медной пряжкой впереди), а зимой — меховую шапку с квадратным суконным, а то и бархатным верхом. И какие у них были узорчатые и разноцветные пояса! Сидя на облучке своих саней или дрожек, они, поджидая седока, приглашали прохожих: "поедем, барин!", или — "резвая лошадка — прокачу!" Их исконными врагами были ломовые извозчики, никогда никому не уступавшие дороги ("Ванек" они презрительно обзывали "гужееды", "гужем подавился") — и когда медленной лавиной двигался кортеж их до отказа нагруженных возов или громадных саней, никакая сила не могла их остановить, иногда даже городовые пасовали. Эти дикого вида "ломовики", держа вожжи, медленно выступали рядом со своими такими-же страшными и огромными битюгами, увешанными сбруей с бляхами, дуги же бывали необыкновенно затейливо и ярко расписаны. Всегда это были мрачные бородатые мужики, которые носили или засаленный картуз или треух, и неизменно были наряжены поверх зипуна в красный жилет на распашку — и любопытно, что это были всегда старые придворные лакейские жилеты с двуглавыми орлами на истрепанном позументе Этот замечательный костюм дополнялся еще брезентовым фартуком, богатырскими кожаными рукавицами, холщевым мешком на спине и какими-то верёвками и крючками, висешими сбоку. Охтянка — молочница "спешила", как и во время Пушкина, но уже не "с кувшином", а с металлическими бидонами на коромысле, а на голове был под платком повязан прежний белый

"повойник" и юбка была всегда в мелких полосках, лилового, красного и оранжевого цвета.

Шерстяные платки на плечах у деревенских баб, всюду сновавших по городу, обычно были в крупную клетку — как это тоже было привычно глазу! И каких только тут не было сочетаний — синего с оранжевым, зеленого с красным, серого с черным. А сколько еще всевозможных торговцев и уличных ремесленников заполняло улицу — разносчики, сбитеньщики, продавцы воздушных шаров, татары-халатники, полотёры — всего не перечесть — и их белые передники, картузы, тулупы, валенки (иногда красиво расписанные красным узором) и разные аттрибуты и инструменты, которые они носили с собой, как всё это оживляло и красило картину петербургской жизни!

Самым нарядным уличным персонажем была кормилица у "господ". У них была как бы "парадная форма", квази-крестьянский костюм весьма театрального вида (наряд держался вплоть до самой войны 1914-го года!). И постоянно можно было встретить чинно выступавшую, рядом со своей по моде одетой барыней, толстую краснощёкую мамку в парчёвой кофте с пелеринкой, увешанную бусами, и в кокошнике — розовом, если она кормила девочку, и голубом, если мальчика. А летом ее наряжали в цветной сарафан со множеством мелких золотых или стеклянных пуговок на подоле, и с кисейными пузырями рукавов. На набережной и в Летнем Саду среди корректной петербургской толпы такая расфуфыренная кукла была обычна и глаз к ней привычен.*

Иногда, гуляя с няней, я навещал на службе моего папу — его канцелярия помещалась на углу набережной и Литейного — и мою прогулку я часто продолжал с ним. Когда я появлялся в канцелярии, на меня сходились посмотреть сослуживцы отца, офицеры — до сих пор помню лица и фамилии этих ласковых со мной бородатых, усатых, франтоватых и мешковатых артиллеристов. Меня тут засаживали рисовать, снабжали карандашами (особенно я любил толстый синий и красный) и казённой бумагой для моего рисования.

Чаще всего мы шли с отцом по набережной к Летнему Саду. В саду мы прохаживались вдоль алей по деревянным мосткам, статуи нимф и богинь уже были запрятаны в тесные деревянные будочки, а в голых сучьях деревьев каркали и шумели крыльями вороны. Мы

---

* Для этих "пейзанок" места эти не были запретными, как для иного простого люда "народа". Курьёзные контрасты были всегда как бы традиционной чертой Петербурга и на литографиях 1820-30-х годов внимательные художники особенно любили подчеркивать эти забавные сочетания: амазонка и баба с коромыслом, офицер и коромилица, столичный франт и возница — деревенщина.

всегда останавливались у памятника дедушки Крылова и я рассматривал фигурки из его басен.

Гуляя с отцом по Литейному, мы нередко заходили в магазин Девушкина на углу Симеоновской в памятном мне красном доме, где отец всегда покупал бумагу, краски и карандаши для моего рисования (позже и учебные театрадки), всё это я имел в изобилии с трехлетнего возраста.

Как я любил эту тесную подвальную лавочку! Там была волшебной красоты бумага — и всех цветов, и узорчатая, и чудная мраморная, и тиснёная, и золотая, и серебряная, и большие, немецкого издания, листы для вырезывания и склеивания разных домиков и целых замков, и выпуклые картинки для наклеивания, и заманчивые декалькомании. И как было занятно, придя домой, намочить листок, придавить к бумаге и бережно тереть с обратной стороны до катышков, пока под ним не появится яркая блестящая картинка!

На том же Литейном проспекте часто отец заглядывал со мной мимоходом в переплётную или к букинисту, чтобы отдать или взять связку книг.

Если мы с папой попадали в Гостиный Двор, то обязательно бывали в игрушечной лавке Дойникова, в воротах (где всегда был страшный сквозняк), битком набитой самыми соблазнительными игрушками, и я всегда что-нибудь приносил с собой домой — или оловянных солдатиков, уложенных в овальной лубочной коробочке с немецкой надписью на крышке, или какую-нибудь чудную игрушку изделия Троицкой Лавры — медведя и мужика, по очереди бьющих по наковальне, или Щелкунчика с горбатым носом и в тирольской шляпе и пером, или же забавную заводную игрушку с коротенькой музыкой — вертящуюся козу в юбке, державшую цветочек, или розовую балерину, делающую ручкой привет.*

Было также большое удовольствие зайти с отцом в удивительный магазин Муллерта на Караванной — это был настоящий маленький зоологический сад, где мы покупали разную пищу для наших птиц. Тут, в этом магазине, можно было полюбоваться "попками", разными экзотическими птицами и обитателями террариума: тритонами, черепахами и даже хамелеонами.

---

*Взрослым я стал серьёзно собирать коллекцию народных игрушек, которая смогла конкурировать с такими же коллекциями у Александра Бенуа и у проф. Матэ. Но, увы многих очаровательных и наивных игрушек, которые так любил мой отец, памятных мне по детству, уже достать не удавалось. В моей коллекции с почетом красовалась голова в кокошнике деревянной "Акулины", моей первой куклы, уже совсем полинявшая и уцелевшая каким-то чудом.

Всегда, проходя или проезжая по Литейному, я видел ровные перспективы Фурштадской и Сергиевской улиц, где в конце их серел в туманной дымке далёкий Таврический сад. В этой "манящей" дали он казался мне каким-то таинственным; там тогда мне не приходилось бывать, но маленьким я попадал и в другие, очень далёкие от нас, части Петербурга.

Раз мы с папой в один солнечный день сделали целое восхитительное путешествие по всей искрящейся на солнце Неве, на маленьком финляндском пароходике — с Выборгской стороны на Васильевский остров — мимо дворцов, крепости, биржи и ныряли под все четыре моста — Литейный, Троицкий, Дворцовый и Николаевский. Мы ездили навестить, жившего на какой-то очень далёкой линии, моего дядю Федю, брата мамы. Папа называл его "учёным" и меня поразило, что в его комнате был только один стул, но множество книг, целые кучи их лежали и на полу.

Отец, всегда ища повода показать что-нибудь интересное или полезное для моего. развития, повёз меня однажды на фабрику — "Невскую бумагопрядильню", на далёкий от нас Обводной канал, и я был восхищен стройными движениями машин и их ритмическими стуками, и какой-то бодростью этого места, — оно вовсе не было мрачным, наоборот, всё было залито светом и мне улыбались приветливые лица ткачих.

Очень часто, с самого раннего детства, я бывал в Измайловском полку, тоже в далёком от нас районе, у сестры моего отца — моей любимой тёти Кати. От Технологического Института, куда доезжали на конке, к тёте на Фонтанку приходилось идти или мимо величественного белого Троицкого Собора с пятью голубыми куполами с крупными золотыми звездами, или мимо жёлтого Константиновского училища, против которого стоял красный обелиск — старинный верстовой столб с солнечными часами.

Я любил бывать в этом квартале Петербурга. Тут, на широкой Первой роте, около моего любимого Собора, жил тоже и папин отец, строгий дедушка, но такой всегда ласковый со мной; "Измайловский полк" был для меня тоже "своим" и родным с самого раннего детства, как и наша Выборгская сторона.

У тёти я больше всего любил забраться в её уютный будуар и там, усевшись на диване возле углового окна, смотреть через зеркальное стекло на улицу — этого удовольствия не было на нашей квартире. Помнится падающий снег, и через его сетку я гляжу на горбатый каменный Измайловский мост, полный черных фигурок прохожих, на конку, заворачивающую рядом на узенький решетчатый мостик, на оживлённый каток на льду Фонтанки — и на

пропадающую в снежной дали прямую линию Вознесенского проспекта.

Еще чаще я ездил в гости к Сташе, сыну дяди Евстафия, доктора, в их тесную квартирку на узенькой и темноватой Пушкинской улице, где в небольшом скверике стояла крошечная статуя Пушкина.

С Пушкинской дядя переехал на Кузнечный переулок — угол Ямской улицы — против Владимирского собора, где я продолжал также часто бывать. Как я лишь впоследствии узнал, эта дядина квартира была соседней с той, где года за 2 — 3 до этого скончался знаменитый "сочинитель", как тогда выражались, Достоевский.

Тот вид из окон квартиры, где я играл со Сташей, и который я так отчетливо помню — на черные штабеля дров, глухой брандмауер и заборы, — этот печальный петербургский пейзаж был и перед глазами Достоевского. Сообразил я всё это — и с немалым волнением — лишь взрослым...

Самым веселым временем в Петербурге была, конечно, Масляница с ее балаганами. Ёлка и Пасха были скорее домашними праздниками, это же был настоящий всенародный праздник и веселье. Петербург на целую "мясопустную неделю" преображался и опрощался: из окрестных чухонских деревень наезжали в необыкновенном количестве "вейки" со своими лохматыми бойкими лошадками и низенькими саночками, а дуги и вся упряжь были увешаны бубенцами и развевающимися разноцветными лентами. Весь город тогда наполнялся весёлым и праздничным звоном бубенчиков и какое удовольствие было маленькому прокатиться на вейке! Особенно, если сидеть на облучке, рядом с небритым белобрысым "чухной", всегда невозмутимо сосущим свою "носогрейку". Извозчики презирали этих своих конкурентов — вейка за всякий конец просил "ридцать копеек" — и кричали на них: "эй ты, белоглазый, посторонись!"

Приближаясь к Марсову полю, где стояли балаганы, уже с Цепного моста и даже раньше, с Пантелеймоновской, я слышал, как в звонком морозном воздухе стоял над площадью веселый человеческий гул и целое море звуков — и гудки, и писк свистулек, и заунывная тягучка шарманки, и гармонь, и удары каких-то бубен и отдаленные выкрики — всё это так тянуло к себе и я изо всех сил торопил мою няню попасть туда поскорей. Балаганы уже виднелись за голыми деревьями Летного Сада — эти высокие жёлтые досчатые бараки тянулись в два ряда вдоль всего Марсова поля и на всех развивались трехцветные флаги, а за балаганами высились

вертящиеся круглые качели и стояли ледяные горы, тоже с флажком наверху.

Я попадал сразу в людскую кашу, в самую разношерстную толпу — толкались весёлые парни с гармошкой, разгуливали саженные гвардейские солдаты в медных касках и в долгополых шинелях с белым кожаным кушаком и непременно в паре с маленькой розовой бабенкой в платочке, проплывали толстые салопницы — купчихи; балаганы были "в моде" и в обществе по традиции считалось даже хорошим тоном посетить народное гулянье — прогуливались тоненькие барышни с гувернантками, гвардейские офицеры со своими дамами в меховых боа — словом было "слияние сословий". (Один раз я видел, как медленно проезжали вдоль балаганов придворные экипажи и тянулись длинным цугом кареты с любопытными личиками институток.)

Я с восторгом смотрел на огромные полотнища — вывески балаганов — целые картины, где были простодушно нарисованы и неизбежная "битва с кабардинцами" и храбрый "Белый генерал", скачущий в пороховом дыму на белом коне, а внутри этих балаганов слышалась пальба, трубные сигналы, музыка и барабаны. На других балаганах, поменьше, красовались изображения львов и тигров с человекоподобными свирепыми физиономиями, шпагоглотатели, эквилибристы, вольтижеры, великаны и лилипуты — даже итальянские арлекины и пульчинеллы — эти персоны каким-то чудом еще жили в Петербурге моего детства! Самые большие балаганы, Лейферта и Малафеева, бывали полны народа; боковые деревянные лестницы всегда были черны от людских очередей, ожидающих впуск в "раёк". У Малафеева я видел с няней "Куликовскую битву", особенно меня восхитил сам бой, со звоном мечей, происходивший за тюлем, как-бы в туманное утро — (даже м. б. в нескольких планах между несколькими тюлями) — иллюзия была полная и, надо думать, сделано это было вовсе не плохо. Из папиного чтения "Откуда пошла русская земля и как стала быть" я знал про Мамаево побоище и на мой взгляд всё было верно: и то, что Димитрий Донской лежал израненный под деревом, и то, как были изображены русские воины-богатыри монахи Пересвет и Ослябя. Помню на балаганах еще представление: русскую сказку "О семи Симеонах", которая тоже мне была знакома по сказкам Афанасьева, где один из братьев лез на высокий шест, чтобы что-то увидеть; этот Симеон оставался на месте, делая вид, что лезет, а декорация всё время опускалась — тоже была полнейшая иллюзия. Внутри балаганов было холодно, они согревались лишь дыханием публики, и несчастные актеры говорили сиплыми

голосами из последних сил, весь день без передышки горланя в ледяном воздухе.

Кроме самих балаганов сколько еще было всевозможных приманок! Среди шума толпы вертелись и звенели карусели и можно было лихо прокатиться верхом на деревянной лошадке в "яблоках". Стоял треск выстрелов в маленьких тирах — "стрельба в цель", к ним меня ужасно тянуло, но няня ни за что не пускала, боясь ружей и пуль, и из опаски, что меня еще подстрелит какой-нибудь озорник. А покататься на круглых качелях мне и самому не очень хотелось. Хотя я был порядочный плакса, но трусом не был, наоборот думал быть отважным героем, но тут было, действительно, страшно вдруг застрять и повиснуть в воздухе — и я только издали поглядывал, как летали на этих качелях в открытых будочках обнявшиеся парочки и лущили семечки. Но с какой завистью я смотрел на катавшихся с ледяных гор, которые казались гигантской высоты! Один только раз с кем-то из взрослых я с замирающим сердцем ухнул с горы на салазках среди взвившейся кругом ледяной пыли. Среди толпы стояли и "раешники" с своими заманчивыми домиками — за копейку можно было посмотреть в круглое окошечко на разные лубочные картинки и "перспективные" виды. Раешники с шутками зазывали прохожих и, объясняя картинку, импровизировали свои смешные прибаутки.

Конечно, гнусавил и Петрушка, выскакивая из-за пестрой ширмы, и я не мог оторвать глаз от его судорожных движений и ликовал, как и все кругом, когда он колотил своей дубинкой и полицейского и чорта, и всегда сам воскресал невредимым. И сколько на каждом шагу было разных соблазнов! На лотках красовались пряники — "печатные", "вяземские", белые мятные в виде разных забавных фигурок — человечков, всадников, рыб и зверей, были и расписные, с разводами, розовые и облепленные миндалем. Грудами лежали леденцы, закрученные спиралью или обернутые бумажкой с цветной бахромкой на концах, мои любимые турецкие стручки, сморщенные моченые груши. На других лотках были разложены рядами аппетитные жирные круглые пирожки, которых так мне никогда и не удалось отведать (няня не позволяла — "а то заболит животик").

Всякой невзыскательной снеди было великое изобилие — разные колбасы, студень, ситные пироги с грибами и печенкой, калачи, кренделя, баранки — всё это тут же на морозе уничтожалось. Продавался горячий сбитень в медных чайниках, обмотанных полотенцем, какое-то ядовито-жёлтое и ярко красное питье в стеклянных кувшинах и дымились огромные пузатые самовары.

Больше всего толпилось народа возле балаганного Деда. Дед с привязанной мочальной бородой и с молодым розовым лицом, всегда

охрипший от мороза и нескончаемой болтовни, сидел верхом на балюстраде балаганного балкончика и откалывал разные непристойности по адресу рядом с ним стоявшей молодецки подбоченившейся девицы в рейтузах, туго обтягивавших ляжки, гусарской куртке с бранденбурами и лихо надетой конфедератке. А то Дед намечал какую-нибудь жертву для глума в толпе, обыкновенно выбирал рыжего, народ кругом гоготал и еще пуще подзадаривал Деда. Няня всегда старалась увести меня подальше, чтобы меня не задавили и чтобы я не наслушался гадких словечек.

Балаганы после масляницы стояли весь пост заколоченными. На Пасхе вновь оживали, но это было уже не то — под снегом и на морозе всё было особенно весёлым. Тут же веяло уже весной, на ветру пузырились полинявшие от дождя вывески. Горы уже не действовали, толпа шлёпала по лужам, настроение бывало по прежнему праздничным, но всё было по другому. Именно масляничные балаганы в моем воспоминании и остались для меня окруженными незабываемой петербургской поэзией.*

Весенние балаганы в моих воспоминаниях как-то сливаются с соседним праздником, Вербой. Вербный торг помню еще у Гостиного Двора (на Конногвардейском бульваре они были позже).

Среди невообразимой толкотни и выкриков продавали пучки верб и вербных херувимов — их круглое личичко с ротиком "бантиком" было наклеено на золотую или зелёную бумажку, вырезанную в виде крылышек, продавали весёлых "американских жителей", прыгающих в стеклянной трубочке, неизбежные воздушные шары и живых птичек (любители тут же отпускали на волю и птичек, и шары) и было бесконечное количество всяких "восточных" лакомств, — рахат-лукума, халвы, нуги и какой-то сладкой ваты.

Рождество же было настоящий праздник игрушек. У Гостиного Двора тогда выростал целый лес ёлок, там тоже была толпа и давка, и так же, как на Вербу, над головами маячили гроздья красных воздушных шаров. Рождество было *домашним* праздником, улицы тогда делались только более оживленными и в окнах иногда с улицы были видны зажженные ёлочные свечи.

Весной самым большим удовольствием было поехать с папой в зоологический сад — "Зоологию". Едучи с ним на извозчике по Петербургской стороне и длинному Кронверскому проспекту, я сгорал от нетерпения — казалось не будет конца этой скучно

*Они уже доживали свой век. С Марсова поля балаганы были переведены на Пески, потом на Семеновский плац и затем совершенно заглохли...

деревянной стене сада с узорчатыми дырочками, вдоль которой мы так медленно тащились. Сразу же при входе в сад меня оглушали своими скрипучими криками разноцветные попугаи, которые во множестве тут раскачивались на своих кольцах — я был уверен, что они здороваются со мною. И тут же, на первых же шагах, я надолго застревал около толстых змей, свернувшихся в кольца, мирно спавших в своем стеклянном киоске.

Отец терпеливо останавливался со мной перед каждой клеткой, пока я насмотрюсь досыта на всех зверей, зверюшек и птиц, и вдоволь нахохочусь в павильоне мартышек — и пока после долгого хождения и стояния у меня не начнет "болеть ножка". Тогда ему приходилось брать меня, пятилетнего, на руки и на руках у него я глядел на представление на открытой сцене, которое начиналось, когда уже спускались сырые сумерки и зажигались лампионы.

Я, не отрываясь, глядел на сцену — там восхищали меня и гимнасты, и "эксцентрики" — клоуны, и особенно фокусники. Помню показывался великан — китаец (на самом деле говорили, что это был просто переодетый ярославский парень страшного роста), который поглощал яйца целиком со скорлупой и затем их изгрыгал невредимыми на удивление всей публики. Представление шло под марши и вальсы морского оркестра — музыканты с георгиевскими ленточками на своих безкозырках сидели по обеим сторонам открытого театра, а под музыку доносилось рыкание отходящего ко сну льва. Потом начиналась феерия, самое интересное, но увы, запретное для меня зрелище — уже было совсем поздно, папа меня уносил и к моему горю, я успевал, оглядываясь по дороге, увидеть лишь издали кусочек начала — какую нибудь удивительную декорацию с пальмами, море и пристающий к берегу корабль, или пещеру, освещенную бенгальским огнем.

Всегда, вызывая в памяти такой вечер, вспоминаю белую ночь, звон курантов Петропавловского собора и в прозрачно-зеленом небе крылатый силуэт ангела на верху золотого шпиля.

Полусонного отец относил меня к извозчику, чтобы ехать домой "в кроватку".

Когда наступало первое тепло, не было дня с самого моего раннего детства, чтобы я не ходил играть в ближний сад Медицинской Академии. Этот старый тенистый сад скрывался за академическим зданием с круглым куполом и колоннами, и был закрыт для посторонних.*

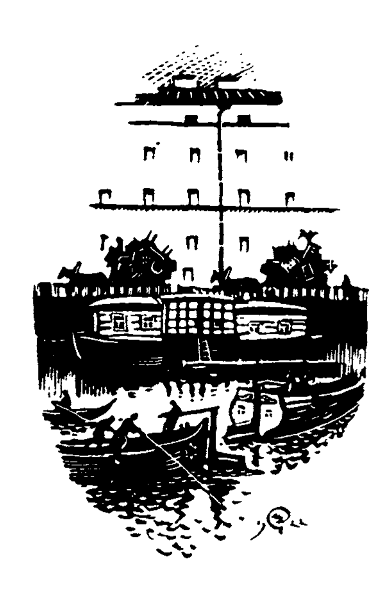
*Разрешение выхлопотал Ив. Петр. Павлов, будущий великий ученый, который тогда только что окончил Медицинскую Академию и был оставлен при ней. Он был наш свойственник: другой дядя Федя, папин брат, и он были женаты на родных сестрах.

Чтобы попасть в сад с Нижегородской улицы, надо было идти через узенький двор, замощенный булыжником, и проходить под громадной пожарной лестницей, прислонённой к пустой стене (почему-то эта лестница особенно запомнилась) и так же как и на нашем дворе, среди камней росла острая травка и появлялись жёлтые одуванчики.

В саду рядами стояли липы с толстеннейшими стволами и в аллеях, где всегда была тень, уютно пахло сыростью и прелым листом. В трещину коры одной из лип я однажды посадил моего оловянного солдатика и вспомнил о нем на другое лето, но найти его уже не мог — он куда-то ушел и мне, конечно пришла на ум сказка Андерсена.

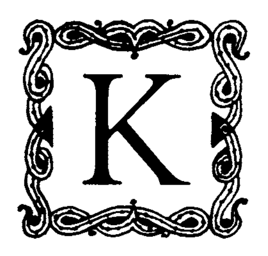
Был в саду и длинный пруд, покрытый плотной ярко зеленой "ряской", казалось, точно это зеленый пол, по которому соблазнялось пройтись, и пугала легенда, что в этот пруд провалилась одна девочка. А в самой глубине сада за деревьями виднелся желтый флигель академической клиники, куда было опасно приближаться: там за решетками сидели какие-то страшные сумасшедшие, которые будто-бы хватали из-за решетки неосторожных детей. Но это не мешало мне очень любить этот мой сад и всю жизнь он с очарованием вспоминался.

Я случайно очутился в этом месте в 1915 году, сад показался мне только меньше но разросся еще гуще, пруд исчез, а горка, на которой я играл, оказалась крошечным горбиком; я зарисовал тогда с любовью старую липовую аллею...



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НОВГОРОД.



ОГДА в конце мая проходил ладожский лед, кончались обычные в Петербурге майские холода и начиналось настоящие лето, мы с няней уезжали в Новгород к дедушке и бабушке, родителям моей мамы. На три месяца каждый год я прощался с Петербургом и попадал совсем в новый мир, тоже мне милый и уютный, как была и моя маленькая жизнь в Петербурге. И так бывало каждую весну, начиная с 5-тилетнего возраста и до самого поступления в гимназию.

Как я любил само путешествие и как ждал его! Наконец наступал счастливый день и в необычно ранний час меня будил ласковый папин голос: "вставай, мой дружок, пора в Новгород!" И всегда это было в солнечное утро и солнце уже заливало мою детскую, точно радовалось вместе со мной.

Мы ехали в третьем классе. Вагоны Николаевской железной дороги были темноваты с низенькими редкими окошками. Выбирали вагон почище и поновей, там приятно пахло лаком от свеже выкрашенных клейких скамеек. Сейчас же как усаживались и пока поезд еще стоял, я уже просил есть — у меня появлялся необыкновенный аппетит и всё было как-то особенно вкусно — и пирожки, и холодный цыпленок или рябчик. Брали, конечно, в дорогу и чайник — иначе вообще не путешествовали — и на станциях няня бегала за кипятком, или это делал добрый кондуктор.

Сидя в вагоне, я любил слушать все эти железнодорожные звуки: уютные позвякивания и поскрипывания и ритмические стуки и перебои колес, навевающие удивительные мелодии. Меня занимал еще один загадочный колокол — такие стояли возле станций — в виде

гриба, который вдруг сам собой начинал глухо и мелодично звонить.

До Новгорода в то время надо было ехать почти целый день. В Чудове была долгая томительная остановка и мы пересаживались в другой маленький поезд, узкоколейный, где были старинные вагоны с боковыми дверцами. Поезд тащился медленно, как-то неохотно отъезжая от каждой станиции. Тогда не торопились — пока еще паровоз наберет воды и дров, пока еще сторож окончит выбивать дробь на станционном колоколе перед тем как ударить с толком и с расстановкой, сначала раз, потом два потом три! Но и после этого паровоз еще долго пыхтел и вагоны толкались буферами пока наконец, учащенно дыша и дымя толстой трубой, машина не трогалась дальше.

На полустанках я успевал выбегать на травку, усеянную жёлтыми одуванчиками, подышать свежим воздухом, берёзовым духом. "Подберёзье", "Спасская Полисть", "Померанье" — милые с детства древние имена этих мест. Новгород возникал вдали внезапно, совсем сказочно, сразу показываясь за лесами и прелесками всеми своими церквами, широко раскиданными на ровном просторе. Солнце горело на куполах и крестах, а у самого Ильменя, на краю горизонта, ослепительно сверкали, переливаясь и искрясь, золотые главы Юрьева Монастыря.

Со станции нас вёз извочик, сначала гремя по булыжной мостовой, а потом мы бесшумно катили по мягкой дороге, расплёскивая лужи, мимо длинных заборов, садов и огородов, вдоль зелёного Вала — к нашей древней Прусской улице. Тут стоял дедушкин дом, где я родился, — низ кирпичный, верх деревянный с мезонином на крыше. Дом осеняли старые березы с толстенными белыми стволами. А позади дома лежал тенистый сад, казавшийся мне огромным.

Как радовались все в доме моему приезду! Услышав дрожки, на улицу высыпало всё его население и я попадал в объятия всех по очереди. Каждый год повторялось: "Ах, как ты вырос, ну вылитая мама", или "вылитый папа" (в этом никогда не сходились). К моему приезду приплеталась и прабабушка, совсем крошечная старушка, жившая на другой стороне Волхова. Удивлялись, если она приходила пешком по грязи. "А так мягче", говорила она. Старушка всё гладила меня, шамкая: "Ах ты, Славушка славненький" и потчевала меня мармеладом.

Сразу же меня начинали угощать и вообще закармливали, точно я приезжал из какой-то голодной страны. В доме весь день еда сменялась едой. После утреннего чая со сливками, часов в одинадцать

был "фриштык", когда пили кофий (именно "кофий" по петербургскому или голландскому, а не "кофе") и подавались "сканцы", ржаные пышные блины с поджаренной коркой, политые топленым маслом и со сметаной (таких нигде больше не ел). Часа в два был обед и всегда за столом (раздвижным, со множеством ножек) бывало человек десять-двенадцать. Семья была большая и всегда появлялись еще какие-то приживалки и нахлебники. Ели много всякой рыбы — любили леща с кашей, пироги с визигой, уху из ершей, особенно же карасей в сметане. Мне поджаривали особо крохотных карасиков, котрых я сам ловил в болоте за валом. Потом в скором времени подавали чай с вареньем и печеньем, а кончался день сытным ужином. За лето я круглел от всей этой снеди.

Всё хозяйство лежало на "Бабе Дуне", старшей сестре дедушки, которая весь день хлопотала и была грозой дома. Она была высокая, ростом с дедушку, смуглая, костлявая, с орлиным носом и орлиным взглядом, курила и говорила басом. Для других была ворчунья и "ведьма", со мной же была необыкновенно ласкова и нежна. Иногда, когда я уже шел спать, Баба Дуня приносила ещё в кроватку на сон грядущий что-нибудь "сладенькое", благословляла меня на ночь и укрывала.

Кроткая же бабушка Наталья Федоровна, мать моей мамы, была "белоручка", до хозяйства не касалась, что-то всё шила или вышивала (до старости очков не носила) или читала французскую книжку. Воспитана она была одной опальной фрейлиной, сосланной за что-то императором Павлом в Тихвинский монастырь, которая научила ее и "изящным искусствам". В зале над диваном висела картина бабушкиной работы — большая акварель в нарядной старинной раме — копия французской гравюры 18 века "Семья моряка в бурю", с длинной французской надписью, ею тоже очень тщательно скопированною.

По вечерам перед ужином, мы часто усаживались в саду с няней и моей бабушкой и напевали разные песенки: "Слети к нам тихий вечер, на мирные поля, тебе поем мы песню, вечерняя заря" (кажеться, это Языкова), или более старинную: "пчелка златая, что ты жужжишь, всё вкруг летаешь, прочь не летишь? Или ты любишь Лизу мою?" ("Лиза — это твоя мама", говорила бабушка). И таким миром веет и теперь на меня, когда я вспоминаю эти милые слова и мелодии. Во всей огромной семье я был единственным внуком и на меня изливалась вся нежность моей бабушки.

Дедушку моего Тимофея Егоровича я очень любил — он был добрый и ласкавый со мной, но на вид был строгий, был большого

роста, с длинной седой бородой, ходил в широкополой фетровой шляпе и с высокой тростью с серебянным набалдашником, как это приличествовало духовной особе его ранга.* На груди носил в торжественных случаях золотой наперстный крест с аметистами — предмет моего восхищения. Служил он необыковенно просто и проникновенно, голос его был удивительной красоты.**

Дед мой был человек общительный, можно сказать "светский", любил хорошо угостить и в доме его беспрестанно бывали гости. Любил он и поиграть в "картишки по маленькой". Помню у нас многолюдный вечер с танцами, когда мои дяди устроили и настоящий спектакль. В саду был сооружен театрик с красным кумачевым занавесом и разыгран был старинный водевиль "Петербургский булочник" с куплетами (некоторые, очень смешные, я до сих пор помню), а сад был иллюминован гирляндами разноцветных бумажных фонариков и плошками. Фонарики мы мастерили и сами, выдалбивая тыквы и большие огурцы, и ставя внутри огарок, — получались оранжевые и зеленые лампионы.

В доме бывало много офицерства — церковь деда была причислена к артиллерийскому ведомству. У дедушки были долголетние и по-видимому простые отношения с Великим Князем Михаилом Николаевичем (шефом артиллерии); он был даже крестным отцом младшего сына дедушки, друга моего детства, и дед, в свои редкие приезды в Петербург (он всегда останавливался у нас) каждый раз неизменно навещал Великого Князя запросто, хотя и надевал все свои регалии, среди которых был наперстный крест на Владимирской ленте и медаль за турецкий поход 1877 года.

В Новгороде я жил почти как в деревне и целый день был на воздухе, чего так недоставало в Петербурге. На дворе разгуливали и кудахтали куры, в коровнике жила питавшая меня своим молоком корова Машка. Я заглядывал и к ней в коровник и в конюшню, где навещал двух маленьких болгарских лошадок, привезенных с турецкой войны, и угощал их сахаром. У одной, Османа, было разрублено на войне ухо и я был горд, что у нас живет такой храбрый конь. Рядом же в сарае был сеновал, где я любил залезать с головой в ароматное сено.

*(Отец Тимофей Егорович Софийский был священником. Прим. ред.)

**Выросши, я узнал, что деда в городе высоко уважали за независимость взглядов. Между прочим, он имел смелость освятить в Новгороде новое здание театра, вопреки тому, что это дом неугодных церкви "лицедеев" и "скоморохов"; по тем временам он мог рисковать серьёзной опалой. Вообще, лишь позже, я мог понять, каким исключительным человеком был мой дед, особенно для своей среды.

Я спал в той самой комнате, где родился, оттуда был прямо выход в сад, а наверху в доме жили "большие", куда я постоянно бегал, взбираясь по страшно крутой и скользкой "черной" лестнице. По воскресеньям и праздникам утром меня всегда будил чудный бархатный бас колокола стоявшей по близости нашей колокольни (он звучал надо мной в самые первые дни моего существования!) и я просыпался в целом море звуков — пели на все лады колокола бесчисленных новгородских церквей, и среди них я всегда различал четыре особенных голоса — перезвоны звонницы далекого Софийского Собора. Утром, после чая у бабушек, я сбегал в сад, там меня ждала доска-качалка, подвесные качели и "гигантские шаги". Через сад шла берёзовая аллейка и вдоль нее росли корявые яблони. На одной, совсем старой, зрели наливные яблоки, такие белые и сахарные, каких нигде больше не приходилось встречать. Наш сад выходил на пустырь, сквозь щели забора был виден глубокий овраг, довольно страшный, поросший бурьяном; об овраге рассказывали разные легенды. За оврагом шли чужие вишневые сады, оттуда часто слышалась трещетка: это сторожиха, тетушка Анисья, отгоняла воробьев и воришек. Я любил забираться в наш огород, где приятно было полакомиться, прямо с грядки, маленькими колючими огурчиками или морковкой, которая пахла землей.

Неизменным товарищем всех моих игр и предприятий был мой младший дядя, Миня, который был лишь на два года старше меня. Нас очень соблазняли яблоки в соседнем саду и мы с замиранием сердца лазили через высокий забор, вовсе не считая это каким-то грехом, а наоборот, доблестной отвагой. Только панически боялись седого старика Дербушова, у которого лицо и борода были совсем, как у Николая Угодника. Он, заметив похитителей, кричал истошным сиплым голосом и со всех ног кидался в погоню, а мы в ужасе карабкались обратно через забор и возвращались с царапинами и ссадинами на руках и коленках. Но мы не только проказничали и играли в наши детские игры. Мой дядя Миня много рисовал и я восхищался, как ловко у него всё получалось. Усередно рисовал и другой, старший дядя, Николай, но он был вообще "горе семьи" и неудачник, и из рисования его ничего не вышло. В семье лишь посмеивались над неудачным "богомазом". Был он также и "стихоплёт", как непочтительно выражались о его поэзии, причем был чрезвычайно плодовит (говоря нам, что у него стихи сами собой льются) и норовил каждому читать свои бесконечные оды, большею частью высоко-патриотические, от которых, как говорили, "уши вяли", и мог уморить своими невозможными рифмами. Но был он

необыкновенный добряк, благодушно выносил все насмешки и сам шутил над собой. Недоросль, недотёпа, дикарь, чудак — как только его не честили! (А от Бабы Дуни ему доставалось, конечно, больше всего!) На людях он был отчаянно застенчив, неуклюж, рассеян, но был при этом в моих глазах "страшный силач", с каменными бицепсами, которыми перед всеми хвастался. Мы были приятелями.

Приятелем моим был и третий из моих новгородских дядей-Тима. (В семье было пятеро братьев, двое старших жили в Петербурге). Помню его студентом-технологом, страшно высокого, худого, длинноногого, и как бывало восхитительно, усевшись у него верхом на шее, мчаться как вихрь по березовой аллее через весь сад к кустам крыжовника — прямо на забор! Он очень хорошо играл на виолончели.

На нашей Прусской улице было тихо и сонно, распевали петухи, лениво лаяли собаки, изредка кричал мороженщик ("сахарно морожено") или громыхал водовоз и, если проезжала пролётка с седоком — это было событием, и в окнах домов и домишек, с неизбежными геранями, сейчас же показывались любопытные головы старушек и девиц. Домики почти все были деревянные и чередовались с заборами в широких щелях. Вдоль заборов тянулись "тротуары" — изгнившие доски, проросшие травой и крапивой, в дождь хлюпающие под ногами, и всюду были сады. Улица была замощена только до половины ее длины и недалеко от дедушиного дома уже кончалась булыжная мостовая и шли колеи, заросшие травой, как в деревне.

Забредали на нашу Прусскую улицу дурачки и юродивые, которых много в Новгороде — еще остаток былой старины. Этих безобидных "Божьих людей" берегли и жалели, только уличные мальчишки их донимали и бросали в них камушками. Захаживал сюда один злой старикашка в фуражке с кокардой, который грозил крючковатой палкой когда мальчишки бессмысленно распевали, прыгая вокруг него: "Старый хрен — безмен.

Когда шел дождик и приходилось сидеть дома, то сквозь заплаканные стекла из нашей "Залы" я видел зеленые крыши и главы Десятинного монастыря, выглядывающие из-за садов, длинный серый забор, покосившуюся калитку, на ней номер 17, и деревянный домик в три окошка, где за кисейной занавеской таилась "Сафониха", сплетница и язва всей Прусской улицы. Этот вид, когда мне было уже 11 лет, я нарисовал очень тщательно, и рисунок восхитил всех домашних.

Мне было дорого и мило всё то, что из года в год, приезжая в Новгород, я находил на тех же самых местах, в комнатах дедушкиного дома. В зале, где висела моя любимая бабушкина картина, стоял большой старинный диван красного дерева с ампирными закрутасами и длинный палисандровый рояль с красивыми бронзовыми украшениями на котором поигрывали мои дяди, а в углу стоял футляр с виолончелью дяди Тимы. На ней иногда играл и сам дедушка. (Вся семья была очень музыкальна. Мать моя окончила Консерваторию и обладала замечательным голосом. Двое из ее петербургских братьев — мой дядя Федя, юрист и филолог, был исключительно образованным музыкантом, и другой — Гога, артиллерийский офицер — оба отлично играли на фортепиано и наполняли музыкой всё мое детство). В этой зале, возле окон, стояли на полу и на жардиньерках кадки и горшки с разными комнатными растениями — камелиями, лапчатыми фикусами, олеандрами с кожанными листьями, а на окнах цвели лиловые фуксии и вытянулся высокий коленчатый кактус, на котором однажды неожиданно раскрылся удивительный оранжевый цветок.

Рядом в маленькой комнате, где "фриштыкали", т.е. завтракали, медленно и солидно тикали огромные английские часы с медными гирями и длинным маятником, — у них был необыкновенно красивый басистый бой. Тут же красовался киот-угольник, переполненный образами в серебрянных и золоченых окладах, и резными иконами из кипарисового дерева, и маленькими образками на финифти, — перед всем этим всегда теплилась красная лампадка. На стене в старинной раме, усыпанной черным блестящим песком, висел литографированный портрет знаменитого архимандрита Фотия, духовника имп. Александра 1.* Эта комнатка была особенно уютной; там была большая белая кафельная печь с медными отдушинами, к которой примыкала низкая лежанка, покрытая ковром, куда меня тянуло притулиться. Любил я рассматривать и разные картинки на стенах — овальные виды Италии с Везувием и развалинами под голубым небом, и фотографии в ореховых рамках; особенно мне нравились те, где фигурировал мой дядя Гога — офицер, снятый в Болгарии во время Турецкой войны героем, верхом на коне, со своими пушками. И была еще одна маленькая голландская картинка — какие-то коротенькие мужички танцевали вокруг дерева.

---

* Мой дед был его родной племянник. По словам моей матери, Фотий по-видимому его держал "в черном теле" и когда дед, будучи маленьким семинаристом, приплетался пешком из Новгорода в далекий Юрьев Монастырь поздравить своего знаменитого дядю с тезоименитством, то неизменно получал от него серебряный рубль. Рыжие волосы Фотия наследовали некоторые из моей родни.

Наш сад примыкал к беленькой церкви Михаила Архангела с пятью зелёными куполами, построенной в 12 веке, где дед был настоятелем. Она, к сожалению, была перестроена в 1852 г., но в ней сохранился старый высокий иконостас с пятью ярусами темных икон, маленькие оконца были забраны старинной плетёнкой, а на внешней стороне алтарной абсиды были втиснутые в толщу стены древнейшие каменные кресты необыкновенной формы с таинственными письменами "вязью". На церковном дворе росли два вековых дуба и трава под ними была всегда усеяна желудями, а на улице около входа в церковную усадьбу стояли на зеленых подставках-лафетах шесть старинных чугунных пушек — подарок Великого Князя Михаила Николаевича. Под этими лафетами расплодилось множество шампиньонов, которые мы, мальчишки, усердно собирали.

Я очень любил, когда меня водили в соседний с Прусской улицей девичий Десятинный монастырь. Во дворе среди зелени стояли длинные белые монастырские здания с кельями монашек. В этих мирных комнатах была необыкновенная чистота, на окнах висели кисейные занавески, на подоконниках стояли горшочки с цветами, блестел навощенный пол и пахло яблоками. Монашки были очень приветливы. Среди них были и старые с бледными и увядшими лицами, и молоденькие краснощекие (послушницы), у которых из под черного платка на спине забавно висела косичка, а ряса была стянута широким кожанным поясом. Они нас с няней угощали вареньем и сотовым мёдом, и было приятно поскучать в этом тихом монастыре. Посещая монастырь, мы всегда заходили и на заросшее травой монастырское кладбище.* Там лежали все родные и похоронили моего дядю Федю, который так нежно любил меня. Он умер, приехав из Петербурга. Это была первая смерть, какую я видел в моей жизни и она произвела страшное впечатление на меня.

В одну сторону от нашего дома Прусская улица вела к Сенной площадке, замощённой гигантскими круглыми, отшлифованными временем, скользкими булыжниками, между которыми росла трава. Там пахло сеном и дегтем — древним "русским духом", а низенькие дома жались к красной стене Детинца — Новгородского Кремля с его 9-ью башнями. Там же на площади стоял зеленый обелиск с орлом — памятник Отечественной войны (был сооружен по проекту Александра Брюллова). В другую сторону Прусская улица доходила до Земляного Вала, который опоясывал весь город. В Валу, на пересечении с улицей, был пролом и дальше за город шла дорога среди огородов с тыквами и огурцами. На месте пролома некогда стояла башня, от которой

*Потом я узнал, что там была, будто-бы, погребена Прасковья Лупалова — "Параша Сибирячка", героиня повести Ксавье де Местра.

осталась лишь кирпичная кладка по обеим сторонам пролома — старинные слоистые кирпичи, которые мы любили ковырять. Там зияли какие-то дыры; говорили, что это входы в подземные коридоры, ведущие неизвестно куда.

Мы с моим дядей Миней чувствовали себя настоящими потомками древних новгородцев, "новгородской вольницы", — что и было на самом деле, нам хотелось самим стать удалыми витязами. И наши игры становились всё более воинственными.

В нашем саду, у забора, там, где он примыкал к мрачному пустырю, мы соорудили "бастион". Мы много потрудились, помог и силач дядя Коля, чтобы насыпать горку. Враги же были мальчишки из соседней Чудинской улицы, с которыми страшно хотелось сразиться. Но до сражений дело дошло только один раз. Наша "Прусская рать" была немногочисленная, сынишки дьякона — Серёга и Петька, еще два мальчугана с нашей улицы и мы с Миней (я самый маленький). На наш отряд эти враги однажды напали на Валу, и я себя показал храбрецом (меня потом очень расхваливал Коля, который впрочем во время боя из осторожности сидел на бастионе и оттуда издали нам кричал и подзадаривал, кусая от нетерпення ногти). Я выскочил вперед, но, конечно, не отпускавшая меня одного, няня замешалась в сражение и какой-то мальчишка ударил ее палкой по уху (после чего она даже надолго оглохла). Наша вражда с Чудинцами была, конечно, наследственной от тех времен, когда один "конец" Великого Новгорода выходил на другой биться "смертным боем!" В детстве я слышал, что еще не так давно эти драки доходили до поножовщины и что для усмирения буянов духовенство "подымало иконы" и на место этих побоищ ходил с хоругвями крестный ход. При мне это уже было запрещено и ушло в область преданий.

В Новгороде я жил среди преданий и назван я был при крещении Мстиславом в честь Мстислава Храброго, святого князя новгородского, жившего в 12 веке. Меня водили в Софийский собор прикладываться к исполинской кожаной руке моего патрона и было удивительно подумать, что эти мощи и есть тот самый удалой князь и богатырь, который жил столько веков назад. От моих родных я слышал, что наша Прусская улица в старину была местом, где жили новгородские бояре, но, разумеется, в пожарах и разорениях несчастной истории Новгорода ничего от этого не осталось. Когда же строился дедушкин дом, был найден клад — глиняные кувшины, до краев наполненные серебряными деньгами времен Грозного (весь этот клад дед передал в музей), и мне чудилось, что вся земля в Новгороде полна таких кладов. Когда приезжал мой отец, он всегда вооружался

лопатой и делал в саду маленькие раскопки и действительно что-нибудь находил — то человеческие кости, то череп, то круглые ядра, даже монетки.

Мы с моей няней бывали часто в древнем Софийском соборе. Над главным куполом, на кресте, сидел серебряный голубок. Я допытывался у старших, почему он там сидит? Мне сказали, что когда царь Иван Грозный избивал новгородцев, прилетел этот голубь, "святая птица", и видя казни, от ужаса окаменел — так и остался с тех пор на кресте. Внутри собора всегда был холодок, полумрак и тишина, было таинственно и немного жутко. На большой высоте в центре купола был изображен огромный темный лик Вседержителя и виднелась рука Его, сжатая в кулак — было страшно узнать, что Спаситель держит в этой руке весь Новгород и что когда будет конец света, то рука раскроется и голубок с креста улетит. В притворе, где лежали мощи князя Мстислава в серебряной "раке", покрытой толстыми украшениями и фигурами, были совсем маленькие царские врата с мелкой золотой резьбой, и эта драгоценность и всё, что я видел в Соборе — "халдейская пещь огненная" со странными фигурами, и царское место с высоким верхом — всё меня занимало, особенно медные "корсунские" ворота во дворе (на самом деле они были "Магдебургские"), на которых я с любопытством рассматривал выпуклых человечков, ангелов, львиные пасти со змеями и кентавров.

Было интересно ходить и вокруг памятника тысячелетия России напротив Собора и узнавать на нем разных царей и героев в кольчугах и латах. Среди царей Ивана Грозного не было: депутация новгородцев просила Александра Второго не ставить ему памятника.

Гуляя с няней по городу, мы заходили в Летний Сад (Говорили, что его липы были посажены пленными французами в Отечественную войну). Сад тянулся вдоль глубокого крепостного рва, за которым высились и казались мне необыкновенно величественными кремлевские стены.

Когда я попадал на Волховский мост и глядел в желтую воду, я всегда вспоминал то, что мне читал папа о Садко и о варягах, плывших на своих ладьях по Волхову на пути "в Греки", и о новгородских "долбежниках", которых топил тут у моста Иван Грозный (мне говорили, что вода в этом месте никогда не замерзает, и это казалось особенно страшным). За Волховым, на Торговой стороне всё было иным и не совсем "своим" — я был патриотом нашей Софийской стороны, но и там на площади где возвышалась вечевая Башня Ярослава с зеленым "шатровым" верхом, так же, как и на нашей Сенной, пахло сеном и в добавление еще дегтем и кожами: там тянулись низенькие желтые "ряды" с москательным, скобяным и

кожевенным товаром, а на берегу Волхова продавали на лотках рыбу и стоял рыбный дух, столь же вероятно древний, как сам Новгород, где шумело некогда бурное Вече и текла самая будничная жизнь.

У меня, ещё совсем маленького, ко всей этой старине, которая была перед моими глазами и которой я касался своими руками, росло особенное чувство — как к святыне. И как всё, что я слышал о древнем Новгороде, действовало на мое воображение!

Вал, весь заросший густой травой, был любимым местом наших прогулок. Он мне казался огромной высоты. В сторону города он был отлогий, к полям же спускался почти обрывом, и тут, где тянулся в древности крепостной ров, было длинное и узкое болото. В нем я ловил сеткой для своей коллекции и для папиного аквариума водяных насекомых, толстых жуков "плавунцов", быстрых гладышей-тритонов и плоских болотных скорпионов. Там водилось и одно забавное насекомое, бегающее по воде на тоненьких лапках, которое мы, неизвестно почему, называли "ранатра", плавала зеленая скользкая лягушечья икра и вертелись резвые смешные головастики. На Валу в августе, лавочники с Сенной площади варили брусничное варенье. Для котлов рыли в глиняной толще Вала небольшие ямы и нам разрешалось добывать длинными лучинками соструганными в виде лопаток, превкусные, обжигающие язык, пенки. Это было, среди едкого дыма, на вольном воздухе, особенно лакомо.

За Валом шли огороды и полосатые пашни, и в одном месте тянулась наискось серая линия домишек пригородной слободы (у нее была дурная слава: говорили, что в ней живут какие-то "живодёры" и "коновалы" и цыгане, ворующие детей). Среди полей лежала оазисом темная густая роща Петровского кладбища (там жил рыжий священник по фамилии Азиатский, со своими невероятно веснущатыми поповнами), а на горизонте синели "дремучие леса", куда мне так хотелось попасть и так и не удалось никогда, — истинно "манящие дали" — впереди же торчала унылая труба кирпичного завода. Она мне как-то досадно мешала и придавала всему пейзажу непонятную печаль

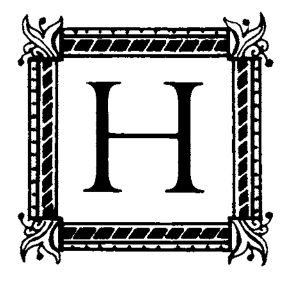
В другую сторону с Вала виден был весь Новгород с густыми садами, с серыми, красными и зелеными крышами и с главами и главками бесчисленных церквей и соборов. Вдали белела Ефремьевская колокольня с зелёным шпилем; над кирпичными стенами Детинца высилась, почерневшая от времени, уступчатая остороверхая башня — зловещий "Кукуй", вокруг которого постоянно вились голуби, в центре же всей панорамы блестел червонно-золотой шлем Святой Софии. Сбоку виднелась пожарная каланча, с черными шарами, сигналами пожара, а ближе всего раскинулся среди зелени

тихий Десятинный монастырь. Над городом вечно крутились тучи галок и воронья, а под вечер стремительно носились стрижи, и порой на сером небе по ветру маячил белый бумажный "змей" с мочальным хвостом, и вся эта мирная родная мне картина на веки врезалась в мою память.

В начале сентября мыс няней уезжали в Петербург и все домашние на перерыв целовали и благославляли меня, а добрая моя бабушка утирала слезинку. В Петербург приезжали поздно вечером (однажды, в сентябре, падал снег!) и всегда с вокзала мы ехали домой в карете — что было особенным удовольствием. Я привозил новых бабочек и жуков для своей коллекции и новых жителей в наш аквариум, возврашался опять в мою милую детскую, к моим книжкам, к папиному чтению, к моему рисованию. Начиналась снова моя петербургская жизнь с моим отцом, который был солнцем моего истинно золотого детства.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

НОВГОРОДСКАЯ РОДНЯ



А ВСЮ зиму в моем петербургском детстве Новгород уходил из моего мира, и я как-то даже забывал его, лишь изредка приходило коротенькое письмецо от моей бабушки с поцелуями и благословеньями, сам же я никогда зимой там не бывал.

Приезжал в Петербург один дедушка Тимофей Егорович, и то редко, и останавливался у нас. По приезде он шел к В. Кн. Михаилу Николаевичу по делам церковным и тогда надевал все свои регалии. (У него был замечательный наперстный крест с самоцветными каменьями), подношение прихожан, в числе которых числился также и Вел. Князь (и другой наперстный, на владимирской ленте, и орден св. Анны.)

В эти приезды он неизменно навещал дедушку Петра Осиповича, который по словам моего отца, относился к о. Тимофею, человеку независимых взглядов и бессеребреннику, с большим уважением.

Казалось, что могло быть общего между ними, двумя "сватами", людьми разного происхождения, различной веры и общественного положения, но оба моих деда были чадолюбивы и многосемейны и семейные горести каждого, конечно, их объединяли, и они не могли не делиться этим.

А одно горе было общим для обоих: мучительный бракоразводный процесс их детей, — моего папы и мамы, который только что был начат тогда, но это было так бережно скрыто от меня в моем детстве, я же был единственный общий их внук.

Другой связью с Новгородским миром было то, что в Петербурге постоянно жили двое братьев моей матери — дядя Гога и дядя Федя, последний жил очень далеко от нас, но к нам нередко приходил, а дядя Гога, которого я называл дядя "Го", всё моё детство прожил в одной с нами квартире.

Он был, как и мой папа, артиллерийский офицер, раньше служил в Новгороде, и был лет на 10 его моложе, и обитал у нас в узенькой комнате рядом с моей детской. Там стояло его ложе, складная походная кровать, проделавшая с ним всю недавнюю турецкую кампанию. Он был очень высок (в дедушку Тимофея Егоровича) и очень красив со своей золотисно-рыжей бородой, которую, как и мой отец, расчесывал на две стороны.

Я часто думал: какое происхождение рода моей матери? Откуда взялись у некоторых из моих дядей орлиные носы, рыжие волосы и огромный рост? Новгородская земля спокон веку была областью подлинно интернациональной, тут говорили, как при вавилонском столпотворении на всевозможных языках, и кого только не заманил сюда путь "из варяг в греки", а позже торговый ганзейский союз?

Со мной он был очень ласков и нежен, называл меня "Копка" (так прозывалась на моем детском языке моя любимая булка — "подковка") и распевал это словечко на все лады, нося меня 3-4х летнего на своем плече, а мне представлялось, что я под облаками. У него я научился разным солдатским песням: "солдатушки — бравы ребятушки, где же ваши жёны? — наши жёны — пушки заряжёны, — вот, где наши жёны" и т.д., или "Шуми Марица окровавленна, плаче вдовица, люто — ранена" — (эта была привезена с войны из Болгарии) и я их пел в моей детской, раскачиваясь на моей лошадке — качалке. Раз дядя сделал мне замечательный подарок — принёс стакан прямо с фабрики, на котором красивыми матовыми буквами было выведено моё имя "Славушка" — "стакан особенный, не бьющийся, — (сказал дядя) — вот посмотри!" Он бросил — и не ожиданный эффект: от стакана остались только оскольки. Как было тут не расплакаться?

Моего дядю я часто не видел несколько дней подряд, он уходил на службу, когда я еще спал, а возвращался домой уже ночью. Образ жизни он вёл рассеянный и легкомысленный и "пропадал" либо в гостях, либо в театре. В оперетке тогда блистала Жюдик, а в балете всех сводила с ума Цукки, и эти имена, как и названия театров — Аркадия, Ливадия и Кинь — Грусть в Новой Деревне мне были знакомы с детства.

По возвращении из театра на другой день, а иногда и сразу, дядя

садился за роял и тогда до меня из третьей комнаты, нашего зала, доносились прелестные мелодии "Периколлы", "Корневильских колоколов", или "Прекрасной Елены", — музыкальная память у дяди Гоги была замечательная и многие из этих мотивов так уютно связаны у меня с моим детством!

Перед самым нашим переездом в Кишинев дядя женился. Он очень долго не решался делать предложение хорошенькой и веселой Верочке А., влюбленной в него; как все его ни толкали на это, но в конце концов он решился и предложил руку и сердце едучи с ней на извозчике, и помню, как над этим у нас смеялись. Я был "мальчиком с образом" на его венчании в церкви Академии Художеств (не знаю почему венчание состоялось именно в этой церкви) и шествие (во главе со мной) должно было пройти длинный ряд зал с громадными картинами. Когда церемония была окончена, я был посажен в карете вместе с "молодыми" и все время отворачивался усиленно, глядя в окно, т.к. замечал, что они стеснялись при мне целоваться.

Потом дядя на очень долгое время исчез совсем из моей жизни — служил в той самой 22-ой артиллерийской бригаде, с которой проделал Турецкий поход 1877-78 г., потом в Варшаве, где его жена довольно долго пела в Опере и пользовалась большим успехом (выступала под фамилией Верони) — у нее было отличное меццо-сопрано. Вновь я встретился с обоими, когда уже был студентом...

Другой брат моей матери, дядя Федя Софийский, музыкальности был по-видимому исключительной. Приходя к нам, он всегда садился за рояль и долго играл или что-нибудь на память, или импровизировал. Мой отец вспоминал, что всегда это было что-то "божественное" или "церковное". (Моя мама мне впоследствии объяснила, что он обожал Баха...). У него самого, по бедности, инструмента, конечно, не было, но он брал из библиотеки ноты для прочтения и по словам папы, читая, восхищался тем или иным местом; помню, как меня удивило, когда я узнал, что ноты можно читать, как книгу. Он окончил юридический факультет "кандидатом прав" и служил в военно-окружном суде, но в то же время продолжал ходить в университет и занимался химией на естественном отделении физико-математического факультета. Он был точно обуреваем какой-то жаждой знаний и был подлинно энциклопедически образованным человеком. Бесчисленные записные книжки, оставленные после его ранней смерти, именно говорят об этом. Он знал все европейские языки, даже испанский, итальянским же владел в совершенстве.

Как я раньше упоминал, мы с отцом однажды его навестили.

Дядя снимал комнату на одной из очень далеких "линий" Васильевского острова и помню, как меня поразило, что у него, кроме узенькой кровати и стола, вся "обстановка" состояла из одного стула и множества книг, которые грудами лежали на полу. В углу же их была целая гора — это изданное им самим в его переводе с итальянского "Воспитание Характера" Габриелли, и разумеется при его полной непрактичности никто у него этих книжек не покупал. Когда несколько их появилось в библиотеке моего отца, на их лиловой обложке, где изображены были какие-то флаги и знамёна, я прочел девиз на всю жизнь мне запомнившийся: "Пусть себе рухнет мир, я без страха паду среди развалин". В детстве я хотел быть храбрым и эти слова страшно мне нравились.

В суде он бывал защитником "по назначению" в разных политических процессах и у нас сохранялись копии некоторых обвинительных актов и его защитительных речей (это было в начале 1880-х годов и вероятно это были процессы в связи с "Землей и Волей", "Чёрным Переделом" и проч.)

Дядя был очень худ и очень высок, даже выше дяди Го и я называл его "дядя Федя тонкий", в отличие от папиного брата "дяди Феди толстого". Он говорил тихим голосом, носил редкую бородку и когда снимал свои голубоватые очки, его грустные глаза под чёрными бровями светились необыкновенной добротой. (Очки резали ему переносицу и он подкладывал под оправу какую-то розовою бумажную полоску.) Он постоянно кашлял и лечился (помню вату в его ушах) и на улице кутался в вязаное кашнэ и студенческий плед. Был он до щепетильности чистоплотен и брезглив и, конечно, очень мнителен.

В жизни это был настоящий аскет (внучатный племянник Фотия!), был целомудрен и боялся женщин — и в этом доходил до забавных крайностей. Когда в квартире на Васильевском, где он снимал комнату, рядом с ним поместилась особа легкомысленного поведения, он упросил хозяйку очистить эту комнату и платил за неё, не пользуясь ею. Пока он не поступил на службу в суд, он существовал, давая уроки, занимался ещё перепиской нот и на гроши, которые зарабатывал, покупал книги, да ещё содержал жившего при нем брата Николая, недоросля, выписанного им из Новгорода. (У того были способности к рисованию и он поместил его в Школу Общества Поощрения Художеств, но ничего из этого не вышло).

Доброта дяди (Феди) была поистине святой, скромность и застенчивость его смешила и даже сердила моего папу, который любил его, но считал ужасным чудаком, и когда он приходил к нам, отцу стоило большого труда уговорить его остаться обедать. Николай же иногда тайком от брата прибегал к няне на кухню, чтобы

утолить свой волчий аппетит, а няня заодно стригла ему хохлы и подрезала когти.

Помню, как незадолго до своей смерти, однажды дядя, обняв меня, когда мне шел 8-ой год и я уже начал читать, сказал мне своим тихим голосом: "Люби книжки — это не то что конфетка, её съешь и не будет, а книжка останется, хорошую же книжку прочтешь много раз и всегда она тебе будет доставлять радость и будет твоим другом"... Это милое и наивное наставление я запомнил.

Гнилой Петербургский климат, вечные простуды, недоедание, переутомление — всё это расшатало его слабое здоровье (говорили ещё, что он случайно отравился чем-то в лаборатории) и, очевидно, в предчувствии конца его потянуло в родное гнездо, в Новгород. Там он долго и мучительно умирал, и когда в то лето мы с няней, как обычно, приехали в Новгород, это были его последние дни. Тогда не знали, что туберкулёз заразителен, но я редко заходил наверх к дяде — ему уже было трудно говорить из-за жестоких приступов кашля, когда он задыхался.

Бабушка моя не отходила от него ни днем, ни ночью и сын умер в ее объятиях. Перед смертью он совсем помешался от диких страданий и безумного отчаяния, что должен умереть. Ужасные подробности я узнал потом от родных. Его смерть и похороны меня потрясли и я никогда после не мог забыть этот мертвый оскал зубов, коротко остриженную голову, которая жалко качалась, когда несли в церковь его открытый гроб, и особенно ужасала гробовая крышка, стоявшая в ожидании в церкви во время отпевания, и потом этот глухой стук молотков, когда заколачивали гроб навеки. Вдруг я понял это *навеки* и это так было страшно. Почему то, очень любя дядю, я совсем не плакал, а был точно в какой-то каталепсии. Я впервые понял огромный *ужас* смерти, может быть это как бы парализовало меня....

Похороны были торжественные в нашей маленькой церкви; отпевал дядю сам Архиепископ Новгородский в сослужении с моим дедом, и каково было дедушке хоронить собственного сына, его "надежду".... Из Петербурга приехала какая-то депутация с большим венком и было неожиданно видеть на нашей захолустной Прусской улице у заборов каких-то людей, профессоров или приват-доцентов, в чёрных сюртуках и цилиндрах, которые шли за гробом.

Дядю похоронили в соседнем Десятинном монастыре на кладбище, заросшем травой, среди белых стволов берёз, где лежали и все родные. Ему было немного больше 30 лет.

После него осталось много рукописей и заметок и я всю жизнь не могу себе простить греха, что, ставши взрослым, по непонятной халатности не разыскал драгоценного сундука, который после смерти дяди много лет оставался в Новгороде у родственников, Забелиных, и ничего бы мне не стоило тогда передать (сундук) в любое хранилище. (Там была и икона, завещанная мне бабушкой...) Странно, что и родственники ничего не сделали с своей стороны, чтобы куда-нибудь, если не мне, передать этот небольшой архив.... Так и ушла в забвение эта оригинальная и, видимо, столько обещавшая личность.

Когда я поступил в гимназию, связь моя с Новгородом оборвалась — мы с отцом уехали из Петербурга, сначала в Кишинев, потом в Вильну, и гимназистом я лишь раза два заезжал в Новгород он оставался совершенно таким же, как в моем детстве, но этот мир совсем уходил из моей жизни. Потом вдруг наступила полоса смертей — умерли один за другим мой дядя Миня, дедушка, "баба Дуня", — остальные разъехались из Новгорода. Скоро умерла и моя кроткая бабушка Наталия Федоровна необычною смертью: ее застала страшная гроза на Волховском мосту и оглушил удар грома. Старушку отнесли в ближайший дом, где она, не придя в себя скончалась и город для меня совсем опустел.

Однажды я попал в Новгород будучи студентом. В призрачном тихом пересвете белых ночей белокаменная святая София с ее шлемами-куполами и моим любимым голубком на кресте — была сказочно красива. Я заглянул на мою сонную Прусскую улицу — она так же мирно заростала травой, и поглядел на мой родной дом, но там жили уже другие люди.

Потом я заезжал в Новгород уже зрелым художником — в 1903-1904 г. и сделал довольно много рисунков с натуры: Вечевую башню во дворе Ярослава, Сенную площадкь с пожарной каланчей, панораму города с Вала, купола Десятинного монастыря и дом, где я увидел свет.

Я ездил туда с Игорем Грабарем; с ним я тогда был уже в большой дружбе. Он делал в Новгороде фотографические снимки разных церквей и их деталей для своей Истории Искусства, которую начал только-что издавать, и я ему помогал возиться с фотографическим аппаратом; был ветряный весенний день и помню, как на "юру" трудно было делать эти снимки. Благодаря Грабарю я тогда увидел много нового, еще мне неизвестного в Новгороде: меня интриговавшую в детстве всегда запертую маленькую церковь 12-ти Апостолов "на пропостях" у самого Вала, где богослужение совершалось лишь раз в году — туда мы проникли; были и в далёкой

Спас-Нередице, где красовались нетронутыми ее древние фрески, и в Юрьевом монастыре, где почему-то ни разу не пришлось быть в детстве, и который издали всегда веселил глаз блистающими на солнце куполами. Там в ризнице видели разные удивительные сокровища, пожертвованные в монастырь графиней Орловой-Чесменской — самой богатой в оное время в России, почитательницей архимандрита Фотия.

Храм св. Софии уже был тогда реставрирован Сусловым и мне не нравились его переделки; раньше, нахлобученная зеленая крыша, как мне вспоминалось, придавала Собору больше старинности. Но внутри было всё так же таинственно и грандиозно. Вседержитель держал в сжатой деснице судьбу Новгорода и голубь сидел на кресте золотого купола. Всё в Новгороде оставалось прежним и ни одного нового здания не выросло.

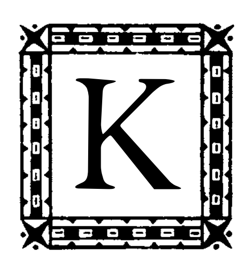
И самая теплая память осталась от последнего моего посещения Новгорода вместе с моим отцом, перед самой войной 1914 года. Отцу захотелось на старости лет еще раз увидеть те места, где он жил совсем юным артиллерийским офицером и где женился на моей матери. Мы всюду побывали, зашли и на Прусскую улицу, по прежнему спящую мирным сном, и я зарисовал опустелый дедушкин дом со старыми березами, которые его осеняли и стали еще выше, чем были в моем детстве. Я и не знал, что мы оба прощаемся с Новгородом навсегда.

Поехать в Новгород после революции я сознательно не желал, хотя и мог бы поехать. Новгород был точно "разжалован": в те годы и старина, и религия были лишены всякого уважения. Старинные многовековые названия новгородских улиц, знакомые мне с детства: Легощая, Разважская, Коржевская, Чудинская, Прусская и другие были упразднены и вместо этих имен оскорбительно и безобразно звучали в Новгороде имена Лассаля, Либкнехта, Бабеля, Розы Люксенбург и других врагов старого мира. * Моя Прусская улица стала "Улицей Желябова". И не хотелось даже и думать о страшной судьбе монашек Десятинного монастыря, милого мне по детству: там водворилась Че-Ка. И я предпочел сберечь в моей памяти Новгород таким, каким знал его в прежние мирные годы.

*Сведения об улицах Новгорода см: М.В. Муравьев. — Новгород Великий. Исторический очерк и путеводитель. 1921 — 22 г., стр. 140

ГЛАВА ПЯТАЯ

НАША ПЕТЕРБУРГСКАЯ КВАРТИРА



ВАРТИРА, где прошли мои детские годы, была для меня целым маленьким миром. Отец мой всю жизнь мечтал жить ближе к природе (впоследствии в Кишиневе и в Вильне ему временно это удавалось) и нашу петербургскую квартиру превратил в подобие сада, с птицами и даже со зверьками: к моему великому удовольствию в особом домике в углу залы жили одно время юркие мышки с красными глазками, а потом их сменили добрые морские свинки. Жили у нас в разное время и белая борзая собака, красавица Нана, пока ее не украли, и рыжая дворняжка Джек, который удрал, изменив нам, и ежик Федя — до самой своей преждевременной смерти. И сколько связано с этими милыми существами моих детских воспоминаний!

В нашей большой зале (пять окон) росли в перегонку со мной в горшках и зеленых кадках тоненькие пальмы, фикусы, олеандры, золотое дерево, рододендроны и любимые папины цветы: камелии, розы, фуксии и в длинных ящиках — резеда. Были и странных и страшноватых форм кактусы, у которых цветок вдруг выростал в неожиданном месте.

В одном из огромных окон отец устроил клетку для птиц, забрав сеткой высокую амбразуру — они в нашем старом аракчеевском доме были необыкновенной глубины — и разнообразное щебетание и радостные звонкие трели канареек раздавались с самого раннего утра. И как всё это веселило мою детскую жизнь! Кроме канареек у нас жили снигири с красной грудкой, издававшие скрипучие звуки несложной песенки, зелено-серые клесты — северные попугайчики с загнутыми клювами и ворковал большой розовый египетский голубь.

Раз одна канарейка заболела и отец ее поил осторожно касторкой.

В сумерках по всем комнатам начинал бегать, смешно и быстро стуча ноготками своих лапок, мой ёжик "Федя" и я забавлялся, трогая его острые иголки, и когда он скатывался шариком, щекотал его мягкое и тёплое брюшко, причем он забавно фыркал. Прожил он довольно долго, но конец его был печальный — он залез в калошу, приняв ее за норку, и задохся. Разумеется, я очень плакал.

Центром всего нашего домашнего царства флоры и фауны — был громадный аквариум — стоявший посреди нашего зала. В этот шестиугольный аквариум входило больше 6-ти ведер воды! Отец соорудил его сам из толстых зеркальных стёкол и на соединении их, на каждом ребре, были колонки из туфа ("ропшинский камень"), состоявшего из трубчатых окаменелостей, на верху же каждой колонки была водружена чаша, где росли вьющиеся растения и "плакучие" травы.

В середине аквариума высилась большая скала из того-же туфа с подводными пещерами, арками и даже фонтанчиком, скалу же венчал замок с башнями, вырезанный отцом из пробковой коры. Там было жилище зеленых ящериц Агафьи и Балтазара и маленьких черепах. Я с великим интересом следил за долгой и кропотливой работой моего отца, когда он по вечерам, засучив рукава, возился с этим ропшинским камнем и цементом — таким памятным остался запах этого цемента! Больше всего меня восхищал этот зубчатый замок с окошечками из цветной фольги.

В аквариуме жили разные рыбки и не только золотые, а раз появились очень страшные "бычки" с усами, но они оказались хищниками и их убрали. В воде плавали тритоны с зубчатым гребнем на хвосте, разные болотные жуки (толстые "водолазы", быстрые "гладыши"), чудовищного вида полупрозрачная личинка стрекозы, у которой хищно выдвигалась нижняя челюсть, хватавшая пищу, вертелось множество веселых головастиков, вылуплявшихся из лягушечьей икры на дне аквариума, а к внутренней стороне стекла всегда присасывались улитки. Рядом с аквариумом в большой стеклянной вазе целый день спали подаренные дедушкой два ленивых и жирных мексиканских "аксолота" — темно-синие ящерицы — амфибии с плоскими головами и ветвистыми жабрами — существа редкостные. Рыб, птиц и корм для них (муравьиные яйца) отец покупал в моем любимом магазине Муллерта в подвале на Караванной, а разную болотную нечисть он привозил каждое лето из Новгорода, где я гостил у дедушки и бабушки.

Однажды произошел трагический случай. Отец, приехал из Новгорода, нес в толпе пассажиров на Николаевском вокзале

большую стеклянную банку из под варенья, завернутую в бумагу, с этой драгоценной добычей для аквариума; веревка оборвалась, банка разбилась вдребезги, а жуки, головастики и лягушки запрыгали по полу. Дамы стали визжать и подымать юбки. Что оставалось ему делать, как не продолжать путь точно всё это его не касается, оставив на произвол судьбы несчастных пресмыкающихся и гадов.

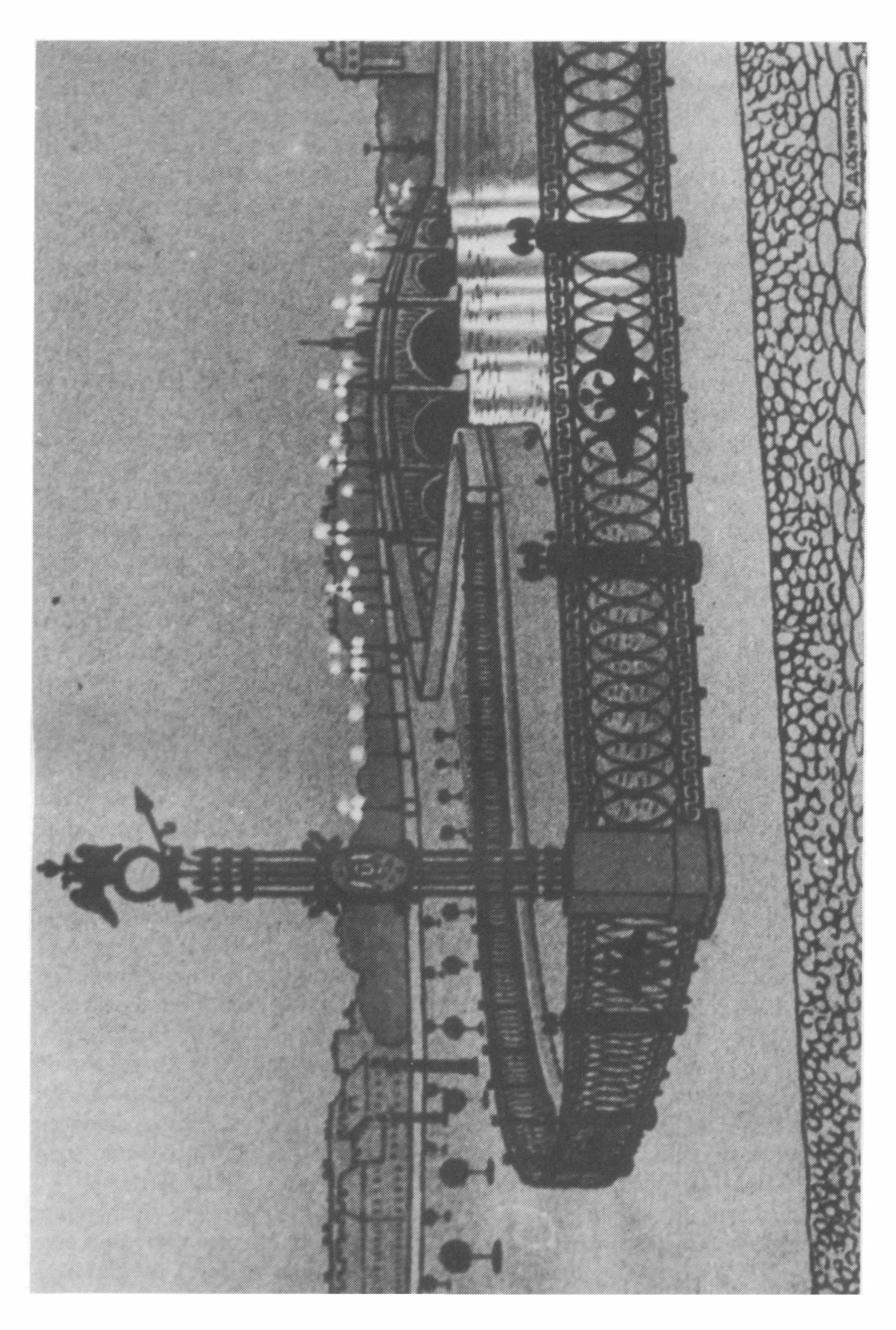
И аквариум, и растения, и птицы требовали самого заботливого ухода, деньщики наши и сам отец ежедневно чистили клетку, насыпали корм и наливали воду для птиц и была целая процедура с гутаперчевыми трубками, чтобы менять воду аквариума. Иногда к нам приходил хромой ученый садовод из Ботанического сада, через которого отец приобретал многие растения. Он давал разные советы и ревизовал аквариум.

Отец был по призванию, в сущности, натуралистом; он собрал и целую библиотеку по естествознанию. Служа в Туркестане, он встретился там с известным тогда путешественником и энтомологом Федченко и по его примеру собирал насекомых. Большую коллекцию он оттуда послал в Академию Наук и получил какой-то диплом. Страсть свою он передал мне, и еще в детстве, где бы я ни проводил каникулы, я ловил бабочек и это продолжалось лет до 14-ти. Несколько ящиков с коллекцией украшали стены моей комнаты.

Наш аквариум не был лишь большой игрушкой, всё его население было предметом внимательных надблюдений отца. Он вёл подробные записи и собирался, но так и не собрался, напечатать об этих наблюдениях и составлял руководство к устройству домашних аквариумов. У него осталось много любопытных черновиков и всё это с понятным умилением я прочел, будучи уже сам на склоне своих лет.

Отец был человек вкусов не обычных и квартира наша не походила на другие, которые я знал. Он не терпел ненужных мелочей в обстановке, и банальных рыночных вещей — ни ширмочек, ни пуфов, ни полочек — у нас в комнатах было просторно и даже пустовато. Комнаты освещались керосиновыми лампами (до электричества еще было очень далеко!) — в столовой и детской висячими, а в других комнатах стенными, в виде бра. У всех были стеклянные матовые шары-абажуры, а на верху ламповых стекол вертелись, иногда повизгивая, малнькие слюдяные мельницы-вентиляторы, предохранявшие от копоти. Лампы по всей квартире зажигал наш деньщик, становясь на табуретку.

Много лет у нас служил деньщиком — и я с ним очень сдружился, — Василий или "Василёк", как мы его звали; солдат (точнее "канонир") Петропавловской крепостной артиллерии (была такая), он был и наш "маршал-скороход", как его называл папа. Телефонов тогда и в



М. В. Добужинский. "Петербург. Троицкий Мост". Тушь и акварель. 1903

помине не было, и он шагал или ездил на "империале" конки по всему Петербургу с записками, то к дедушке Петру Осиповичу на Николаевскую, то на Васильевский Остров к дяде Феде, то забегал еще "по дороге" в Измайловский полк к тёте Кате. (Носил он, как полагалось тогда деньщикам, военный сюртук офицерского покроя без погон (донашивал папин) и с костяными черными пуговицами, вместо медных). Утром Василёк или другой наш деньщик, Кузьма, он же повар, топил печи и всегда с грохотом кидал на пол вязанку березовых дров, от которых вкусно пахло морозом. И когда разгорались с треском дрова и гудело в печке, в комнатах становилось еще уютнее.

В моей детской и в столовой печи были круглые, цилиндрические, в других комнатах белые кафельные; дверцу чугунной печки украшал или выпуклый трофей-каска с оружием, или колесница-квадрига, где у лошадей гривы были в виде гребня и все 4 коня подымали, как солдаты, в ряд одну ногу. Это были очень хорошие ампирные барельефы — наследство от графа Аракчеева во всех квартирах нашего дома.

В белом "зале" (белые обои с золотым узором), где красовался аквариум и зеленела наша домашняя флора, стояло фортепьяно и довольно милая мягкая мебель, capitonné, обитая кирпичного цвета репсом с плоскими пуговками — единственная, кажется, у нас дань тогдашней моде. (Я любил запах пакли, ее "начинки"; когда я прятался за диваном в прятки, то от скуки ковырял обивку.)

На стене висела хорошая копия "Итальянки с виноградом" Брюллова — работа сестры отца — тёти Кати Маклаковой, и масляный пейзаж Кившенко из окрестностей Петербурга. (В пейзаже среди болотных кочек, мне всё представлялись какие-то чудовища) В том же зале на кисейных занавесках отец повесил несколько чучел летучих мышей, которые всегда пугали M-me Priot, мою гувернантку. Ее ужасал также череп, стоявший в кабинете, и она всегда прикрывала его носовым платком, чтобы его не видеть.

В столовой я сызмала любовался лубочной картинкой в красках — бомбардировка Соловецкого монастыря англичанами в 1855 году: бомбы русских артиллеристов летают по круглым траэкториям и успешно попадают в английские корабли. Было на стенах еще несколько хромо-литографий: "Танец Тамары" Зичи, "Русалки, играющие с луной" Микешина и "Волжские барки" Васильева.

Над обеденным столом висела лампа под абажуром с медным шаром для противовеса. Туда была насыпана дробь для тяжести, что мне почему то нравилось, и когда я ел суп, то совсем еще маленьким заметил, что лампа отражается в каждой капельке жира.

На обед у нас было всегда два блюда и "сладкое", и когда делался компот, то он подавался в моей любимой глубокой большой саксонской тарелке с двумя медальонами, где среди кудрявых деревьев гуляли кавалеры с дамами в робах, а посредине была громадная роза.

Тут в столовой каждый день после нашего обеда, который мы кончали около 6-ти часов, папа читал мне вслух, иногда же это делалось в кабинете, но в столовой почему то слушать чтение было уютней. В кабинете же мы с ним что-нибудь клеили и вырезали, — а этого дела всегда было много, — особенно перед Рождеством, когда готовились украшения к ёлке.

Комнату свою отец собственноручно оклеил тёмными, гладкими обоями в два тона — темно-зеленым с коричневым — и обрамил стены узеньким золотым багетом. Думаю, что это было очень distingue. Кабинет служил и его спальней и был альков с тёмно-зелеными занавесками. На шкапу и на полке для книг стояли чучелы совы, белки и ястреба — изделия Новгородского чучельника, моего конкурента по собиранию насекомых, а одну стену сплошь занимала коллекция оружия, часть которой отец приобрёл при распродаже запасов арсенала Петропавловской крепости, но было и оружие, привезенное им из Туркестана и дядей Гогой из Турции. Тут были страшные турецкие ятаганы с кривыми клинками — и на одном из них мне казались следы крови, а ручка, я был уверен, была из человеческой кости (врага); были кавказские кинжалы и бухарские, в медных ножнах с мелким узором, шпаги с надписью: Fabrica di Toledo" и старинные пищали и пистолеты. И сколько давали воображению эти удивительные вещи!

Папин большой письменный стол, у которого мы с ним проводили столько уютных вечеров, я так хорошо помню, помню чернильницу с английским матросом, четырех-угольную вазочку голубого цвета для перьев и карандашей (которая впоследствии долго служила мне), синие папки дел, на которых он писал своими фигурными фантастическими буквами "Дело" № такой-то, а папки тех бумаг, что сдавались в архив, украшались им надписями: "соление", "маринование", или "копчение". Тут я часто рисовал, так как стол был полон неисчерпаемых залежей карандашей, резинок и бумаги.

Кабинет отца был и его библиотекой. В этой комнате стоял большой книжный шкап и многоярусная открытая полка для книг. Книги на моих глазах в течение моего детства всё время умножались, а позже отец довел свою библиотеку до четырех с половиной тысяч томов. Кроме книг по естествознанию (популярные книги по геологии, антропологии, полный Брем, сочинения Дарвина, книги

Фламмариона по астрономии и многое другое) большинство книг было по истории, которую он основательно знал и изучал. (Помню у него тетраль со сравнительной хронологией, им самим составленно по векам). Из этих книг были в моем детстве, между прочим, "Монографии и Исследования" Костомарова, "Старый Петербург" Пыляева, "История Петра Великого" Брикнера и т.д. и журналы "Русская Старина", "Исторический Вестник" за много лет и "Вестник Европы", а также множество исторических романов, переводных и русских. Были также книги по социологии (Бокль и мне совсем тогда непонятные какие-то "трэд-юнионы в Англии") и, разумеется, военные книги — по артиллерии, тактике и фортификации. Помню толстенную "Осаду Бельфора" — все эти названия на корешках книг я запомнил. Был у отца и единственный тогда на русском языке энциклопедической словарь Березина. Понемногу отец приобрёл и очень многих классиков: Шекспира в русском переводе и русских — от Пушкина до Толстого и Достоевского (которого, кажется с лёгкой руки Михайловского, называл "Жестокий талант" и кого я в детстве у нас не помню, он появился только в моей юности).

К Толстому — моралисту — у отца было большое уважение и он собственноручно переписал и напечатал на гектографе его "Исповедь", бывшую тогда под запретом. А мой репертитор переписал письмо Толстого Златовратскому. Эти тетрадки отец дарил многим знакомым.

Отец охотно давал мне в руки рассматривать его книги. С детства мне запомнилось: "перелистывай книжки осторожно", и папа не боялся за свои драгоценности. Сколько я приобрёл для своего развития, еще не умея читать, а лишь глядя на картинки в его книгах! В них я знал каждую иллюстрацию.

Трудно сказать что из всего, что я разглядывал, меня больше всего привлекало, но первым настоящим моим "богом", когда мне было лет 8-9, стал Густав Доре. "Потерянный и Возвращенный Рай" Мильтона был полон его чудесных гравюр. Эти райские кущи, курчавые облака, светлокрылые ангели с мечами, страшные кольчатые змеи, низвергающиеся демоны — всё восхищало меня и волновало. Да и до сих пор меня пленяет романтика этого замечательного художника. В то же время я не мог наглядеться на тонкие английские гравюры в романах Вальтер Скотта, на эти блаженные пейзажи и дали, развалины, замки, парки и необыкновенных красавиц — героинь этих романов.

Став постарше, я полюбил рассматривать редкое "Зрелище природы"(старинная книга была издана при Екатерине с французскими гравюрами). Мне нравились в ней элегантные кавалеры, указывающие

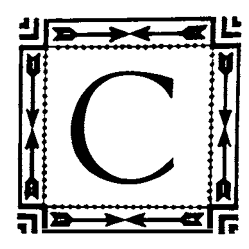
застылым жестом на разные явления природы — радугу, снег, град, северное сияние, восход и закат солнца, и изображения уютных зверей. Я уже замечал тогда наивность картинок и меня смешили стихи, помешенные под каждой из них, как например, о козле: "имеет гнусный вид, не красен бородой, куда не идет он, смрад носит за собой". Эти двустишия сопровождались длинными рассуждениями и нравоучениями. Главы с картинками расположены были в потешной непоследовательности: землетрясение — скупец — слон — ахитектор — птицы "Преимущественно Певчие", — сапожник — гиена — ит. д. Может быть в этом была своя "система" неожиданных сюрпризов, приятных в семейном чтении.

Книги отец покупал обыкновенно у "букинистов" (помню таких на Литейном), но разорялся и на "роскошные" издания, каким был, например, Мильтон; он выписывал также много иллюстрированных журналов — в то время хорошо издавался "Огонёк" и "Всемирная Иллюстрация" (мне очень нравились там рисунки Микешина), а "Ниву" отец получал с самого начала этого журнала. Больше же всего я любил разглядывать немецкий журнал "Über Land und Meer", где было столько видов чужих стран и городов, а также и забавные карикатуры и военные картинки — сражения и портреты героев — Турецкая война была еше так недавно.

Всё что я видел в книжках и журналах и в окружающем меня мире — было чрезвычайно разнообразно и с детства мне нравились веши самые противоположные — не были ли тут уже задатки будущих моих "эклектических вкусов"?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ДЕТСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ.



САМОГО раннего детства я слышал от отца о далёких заманчивых краях и путешествиях. Он мне рассказывал и о своих собственных странствиях: ему пришлось много ездить по России, Польше и Финляндии и служить в разных городах. Еще до появления моего на свет он два года провел в Туркестане и изъедил этот край, откуда привез много (разных вещей) на память — большой медный бухарский кувшин с длинной шеей, испещренный удивительными узорами, тонкий кинжал в деревянных ножнах, ковры и смешные корявые монетки из Коканда с медным запахом. Один наш родственник — Митя Ступин — морской офицер, привез нам из Китая удивительный чайник в виде зелёно-синей толстой рыбы (он сохранялся у меня всю жизнь и оказался редкостью.)

Всё это были осязаемые отголоски далеких таинственных стран. Мой отец тяготился своей сидячей штабной службой и стремился вырваться из Петербурга, который он не любил, куда-нибудь на юг, чтобы жить ближе к природе. Про этот "благодатный юг" я от него еше совсем маленьким часто слышал и он мне рисовался каким-то раем. Отец мне рассказывал о Киеве, о Малороссии, о тополях, цветах и невиданных бабочках, говорил о Болгарии, куда одно время очень хотел попасть (тогда была подобная возможность для русского офицера), о розах, которых там целые долины, о Дунае. А сколько я узнал из папиного чтения и своего собственного о дальних краях! Раз я так размечтался, лёжа утром в кроватке, что представил себе, что мы уже едем и что вся моя детская, со всем, что в ней есть, какой-то большой вагон, в котором я переношусь в этот далёкий заманчивый юг.

Но в моем детстве я путешествовал не только в мечтах, а и на самом деле: уже едва родившегося меня повезли из Новгорода в Петербург и вероятно, первые два года моя мать возила меня в Новгород на лето. А в трехлетнем возрасте была далёкая поездка с ней на Волгу, где я некоторое время жил с нею в Казани и Нижнем. Но от этого остался лишь совсем стёршийся слабый след, как от полузабытого сна. Затем, когда мне было года четыре, мы с отцом провели одно лето в Финляндии, в Райволе, где, помнится мне, был, полный тени, ароматный сосновый бор, с зеленым бархатным мхом и множеством грибов, и с того времени запомнилась финская песенка "Куку куку, каука на куку, саймаан рамналла ей оле рухта"....

(Вольный перевод: "Куку, далекая кукушка, нет у меня челнока, чтобы переплыть через озеро к моей любимой". Прим. ред.)

Кроме ежегодних летних поездок с няней из Петербурга в Новгород к дедушке и бабушке, за время нашей жизни в Петербурге у меня были и другие маленькие, а потом и большие, путешествия. Лет семи я впервые поехал по железной дороге один, но не страшно далеко — всего в "Озерки", на дачу к одним знакомым, и я очень был огорчен и обижен, когда оказалось, что в соседнем вагоне ехал дядя Гога, всё время за мной следивший.

Нам со Сташей — моим двоюродным братом и главным другом — ужасно хотелось быть самостоятельными. На Пасху 1884 года, когда мы были уже довольно большие, к нашей радости родители нас отправили погостить к нашему дяде Феде в Вильну (где он был судебным следователем) и мы были очень горды сделать это путешествие одни. В этом, впрочем, не было большой отваги: из Петербурга вагон шел прямо в Вильну и ехать надо было всего одну ночь. Наши папы посадили нас на Варшавском вокзале в вагон и поручили кондуктору и еще соседу-студенту, а на утро в Вильне, на станиции, мы сразу оказались в объятиях толстого дяли Феди и тоненькой тети Аси.

В Вильне уже была весна с нежным голубым небом, и после геометрического и строгого Петербурга вдруг я увидел узенькие кривые улочки с разноцветными домами крутые красные черепичные крыши, над которыми высились высокие башни и башенки костёлов. Всё было празднично под весело гревшим солнцем, и воздух был полон необыкновенно радостного пасхального звона. Это был не гул православного размеренного благовеста, какой я знал с детства в Новгороде, или разгульный трезвон во все колокола, тут колокольный звон плыл точно волнами, особенно-ликующий и торжественный, — звуки католических колоколен я слышал впервые.

Дядя жил на окраине города и мы очутились точно в поместье. У него был новенький деревянный дом с садом. В глубине двора, где кудахтали куры и гоготали гуси, стоял старый длинный дом, фасадом на дорогу, с высокой тесовой крышей. Дом осенён был вековыми тополями, только что начавшими тогда распускаться. И какие лакомства нас ожидали у дяди! были и изюмные "мазурки", и миндальные "легуминки", и высокие куличи, и круглые "бабы", и "пасха", которая от нашего старания скоро стала крениться на бок. Но тут, неожиданно для нас самих, сидя за этим пасхальным столом, заставленным вкуснейшими вещами, вдруг мы оба заскучали, я — по папе и няне, Сташа — по своим, и захныкали, оказавшись совсем не на высоте нашей 9-ти летней солидности.

Впрочем, мы скоро утешились. Нас повели знакомиться в старый дом и там из за портьеры выглянула худенькая серьёзная девочка с длинными светлыми косами — Лена, роковая встреча! Через несколько лет ей суждено было стать предметом моей первой любви на всю мою юность....

В Вильне я пробыл недолго и не подозревал, что в этом же доме, где жил дядя, я буду жить позже с моим отцом.

Тем же летом мой отец поехал лечиться от ревматизма на о. Эзель, а меня отправил с няней в Бирштаны на Немане, к тем же дяде и тете. В этом курорте проходила курс лечения тётя Ася и решено было, что в сосновом воздухе и мне побыть будет полезно. Когда мы приехали в Бирштаны (была длинная пыльная дорога в экипаже из Ковно) — на другой день рано утром меня разбудил оглушительный оркестр с турецким барабаном, заигравший под самыми окнами какой-то бравурный марш — так встречали в этом курорте новых приезжих. Тот же еврейский оркестр (у флейтиста почему то всегда была повязана щека) играл в парке. Воздух, полный смолистого духа, там был действительно упоителен. От этого лета остались очень милые воспоминания старого парка, широкого тихого Немана, который тут описывает плавную дугу, и, стоявшего стеной на другом крутом берегу темного соснового леса, куда мы ездили на лодочке. В своем матросском костюмчике я много гулял один и с компанией мальчиков забирался на крутую лесистую гору Витовта, но больше был со взрослыми.

Тётя со мной была и ласкова, и мило насмешлива, и начала учить меня по-немецки. Толстый, лысый и весёлый дядя Федя часто приезжал из Вильны, мы с ним вместе купались в Немане и он приговаривал, погружаясь в воду: "Ну-ка, пошлем нашу грязь немцам".

В парке — со старыми ветвистыми берёзами, в кургаузе,

собиралось большое общество, там царила одна дама, около которой толпилась громкая и хохочущая компания. Однажды я нашел в парке большой камень — настоящее сердце, принес на веранду и начал было его всем показывать, начиная с дяди, но никто не обратил никакого внимания на мой восторг; тогда я, немного обиженный, положил мое каменное сердце на пол, и на беду — как раз у самых ног этой прекрасной дамы. Это увидели и, конечно, поднялся смех и шутки по моему адресу: "ага, — вот настоящий поклонник, ого, — далеко пойдешь!" и т.д. и я готов был провалиться сквозь землю. Мне часто говорили, что я хорошенький мальчик, что меня невероятно злило, а однажды, один усатый длинный поляк подошел ко мне в аллее и уныло сказал: "вот те барышни хотят тебя поцеловать". Я так смутился, что расплакался, и ни за что не хотел ответить тёте на ее вопрос: "о чем тебе говорил этот болван?"

За лето я по-видимому, поздоровел и еще больше вытянулся. Не помню, чтобы я в Бирштанах рисовал. Там я очень скучал без Сташи и переписывался с ним: наше увлечение "Наутилусом" было в самом разгаре.

Через год после этого я с отцом поехал на Кавказ. Отцу надо было продолжать лечить ногу, был и ревматизм и два неудачных ушиба — одно время он дома даже ходил на костылях. Лечение на острове Эзель не помогло и он получил летний отпуск на Кавказские Минеральные Воды. Кроме того ему надо было лечить и свою полноту. (Отец и дядя Федя, встречаясь, делали вид, смеясь, что не могут из-за своих животов поцеловаться). Мы отправились в Пятигорск в июне, взяв с собой нашего деньщика Василька, и по пути остановились в Москве, которую я впервые увидел. На дорогу папа мне подарил большой альбом для рисования и первый мой рисунок я сделал из окон нашей гостиницы — Китайгородская стена, шахматная крыша синодальной типографии и луковки кремлёвских церквей. В Москве стояла страшная жара; мы побывали в Кремле, я видел Царь-Колокол с отломанным куском, толстую Царь-Пушку и Храм Христа Спасителя, где после темноты нашего Исаакия меня удивила масса света и мраморный алтарь в виде маленькой церкви, поставленный на блестящий мраморный пол храма. На хорах отец мне показывал и стенную живопись, которая меня не тронула.

Дальше мы ехали очень долго и по дороге, где-то около Ростова, видели остатки железнорожного крушения — разбитые вагоны и ставший на дыбы паровоз, что я также зарисовал в мой альбом. На четвертый день пути, рано утром, отец разбудил меня и показал в

окно: вдаль уходила бесконечная зелёная, ровная степь а из-за горизонта вставал зубчатой стеной ослепительно белый Кавказский хребет. До сих пор помню я невыразимое волшебство этого утреннего видения! От станции "Минеральные Воды" мы долго ехали под палящим солнцем до Пятигорска среди облаков пыли, мимо похожей на стол, "Железной горы", и Бещтау с его пятью вершинами; а на горизонте всё время стояла та же снежная морщинистая гряда Кавказских гор, а посреди ее высился двухглавый Эльбрус.

В беленьком Пятигорске, у подножия Машука, мы сначала остановились в гостинице на бульваре с тополями, но скоро поселились в домике — мазанке со стеклянным балконом, возле базара (в этой слободе останавливался Лермонтов...). Наш Василёк, который был и нашим поваром, сейчас же побежал на базар и, вернувшись, с испугом сказал: "Куда же заехали, ваше высокоблагородие? Говядина — три копейки фунт!"

Папа мой ходил аккуратно брать ванны в Елизаветинском источнике, а я тем временем гулял один со своим альбомом и рисовал: и круглую шапку Машука, и слоистые скалы, и далёкий Бешатау, и горную цепь с Эльбрусом; забирался я и в Лермонтовский грот, и к "Эоловой Арфе". Мы сделали также прогулку к "Провалу" — всё это были Лермонтовские места, о которых я, уже знал (отец взял с собой на Кавказ томик Лермонтова). Кроме рисования я усередно собирал насекомых и приходил в восхищение, находя какую-нибудь особенную южную бабочку или небывалой окраски жука.

Ещё весной того года я получил в Петербурге от мамы из Тифлиса чудный подарок — черкеску светлого верблюжьего сукна со всем прибором — серебрянными "гозырями" украшенными красными помпонами, золотой кисточкой, висевшей на спине, и маленьким кинжалом в серебрянных с чернью ножнах. Черкеску я надевал уже в Петербурге и щеголял на улицах в своей белой папахе. И в этом наряде — маленьким черкесом — я иногда тут и разгуливал. В Пятигорске же отец меня впервые посадил на коня, но для предосторожности он держал моего коня на "Чумбуре" — длинном ремне, привязанном к узде.

В Пятигорске оказался старый знакомый отца по Туркестану — Д.И. Иванов (геолог, который был сослан туда в солдаты за какую-то политическую историю, но теперь он давно уже был помилован. Он хорошо рисовал, аппетитно тушуя (ловко нарисовал мне в альбом "от себя" один пейзаж — "Деревня в тумане на реке"), и дал мне несколько дельных указаний, заставив сделать с натуры горшок с цветком, и поправил мой рисунок палатки киргизов, которых мы

однажды посетили в их становище, Это был мой первый урок рисования.

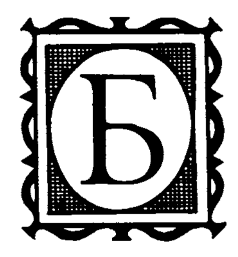
После незабвенного месяца в Пятигорске мы переехали в Кисловодск, где всё было по другому, но тоже чудесно. Но рисовал я меньше, часто шли дожди и мы сидели дома и много с папой читали, а рисовал я морские сражения — и мой "Наутилус". Хорошие дни я проводил в парке, где любил смотреть, как горный ручей бежит по плоским камням, образуя каскады.

У Нарзана, в галерее, всегда полной народа, я с удовольствием пил шипящую холодную воду источника из плетеного стаканчика. В Кисловодске случилось одно происшествие. Мы с папой поехали кататься верхом и для меня он выбрал высокую белую лошадь, на вид кроткую и почтенного возраста, но всё-таки взял ее из предосторожности на "чумбур". Мы проехали весь длиннейший бульвар и только повернули назад, как мой старый конь вдруг помчался со всех ног марш-маршем, и от неожиданности отец упустил свой "чумбур". Как ни хлестал он своего казачьего иноходца, мой конь летел как вихрь, и отец догнать меня не мог, только кричал мне в догонку: "держись крепче". Мы мчались вдоль всего бульвара, полного публики, дамы ахали и вскрикивали — мой же конь прямо завернул в конюшенный двор и устремился в дверь своей конюшни. Тут я внезапно, молнией, вспомнил один смешной рисунок из журнала "Über Land und Meer", где был изображен господин в таком же положении, как он хлопается головой о косяк двери и с него летит цилиндр, и я пригнулся к седлу, как можно ниже, и спас себя — косяк срезал мою папаху, которая упала на круп лошади. Через несколько секунд прискакал во двор отец и увидел меня, как ни в чем не бывало, сидящим на лошади в стойле. Он крепко поцеловал меня, своего "молодца", который выдержал действительно страшный экзамен. Двор же наполнился сердобольными дамами и, к общему их восхищению и страху, мы снова поехали на прогулку, на этот раз "чумбур" был крепко привязан, и прогулка прошла гладко и триумфально.

На обратном пути в Петербург мы ехали без всякой остановки. Я сидел с Васильком в третьем классе, а на ночь папа брал меня к себе — во второй. Когда мы подъезжали к Петербургу — уже наступила ночь. Папа повел меня в свой вагон, я был совсем сонный после долгого томительного пути и тут, переходя с одной площадки на другую, я оступился, но папа держал меня за руку, и я повис между буферами на его руке... Представляю себе весь ужас моего отца, я же совсем не сознавал, что был на краю гибели и, усевшись в папином вагоне на мягкий диван, сладко заснул.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ЧТЕНИЕ С ОТЦОМ.



УКВАМ я научился на четвертом году, играя в кубики с азбукой. И по записи отца, которая уменя хранится, я трех лет и двух месяцев нарисовал буквы И, М, Н, О и А. Няню мою, Марью Осиповну Белякову, научил грамоте мой отец. Когда она была моей кормилицей, он нарисовал ей, как мне рассказывал, большие буквы на кусках картона, и она, качая меня, твердила б-а, ба, и.т.д. Хотя медленно и по складам, она могла мне читать мои первые детские книжки: "Стёпку Растрёпку", и "Гошу долгие руки" и, рассматривая со мной картинки в журналах или книгах, читала мне подписи. Моим любимым удовольствием было слушать чтение моего отца и одновременно с моим собственным чтением оно продолжалось всё моё детство, и я теперь поражаюсь с какой умной последовательностью и каким умелым выбором отец вёл это чтение, сколько в это было вложено им любви и увлечения, как во всё то, что он делал для моего развития.

Обыкновенно мы с ним усаживались после обеда или в нашей уютной столовой под висячей лампой, или у него в кабинете (когда я был маленький, то садился к нему на колени). И с каким нетерпением я ждал этого часа! Часто отец перечитывал мне по множеству раз, по моей просьбе, одну и ту-же сказку (дети это вообще любят — знаю по собственным детям) и я шёл спать, когда отец видел, что у меня начинают слипаться глаза, но мог-бы слушать без конца чудное его чтение. Он не боялся возбуждать мою фантазию, и в сказочном мире я жил с малых лет. Самыми первыми прочитанными им мне сказками были сказки Андерсена, и его "Огниво", "Свинопас", "Оловянный солдатик" и "Соловей" остались мне милыми и дорогими на всю

жизнь. В маленькой книжке были прелестные старинные иллюстрации Паддерсена, — они меня и теперь очаровывают.

Когда я стал читать самостоятельно, то после детских книжек, среди которых были "Конек-Горбунок", "Гулливер" и "Дон Кихот", и детские журналы "Задушевное слово" и "Игрушечки", — я лет с 8-ми начал с упоением читать Майн Рида, Густава Эмара и Фенимора Купера и фантазия моя уносилась в далёкие страны, а вскоре Жюль Верн меня совсем поглотил.

Больше всего отец читал мне в раннем детстве русские сказки — у него было полное собрание сказок Афанасьева. "Иван Царевич и серый волк" была моя самая любимая сказка и сызмала мне был мил этот мир русских чудес. Отец читал, опуская грубости, которыми полны народные сказки. За фантазией же их и геройствами, я не замечал жестокостей и предательств.

Отец прочитал мне также многие былины (дедушка подарил мне очень хорошее издание былин с иллюстрациями). Конечно я заслушивался и "1001 ночью" и сказками Гауфа, и очень милой книжкой сказок Уйда. Отец читал мне и сказки Пушкина, а позже прочел мне постепенно и многое из Гоголя, — то, что было тогда доступно моему понятию.

Мы прочли Робинсона Крузо, а над "Хижиной Дяди Тома" я плакал, как и над "Гутаперчивым мальчиком" Григоровича. Меня также заставлял плакать трагический рассказ "Красный фонарь" Гаршина.

Несмотря на всю свою любовь к естествознанию, отец хотел дать мне классическое образование и задолго до гимназии, благодаря его чтению и картинкам в книгах, я уже живо представлял себе, по своему, конечно, и, главное, полюбил античный мир. Когда мне было лет 7-8, отец прочёл мне на всю жизнь оставшуюся мне милой "Книгу чудес" Натаниэля Готторна. Эти действительно чудесные рассказы из мифологии, о Геркулесе с его подвигами, о Тезее и Минотавре, о Язоне и Золотом руне, о Филемоне и Бавкиде, о ящике Пандоры с прелестными иллюстрациями Бертайла, — приблизили меня к этому миру гораздо больше, чем впоследствии изучение классиков в гимназии, и во всех этих героев, богов и полубогов я верил, как в живых. Когда мне было лет 10 отец подарил мне и читал в отрывках "Рим" и "Элладу" Вегнера, — книги довольно скучные, но где были недурные иллюстрации.

Отец читал мне также, а больше пересказывал, отрывки из "Илиады"; в этой маленькой старинной книжке в переводе Гнелича были очень мне нравившиеся тонкие рисунки Флаксмана и прекрасная

гравюра — профили всех героев Троянской войны. Отец пересказал мне и "Одиссею".

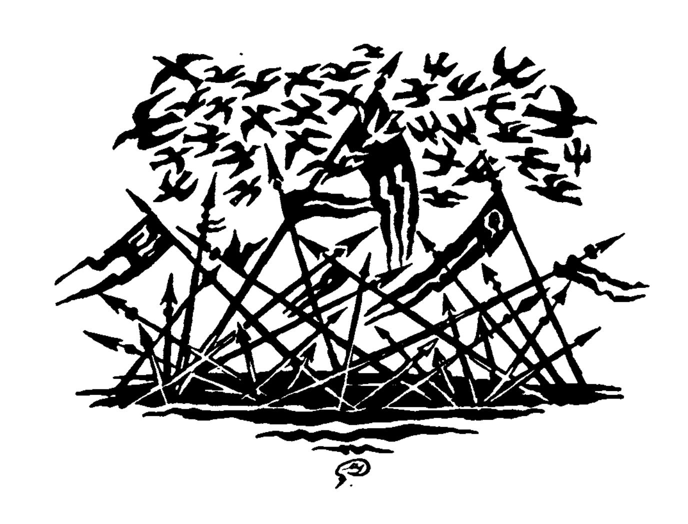
Мы прочли почти целиком все три книги Разина и Ланина "Откуда пошла Русская земля и как стала быть" с иллюстрациями Дмитриева-Оренбургского. Потом одной из увлекших нас обоих книг было "Путешествие в древнюю страну пирамид" Оппеля, где мне впервые открылся новый мир Египта.

Всё, что я узнавал из книжек, действовало разумеется на мое детское воображение. Наслушавшись русских сказок про всех этих царевичей и королевичей, храбрых витязей и красавиц "с ясным месяцем на челе", — как мне самому хотелось стать таким же храбрым витязем и совершать подвиги! Вообще я в детстве думал всегда о геройстве и о рыцарстве, быть трусом казалось мне ужасным позором и моё имя — Мстислав — мне нравилось, как имя храброго и удалого князя. Папа очень искусно склеил мне из картона латы и остроконечный шишак с назатыльником и наушниками, сделал алебарду и деревянный меч — всё это было оклеено серебрянной и золотой бумагой — и, качаясь на своей лошадке со свирепой мордой, я был полон отваги. В этих доспехах папа меня снял у фотографа (помню длинную процедуру тогдашнего фотографирования, зелёное сукно, которым накрывал фотограф свой аппарат и холодное прискосновение к затылку особого ухвата, котрый держал голову в неподвижности). Раз, играя сам с собою (то, что названо "театр для себя"), я, представляя себя геройски убитым на поле брани, улегся в тёмной зале около аквариума и позвал отца посмотреть, как я лежу (вероятно я видел тогда картину Васнецова "После побоища Игоря Святославича с половцами"). Мне самому было очень жалко себя и я был горд своей геройской смертью, но папа, пощекотал меня и я воскрес, как от "живой" и "мертвой" воды в русских сказках.

Кем я буду большим, я еще не решил, но всегда хотелось быть "особенным", не таким, как все. Откуда это? Я не мог еще сравнивать, но что-то мне говорило, что и мой папа и мама не такие, как все. Однажды отец меня спросил: "кем же ты хочешь быть?" Я сказал: "учёным", а потом, подумав, прибавил: "путешественником" (последним я до известной степени и стал...) Мечты о далеких краях были уже моими самыми ранними детскими мечтаниями. Не стать ли мне моряком? Об этом, когда я стал старше, мы даже поговорили с папой серьёзно. Но отец мечтал сделать из меня раньше всего образованного человека, "европейца", как он говорил, и мечтал, что я непременно пойду в университет (он сам, будучи молодым офицером, посещал Петербургский университет в 60-х годах, пока это не запретили

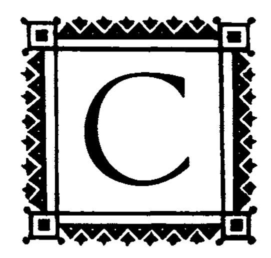
офицерству.) "А потом, — говорил отец, — ты сам выберешь себе дорогу".

Об университете тоже часто мне говорил мой дядя Федя, брат моей матери, который, по папиным словам, был "ученый" и это окружало его в моих глазах особым ореолом (вот почему и я хотел стать учёным). О том, чтобы стать художником, как то не говорили это само собой разумелось, т. к. художником я уже был, как себя помню, — с тех пор, как научился держать в руке карандаш.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

ДЕДУШКА.



О ВСЕМ моим петербургским детством неразрывно связан образ моего дорогого дедушки Петра Осиповича, "папиного папы", и я его помню, как себя помню, хотя он нас навещал не очень часто. К его строгой фигуре у всех был невольный респект и когда знали, что он прибудет к нам на Выборгскую, все немного волновались и моя няня и деньшик, и даже мой отец. Помню, что к его приходу всегда был готов стакан густых сливок которые он любил. Не смотря на его ласковость со мной и шутливость, меня отпугивал его серьёзный вид, а однажды я совсем сконфузился (мне было лет 6): разговаривая с ним, я стоял спиной к моему папе и дедушка сделал мне замечание: "к отцу так стоять, братец мой, невежливо".

До телефона тогда было ещё далеко и во множестве записочек и открытых писем, которые он присылал отцу по разному поводу, просвечивает его улыбка и милый добродушный юмор, и когда мне, уже взрослому, отец показал их, многое мне стало понятно, уже задним числом, в его в высшей степени сдержанной натуре.

Дедушка был одного роста с моим отцом, немного "выше среднего", и в противоположность ему совсем не полный. (Отец в моем детстве даже стал лечиться от полноты, которую приобрёл от сидячей службы в штабной канцелярии.)

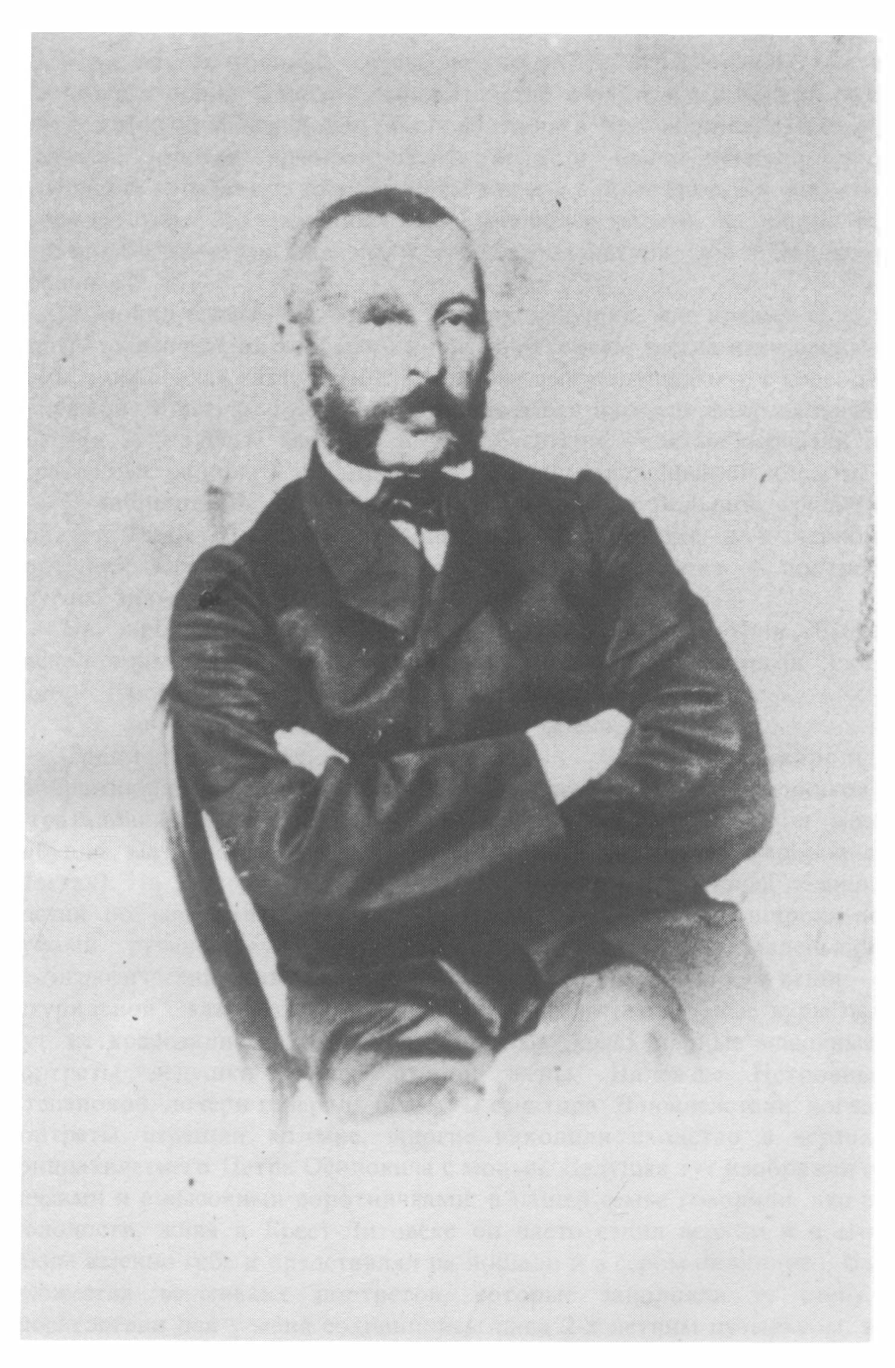
Петр Осипович был образцом коректности и джентельментства, про него говорили, что он "человек долга". В его облике было нечто "начальственное" и барственное, держался он прямо, по военному, хотя в строевой военной службе никогда не служил. Он был совершенно сед, но его густая щётка волос не имела и признаков лысины, (он уверял, что это оттого, что всегда коротко стригся). У

него были небольшие коротко подстриженные баки и орлиный нос. Дедушку я всегда помню курящим — или очень хорошие сигары, или папиросы в длинном янтарном мундштуке. Помню, что он почти всегда носил золотой перстень с фамильным гербом (тот самый, что теперь ношу я сам!)

Вёл он очень размеренный образ жизни, много ходил пешком — его служба была очень далеко от его дома — и всегда перед снöм около 12 ч. ночи обязательно делал небольшую прогулку во всякую погоду. Он был всегда умерен в еде, советовал это и другим, за обедом же неукоснительно выпивал рюмку водки "для аппетита". В одном из писем к моему отцу он пишет, что никогда в своей жизни не был пьян и не знает вообще, что это за состояние. (Вина и мой отец не любил, у нас в доме его никогда не водилось и по наследству и мне передалось равнодушие к крепким напиткам). Про дедушку говорили, что он "железного" здоровья, и действительно, он никогда не болел, только в старости стал страдать глазами и даже боялся ослепнуть. (Отсюда его симпатия к делу д-ра Блессинга, которого он лично знал, основавшего известную в Петербурге Глазную лечебницу и мастерскую для слепых. Дедушка всячески поддерживал эти начинания.)

У него был чин действительного Статского Советника ("штатский генерал") и при отставке он получил чин Тайного Советника, и его мундир, (помню фотографию), с правой и левой стороны груди, был украшен двумя орденскими звёздами Станислава и Анны, но вне службы он всегда носил штатское платье с туго накрахмаленной грудью и маленькими золотыми запонками на ней. Он занимал большой пост в Военном Министерстве. Кроме того он приглашался в разные очень важные комиссии, как например по введению всеобщей воинской повинности и проч. Его канцелярия имела близкое отношение к Интендантству, в котором, как мне позже стало известно, процветало невероятное взяточничество, и моему деду, при его кристальной честности, приходилось воевать с этим злом. Помню с каким негодованием и омерзением он говорил о случаях всучения взяток чиновникам ("барашка в бумажке") за те или иные подряды и поставки. Через руки деда, особенно во время турецкой, войны, проходили огромные суммы, и другой на его месте мог бы нажить целое состояние. Когда же, уже в отставке, он скончался, то после него не осталось ничего, кроме денег на похороны.

Однажды мы с отцом навестили деда в его канцелярии на Исаакиевской площади в доме Лобанова-Ростовского. У него был большой кабинет с окнами на эту площадь и я подивился, сколько в этом министерстве чиновников, дедушкиных подчиненных, снующих



Пётер Осипович Добужинский

по коридору и толпящихся на лестницах. В этом чудном месте Петербурга около самого Адмиралтейства я очутился в первый раз; был солнечный майский день, били фонтаны в Александровском саду, блестела золотая адмиралтейсвая игла и было приятно, что дедушкина служба в таком красивом месте и в доме вроде дворца, где у входа стоят два каменных льва, опираясь лапами на шары. Я, конечно, тогда не мог еще знать, что это они фигурируют в "Медном Всаднике".

Я любил бывать в квартире у моего дедушки, мне нравились его светлые комнаты, их необыкновенная опрятность, всегда навощенные полы и особенная гнутая мебель с вышитыми подушками и с красной бахрамой. Я всегда с интересом разглядывал на стене фехтовальные доспехи — круглые маски с железной сеткой, толстые перчатки и скрещенные рапиры и эспадроны — сувениры дедушкиной юности.

В кабинете, на самом видном месте, висел большой грудной портрет героя Польши Костюшки в конфедератке и с черной портупеей через плечо, а под ним маленькая гравюра — портрет другого знаменитейшего поляка — Коперника.

На противоположной стене в красивой симметрии были расположены разные семейные портреты и силуэты, и над ними "Esse Homo" Гвидо Рени — старинная литография.

Тут, конечно, обитали пенаты нашей семьи...

Среди семейных реликвий была большая акварель, изображающая с прелестными деталями семейство родственников, Стратановичей, где фигурировала сидящая за клавесином и моя бабушка, мать моего отца, первая жена дедушки (Наталья Федоровна Шостак). На этом групповом портрете она еще совсем юная девица, одетая по моде 1830-х годов, с высоким шиньоном и широкими буфами рукавов; у меня, увы, сохранился лишь маленький фотографический снимок с этой очаровательной по наивности вещи — "скурильной", как позже принято было называть подобные курьёзы. Тут же красовались в нарядных золотных рамах парные масляные портреты дедушки и его второй жены, Надежды Петровны Степановой, дочери генерала и сестры сенатора. В последствии, когда портреты перешли ко мне, многие находили сходство в чертах тридцатилетнего Петра Осиповича с моими. Дедушка тут изображен с бачками и с высокими воротничками: в нашей семье говорили, что в молодости, живя в Брест-Литовске он часто ездил верхом и я его таким именно себе и представлял на лошади и в сером цилиндре... Из множества маленьких портретов, которые заполняли ту стену, впоследствии два у меня сохранились: папа 2-х летним пузырьком, в синей рубашке, сидящий на красной подушке с румяным яблоком в

руках, и он же кадетом в парадной каске с черным султаном (середины 1850-х годов). Сохранились и силуэты братьев дедушки, тонко вырезанные одной из его сестёр, Эмилией Осиповной Дреллинг, которая была большой мастерицей в этом искусстве.

(По семейным рассказам она будто-бы резала ножницами такие портреты с натуры, не глядя на свою работу и под столом!) Мне было приятно знать, что у меня была бабушка такая хорошая художница.

Многое у дедушки я с любопытством рассматривал. Кроме книг с картинками у него была целая коллекция маленьких фотографий польских партизан 1863 года и их предводителей в самодельной форме, полу-крестьянской, но больше всего меня занимали альбомы, переполненые карточками тогдашних знаменитостей: тут была и красавица Патти, и Бисмарк, и Дизраэли, и Гарибальди, и Осман-Паша, и даже Юлия Пастана — дама с бородой. Помню также одну курьёзную фотографию: Король Виктор Эммануил 11 со своими страшными усищами и эспньолкой под руку с улыбающимся Римским Папой (фотомонтаж?). Среди карточек "знаменитостей" была фотография Комиссарова, спасшего жизнь имп. Александру 11-му. Он случайно очутился в Летнем Саду во время прогулки царя рядом со стрелявшим в него Соловьевым и в момент выстрела толкнул его руку с пистолетом, и пуля пролетела мимо. Комиссаров. питерский мещанин — бравый молодой парень, стриженый в "скобку" и в поддёвке, был снят вместе с женой — расфранченной бабой в платочке и шали. Я помню — рассказывали, что он был осыпан милостями, даже кажется произведен в гусарские корнеты, но на радостях запил и умер от "белой горячки". Его прозвали "Спаситель".

Из книг же я очень любил разглядывать большую польскую книгу "Ksiega Swiata" (Orbis Pictus") в которой были тонкие гравюры (на стали), изображавшие всевозможные удивительные страны и города. У дедушки я впервые познакомился по гравюрам в книгах с самыми знаменитыми картинами старых мастеров и это было для меня вроде хрестоматии по искусству.

Отец мой и дедушка часто обменивались для прочтения книгами из своих библиотек и я видел дедушкины заметки на полях "Исповеди" Толстого, где он взглядов Толстого не разделяет. ("Исповедь" была тогда запрещена цензурой и мой отец, будучи тогда наоборот поклонником Толстого, произведение это переписал сам от руки, пополам с моим репетитором, отпечатал его на "гектографе" и несколько экземпляров раздал друзьям).

Дедушка свободно владел французским языком и моя мать рассказывала мне впоследствии, что когда она приехала в Петербург,

только что выйдя замуж за моего отца, дедушка, встретив ее на вокзале, повез в карете и сразу же заговорил с ней пофранцузски. Мама "экзамен", конечно, выдержала, т. к. окончила Смольный. Со своими детьми он всегда говорил по-русски и лишь изредка с моим отцом говорил по-польски. Все дети называли его "papa" и на "Вы", и целовали ему руку, а мне почему то это не приходило и в голову, (я единственный в семье говорил дедушке "Ты") и мой папа всегда со смехом отдёргивал руку, если я шутя пытался это сделать. Это уже становилось отжившим обычаем.

В моем детстве дедушка жил одиноко. После смерти его второй жены, задолго до моего рождения, к нему переехала его сестра, Екатерина Осиповна, но я почти совсем не помню ее, только остался в памяти ее старомодный чепец и локоны. Она вела дедушкино хозяйство и воспитывала двух маленьких детей, оставшихся сиротами, пока Зина не поступила в Институт, а Петруша в корпус. После того, как она умерла, а Зина по окончании Института сразу же вышла замуж, дед остался совсем один, Петрушу же, когда ему было 14-15 лет, пришлось взять из корпуса, как говорилось "из за тихих успехов и громкого поведения". Но дедушка в нем "души не чаял", хотя тот ему причинял одни огорчения и с уроками на дому ничего не выходило, но ему всё прощалось; это возмущало моего отца и я раз присутствовал при сцене, которая меня очень расстроила. Петруша, которому было лет 15, откудо то вернулся весь завитый в кудряшках и мой отец накинулся на этого "барана" и стал жестоко его распекать, а тот уткнулся в подушку кожаного дивана и рыдал, — дедушка же только уговоривал отца "пожалеть мальчика". Петруша так и не кончил своего образования, бездельничал, а после смерти дедушки совсем скрылся из глаз семьи. Потом он был "прощен", но жизнь его сложилась очень неудачно и о судьбе этого наредкость милого человека я в своем месте расскажу.

Его сестра, моя тетя Зина, как я говорил, вышла очень рано замуж, но с мужем своим, Петром Николаевичем ф. Дитмаром, она не была очень счастлива, хотя было у них трое детей, и они в конце концов разошлись. Человек же он был очень незаурядный. Окончив Пажеский корпус, он удивил и рассердил всю свою знатную родню. (Его отец был Генерал-Губернатором Приамурского Края, одна из тёток была замужем за Варшавским Генерал-Губернатором Максимовичем, другая за сенатором Герардом). Он презрел светские связи и блестящую военную карьеру и поехал в Цюрих, где и окончил Политехникум. Он получал впоследствии много патентов на свои

изобретения, но никакого проку от этого не бывало, — его все надували, человек же он был абсолютно непрактичный и с ним моей тётке было нелегко. И в нашей семье только один дедушка "верил" в Дитмара, в его талант и любил его за оригинальную натуру, остальные же относились к нему и его затеям и изобретениям очень скептически. Замечательно что он придумал (1880-е годы!) световую рекламу на облаках с помощью электрического прожектора. Какие-то изображения появлялись на небе и только перепугали полицию. Но мне теперь кажется все были несправедливы к этому оригиналу и чудаку, настоящему "непризнанному гению".

Дитмары не жили в Петербурге и постоянно меняли свое место жительства, и я мог лишь взрослым, когда они наконец разошлись, сблизиться с моей тётей Зиной и дружить с ее сыновьями, моими двоюродными братьями.

Знакомств у моего деда было немного. Он, как и мой отец, держался в стороне от "света" и со своими аристократическими родственниками связи не поддерживал, дружил же по симпатии лишь с очень скромными людьми. Он любил поиграть в винт "по маленькой" и у него были постоянные партнёры, большею частью из его сослуживцев, главное же общение оставалось с родными. Одна моя кузина запомнила его слова, которые он как-то обронил в разговоре: "Мы, Добужинские, не аристократы, но очень старого рода Литовских дворян, — не забудь это".

Документы, перешедшие впоследствии ко мне от моего отца, говорят, что наш род "спокон веку" обитал на Литве и владел многими имениями (Добужи, Гружи, Райуны, Пеняны), но что впервые наша фамилия оффициально упоминается с 1532 года.

Много лет после его смерти, взрослым, просматривая некоторые из дедушкиных писем и разных его заметок, я наткнулся на одно его трогательное признание, которое глубоко и сердечно меня умилило и больше — взволновало — что Наталия Федоровна, первая его жена (мать моего папы) и вторая, Надежда Петровна, обе были, как он выразился, "*светочами*" в его жизни и такими для него остались и после их смерти......

Дедушка был патриархом всей нашей огромной и на редкость дружной семьи Добужинских, но лишь одно короткое время, что совпало с моим детством, случилось, что в Петербурге жили почти все его дети: четыре сына, две дочери, внуки и внучки. Один лишь Эраст, брат моего отца, Всегда отсутствовал — служил в Туркестане, и я только один раз его видел; запомнил его рябое круглое лицо и

приплюснутый нос. По всем отывам это был всеобщий любимец, шармёр и весельчак, и по-видимому страшная "богема". Он был необычайно одарён музыкально и умер он рано.

По большим праздникам, а иногда и по воскресеньям, дедушка приглашал к себе всех на обед — сыновей с женами, а дочерей с мужьями и внуков, когда мы стали подрастать. (Нас было 3 двоюродных брата — погодки: я, Сташа Добужинский и Саша Маклаков). Опаздывать к обеду не полагалось и дедушка очень серьёзно журил за это. Хотя он, будучи католиком, был два раза женат на православных и все дети по закону того времени были православные, в нашей семье по фамильной традиции держались некоторые польские обычаи.

Так, особенно торжественно, по старине, праздновался в его доме канун Рождества — Сочельник — "Кутья". В память Христовых яслей скатерть всегда стелилась на сене, от которого шел такой приятный дух, но из-за сена тарелки всегда стояли неровно. Было 12 разных вкуснейших постных блюд — "по числу Апостолов" и глаза разбегались: тут стояли разные рыбные "заливные", копченый сиг, прободенный палкой, маринованные и соленые грибы, винигреты и т.д. Из сладких блюд, кроме самой "кутьи" (варёное пшено, непременно с маковым молоком и толчёным миндалём можно было лакомиться киселями и закусывать рассыпчатым постным сахаром (в жёлтых и розовых кубиках).

Старинный обычай требовал, чтобы за этот рождественский стол садились не раньше появления на небе первой "звезды", тут зажигалась ёлка и ломалась католическая облатка, которую перед едой все присутствующие делили между собой. (Это соблюдалось всегда и после в доме у моего отца).

Дедушка вышел в отставку, прослужив 50 лет, и я восьмилетним присутствовал на его юбилее — был 1883 год. Сослуживцами и подчиненными ему был поднесён большой альбом со всеми их фотографиями с массивной серебряной крышкой, где было рельефное изображение нашего фамильного герба Добужинских, и я видел слёзы дедушки. Этот подарок, конечно, ему был дороже казённых наград, крестов и звезд, и показывает каким высоким уважением пользовался мой дед на своей службе. Дедушка был католик и это по законам того времени закрывало чиновникам доступ к ступеням более высоким, каким-бы вообще безупречным служакой католик (сиречь поляк или литовец) не был. Но ни о какой "карьере" на служебном поприще дед мой и не думал — это было-бы против всех его убеждений и противо-

речило бы его скромности. Он служил ради своих детей — это я часто слышал от моего отца еще в моем детстве. Между прочим дети тех, кто служил на государственной службе, имели право тогда учиться на казённый счет во многих учебных заведениях.

Дедушка был, как все про него говорили, прежде всего "человеком долга", и был сама лойяльность, но это не мешало ему быть в душе патриотом страны своих предков. Он этого не скрывал ни от кого. В историческом же аспекте он несомненно мыслил Литву и Польшу как одно неразрывное целое, как было со времен Унии. То, что у него в доме, как я говорил, на почетном месте висел портрет Костюшки и все могли видеть у него коллекцию портретов участников последнего польского восстания — всё это была уже история. Все понимали, что его взгляды и симпатии были его личным делом, никого не касались и к его поистине беспорочной службе не имели никакого отношения.

То же, что на юбилейном подношении, сделанном сослуживцами Петру Осиповичу, что имело место в самое реакционное время (они поместили изображение его родового герба), делает только честь этим людям и смысл этого жеста не мог не понять и не оценить растроганный дед мой.

ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА.

Я РОС В Петербурге среди "больших" и товарищей детских игр, — моих сверстников у меня было не очень много: Серёжа и Мери Саблины, Надичка Черкасова и два моих двоюродных брата — Сташа Добужинский и Саша Маклаков а в Новгороде — мой дядя Миня, бывший на три года старше меня.

Самыми ранними моими друзьями детства были Саблины, Серёжа и Мери, жившие в соседней квартире. Отец их был сослуживцем моего отца, тоже артиллеристом, а их мать — тетя Алися, как я называл, была чистокровная англичанка, рожденная Sherwood. Может быть она меня ласкала совсем маленького, жалея, что я далеко от мамы, и след этой ласки сделал таким милым ее образ, и его я сохранил в своей памяти, как самое очаровательное и женственное видение моего детства. Я помню ее синие глаза, кроткую улыбку и густые косы, которые лежали короной на ее голове. Она всегда носила аметистовую брошь и этот фиолетовый камень всю жизнь мне ее напоминает. Алиса Фоминишна умерла совсем молодою и эта была первая смерть, которую я видел в своей жизни (года за два до смерти дяди Феди Софийского). Мне было лет пять; помню английский странный гроб, весь в цветах и ее мертвую прелестную голову, ангельски спокойную в белых рюшах погребального чепца. Я стоял, ничего не соображая, точно в столбняке около этого гроба.

Мы были очень дружны с Серёжей, он был спокойный толстый мальчик и рисовал как и я, но больше лошадей, корабли и пароходы и я удивлялся, как он знает каждую снасть (у него были родственники моряки, может быть от них он и научился). Я ему написал первое

письмо в моей жизни, когда мне было четыре с половиной года: "Серожа прыходи играть. Ко мне".

Когда нам с ним было лет около семи. нас стали учить по-французски.

Первой нашей гувернанткой была необыкновенно живая маленькая старушка M-me Priot. Из окна можно было видеть, как она, еще на дворе, семеня торопливыми шажками, начинала распутывать свои шарфы. Уроки происходили то у меня, то у Серёжи. Она всегда быстро влетала в комнату и мы должны были ее встречать песенкой на один старинный французский мотив — "Mere Michele": Bonjours Madame Priot. comment vous portez vous?", а она отвечала в тон нам: "Merci mes chers enfants, ca n'va pas mal et vous?" Дальше мы пели вместе и маршировали вокруг стола — она с линейкой на плече, мы за ней. Урок происходил в моей детской и няня всегда присутствовала, сидя с работой на своем зеленом сундучке и прислушивалась к уроку. Madame линейкой показывала на картинки, в изобилии висевшие в детской: "La basse cour", "le Dindon", "le cochon и за нами няня повторяла. Когда же наступало время завтрака, няня приглашала: "Алён дежене". Ела Madame Priot удивительно проворно и стыдила нас за медлительность: "Chers enfants, si vous macherez toujours avec une lenteur pareille, vous ne reussirez jamais dans vos etudes". Однажды отупев от ba-be-bi-bo-bu и т.д. мы взбунтовались и по уговору вдруг вместе затораторили: "люди-люди-человеки, люди-люди-человеки" — к неописемому ужасу гувернантки. Сережа был наказан его отцом, как зачинщик — оставлен без сладкого блюда.

После к нам стала приходить хорошенькая M-lle Julia Junot с розами на шляпке. Однажды она нам предложила понюхать, как хорошо пахнет духами ее крепкая щёчка.

От французских уроков, которые с нами стала брать и Мери, остались памятными очень милые книжки "Bibliotheque Rose как Le Bon Petit Diable и многие другие с чудесными иллюстрациями, а также "Monsieur Polichinelle" и "Hurluburlu" где были очень забавные раскрашенные картинки.

Меричка была года на полтора моложе меня. У нее были такие же синие глаза с длинными черныمм резницами, как у ее покойной матери и такой же овал лица. Само собой было решено, что она будет моей женой, хотя для меня она была как сестрица и, когда мне было лет шесть, мы даже устроили "свадьбу" и ходили вокруг аналоя который я соорудил в моей детской. Между тем у меня уже была тогда невеста — Надичка и как это совмещалось — непонятно, хотя

для далёкого моего будущего это было знаменательно во многих отношениях...

В дальнейшем судьба нас разлучила и сводила лишь два раза в жизни. Первый раз когда Мери была в самом расцвете своей 18-ти летней прелести, институткой Екатерининского Института, а я был студент, и при встрече меня поразило ее сходство с прелестным образом ее матери, который я так ясно помнил, я совсем было влюбился в это истинно "мимолетное видение". Последний раз я ее встретил почти через 20 лет, только что овдовевшей и ставшей еще более очаровательной и у меня совершенно закружалась голова... Но всё-таки она так и прошла мимо моей жизни бесследно.

Ещё одним моим другом детства, тоже с самых ранних лет была Надичка Черкасова. В ту пору семья Черкасовых была самой близкой моему отцу. Константин Семенович Черкасов был военный инженер, георгиевский кавалер и раньше служил в Туркестане, откуда и идет знакомство и дружба моего отца с ними. Его жена Анна Ивановна, керченская гречанка (Митрова), в молодости была совершенная красавица (помню у них ее большую овальную фотографию 70-х гг. с длинным шлейфом и с розой в волосах — такою я всегда себе потом представлял Анну Каренину).

Жили они на Выборгской стороне недалеко от нас на той же Симбирской улице, и дом их, как говорится, был "полная чаша", они были люди со средствами. Черкасов превосходно рисовал и если бы ему не мешала служба, он мог бы стать наверно замечательным художником. Я всегда с интересом рассматривал разрисованные им крышки двух круглых столиков. Под толстым зеркальным стеклом были изображены небрежно брошенные карты, какой-то счет и разорванный конверт с адресом и маркой и т.д. Сделано все было с замечательной иллюзией "как живое". Один из этих столиков, столь памятный с детства, я видел и взрослым и мог оценить как искусно сделаны эти "trompe-l'oeil". Помню у них на стене также сочные акварели Петра Соколова: "Тройка зимою" и "Тройка осенью", восхищавшие меня.

Отец называл Черкасовых "святое семейство" и действительно это была на редкость уютная и дружная семья. Мой отец в своем одиночестве вероятно не мог не завидывать такому полному счастью, и естественно, что его тянуло греться у этого foyer d'autrui. Они его любили как родного, всегда звали "дядей". "Дядей" стали звать моего отца и другие немногочисленные его друзья, и помню, что на донышке своей фуражки, где офицерами принято было печатать золотом свои инициалы, он ставил "дядя". Еще с Туркестана отец также дружил и с братом Черкасова, "Фединькой Черкасовым", как

все его звали, казачьим артиллеристом, воспоминание о котором тоже тесно связано с моим детством. Я его называл "дядя Федя Длинный" — в отличие от маминого брата — "дяди Феди тонкого" и папиного брата — "дяди Феди толстого". Он был моим крёстным отцом. Был он невероятно высок с огромной бородой почти до пояса (отец называл его "Черномор") и облачен был в длиннейший казачий офицерский сюртук без пуговиц, на крючках. Мне было забавно, что на его золотых погонах значилось "О", и я думал, что это "номер ноль", потом узнал, что это означает "Оренбургское казачье войско". Смотрел он сквозь свои золотые очки строго, но я его совсем не трусил, только замирал от восторга и ужаса, когда меня, совсем маленького, он подбрасывал до поднебесья. Наездами он приезжал из Оренбурга и всегда внезапно и с шумом появлялся у нас, он гремел уже в передней, обращаясь к отцу и дяде Гоге: "едем"! — "Куда?" — "Все равно — едем!". Был он, как говорили, "театрал" и "балетоман", слова тогда для меня не совсем ясные. Тогда то и стал появляться на моем горизонте загадочный "Савосов", к которому мой отец якобы уезжал.

Надичка Черкасова, которая была одного со мной возраста, была весёлая черноглазая девочка с длинной шейкой, на которой сидела черная родинка, и с толстой косичкой, хохотушка и насмешница; она всегда меня тормошила и дразнила, и считалась моей невестой. Однажды родители подслушали наш розговор, когда мы, совсем крошечные, сидели рядом на горшочках: "Когда мы будем венчаться, — говорила Надя, — то я поеду в золотой карете", а я сказал ей: "в бриллиантовой".

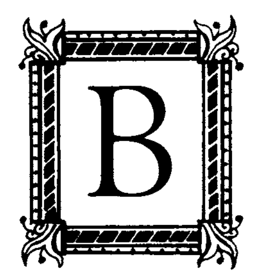
В семье всегда об этом со смехом вспоминали. Но романа в дальнейшем у нас так и не получилось, первая же моя любовь (безнадежно неразделенная) была красавица с картины Ганса Маккарта, в широкополой шляпе со страусовым пером, — иллюстрация в "Живописном обозрении". Мы с Сережой Саблиным оба в нее влюбились и по очереди целовали в губы и даже замусолили картинку, так что боялись, что это увидят. Одно время мы с Надичкой в компании с другими детьми начали учиться танцам у высокого и стройного танцора Имп. балета Троицкого. Уроки он давал в зале у одних из соседей по нашему дому и мы с Надей были самая маленькая пара. Уроки продолжались не долго, мы выучили только несколько балетных позиций и после этого напевали "на паркете восемь пар мухи танцевали увидали паука, в обморок упали" (я пел "в омморок").

Лет десяти я решил влюбиться в Надю, но это выражалось лишь

в дурачествах и раз, когда у нее собралось много маленьких гостей, я разыграл целую сцену "обожания", и Надичка и вся компания очень веселились. Но мы ни разу, даже в шутку, и после не поцеловались, дружба же оставалась всю жизнь, хотя взрослыми мы встречались сравнительно редко. Она рано вышла замуж и ее жизнь прошла тоже мимо моей, как и Меричкина.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА.
(СЕМЬЯ МАКЛАКОВЫХ)



МОЕМ петербургском детстве я больше всего дружил с двумя моими кузенами, Сашей Маклаковым и Сташей Добужинским, и оба были мне ровестниками — один на два года, другой на год старше меня.

Дружба с Сашей сама собой перервалась, после того, как он лет девяти поступил в Александровский Лицей и мы со Сташей нашли, что он стал "важным". Потом у него пошла своя жизнь, свои интересы, и встречались мы редко.

Со Сташей же дружеские отношения были самые близкие и продолжались всю жизнь, хотя мы были совсем противоположные натуры; было охлаждение в студенческие годы, когда мы оказались и совсем разных взглядов.

С Сашей Маклаковым я дружил еще до знакомства со Сташей и очень часто играл с ним у него. Мать его, Екатерина Петровна, тётя Катя, родная сестра отца, была замужем за Георгием Константиновичем Маклаковым, командиром Измайловского полка и свитским генералом.

Тётю мою я очень любил с детства и всю мою жизнь. В молодости она была необыкновенно красивой женщиной и, говорят, ее появление в ложе и на балах вызывало "фурор". Было что-то царственное и одновременно необычайно женственное во всех ее манерах и несколько ленивом голосе. Этот аристократизм вместе с ее кроткой добротой и приветливостью действительно были прелестными. Милой была и ее какая-то беспомощность и рассеянность (помню, что она постоянно теряла ключи и впадала в отчаяние). Она стала сильно полнеть, но это как-то шло ко всему ее облику.

Муж был полным ее контрастом, я его считал "солдафоном", но когда впоследствии я узнал письма моего деда со многими подробностями его жизни, он мне представился в ином, очень симпатичном свете и не только "честным воякой" и фронтовиком. В детстве он на меня наводил непреодолимый страх своим порывистым и резким командирским голосом. В его скуластом лице было нечто татарское, небольшие глаза, маленькие баки с сединой, и узкие презрительные губы. Он стригся ёжиком, носил золотой аксельбант и вензеля на погонах. Держался необычайно прямо, ходил быстро и решительно, громко звеня шпорами. На шее у него висел тот красивый, василькового цвета, прусский орден "Pour La Mérite", (что было красиво при белом воротнике с красным кантом), с которым всегда изображался имп. Александр II .

Маклаковы жили в огромной казённой квартире на углу Фонтанки и Измайловского проспекта в доме Гарновского. Нас с няней приветливо и с шуточками встречал старый швейцар с седыми бакенами, по праздникам облачавшийся в придворную красную ливрею с черными орлами на золотом позументе, носивший на шее огромнейшую серебряную медаль, и чем-то походивший на своего генерала.

Как только в бельэтаже отворяли дверь в квартиру (она была обита зеленым сукном с гвоздиками), в большой передней с высокими зеркалами, куда как-то странно было спускаться по небольшой деревянной лестнице, меня охватывала жуть от строгой официальности. Тут всегда дежурило двое рослых, стоявших на вытяжку, солдат-вестовых. Тут были особенные, с высокими прямыми спинками, стулья светложёлтого дерева, какие, кажется, только и встречались в петербургских квартирах. Потолки в квартире были необыкновенно высокие, даже гораздо выше, чем у нас в квартире. В детстве мне казались особенно гигантскими. Обстановка гостиной и зала была в "стиле Александра II ", столь похожем на Second Empire. Тёмносиние бархатные портьеры с бахромой, ковры, в которых "тонула нога" и не было слышно шагов, ажурные ширмы — трельяжи с плющем. Между ними чернели картины и портреты в тяжёлых золотых рамах. Круглые шары настольных ламп и мебель "capitone". Одна картина изображала ночной рукопашный бой в Севастополе, с фигурами в половину человеческого роста, где храбрые русские солдаты, защищая генерала Хрущева штыками кололи француза-офицера с эспаньолкой и в красных штанах — картина меня маленького пугала. На другой картине Тарас Бульба, опираясь на ружьё, с сокрушением смотрел на убитого им сына Андрия, на третьей же картине (Pendand к предыдущей) тот же

Андрей обнимал красавицу-польку. На эту картину я смотрел со смущением. Написаны были эти картины, как могу припомнить, мастерски, но чьей кисти не могу догадаться. Я всегда подолгу стоял перед ними. В столовой у них висел... (В рукописи небольшой пропуск. Ред.) ...измайловский солдат и Николай Павлович на фоне Троицкого Собора с круглым куполом в звёздах.

В чинной и строгой зале так был начищен блестящий и скользкий паркет, что страшно было по нему ходить. У тёти был угловой полукруглый маленький будуар с камином, где я так любил смотреть из окна на Фонтанку. Около кабинета дяди была "образная", там всегда горели лампадки и было множество икон в киотах.

Я часто оставался обедать и панически боялся каких-нибудь вопросов и разговоров, потому-что генерал при всех гостях всегда спрашивал что-нибудь каверзное, вроде: "Если фунт муки стоит столько-то, то сколько стоит 3-х копеечная булка?" и конфузил меня до слёз. Когда я был еще совсем малышем, во время обеда за моим стулом стояла няня, кормя меня с ложечки. Однажды Маклаков, раньше не обращавший на это внимания, вдруг заметил эту картину и загремел: "Что за чучело? А тебе пора есть самому. Пошла нянька в кухню!" Я, конечно, плача, побежал за ней. Но добрая жена упросила сердитого генерала нас вернуть, говоря: "George, sois donc clement!"

Ёлка у них бывала великолепная до самого потолка и однажды, на другой день Рождества, мы с утра заползли с Сашей под ветки, нагруженные всякими украшениями, где так хорошо пахло хвоей, и опустошили все бонбоньерки с шоколадом и, конечно, заболели — была у обоих жестокая рвота.

Когда Саша был маленьким, он был совершенный "амур" с золотыми кудрями и полными щёчками, очень похожий на свою мать (его портрет висел в гостиной); его иногда одевали в форму пажа, — он со дня рождения был, как это в то время делалось, записан в Пажеский корпус, куда, впрочем, не поступил. Когда я с ним стал дружить, кудри у него уже сняли. Он очень много читал и всё без разбора, всегда улегшись на ковре, или под роялем. Он был смелый мальчик и, в противоположность мне, находчивый на ответы. Рассказывали, что однажды, когда Великий Князь Константин Константинович (который служил в Измайловском полку и часто бывал у Маклаковых) был у них, Саша к ужасу тёти Кати спросил у него: "А Вы, Ваше Высочество, читали "Нана"? (Ему в ту пору было лет 11.)

Как-то Великий Князь приехал днём, когда мы с Сашей играли, и пришлось с ним встретиться. Саша мне шепнул: "Непременно, когда он будет с тобой говорить, говори "Ваше Высочество" и смотри, не скажи "Ваше Величество". Я струсил и боялся, как-бы не напутать и не

сказать "Ваше Величество", но так и не титуловал его к общему конфузу. А Великий Князь спросил: "Ты тоже собираешь марки? А сколько у тебя?" Я смешался и сказал вместо 250 "двести пятьсот" и провалился окончательно.

В доме Гарновского был такой же большой внутренний двор, как и в нашем казённом доме, только посередине был, окруженный низеньким забором, сад, а все три этажа казарм были в аркадах, на манер итальянских лоджий, которые потом были заделаны. В тёплое время мы с Сашей часто играли в этом тенистом садике.

Там я был свидетелем маленького романа. Страдал один кадетик, его "дама", одна из полковых "капитанских дочек" была жестока. Саша её дразнил и изводил, я же воспылал рыцарством и показывал ей сочувствие: открывал ей молча калитку, поднимал платок и т.д., тайно мечтая, что моя молчаливая роль будет замечена, и, действительно, получал благодарные взгляды от гордой девочки.

На дворе же всё время слышались военные сигналы упражняющихся в своем искустве трубачей, а иногда происходило строевое учение солдат и мне было интересно глядеть, как их учили "шагистике" и ружейным приёмам.

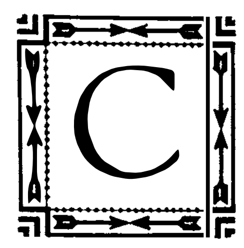
Но интереснее было забраться в Сашину "классную" и там играть с оловянными солдатиками, которых у него было целое войско, или рассматривать его коллекцию марок. Я так завидовал ему: у него были не только "R", но и "RR" — редчайшие марки!

Когда была коронация имп. Александра III в 1883 году, тётя Катя повезла меня в своем экипаже вместе со всеми ее детьми поздно вечером смотреть на иллюминацию Петербурга, и я вдоволь нагляделся на царские вензеля и короны, и на разные надписи, как "Боже Царя Храни", из весело переливающихся, то делавшихся голубыми, то ярко разгоравшихся, газовых язычков, на гирлянды разноцветных фонариков, развешанных вдоль улиц, на факелы Исаакиевского Собора, на сальные плошки, которыми были уставлены тротуарные тумбы и выступы домов.

Наше ландо еле могло пробиться через толпу, а в одном месте, около Арки Главного Штаба, его и совсем было затёрло, даже среди нас была маленькая паника. При этом мы не могли найти ни папы, ни няни, ни дяди Гоги, которые дежурили в разных местах, чтобы извлечь меня из коляски, и всё удовольствие было испорчено и я, конечно, плакал. Меня сонного безславно, почему-то на конке, повёз домой один чернобородый капитан Измайловского полка, повёз, наверное, без особого для себя удовольствия, лишь в угоду своей генеральше, а я крепко спал от усталости в уголке вагона конки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

ИГРЫ. ТЕАТР. "НАУТИЛУС".



ДРУГИМ моим другом детства (дружили мы и позже — всю молодость) — с моим двоюродным братом Сташей (Евстафием) Добужинским, моим ровесником, мы познакомились, когда мне было лет шесть.

Дядя Евстафий Петрович, брат отца, доктор (он был военный врач-хирург и доктор медицины) привёл его к нам и наши папы стукнули нас лбами, знакомая. После этого я стал часто ездить к нему играть на Пушкинскую и иногда даже оставался ночевать, хотя не любил, было скучно без папы и няни, но там уютно тикали часы и меня успокаивали. Мой папа и дядя были очень дружны, как все в нашей семье, хотя редко виделись из-за их службы. Я был несколько моложе Сташи, но тогда я его уже "обогнал": раньше его научился читать и вообще больше знал. Его долго одевали под средневекового "пажа", он носил локоны и чёлку и ходил в длинных чулках и туфлях, и почему-то на ночь недевал девочкину ночною рубашку, очень его конфузившую. Потом, когда длинные волосы ему остригли "под гребёнку", он как-то сразу возмужал (в противоположность Самсону). Он был серьёзный, круглоголовый, с вздёрнутым носом и очень сильный мальчик — когда мы боролись, он почти всегда меня побеждал. Скоро он стал перегонять меня в чтении, но всё то, что прочитывал — давал мне, и я читал следом за ним, и наоборот.

Дядина квартира была на пятом этаже и из окна мы видели внизу круглый скверик со статуей Пушкина и табачный магазин с зелёной вывеской и гордой надписью: "Существует с 1882 года", которая нас смешила: был тогда 1883 год. В квартире немного пахло карболкой и

в стеклянном шкапу на полке, между толстыми медицинскими книгами, стояло несколько банок со спиртом, где плавало что-то моршинистое и студенистое. Но куда интереснее были, висевшие на стене, скрешенные рапиры и эспадроны с фехтовальной маской (столь знакомые мне по дедушкиной квартире — теперь они перешли к дяде), и испанский кинжал — "стилет" — с особенно злодейским волнообразным лезвием, а главное, на той же стене были расположены веером *настоящие* индейские стрелы, каким-то чудом залетевшие в эту петербургскую квартиру! Хоть их нельзя было трогать (мы верили, что наконечники напитаны ядом!), но как же было нам со Сташей тут не играть в краснокожих?

Мы, начитавшись уже тогда Майн Рида, устраивали вигвам под роялем и делали набеги на кухню, под роялем приготовляли похлёбку из воды с черным хлебом и кухонной солью — было очень невкусно, но это была, хотя и не индейская пиша, зато "спартанская похлёбка" (о спартанском мужестве мы уже знали) и мы себя "закаляли".

Когда Сташа приходил ко мне, то в моей большой детской мы непременно устраивали спектакль вместе с Серёжей, а иногда с Мери. Спектакль состоял из множества действий и последнее обязательно было "драка". Я рисовал афишу и наверху ее была надпись: "афиша". Мы играли a l'improviso и сами не подозревали, что это была "comedia del Arte". Зрителей у нас было немного — няня, а иногда и папа, так что был настоящий театр для себя. Мне остается непонятным откуда взялось у нас обоих это увлечение театром? "Самозарождение"? Ни я, ни Сташа в настояшем театре не бывали кроме балаганов и цирка. То, что я видел в раннем детстве у мамы уже стёрлось из памяти. Папа же мой — я знаю — меня даже оберегал в этом возрасте от театра, боясь слишком сильных впечатлений (а может быть был ревнив к театру, который отнял у него мою маму....) Он говорил мне: "ты ешё успеешь насмотреться", и был прав — в будущем я действительно насмотрелся вдоволь и даже с избытком...

Когда я был уже на пороге гимназии, а Сташа учеником 1-го класса 1-ой гимназии, мы затеяли спектакль всерьёз и решили поставить "Дети капитана Гранта". В то время наше увлечение Жюль Верном было в самом разгаре. Конечно, никаких ролей мы не учили, а лишь приблизительно условились, что надо делать и о чём говорить — Comedia del Arte продолжалась. Труппа была та-же: Сташа, Серёжа, я, Мери и еше двое мальчиков, моих соседей, а я сделал свою первую декорацию.

Скалы на острове Табор, они же Кордильеры, я соорудил, накрыв толстым солдатским сукном венские стулья, которые нагромоздил один на другой и вышло на мой взгляд совсем "похоже". Из картона,

раскрасив его в синий цвет, я сделал море и на горизонте прикрепил кораблик с парусами, тоже картонный. Я сидел за "морем" и покачивал это судно, а чтобы оно "взрывалось" и тонуло — я пускал за ним маленьки ёлочный фейерверк и прятал корабль за мой горизонт.

Труднее всего было с кондором, спускавшимся с облаков и хватавшим Герберта. Картонная птица была, как и следовало, с голой шеей и белым пуховым воротником. Но к несчастью верёвка, на которой она была привязана, запуталась под потолком в крючке от лампы, и к нашему конфузу пришлось принести стол и стул и просить папу помочь. Но спектакль и без того затянулся и публика (кроме своих были двое дядей с тётями) уже стала расходиться до конца представления. Мы были очень обижены. Но к театру не остыли — через два года, по возвращении моем из Кишинева мы поставили на Каменноостровской даче уже почти настоящий спектакль.

Наше чтение со Сташей сосредотачивалось всё больше на Жюль Верне и мы прочитали почти все его романы — и "Путешествие на Луну", и "Гектор Сервадак", и "В стране пушных зверей" и проч. Герои Жюль Верна стали нашими кумирами. Мы со Сташей решили, что когда выростем, непременно поставим Жюль Верну громадный памятник. "80000 верст под водой" и "Таинственный остров" мы прочли по несколько раз и настолько были увлечены образом капитана Немо, его "Наутилусом", таинственностью подводного мира и местью англичанам за порабощенную Индию, что все наши недавние игры в индейцев и даже в театр были забыты, и мы решили, что построить "Наутилус" будет теперь целью всей нашей жизни. (Конечно, сами того не подозревая, мы продолжали играть в театр для самих себя и, конечно, ни за что бы этого не признали — так мы уверовали, что всё это будет непременно.)

Сташа — ему было тогда лет 10 — раз сказал мне: "Я капитан Немо", я сразу признал это и сам назвался его помощником — лейтенантом Гейдегером — это было имя "Красного морского разбойника" Фенимора Купера (меня восхищал этот загадочный и благородный герой, я бы хотел на него походить!).

Сейчас же мы посвятили во всё нашего общего друга Серёжу и дали ему имя Даккер — (по Жюль Верну это было настоящее имя капитана Немо), а должность его была — начальник внутренних частей Nautili и Главный Шпион.

Нам был еще туманен план, когда и как мы построим Наутилус, но мы решили сразу же готовиться к постройке подводного судна и

немедленно начать изучать машины и электричество. О последнем мы знали мало, но у меня была только-что появившаяся свеча Яблочкова. Я, не откладывая, нарисовал подробный чертеж подводного корабля и был очень горд, что изобрёл динамомашину с магнитами (вернее, подсмотрел в физике Краевича, которую где-то достал Сташа). Кроме того мы стали собирать гайки и винты.

Мы решили также по примеру капитана Немо построить корабль на необитаемом острове Табор. Остров этот, указанный в "Детях капитана Гранта", я, к моему восторгу, нашел на карте, но он оказался такой маленькой точкой, что невозможно было понять его очертания (блеснула мысль — не посмотреть-ли на карту в микроскоп).

Решено было, что всё должно быть окружено страшной тайной и мы втроем, как настоящие заговорщики, поклялись и даже расписались на клятвенной бумаге кровью, выдавленной из наших больших пальцев, чтобы не выдавать никому нашего плана, а особенно девиза "М.А.", что означало "Месть англичанам". Нас не смущало то, что Серёжа по своей матери был сам англичанин и что при этом на его сестре Мери я собирался жениться. Нам очень хотелось ненавидеть англичан, но у меня как-то ничего не выходило. В доме у Серёжи бывал его английский родственник с рыжей бородой Mr. Dunkan. Мы хотели ему как-нибудь нагрубить, но так и не решились. Раз я увидел долгожданный английский флажок на какой-то шхуне или яхте, бросившей якорь у Выборгской стороны, и мы с Немо задумались, как-бы отомстить этому кораблю, ходили смотреть на него, но тоже ничего не придумали.

Для будущего экипажа Наутилуса мы хотели собрать товарищей, связанных священной клятвой. И начали с того, что придумали драконовские законы и страшные казни за измену. Первый закон гласил, что "тому, кто изменит "Nautili et centurioni Nemini", тому проткнут живот, отрубят руки, ноги и голову, всё это сожгут, а туловище бросят на съедение акулам". Матросов мы еще пока не набирали — это было преждевременно, но у нас была мысль впоследствии их набрать, конечно, из беглых каторжников.

Состав же начальствующих лиц экипажа был уже полный (мы привлекли еще двух гимназистов). И теперь решено было позвать всех ко мне в детскую на торжественное заседание, чтобы все расписались на "списке начальствующих лиц Наутилуса".

Этим списком я усердно занялся, папа дал мне большой лист "Александрийской" бумаги, на котором я нарисовал придуманный мной герб "Наутилуса" — золотого двуглавого льва и красного цвета девиз "М.А."

Мой отец, конечно, видел, что мы заняты каким-то заговором, слышал нашу возню и шушукание и делал вид, что уважает некую нашу великую тайну — воображаю, как он потешался, слушая, что затем произошло за его стеной, в детской.

Наше заседание началось очень серьёзно, все старательно расписались (с росчерками), но кончилось, увы, всё по мальчишески, из за чего-то мы тут очень скоро поссорились, кто-то кого-то толкнул, в конце концов опрокинули чернильницу и мой замечательный документ украсился огромной кляксой (очень трудно было потом ее вычистить). Этим наше учредительное собрание и кончилось.

Затем всё развалилось. Начальник внутренних частей Наутилуса, Даккар, пока что поступил интерном во 2-ой Кадетский корпус, другие ушли в полную неизвестность, но мы с капитаном Немо оставались еще верны Наутилусу. Из Кишинева, куда я вскоре уехал с папой, я ему посылал новые чертежи, он, отвечая, всегда подписывался: "твой друг и капитан Немо" и в скобках: "уч. 3 кл. 1 отд. СПБ 1-ой гимн."

На всякий случай я продолжал собирать болты и гайки. Но игра кончалась... Через два года, когда, уезжая со мной из Кишинева, папа спросил: "Ну, а гайки — тоже возьмем с собой? Что-то уж очень тяжелые". Я малодушно ответил: "Фу, папа, какие глупости::.

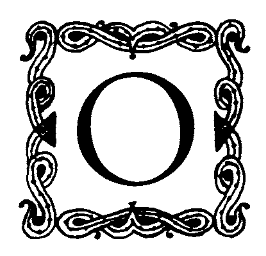
До 5-го класса гимназии мы обходили со Сташей молчанием Наутилус, — Немо даже сердился на намёки. Когда же наступил возраст "разъедающего анализа", лет 15, — мы, желая быть взрослыми, хохотали над "детским вздором", потом вообще забыли. Но в Университете уже вспоминали наш Наутилус с улыбкой.

Прошло много лет, больше четверти века... Однажды я навестил отца в Вильне и он, разбирая бумаги, сказал мне: "Посмотри-ка, что я храню?" И я увидел знаменитый документ Наутилуса со следами исторической кляксы и весь архив нашего подводного корабля!

Я помню добрый смех моего дорогого отца, когда он тут читал, кажется, тогда впервые, наши кровожадные законы... И какое это теперь тоже далекое и тоже незабываемое воспоминание....

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

МУЗЫКА И РИСОВАНИЕ.



Т МОЕЙ матери я унаследовал музыкальность, — когда мне было года три она даже удивляла окружающих. Но позже, в моем петербургском детстве она оставалась как бы "под спудом", но всё же заглохнуть не могла, так как благодаря моим двум дядям, маминым братьям, игравшим на рояле, я постоянно слышал дома музыку.

Отец сам не играл и, впоследствии, он мне говорил, что музыка на него действовала настолько сильно, что он ее даже "боялся" — я видел однажды, как он утирал слёзы в театре. У него был прекрасный слух, он часто напевал своим красивым баритоном, когда бывал в хорошем настроении и, приезжая в Новгород, подпевал на клиросе нашей церкви. Остались у меня в памяти и его аккорды из шубертовской серенады, которые он брал на рояле. Я его не спрашивал, но мне думается, что может быть когда-то он аккомпанировал моей маме, певшей эту чудную песнь...

Вероятно, по заочному совету мамы, когда мне было лет 8, мне стала давать уроки на рояле одна бывшая ее подруга по Смольному институту, но я особых способностей не проявил. Уроки продолжались две зимы, но дали мне довольно мало и дальше дело не пошло из-за занятий в гимназии. (Возобновились мои занятия музыкой, когда я был в 5 классе; отец подарил мне виолончель и я брал уроки довольно долго.)

Моя охота и *способности к рисованию* стали проявляться тоже очень рано — с тех пор, как я научился держать в руке карандаш, и тоже это было до известной степени наследственным.

Отец мой рисовал очень хорошо для любителя и с натуры делал отличные и точные рисунки. Я видел у него старый альбомчик, куда он зарисовывал во время путешествия в Туркестан (в 1869 г.) разных типов и разные сценки. И мне маленькому он рисовал часто всякие фигурки и рожи.

Что было, действительно, замечательно — это его буквы и надписи, которые он любил рисовать в шутку на папках и обложках своих казённых бумаг. И я приглядывался, как он это делает. Тут у него была большая изобретательность, и в этих "сталактитах" и разных забавных утолщениях букв сказывалась его любовь к оригинальному.

Склонность моя к узорным буквам и шрифтам идет, вероятно, из этого источника и в гимназические годы все мои школьные театради бывали изукрашены надписами довольно хитроумными.

Среди моих родных "настоящих" художников не было, но многие, как и мой отец, рисовали. Было предание, что рисовал мой прадедушка, Осип Егорович Добужинский, а сестра моего деда, Эмилия Осиповна Дреллинг, вырезала портретные силуэты. Писала масляными красками, а также и по фарфору, сестра отца, Екатерина Петровна Маклакова.

Моя бабушка (мать моей мамы) в молодости рисовала очень каллиграфически — сужу по той акварельной копии, которою в детстве я любовался у нее в зале; рисовали и два брата моей мамы, Миня и Коля. В Новгороде я всегда смотрел, как дядя Миня рисует и завидовал, как у него легко и уверенно течет из под карандаша линия. Особенно мне нравились его профили голов и скачущие лошади. Дядя же Коля своим искусством меня не заражал и рисовал он всё время только каких-то святых. Хотя одно время он учился в Петербурге в Школе Общества Поощрения Художеств (когда она была еще в здании Биржи), а потом у одного иконописца в Петербурге же, но рисовал, даже и на мой тогдашний взгляд, коряво и неуклюже; мой папа, подшучивая над его лишенными всякого благолепия ликами святых, пририсовывал им пенсне и баки чем его, впрочем, нисколько не обижал, дядя сам добродушно смеялся. Помню, что он также измышлял какие-то византийские храмы, но все на один лад.

Когда отец заметил мою *потребность* к рисованию, он всячески старался ее поощрять и у меня всегда было изобилие цветных карандашей и бумаги, а мои рисунки он стал бережно собирать с моего трёхлетного возраста, и с их датой вклеивал в альбомы, которых у него за мое детство накопилось несколько. Один из альбомов необыкновенным чудом сохранился, в нем 81 рисунок; они

сделаны во время моего петербургского детства (до 11-ти летнего возраста). Эти рисунки теперь перед моими глазами.

Я с малых лет имел склонность к смешному и рисовал уродов и даже настоящие каррикатуры. Больше всего я любил рисовать витязей и рыцарей — и в профиль и en face, разных чертей и сражения между добрыми и отпавшими ангелами (это было навеяно гравюрами Доре!), любил машины и раз изобразил довольно сложную летательную машину, когда их еще и на свете не было. Потом пошли индейцы, взрывы кораблей, абордажи, сражения и разные исторические "композиции" — всё, что было навеяно чтением.

Отец, нежно любя меня, конечно, преувеличивал мои детские способности. Я рисовал не лучше и не хуже всех детей в том же возрасте, хотя некоторые мои рисунки показывают большую наблюдательность и для моих лет даже довольно удивительную и отец делал всё, чтобы эта наблюдательность во мне развивалась и в дальнейшем.

Я пробовал рисовать и то, что было перед глазами, и на память, конечно, но это было почти с натуры. Отца особенно обрадовал рисунок, сделанный, когда мне было, как на нем он отметил, 4 года и 4 месяца. Я нарисовал цветными карандашами стакан с красным чаем и в нем синюю ложку, которая, как я подсмотрел, преломляется под поверхностью жидкости! 8-ми лет я нарисовал (конечно, на память, но, вероятно, поглядывая) мою детскую — висячую лампу с плоским абажуром, часы на стене (3 часа), 8 картинок на стенах, в дверях кольца для гимнастики, а за столом (со спины) я, мой друг Сережа, гувернантка в шляпке с пером и папа со шпорой указывающий в книжку. Подписано: "егзамен". Удивительно, что при всей забавной наивности картинки я сумел передать перспективу, и в глубине за дверьми два окна папиного кабинета. (Единственное "документальное" изображение нашей квартиры!)

"Вплотную" с натуры я начал рисовать во время нашего с отцом путешествия на Кавказ — мне не было полных 10 лет. Начал в Москве — вид из окна гостиницы на Кремлевскую стену. В Пятигорске в мой альбом рисовал и отец. Мы рисовали гору и двор нашего домика, а на память черкесов и киргизов. Вернувшись в Петербург, я нарисовал нянино ухо, а в Новгороде очень тщательно изобразил, восхитивший всех домашних, целый вид из дедушкиного окна: забор с калиткой (на ней №17) и за забором деревья и шпиль Десятинного монастыря.

Я рисовал цветным и черным карандашом (свинцовым и итальянским), подражая тому что я видел, делал штрихи и тушевал растушевкой, и очень любил фиолетовые чернила; когда они

засыхали, то давали зелено-бронзовый оттенок, как надкрылья шпанской мухи.

Я был очень счастлив, когда получил 5-ти с половиной лет акварельные краски. Я так мечтал о ящике с красками, что даже помолился об этом — и, действительно, получил вскоре на ёлку этот подарок (странно, что мне не пришло в голову просто попросить папу об этом).

Я вдоволь наслаждался цветом моих красок и было занятно вливать в "лужу" одной краски другую краску.

В раннем детстве отец предоставил мне полную самостоятельность в рисовании и как рисовать мне не подсказывал, что я считаю было очень разумно.

И дальше, всю юность, я продолжал рисовать самостоятельно (школьные уроки не в счёт — они ничего не дали) и хотя то, что приобреталось "собственным умом" и было ценно, но моё художественное развитие неизбежно шло медленно.

Из моих маленьких друзей рисовал лишь Сережа Саблин, но только паровозы и корабли со всеми снастями и парусами, чему тоже, как и рисункам дяди Мини, я завидывал и хотел подражать, но не выходило. И, вообще, рисовал "как Бог на душу положит".

Отец иногда подсказывал мне что-нибудь нарисовать из прочитаного, но, увы, это редко мне удавалось, и мне самому обыкновенно не нравились мои рисунки — в воображении всё представлялось гораздо лучше, да у меня и не было, в сущности, каких-то из ряду вон выходящих способностей. В десяти и одиннадцати-летнем возрасте у меня, как вообще у детей в эти годы, началась самокритика, захотелось рисовать точно, ошибки и собственная наивность уже конфузила, а рука и глаз не слушались, и прежняя смелость рисунка исчезла.

Такой бездарный период беспомощности и робости (и довольно долгий) настал уже в гимназии, когда и фантазия моя как-то уснула и рисовал я меньше из-за уроков; рисуя-же, я делался все больше "реалистом". Но до этого, в течение всего моего петербургского детства, рисование продолжало быть моим самым любимым занятием.

Лет с 10-ти я стал срисовывать картинки из иллюстрированных журналов, большею частью это были пейзажи. Иногда я придумывал собственные краски. "Точный глаз" и чувство пропорций были у меня врожденными и рисовалось легко. Любопытно, что эти первые копии были гораздо лучше тех, которые я стал делать позже гимназистом, когда впадал в детали и часто "засушивал" мои рисунки.

Глаз мой и наблюдательность всё время развивались, этому помогало всё то, что меня окружало дома в таком разнообразном изобилии, а также и моё коллекционирование: кроме насекомых, которых я, конечно, внимательно разглядывал и знал все особенности узоров крыльев бабочек и орнаменты на надкрыльях у жуков, — я стал собирать и марки. Этим увлечением меня заразил мой двоюродный брат Саша Маклаков. Я научился приглядываться к самым тонким оттенкам цвета и меня очаровывали на марках некоторые краски. Я "обожал" вермильон на одной греческой марке с профилем Меркурия, серовато-розовый и голубой цвета на египетских марках со сфинксом и пирамидой, и темно-красный и глубоко-синий на старых английских марках с портретом юной Виктории, — от них на меня веяло каким-то "ароматом" цвета. В то же время действовало и ощущение "драгоценности", которое было, и в старинности, и в редкости их — особенно я гордился первыми русскими марками, чёрными круглыми штемпелями с аппетитным густокрылым орлом, и марками земской почты, которые мне нравились своей корявостью и смешной раскраской.*

Отец не был коллекционером по какой-либо специальности, лишь увлекался своими книгами, но вовсе не был тем что называется "библиофил". Из вещей же собирал лишь то, что ему нравилось и было доступно. Кроме оружия у него накопилось довольно много старинных монет, — больших серебрянных испанских, времени Филиппа 4-го, с аппетитно неровными краями; Екатерининские рубли с профилем царицы, огромные тяжелые пятаки 18-го века, сибирские медяки с лисицами и проч. Были также маленькие русские серебрянные денежки неправильной овальной формы со славянскими буквами. (Из клада, некогда найденного дедушкой в Новгороде.) Потом ящик с этой коллекцией отец подарил мне. Он подарил мне также коробку с разными породами, камней — в этой небольшой коллекции были разные руды, асбест — горный лён, слюда, кварцы, кусочки различных мраморов и т.д. И я сам стал собирать камушки и в Пятигорске набрал целую кучу разноцветных, пока один знакомый, на беду настоящий геолог, не разочаровал меня, сказал, что всё это "собакокиды", и я их выкинул и больше не собирал.

Для развития во мне художника отец дал мне всё, что мог. Хотя мы и жили вне художественной среды, но это вовсе не было большим лишением по тому времени. Единственно чего недоставало — у отца не было специальных книг по истории искусства. Но подобных

*Цветовые эмоции у меня всегда связывались с ощущениями материала, кроме сказанного о марках, это проявлялось в отношении цвета бумажек, переплётов, всяких материй.

русских изданий тогда не существовало, кроме очень дорогих альбомов по русской старине, а "знаментитая" История Искуства" Гнедича появилась позже, в 1890-х годах. У дедушки была только одна польская книга с гравюрами знаменитых картин старых мастеров, и встречались иногда репродукции музейных картин в иллюстрированных журналах.

Я знал еще в детстве о Рафаэле, Тициане, Микель-Анджело и Рубенсе — их четыре маленьких портрета-гравюрки, вырезанные из немецкого журнала, отец повесил в моей детской. У отца была также папка со случайными старинными эстампами, среди которых была одна очень хорошая английская гравюра 18 века с Генсборо; небольшие китайские картинки и несколько репродукций Ровинского с русских лубков (особенно меня забавляла — "Фома музыкант и Ерёма поплюхант".)

Иллюстрации в книгах и журналах я всегда рассматривал пристально. Большею частью это были по тому времени отпечатки "тоновых" деревянных гравюр и мне было занимательно вглядываться в самые штрихи их, которые то утолщаясь, то утончаясь, создавали, если прищуриться, впечатление разных оттенков тёмного и светлого.

С раннего детства мне чудились в самых обыкновенных изображениях еще какие-то скрытые образы. Я уже упоминал о чудовищах, которые мне мерещились среди болотных кочек того прозаического пейзажа, что висел у нас в зале. В нянином сундучке, в крышке, была наклеена картинка — какие-то боярские хоромы и в них изразцовая печка, которая мне упорно чудилась дверью на улицу, где видны маленькие окна домов — изразцы. Эти скрытые фигуры часто выступали сами собой, а иногда я их сам искал и заставлял себя их видеть, не зная еще совета Леонардо-да Винчи всматриваться в пятна сырости. Но никто иной, как моя няня Марья Осипова мне в этом помогла: она говорила, что любит искать среди веток деревьев на картинках разных зверей и человечков, и мы с ней этим часто занимались. В журналах помещались тогда "загадочные картинки" — среди кустов или в лесу надо было найти силуэт охотника или собаки и проч.; вероятно, это и было причиной няниного интереса. Эта способность видеть двойные образы ("контрапункт", "крипто-грамма" — как угодно) была у меня как-бы природной и если-бы это, так сказать "двойное зрение", я в себе развивал, оно в дальнейшем могло бы дать результаты и непредвиденные. Но это надолго замерло и лишь в зрелом возрасте стало вновь воскресать по новому, о чем в другом месте.

'Настоящие" картины я видел в Эрмитаже, куда меня несколько раз в детстве водил отец. Там меня поразили "Последний день Помпеи" Брюллова и "Медный Змий" Бруни (Музея имп. Александра 111, где они позже были помещены, тогда еще не существовало), а также мне очень нравились тёмные пейзажи Сальватора Роза (странно что именно на этом романтике я остановил свое внимание). С отцом мы ходили на выставки и в Академию Художеств, и в Дом Бернардаки на Невском, где бывали Передвижные выставки. Но мне меньше запомнились самые картины, чем волнующий запах лака и масляной краски на этих выставках, и отчетливо помню, как на одном пейзаже меня очаровали густые мазки краски на облаках и на небе, точно с каким-то шёлковым отливом. Иногда отец меня спрашивал, что мне нравится и что не нравится — я раз ответил: "тут неверно нарисована рука", что было правда.

Отца, конечно, занимал вопрос, как в дальнейшем учить меня рисованию и он как-то сказал мне, что было-бы хорошо, если-бы я поступил в ученики к кому-нибудь из очень хороших художников, присматривался бы к тому, что он делает в своей мастерской, и потом мог бы помагать ему, т.е. как это было у старинных мастеров, когда ученики "тёрли краски" и подготовляли вчерне картину мастера... Но кто мог-бы быть таким ментором? В разговоре с другими по этому поводу — и это я слышал — отец упоминал имя Константина Маковского, который среди русских художников был тогда действительно настояший "maitre" и "европеец". Конечно, эта затея никогда не смогла бы осуществиться, но то, что у отца явилась такая необыкновенная мысль — было замечательно.

Впоследствии мне стали ясны тогдашние взгляды отца на современное ему русское искусство. Академию он считал "казёнщиной", передвижников не любил за серость и скуку, Репина называл грубым, хотя и удивлялся силе его таланта, Верещагина находил пёстрым, но уважал за "правдивость" и больше всего почитал Сурикова и Шварца как исторических живописцев, и любил Константина Маковского. Он мечтал, что я буду учиться живописи за границей (это и осуществилось) и что я буду сам историческим живописцем (отчасти так и стало, пожалуй...)

Тётя Катя Маклакова тогда усердно занималась живописью, она брала частные уроки у М-me Вахтер, преподававшей в Школе Общества Поощрения Художеств. Отец и обратился к тёте за советом на счет моих уроков рисования. По ее совету я приготовил, старательно нарисовав карандашом и растушёвкой, копию какого-то

пейзажа из моего любимого журнала "Über Land and Meer", а папа выбрал еще кое-что из своей коллекции моих рисунков. Тётя показала рисунки M-me Вахтер и я без всякого экзамена был принят, к моему восторгу, в младший класс "Школы Поощрения".

Занятия в мужском отделении школы происходили по вечерам, и так как вечерние путешествия на Мойку с Выборгской стороны были бы неудобны, меня приняли, в виде исключения, в женский класс, где рисовали по утрам. Туда я ездил на извозчике с Васильком. Кроме меня там был еще один мальчик, черненький Максимов, и я очутился среди шумной компании барышень и дам. Меня засадили за копирование "оригиналов" — картонов с накленными на них литографиями, изображавшими геометрические тела, и я принялся рисовать, стараясь не обращать внимания на окружающих дам. Эти особы меня страшно раздражали постоянной болтовней и особенно тем, что во время перерывов толпились около моих рисунков и хвалили. Я старался уйти подальше, или прятал мой рисунок. Как они рисовали мне не нравилось, было грязно и непохоже, я же старался подражать тем штрихам, которые видел на "оригинале" — это мне никакого труда не стоило, и было большое удовольствие штриховать и тушевать, заполняя дырочки между штрихами, — я как-то сам догадался это делать и учительнице даже не приходилось меня поправлять.

В перерыве занятий я прогуливался по корридорам школы, рассматривал развешенные там акварели, как недосягаемые образцы акварельной техники (особенно меня поражала индийская пагода в Дели с небом, невероятно ровно залитым синейшим ультрамарином).

Однажды в класс опоздала одна светловолосая девочка — все уже сидели на местах и она остановилась в беспомощности. Вдруг я встал, храбро прошел через весь класс мимо ненавистных дам и девиц и достал ей доску; все весело рассмеялись над моим джентельменством, я же покраснел, как рак.

Других происшествий не случилось. К весне (это был 1885 год) меня перевели в следующий класс, одобрив мои рисунки. Летом мы с отцом поехали на Кавказ, я взял с собою большой альбом для рисования и в нем сделал много рисунков с натуры, а осенью, по возвращении в Петербург, я продолжал ходить в школу Общества Поощрения Художеств два раза в неделю, но уже без провожатого и по прежнему в дамский класс, рисовал же теперь гипсовые орнаменты, тоже "успешно". Но продолжалось всё то же: копировка и тушевка и всё тот же трудный "итальянский" карандаш — тоже самое было во всех школах и это предстояло мне и в гимназии. Преподавателям и в голову не приходило разнообразить технику рисования и живописи,

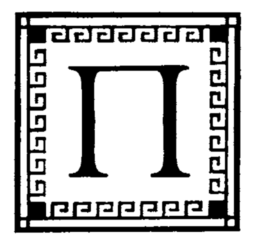
не учили и не подсказывали никаких иных приёмов рисования всё оставалось в рамках самого унылого шаблона.

Вторую зиму мои занятия были не регулярны, так как я тогда усердно готовился к вступительным экзаменам сразу во второй класс гимназии.

На этом и кончились мои уроки рисования в моем петербургском детстве.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

УЧЕНЬЕ.



ОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ с Кавказа я стал продолжать готовиться к поступлению в гимназию. В начале у моего отца был план вовсе не отдавать меня в какое нибудь учебное заведение, а чтобы я учился дома с лучшими преподавателями по выбору отца и сдал бы потом экзамен на аттестат зрелости. Отец очень скептически относился к тодашней казённой средней школе, называя министерство Просвещения "министерством народного обалдения", хотя и находил классическое образование нужным. ГрафаТолстого, (министра народного просвещения при имп. Александре III) проводившего угодные императору идеи (я помню тогдашние разговоры), считал врагом просвещения и я помню — это было позже, как меня поразило, что отец, никогда не осенявший себя крестом, узнав, что Толстой умер, — перекрестился ("Слава Богу"). Отец также боялся для меня случайных влияний в школе и среды товарищей, неизбежно менее культурной по сравнению с тем уровнем, на который меня поставило его воспитание.

Увы, этот план — одно из идеальных мечтаний отца, — конечно, был неосуществим из-за материальных условий и меня пришлось готовить в гимназию, но отец всё же хотел оттянуть поступление, чтобы я подольше был дома под его влиянием. Поэтому меня решено было готовить для поступления прямо во 2-ой класс гимназии. В кадетский корпус отец и не думал меня отдавать. Я имел право поступить и в Пажеский корпус, как внук "штатского генерала", каким был дедушка, или в Лицей, или в Училище Правоведения, но отец считал, что эти "привилегированные заведения готовят лишь

карьеристов", и это ему глубоко претило. Он сам никогда не искал каких-либо протекций и был настояшим "человеком долга".*

Впоследствия я от него неоднократно слышал, что долг этот он видел в максимуме добра, которое можно делать, состоя и на военной службе. Солдаты его обожали (я знаю множество трогательных фактов) и они всегда уходили со службы грамотными. Сам он стал военным по случайной необходимости, отданный с детства в корпус, и делать из меня военного и, вообше, предрешать с детства мой будуший путь было чуждо всем его взглядам на воспитание.

Ему самому пришлось пройти суровый Николаевский режим кадетского корпуса. Он поступил (кажется в 1850 г.) в корпус в Брест-Литовске, где тогда жили его родители, "обремененные многочисленным семейством", в силу чего его и пришлось отдать "интерном" на казенный счет. Вскоре весь корпус почему-то был переведен в Москву, в Лефортово, но в 1856 году, во время коронации Александра II, произошел (историей умалчиваемый) кадетский бунт и все кадеты взбунтовавшейся роты "через одного были отданы в солдаты. Отца чаша сия, по счастливой случайности, миновала, судьба же отданных в солдаты (на Кавказ) была ужасна. Всех избегших этой участи перевели в разные корпуса, сам же московский "Александровский-Брестский корпус" был закрыт.

Всё это я понемногу узнал из рассказов моего отца. Особенно меня поразило, как кадеты стояли один за другого и когда их спрашивали, кто зачинщик, все разом, как один, заявляли: "мы все".

Интересно было от него узнать и то, что в начале 1850-х годов, в конце царствования Николая 1-го, в Московском корпусе преподавали и профессора Университета.

Отец был переведен в Виленский кадетский корпус, откуда и был произведен в офицеры в 1862-м году. (Программа высших классов корпусов в то время соответствовала курсу юнкерских и военных училищ и из корпусов выходили прямо в офицеры, что, впоследствии, сохранилось, как привилегия, лишь в Пажеском корпусе). Виленский кадетский корпус был закрыт после польского восстания 1863-го года.

Для подготовки меня в гимназию отец пригласил студента Военно-Медицинской Академии Агафангела Ивановича, который

*Его "военная карьера" шла сама собой и успешно — в моем детстве, будучи капитаном гвардии, он был отличаем (получил Владимира 4-й степени, что было редкостью и 44-х лет был произведен в полковники, а, впоследствии, в нормальные сроки и в генеральские чины, и карьера его оборвалась, когда он был генерал-лейтенантом, благодаря лишь его самолюбию и гордости (ссора с Вел. Кн. Сергеем Михайловичем).

поселился со мной в детской. Это был длинный, очкастый и боролатый студент, очень добрый и мягкий со мной, с которым я засел за латынь и за ужасную арифметику с задачами на бассейны и поезда, догоняющие один другого и т.д. Но память у меня была не плохая, я учился с охотой и без особого утомления.

Раз я увидел среди книг моего учителя учебник анатомии с рисунками и в его отсутствие с большим интересом его рассматривал. Тут я впервые узнал о тайне рождения, увидел рисунки материнской утробы и зародышей. Понятно, как это открытие меня взволновало и испугало. Объяснений я побоялся у кого-нибуль спросить.

Агафангел Иванович учил меня год, а потом, сам занятый экзаменами, передал меня другому студенту, низенькому, прыщеватому Михаилу Львовичу Тривусу, тоже хорошему и спокойному учителю. Иногда я ходил заниматься к нему на Захарьевскую улицу. Он меня окончательно подготовил к екзаменам во 2-й класс гимназии.

Михаил Львович ходил в штатском — форма для университетских студентов только что вводилась, и студенты в нее, помнится, не охотно наряжались, у них и без того была как-бы "форма", почти все они носили пледы и широкополые шляпы — таким ходил и Михаил Львович. Агафангел же Иванович носил сюртук Военно-Медицинской Академии с черными погонами, украшенными по диагонали двумя серебрянными полосками, и был вооружен никчёмной шашкой (смеялись, что в ножнах у этих студентов вместо клинка должен быть клистир). Помню рассказ отца, как однажды Александр II, мчась по набережной, усмотрел медицинского студента без этой шашки. Тут как раз проходил отец, и увилев офицера, царь приказал отвести злополучного медика на гауптвахту. Отец должен был исполнить это "Высочайшее повеление" и по дороге бедный студент чуть не плакал, думая, что его отдадут в солдаты. Рассказ этот тогда очень меня огорчил, так как я привык считать Александра II "добрым царем" и отец его уважал, и его овальный портрет в гусарском мундире украшал мою детскую — висел над лверьми, где была моя трапеция.

За два с половиной года занятий с моими учителями я подготовился к экзаменам во 2-й класс гимназии. Между тем отец был произведен в полковники и должен был уехать в Кишинев командиром батареи. Все его хлопоты, чтобы получить назначение в родную нам Вильну или Киев, который он тоже любил (там он родился) успеха не имели. Приходилось ликвидировать нашу

квартиру и обстановку, и уезжать. Кончался самый счастливый период моего детства.

Нашу квартиру и многое, чего нельзя было с собой взять в Кишинев, надо было ликвидировать. Мы с отцом с болью в сердце расставались с нашим аквариумом, с птицами, с моими морскими свинками, с коллекцией отцовского оружия, со всей обстановкой. Отец брал с собой лишь всю свою, ставшую уже очень обширной, библиотеку, за исключением накопившегося хлама.

Он должен был уехать очень скоро и решено было, что я пока останусь в Петербурге и буду держать экзамены в 1-ую гимназию, где учился Сташа, и на это время перееду жить к дедушке Петру Осиповичу.

Настала первая, самая долгая разлука с моим папой. Дедушка был уже несколько лет в отставке и жил на покое с младшим сыном, дядей Петрушей, в Поварском переулке, куда я и переселился.

Я давно уже перестал "бояться" строгого дедушку. Со мной он беседовал, как с равным, шутил и эта шутливость делает мне особенно дорогим его образ. Его записочки, которые он писал отцу, приглашения, например, на обед, почти всегда весёлые, часто он предворяет о меню — "но если кухарка не подведет" и во многих его письмах сквозит эта улыбка.

У дедушки мне было уютно и я полюбил мирный и чистенький переулок, где гулко по утрам раздавались крики разносчиков, и эти соседние, новые для меня, чинные и серьёзные улицы — Московскую и Кабинетную.

1-ая гимназия, где я сдавал свои экзамены, была на углу Ивановской и Кабинетной, недалеко от дедушкиного Поварского переулка. На первый экзамен Закона Божьего дедушка меня повез сам. Мы ехали на извозчике и около Владимирского собора я перекрестился. Дедушка заметил: "если крестишься, делай это сознательно, а не маши рукой, лучше тогда в вовсе не креститься" — я это навсегда запомнил.

Вступая в гимназические сени, я впервые ощутил тот "мороз", который меня и после часто одолевал в гимназии. Меня окатило холодом уже сразу при виде важного в ливрее швейцара с медалью, открывавшего двери с медными прутьями, и стены корридоров, окрашенные блестящей масляной краской, и широкая лестница, и гул голосов, а в зале громадные портреты царей — всё было чужим и даже враждебным. Суровым показался и директор Груздев, которому дедушка меня представил, — с его белыми баками и страшно-

черными бровями. Его орденская звезда на синем виц-мундуре тоже казалась грозной.

Дедушка сел в классе за парту и, приложив ладонь к уху, слушал мои робкие ответы батюшке. Этот экзамен был выдержан и дедушка меня поздравил. Экзамены продолжались несколько дней. Между экзаменами я ходил подучиваться к моему учителю Михайлу Львовичу, жившему теперь по близости от дедушки, на Ямской, у которого всегда толпились какие-то шумные студенты, пившие чай.

Наконец, все экзамены я окончил и узнал, что принят во 2-ой класс с переводом в Кишиневскую гимназию.

Я был, конечно, в восторге и, летя домой к дедушке из гимназии, по дороге на Кабинетскую, подскочил к ветке, спускавшейся из-за забора у какого-то трактира, и сорвал листик. Проходя тут позже, при виде этой ветки я всегда вспоминал тот счастливый момент.

Кончился и этот маленький период и я, с гордостью украсившись гимназической фуражкой с серебрянным, прелестным своею матовостью, гербом, поехал в Новгород к другому дедушке и к бабушке — побыть с ними на прощанье.

Теперь я ехал в Новгород уже один, как большой, через скучное Чудово, мимо милых полустанков на Новгородской дороге и сам добрался до дедушкиного дома. Разумеется, там я ходил, как триумфатор. Я попал в весёлую компанию хорошеньких девочек-гимназисток и впервые я получил "любовную записочку" во время какой-то игры:

"Прощай, наш миленький дружочек,
Уедешь ты в далёкий край,
Но этих девочек кружочек
Смотри, злодей, не забывай".

(Увы, потом оказалось, что это сочинил мой дядя Коля, который мне подсунул эти стишки.) В этот приезд я нарисовал тот вид из окна с забором и крышами Десятинного Монастыря, который так всех восхитил. В конце июля мы с няней уехали к папе в Кишинев, распрощавшись с Петербургом надолго. Мне было тогда неполных 11 лет.

С отъездом из Петербурга ломалась вся наша налаженная жизнь и это было — чего, вероятно, и не предвидел тогда сам обожавший меня отец, — переломом и в моем развитии. Если бы мы продолжали жить в Петербурге, всё было бы совершенно иначе. "Перебои", впрочем, были связаны и с гимназией: она неизбежно тормозила намечавшийся путь.

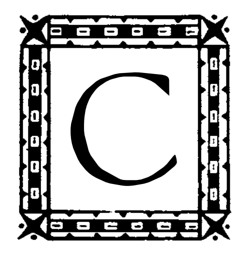
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

•

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ И УНИВЕРСИТЕТ

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

КИШИНЕВ.



ОТЪЕЗДОМ из Петербурга кончилась самая счастливая пора моего детства. Этого конечно, я не мог сознавать, радовался путешествию и новой неизвестной жизни на юге, о котором так много восхотительного слышал от моего отца. Это был перелом и моей и всей нашей жизни.

Когда я вспоминаю мое петербургское детство, то кажется оно мне каким-то "островом", от которого отчалила моя жизнь, отдельным невозвратным миром, поистине "потерянным раем". В нем всё было освещено любовью моего отца, и за всё то, что зарождалось в моем детском мире и то, что от него осталось во мне, я сознаю, что обязан всецело ему.

В Кишиневе меня окружила совершенно иная обстановка, но многое еще оставалось прежним: со мной был неразлучен мой дорогой отец, посвящавший мне все свои досуги, был маленький Игорь, которого я очень любил и была та же няня, продолжались и наши прежние радости — возня с разной живой тварью и растениями, но уже не в комнатах, как в Петербурге, а среди благодатной южной природы. Продолжалось и наше общее чтение с отцом и мое самостоятельное, но как всему этому мешала гимназия, отнимавшая столько времени и, с непривычки, очень утомлявшая меня!

Кругом все было новым, но мне больше всего не хватало моих петербургских друзей детства. И я очень скучал в Кишиневе, особенно первое время.

Когда мы подъезжали к Кишиневу (был август), няня охала и ахала, видя как зря "валяются" арбузы на полях. У нас этот плод был привозной и довольно драгоценный, тут же, как мы узнали, воз стоил один рубль! Я не отрывался от окна и "Обетованный Юг" меня разочаровывал, всё было плоско, выжжено солнцем, не было видно никаких лесов, росли только какие-то низкорослые деревья. Сам Кишинев показался деревней с жалкой речушкой (это после Невы...), я увидел низенькие домики-мазанки, широкие улицы и страшную пыль (которая потом сменилась невылазной грязью), визжали и скрипели "арбы" своими допотопными досчатыми колесами без спиц, на этих "колесницах" возлежали черномазые молдоване в высоких барашковых шапках — лениво понукавшие невероятно медлительных волов: "цо — гара, цо — цо", Евреи катали тележки, выкрикивая: "и — яблок, хороших виборных моченых и — яблок". Вдоль тротуаров, по всем улицам, тянулись ряды высоких тополей, всюду бесконечные заборы — плетни, и веяло совсем новыми для меня какими-то пряными запахами.

У нас был нанят одноэтажный дом с высокой крышей, в котором мы и прожили целых два года. Там жили, как в маленьком поместье — был большой двор и огромный фруктовый сад с яблоками, черешнями и абрикосами ("дзарзарами", как в Бессарабии называли маленькие абрикосы). В саду был небольшой виноградник и парник. Летом сад был полон роз, красных и ярко-желтых, необычайно душистых. Отец сейчас же завел почти совсем помещичье хозяйство, о чем так страстно всегда мечтал.

До чего всё вокруг было другим, чем в Петербурге!

Итак, началась и гимназия. Я был принят во 2-ую гимназию во 2-ой класс (в 1-ой гимназии, которая считалась "артистократической", не было вакансий). Толстый директор, Николай Степанович Алаев, бывший военный, отцу понравился; сама гимназия, что ему было тоже симпатично, не носила обычного характера и помещалась в длинном низеньком доме с большим садом и двором. Всё было в ней как-то по домашнему.

Скоро я нарядился в гимназическую форму. Форма гимназистов Одесского округа, к которому принадлежал Кишинев, отличалась от петербургской: в Петербурге носили черные блузы и брюки, тут же ходили во всём сером (как "арестанты", — мне казалось), Летом же носили парусиновые рубашки и фуражки, а не белые, как в Петербурге.

Остаться первый раз одному среди толпы галдяших стриженых мальчишек и великовозвратных басистых верзил было очень жутко. Меня окружали, приставали со всяким вопросами, и вся гимназия

сходилась смотреть на эту диковину — на новичка, приехавшего из Петербурга.

Меня усадили в классе на 1-ую скамейку рядом с рыжеватым Рабиновичем, он и остался моим соседом и сделался приятелем. В классе было много еврейских мальчиков, караимов, немцев и молдаван, меньше всего было с русскими фамилиями и вообще, 2-ая гимназия — наша — по сравнению с 1-ой была весьма "демократической". Никакой "национальной" или "классовой розни" при мне не было и в помине, — все были одинаковыми товарищами; были мальчики из богатых семей, как англичанин Горе и румын Катаржи, были и очень бедные, как сын кузнеца Антоновский и извозчика — Гесифинер.

Первые мои учителя в общем, были симпатичные, только головастый учитель географии и истории позволял себе грубости и его не очень любили. Но он смешно и ядовито острил и смешил весь класс. Почему-то он не терпел, когда на него глядели в упор, это нарочно делали ученики, чтобы он смешно заорал: "не смотреть на меня!" Он носил на цепочке в виде брелка маленький голубой глобус — по специальности. Гимнастике учил высокий элегический молодой человек, блондин, Евгений Анатольевич, который на вопрос моего отца, что он преподает, скромно ответил: "читаю гимнастику", что очень рассмешило отца.

Особенно был любим всеми маленький и горбатенький, в очках, с жиденькой бородкой, учитель русского языка Александр Иванович Воскресенский. Порой, читая нам стихи, он так их переживал, что в голосе дрожали слёзы. Но этот добряк, нежиданно для меня, раз меня наказал, предположив, что я на уроке дразню моего Рабиновича, и поставил меня (первый раз в жизни) в угол. Я плакал. Отец, приехавший за мной, увидел красные глаза и стал допытваться причины. Я долго не признавался в своем позоре, а когда рассказал, он поехал к директору и нашумел: он-де никогда сына не наказывал и протестует, чтобы учителя позволяли себе вмешиваться в воспитание его сына. Но Александр Иванович был добрый и пыл отца был не по адресу. Это было единственное недоразумение. Вероятно после этого я и был оставлен без наказания за то, что раз, мчась, сломя голову, по коридору, угодил со всего маху в толстый живот директора; наказан же был тот шалун и "последний ученик", который затеял беготню. Но я ужасно перепугался и расплакался.

Уроки, как во всех гимназиях, начинались с общей молитвы в "актовом" зале с большими портретами царей — Николай I в белых

лосинах и ботфортах, Александр II в длинных красных штанах, Александр III в шароварах и сапогах бутылками. Впереди нас стоял, подпевая нам, лысый толстый Алаев, держа руки за спиной и катая в пальцах какой-то шарик.

На большой перемене все выбегали во двор и в сад, и я где-нибудь в уголку завтракал большим бутербродом, который клала мне в тюленевый ранец няня — целую булку с вареньем или сальцесоном (всякие колбасы привозил нам немец-колонист). Иногда я делился завтраком с кем-нибудь из товарищей, если тот с завистью посматривал на мою толстую булку.

Мы жили довольно далеко от гимназии и первое время отец, по дороге на службу, отвозил меня в гимназию в своей казенной коляске и заезжал за мной после уроков. Когда я ездил один, то, догоняя моих товарищей, месивших грязь, забирал их к себе и экипаж подъезжал к гимназии, обвешенный гимназистами, что производило большой эффект. Если я ходил пешком, то грязь засасывала калоши.

Учиться было трудно и, так как мы приехали через месяц после начала занятий, то пришлось догонять класс. Отец вначале был моим репетитором и все уроки повторял со мной и сам научился латыни, а в следующем году и греческому языку. Чтобы запомнить слова, мы с папой старались находить сходство с каким-нибудь русским словом, и когда я стал учиться по-гречески, то помогло, что "Oinos" — вино, похоже на "ой нос — будешь красным", как подсказал папа. Няня тоже за мной смешно повторяла "гефюра" — мост, "агюя" — улица.

Вскоре мне взяли репетитора, шестиклассника, очень милого Баскевича, брата свирепого "историка". Но всё-таки, отец и при репетиторе иногда проверял меня. Зимой я, вероятно, переутомился.

Впоследствии отец говорил, как он испугался, когда во время прогулки за город в санях я его спросил: "а где же цветочки?" После этого он неделю продержал меня дома.

Помимо того, что я уставал от уроков и был вял, в гимназии я чувствовал себя каким-то пришибленным и забылись вообще геройские и радостные настроения моего петербургского детства. Я вспоминал позже эти кишеневские годы, как через туман, точно я жил тогда в каком-то полусне, и это время было вообще паузой в моем развитии. Читать успевал я мало, только с нетерпением ждал очередного номера "Вокруг света", где упивался "Островом Сокровищ" Стивенсона и романом Райдера Хаггарда "Она" и, получив номер, с восторгом носился по комнатам. Из-за тех же уроков мы меньше с папой читали.

Я очень скучал без моих друзей детства, хотя со Сташей переписывался, — мы всё еще не забывали свой Наутилус. В гимназии

же за два года я ни с кем особенно близко не сошелся и не было ни одной знакомой девочки.

Но всё-таки в Кишиневе было множество новых впечатлений и они заслоняли мне мое коротенькое прошлое, и Петербург как-то таял в памяти. Иногда же вдруг всё всплывало, и я с такой щемящей болью представлял себе нашу петербургскую квартиру со всеми милыми подробностями, всё то, чего уже не существовало... И начинал грезить о том, чтобы однажды прийти на наш двор, подняться по знакомой лестнице и хоть бы постоять у двери, где жили теперь уже другие люди. (Я так именно и поступил, когда через два года вернулся на время в Петербург).

Это была самая настоящая горькая и сладкая ностальгия. Раньше я не помню в себе особых проявлений сентиментальности, она даже не возникала при встрече и разлуке с матерью, но тут, в Кишеневе, я впервые стал испытывать это чувство; потом же, в юности, проявления сентиментальности я старался всегда скрывать от чужих (и от своих), боясь казаться смешным. Позже боязнь прошла.

Тогда же произошел один случай, который очень взволновал меня.

Одно время во втором классе я дружил с N.N., он был, как и я, художник, собирал монеты и марки и иногда приходил ко мне. К моему ужасу (иначе не могу назвать этого чувства) я обнаружил после того, как он однажды рассматривал мою небольшую коллекцию монет, исчезновение маленькой круглой коробочки, подаренной мне дедушкой, где были древние серебрянные монетки....

Я не рассказал об этом моему папе — в первый раз что-то утаил от него, потому что не хотел верить, что мой приятель мог оказаться вором — вдруг я ошибся? Я отчетливо помню, что жалел его. Но теперь я стал избегать всяких с ним разговоров и встреч, для меня он как бы совсем перестал существовать. Думаю, что он понял в чем дело.

Меня испугал грех моего товарища и впервые в жизни я задумался над этим. У меня была еще ничем не омраченная моя детская вера. На ночь и утром я всегда молился, как научила меня няня и моя новгородская бабушка, и папа всегда крестил меня, когда я ложился спать. Одно меня беспокоило: я никогда не видел, чтобы отец когда-нибудь сам перекрестился, а я так этого хотел. Только гораздо позже я понял, что можно быть истинно верующим человеком и не ходить в церковь, и что вопросы нравственности и морали отца моего занимали чрезвычайно.

В тот период детства у меня не появлялось сомнений, я только смутно знал, что надо бороться с грехом и какими-то "искушениями", о которых приходилось слышать, и что надо терпеливо переносить разные страдания, и вот тут вдруг мне захотелось доказать самому себе, что я имею силу бороться и терпеть, и захотелось показать свою волю. И однажды я насыпал в углу комнаты твердого гороху и стал на него голыми коленками — я слышал о таком наказании — и постарался как можно дольше выдержать эту боль.

Откуда взялось во мне это? Может быть в папиной библиотеке, в какой-нибудь истории религии, я подсмотрел изображения "флагеллянтов", но не было-ли тут и атавизма? В роду матери были монахи и митрополит Фотий (как-бы его не судить) был настояший аскет постник.

В такой смешной и наивной форме "самонаказание" больше у меня не повторялось, но сколько раз в течении моей жизни самообуздание и отказ бывало источниками самых, быть может, чистых и возвышавших меня внутренних побед...

У отца, после долголетнего канцелярского, штабного сидения, теперь была живая служба — в "полевой" артиллерии, и служба эта, по-видимому, его даже увлекала. Но сам Кишинев — хотя тут у него была та близость к природе, о чем он так долго мечтал — ему был очень не по душе. Я раз слышал — он жаловался кому-то на пошлые сплетни, на ужасное общество офицерских дам и, конечно, тосковал и был одинок в этой провинции. Я не помню, чтобы кто-нибудь у нас бывал, кроме офицеров по делам службы.

Сомневаюсь, чтобы у него в Кишиневе завелись какие-нибудь знакомства, он был крайне разборчив, но знаю, что и тут он как-то раз сыграл роль "миротворца" (что бывало в Петербурге на моей памяти) — мирил своего пылкого генерала с его красавицей-генеральшей и отговаривал от развода... В Кишиневе, конечно, мы с папой говорили о кишиневской ссылке Пушкина и по ассоциации это даже утешало. Папа как-то прочел мне из Пушкина: "Проклятый город Кишинев, тебя бранить язык устанет". Мне это страшно понравилось и я распевал эти слова.

Отец, как я узнал, скоро был отмечен начальством — батарею свою он принял в плохом состоянии и быстро ее поправил. (Эта 5-ая батарея 14 артилл. бригады была "боевой" и некогда отличилась во время защиты Севастополя, и получила серебрянные Георгиевские трубы. В этой именно бригаде в Севастополе служил молодым офицером Лев Толстой.) Особенно хороши были лошади, на которых

он, как говорилось, "не жалел корму". Он завел обычай делать со всей батареей утренние прогулки за город и расшевелил скучавших офицеров. Я видел однажды парад и отца, отличного наездника, как он на этом параде гарцевал во главе батареи.

С переводом в другую часть армии отец, как полагалось, имел право несколько месяцев "донашивать" прежнюю форму, в данном случае адьютантскую, и пока не сменил ее на обще-артиллерийскую (с черным бархатным околышем и воротником и золотым "прибором") — первое время щеголял в этой красивой форме с белыми кантами и серебром.

У отца была верховая лошадь — красавец, рыжий "Сорванец". Этот бешеный конь был его любимцем; однажды, во время утренней прогулки батареи, сбросил его всётаки с седла, и отец лишь чудом избег гибели — на него в облаке пыли неслась вся батарея с пушками. Отца моего необыкновенно любили солдаты — это было всегда, в течение всей его службы. Сколько раз я, впоследствии, видел приходивших к нему, уже отслуживших свой срок солдат, у иных он бывал посаженным отцом, или крестил детей, многих умел устроить на какое-нибудь место, и сколько он получил за свою жизнь трогательных корявых писем!

В батарее был такой случай: у отца служил высокий, красивый солдат-еврей, по фамилии Нагель, которого отец за отличие произвёл в чин "фейерверкера" (унтер-офицера), но произошел скандал: в приказе свыше был объявлен выговор полковнику, отличившему еврея! Как отец не возмущался, этого Нагеля пришлось сделать из унтер-офицера — "бомбардир-наводчиком", с красными нашивками на мундире вместо золотых. Разумеется, редкое беспристрастие к иноверцу создало отцу в Кишиневе популярность и славу "либерала".

Как было и в Петербурге, деньщики у нас были очень хорошие (отец умел выбирать людей): кучером был малоросс Годовяк, который ленивым голосом окликал зевак: "поберегитеся!" Другой денщик был огромный солдат Задорожий, тоже хохол, знаменитый у нас тем, что забирал к себе под одеяло греть цыплёнка-сироту, и раз его "заспал", задавил во сне. Был еще поляк Петр Ткач, повар, умевший готовить замечательные блюда — его отец потом перевёл к себе в Вильну и там он продолжал у нас своё искусство.

В ту первую зиму после Петербурга Кишинев был засыпан глубоким снегом. Мы иногда гуляли с отцом в большом городском саду и я забавлялся, как тучи ворон и галок, когда мы хлопали в ладоши, снимались с голых деревьев и носились с карканием и шуршанием крыльев, что мне напоминало наш петербургский Летний сад. Развлечений было мало, мы лишь побывали в кочующем цирке

Труцци, где запах конюшень напомнил мне сладкие детские впечатления петербургского цирка Чинизелли. Однажды в офицерском собрании давал сеанс заезжий "художник-моменталист" и я любовался его ловкой рукой, выводившей с одного маха карикатуры (конечно, и Бисмарка с тремя волосками на лысине) и хитрым умением сделать пейзажи из случайной кляксы.

Рисование в гимназии преподавал передвижник Голынский к нему я относился скептически: в Актовом зале висел портрет Александра III его кисти и меня шокировали плохо нарисованные ордена. На уроках я продолжал делать тоже самое, что делал в Школе Общества Поощрения Художеств, и советы Голынского мне ничего нового не давали. Мои рисунки выделялись и когда после двух лет их накопилось изрядное количество, тщательно растушеванных акантовых листьев, носов и ушей, Голынский непременно хотел эти рисунки отправить, как выдающиеся, в Академию Художеств. Не знаю отправил ли.

Дома, по сравнению с Петербургом, я рисовал мало, иногда делал копии с иллюстраций из "Нивы", придумывая свои собственные краски. С натуры, после Кавказа, я совсем не рисовал.

1887-ой ГОД.

Весной Кишинев необычайно похорошел. Уже в конце февраля стало теплеть и скоро все фруктовые сады, в которых утопал город и которыми были полны окрестности, еще до листвы покрылись, как облаком, белым и бледно-розовым цветением черешень, яблонь и абрикосовых деревьев. Мы с отцом часто ездили в коляске за город и любовались этим странным и очаровательным пейзажем. Обыкновенно мы брали с собой и маленького Игоря, он становился на сиденье между нами и в городе все обращали внимание на этого хорошенького мальчика.

Пасха в Кишиневе тоже была особенной. Было совсем тепло, а в Вербное Воскресенье в церкви вместо наших северных верб держали пальмовые ветви.

Весной того же 1887 года из Кишинева собралась одна компания ехать в Египет, в числе этих туристов был наш военный доктор Савицкий. Мой отец решил было и меня отправить с ними. Еще в Петербурге мы прочитали книгу Оппеля о Египте "Путешествие в древнюю страну пирамид" и я был уже хорошо подготовлен, и теперь приходил в восторг, что увижу Египет, но, увы, по каким-то причинам меня не взяли и я был в ужасном горе.

В утешение д-р Савицкий привез мне из Египта двух живых

священных жуков, скарабеев, которые долго у меня жили и катали шарик из своего навоза.

Мой дедушка, которому я написал о своем горе, ответил мне (письмо это чудом сохранилось и лежит теперь передо мной в Нью Йорке в 1941 г.): "Не тужи, голубчик Мстислав, о фараонах, подождут, как ждали более 3-х тысяч лет, пока ты не выростешь". И в заключение писал: "Целую тебя, твой Добужинский." (Так он подписывал и письма своему сыну, моему папе.) Мы с ним за то время, что я у него прожил в Петербурге, стали друзьями и переписывались.

Это было последнее письмо от дедушки, написанное за месяц до его смерти. Он скончался в июле 1887 года, мы получили телеграмму в Бендерах (там был лагерь, где я после экзаменов проводил свои каникулы). Я помню, как плакал отец, получив это известие. Это была уже третья смерть в моем детстве: тетя Алиса в Петербурге и дядя Федя Софийский в Новгороде.

В лагере в Бендерах мы жили, как в саду: бараки и палатки стояли среди густых акаций; они уже отцветали, но всё полно еще было их сладкого аромата. У меня было новое удовольствие: отец купил мне маленькую лошадку, почти пони, и английское, аппетитно скрипящее, седло. Коня моего я назвал "Пегасом" (солдаты, конечно, переделали в "Бекаса"). Сам его седлал и с наслаждением разъезжал на нем и по лагерю и по степи. Но лошадка была упрямая и "тугоуздая", и как я ее ни понукал, и ни шпорил, она очень неохотно отдалялась от лагеря, когда же я ее поворачивал, то просыпалась и мчалась "карьером". Я становился опытным наездником — отец и берейтер научили меня посадке (носки внутрь, пятки вниз) и отец бесстрашно отпускал меня одного на мои экскурсии. Иногда мы ездили вместе; рядом с его "Сорванцом" на малньком "Пегасе" ездить было смешно и я предпочитал большего коня. Того приключения, какое случилось при моем "первом крещении" в Кисловодске не повторялось.

В лагере случались разные праздники; командиром бригады был громогласный румяный толстяк и весельчак — генерал Оноприенко — с белоснежными бакенбардами и черными бровями, как у моего петербургского директора гимназии. Он всех почему-то величал "Ваше Превосходительство", даже меня. Однажды за обедом он меня по настоящему напоил чрезвычайно вкусным крюшоном, и я беспричинно стал хохотать, отец поспешил меня увести и уложить скорей спать.

"Лагерный сбор" кончился очень меня восхитившей "состязательной стрельбой", когда по очереди батареи палили по

далеким деревянным щитам и после ряда выстрелов все мчались туда — к этой цели — отмечать попадания (и я скакал на своей лошадке). В заключение, генерал раздавал отличившимся награды — бомбардир-наводчикам серебряные часы с цепочкой, а батарее традиционное количество чарок водки.

После лагерей лошадей отправляли на отдых в "луга" на "подножный корм" — далеко в степь. Туда мы съездили однажды с отцом, с моим репетитором и с гостившим у нас, приехавшим из Петербурга, моим дядей Федей. Дядя был очень толст тогда, вечно потел, вытирал лысину и потешно напевал: "Странная вещь, непонятная вещ, отчего это люди толстеют". Пел он также смешную песенку: "Друзья, подагрой изнуренный, уж я не в силах больше пить" и т.п.

До сих пор помню, какое-то радостное настроение, в котором мы все были, мои дурачества с репетитором, высокий сарай, пряный аромат трав и тихий степной простор, а ночью — полное звёзд небо.

Осень принесла новые удовольствия, главным было — ездить в "Архиерейские сады" в окрестностях Кишинева, где монахи позволяли мне угощаться виноградом и есть, сколько влезет, и я ложился под лозу и, нагибая гроздь к себе и не отрывая, объедался этими сочными черными ягодами.

Наш сад, который летом стоял весь в розах, теперь был полон фруктов: у нас зрели райские яблочки, черешни, вишни, абрикосы и росло развесистое дерево с грецкими орехами — на него я любил забираться, чтобы срывать их зелеными для замечательного няниного варенья. Няня научилась также изготовлять в совершенстве засахаренные фрукты и пастилу — не хуже знаменитой киевской "Балабухи", а ее варенье из лепестков роз было настоящая "амброзия". Вообще, гастрономических удовольствий было много.

За год наше пернатое население расплодилось и двор был полон звуков — кудахтанья, гоготанья, кряканья; стрекотали цицарки, забавно шипели "шептуны" (темносиние огромные утко-гуси) и голосисто распевали петухи. Были у нас и белые куры — "корольки", лилипуты, с очень задорным крошечным петушком, необыкноненно гордо выступавшим. Куроводство поставлено было няней с большой любовью и я тоже принимал в этом деле некоторое участие: изучал по цвету и форме, какое яйцо снесено какой курицей — мы даже вели "журнал снесения" и отмечали "усердных" и "ленивых", и у каждой курицы было свое имя. Тех, кто ленился класть яйца — отправляли в суп. (Отец не ел своих кур и цыплят, говорил: "не хочу есть своих знакомых".)

Аквариума и террариума, как в Петербурге, мы не завели, но в

саду на свободе ползали большие черепахи, клавшие в землю продолговатые яйца, откуда вылуплялись миниатюрные черепашки с длинными хвостами; жил у нас также суслик и уж.

Я продолжал ловить бабочек и жуков, поймал редкую "мёртвую голову", залетевшую в комнату, и даже, о, счатье, — мою мечту — бледно-желтого "Махаона-Подалири.

Наступил второй учебный год, я был в 3-м классе и стало учиться интереснее — новая для меня геометрия очень легко давалась и я без труда запоминал и стихи (сколько их сохранилось в моей памяти на всю жизнь!). Историю учили по сухому учебнику Белларминова (еще более тоскливому, чем знаменитый Иловайский), но про античный мир я знал из чтения гораздо больше, чем проходили в гимназии (мы с отцом прочли почти весь "Рим" и "Элладу" Вегнера), а благодаря "Книге Чудес" Нат. Готорна — рассказы из мифологии — я давно полюбил этот чудный мир богов и героев.

На Рождество произошло очень важное событие в моей жизни.... Мы с отцом поехали в Киев и я снова встретился там с моей мамой.

Мы гостили у приятеля отца, артиллерийского капитана, Петра Ивановича Иванова в его уютном теплом домике в Печерске. Было необыкновенно тихо от снега, в котором в ту зиму тонул Киев, и я сохраняю по сей день незабываемое воспоминание зимней прелести Киева и счастливого моего настроения. Я точно "просыпался" после кишиневского полусонного состояния.

Моя мать уже кончала свою оперную карьеру и, кажется, это был последний год ее выступлений. Отец ничего не объяснял, я ничего не спрашивал и всё было очень просто. Я познакомился у мамы с Ив. Вас. Михиным и моей сестрой — их дочерью Ниной. Они жили возле театра в меблированных комнатах, куда я пришел сам. Нина была толстенькая, застенчивая девочка со светлыми волосами, длинным носиком и взглядом исподлобья. Мне она понравилась и как-то по новому я себя чувствовал, получив сестру. И.В. Михин был превосходный оперный артист, бас, и как это я мог понять, конечно, лишь в будущем, был одним из самых оригинальных людей, каких мне пришлось встретить в жизни. (О нем будет еще речь в дальнейшем.) Он был высок, брит, с длинным мефистофельским профилем, с медленными движениями, постоянно куривший (помню, он выпускал дым в печную отдушину) — мама не терпела табака — и со мной говорил, как со взрослым. И мама со мной говорила, как со взрослым, всё это как-то подымало меня самого. Мама с Ниной, бывшей в клетчатом платьице, пришла к Ивановым на ёлку, где

собралось много девочек и мы танцевали кадриль и польку.

Для меня было событием посещение Киевской оперы я впервые сознательно смотрел и слушал. Я видел "Кармен", "Демона" и оперетту "Хаджи Мурат". Больше всего меня упоила "Кармен" и все эти чудесные мотивы с тех пор врезались навсегда в мою память. Мы бывали в ложе вместе с отцом и я помню, как он с грустью качал головой слушая мамино пенье. По всем отзывам у нее было когда-то совершенно замечательное контральто... Теперь она пела уже небольшие партии — одну из цыганок в "Кармен" и ангела в "Демоне". Эскамилио и Демона пел тогда совсем еще юный Тартаков и я совершенно в него влюбился, особенно в "Демоне", где, действительно, он был замечателен со своим странным полуженским лицом. Я даже попросил маму меня познакомить с ним, она подвела меня к нему за кулисами, но я только сконфузился.

Впервые в Киеве меня охватила поэзия театра и совершенно опьянила музыка. Странно, что встреча с мамой прошла для меня совсем спокойно, никаких последствий не имела, и всё осталось по прежнему.

На Пасху следующего года мы сделали с отцом новое путешествие: в Одессу и Очаков. По дороге читали "Оливера Твиста" Диккенса (теперь уже я читал папе), эта книжка имела какой-то незабываемый, очаровательного лазоревого цвета переплёт.

В Одессе я в первый раз увидел море, которое блеснуло на повороте одной улицы. После Кишинева Одесса показалась праздничной и нарядной. Там мы в ресторане лакомились для экзотики "Frutti di mare" и каракатицей с рисом, что, впрочем, было невкусно.

Незадолго до этого переехали из Петербурга в Очаков наши дорогие Черкасовы (Конст. Сем. был назначен начальником инженеров этой крепости). Они перенесли туда и весь уют, бывший у них в Петербурге, привезли и старого курчавого "Нерона" который также покорно позволял детям делать с ним, что угодно. Мой "квази роман" с Надей продолжался. Она постоянно меня дразнила и с ней мне было весело и задорно; мне по прежнему нравилось "играть роль", но уже "в серьёз": вернувшись в Кишинев, я вырезал перочиным ножиком на кисти левой руки якорь — символ надежды и Надины инициалы, и затёр царапины краской) как не произошло воспаления — непонятно). Слабый след моей татуировки оставался долгие годы. Но я, конечно, никому не показывал этих "тайных знаков".

В Очакове я вновь взялся за рисование с натуры, и в свой альбомчик пытался рисовать морские волны. Путешествие по морю

из Одессы в Очаков и обратно — было тоже новым и восхитительным впечатлением.

Весной я опять благополучно сдал экзамены и перешел в 4-ый класс, а после этого — второй раз — Бендеры и снова те же лагерные удовольствия и "Пегас", из которого я уже вырос (я нарисовал себя на "Пегасе" с ногами, которые волочатся по земле).

Между тем отец вёл всё время хлопоты о своем переводе из Кишинева, куда поехал скрепя сердце. Освободилась было вакансия в Гатчине, в двух шагах от Петербурга, но Петербурга отец не любил и, уже давно, мечтал о Вильне. Там он предполагал осесть окончательно и думал, что там можно будет устроиться так же "по помещичьи", как мы жили в Кишиневе. Так это позже и осуществилось.

Вильна была в семье и в нашем роду "наш" город: отец окончил там кадетский корпус. В Вильне же когда-то учились в Дворянском Институте (Лицее) трое его братьев (Эраст, Евстафий и Федор Петровичи) и, вообще, поселиться на "земле предков", где находилась и наша родовая земля, имение "Добужи", давно, правда, потерянное Добужинскими — было всегдашней мечтой отца.

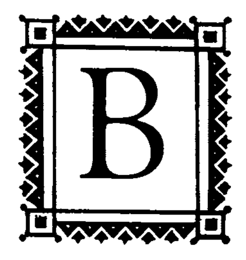
Так как перевод отца в Вильну неизвестно когда мог состояться, — он мог получить и другое неожиданное назначение в какое-нибудь иное место — то, чтобы избегнуть ломки в учении и не переводить меня посреди учебного года в другую гимназию и чтобы не оставлять меня в Кишеневе — решено было, что я вернусь в Петербург и поступлю в петербургскую гимназию.

Предстояла страшно грустная для меня разлука с отцом, но в Петербурге жил тогда его брат, мой любимый дядя Федя с тетей Асей, которые как раз только что переехали из Вильны, куда так стремился отец (дядя был назначен судебным следователем в Петербургский Окружной Суд), и они предложили взять меня к себе.

Я расставался с самим Кишиневым без особого горя, друзей там не завелось, все товарищи были гораздо ниже меня по развитию, и к жизни той я не успел привыкнуть (жаль было только расстаться с садом и моей лошадкой), но в Петербурге меня ждали друзья, и вообще очутиться в Петербурге — увидеть снова Неву и Петропавловский шпиль с Ангелом — сердце сжималось от радости!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПЕРВАЯ ГИМНАЗИЯ.



НАЧАЛЕ августа 1888 г. мы с няней и Игорем вернулись в Петербург и поселились у дяди Федора Петровича, на углу Потемкинской и Кирочной улицы. Я был принят в 4-ый класс 1-ой гимназии, той самой, где держал вступительные экзамены два года назад. До начала занятий я съездил не надолго в Новгород, к дедушке и бабушке, а конец каникул провёл на Каменном острове на даче у другого дяди, доктора Евстафия Петровича, Сташиного отца.

Он был врачем при дворце принца Ольденбургского и тут летом имел казённую дачу — белый ампирный домик со статуей Минервы в нише, стоявший в очаровательном и совершенно заросшем большом саду, примыкавшем к летнему дворцу принца. Этот серый деревянный дворец с плоским куполом и толстыми дорическими колоннами был известен всем петербуржцам, ездившим на "Острова".

Дача принца давно была необитаема и стояла заколоченной, некогда же была резиденцией добряка и благотворителя старого принца Петра Георгиевича, и моя мать, учившаяся в Смольном Институте (которого этот старец был почетным опекуном) впоследствии мне рассказывала, что в этом самом саду у принца ежегодно устраивались летом fetes champetres для институток; теперь эта лужайка, где они когда-то резвились, как и весь сад, были в нашем полном владении! Разумеется, заколоченная дача принца нас очень интриговала, мы заглядывали в шёлки ставень, видели, как в темноте таинственно блестят какие-то люстры и стоит золочёная мебель, — но нас туда не пускали. Мы ограничились подвалами, куда ухитрялись залезать из сада, и изучали их переходы и тёмные закоулки. Любили

мы и развалины старой оранжереи, стоявшей в глубине парка, заросшей бурьяном, где сладко пахло прелостью.

А как было интересно под вечер смотреть сквозь железные прутья садовой решётки на непрерывную вереницу экипажей с нарядной публикой, которая катила по набережной мимо дачи на "Острова"! Цоканье копыт, шуршание резиновых шин, только-что тогда появившихся, а утром стук молотков (чинили шоссе) и особенный петербургский запах сырости — всё одно с другим сливается в уютнейшее воспоминание осени на Каменном острове.

Тогда Каменный остров ещё был очень мало заселен, повсюду стояли нетронутыми чудные березовые рощи с мягкой росистой травой и множеством грибов, и мы со Сташей часто делали экскурсии в глубь острова всё ещё вспоминая Майн-Рида. Однажды мы сделали открытие: посреди маленького озера увидели романтический островок, густо заросший деревьями и кустами (позже я его нарисовал) и прозвали его почему-то "Чёртов остров".

Той же осенью 1888 года мы затеяли со Сташей "настоящий" театр. Во дворе принцевой дачи стояли старые обширные конюшни, упраздненные и пустовавшие, — чудное место для театра, даже могли быть ложи — стойла. Добрый старичек, управляющий-немец, Гейде, отдал нам эти конюшни в полное наше распоряжение. Мы со Сташей решили поставить ни что иное, как "Каменного Гостя" и "Скупого Рыцаря" Пушкина. Сташа показал свой авторитет и взялся режиссировать. "Актёров" было достаточно среди дворовых мальчиков — детей разных служащих во дворце, живших тут тоже на даче. Сначала шёл "Каменный Гость". Роли распределились так: Лепорелло — Сташа; Дон Жуан — Кока Волконский (сын кучера принца, очень стеснявшийся своей громкой фамилии) — ученик коммерческого училища; первый гость был я; Дон Карлос — тоже Сташа; Донна Анна (она же Лаура) — Федя Васильев. Федя учился в Императорском Театральном Училище и носил на фуражке с синим бархатным околышем лиру и был, так сказать, профессионал,* женская же роль была ему дана потому, что он был черноглазый и краснощёкий мальчик.

Командором никто не соглашался быть, так как было скучно стоять долго, изображая монумент, и пришлось использовать младшего брата Сташи — 5тилетнего Витю, но это нас совершенно не смущало. Тут я первый раз (если не считать нашего детского спектакля — "Дети капитана Гранта") — сделал декорацию. Старик

*Впоследствии известный танцовщик Императорского балета. С ним судьба меня столкнула в 1932 году, когда он приехал в Ковно, приглашенный балетмейстером в Литовский Государственный Театр.

Гейде достал нам залежавшийся "подвесной занавес", изображающий сад, который служил нам фоном для всей пьесы. Но для "кладбища" надо было сделать ещё могилы и какую-нибудь часовню. Могилы я легко сделал из поленьев, приколотив к ним кресты из лучинок. Для часовни пришлось купить обои, склеить их и набить на деревянные планки и щепки. На обратной стороне моих обоев я написал кирпичную готическую церковь клеевыми красками, но декорация страшно пачкала касавшихся её, так как клей никуда не годился и декорация еле держалась на моих жёрдочках. Но костюмы вышли на наш взгляд настоящие испанские. Мы съездили в город на дядину квартиру за двумя шпагами и двумя рапирами, котрые спокон веку висели в его кабинете; откуда-то достали фетровые шляпы и страусовые перья, а кружевные воротники нам очень хорошо выкроила тётя из старых занавесок.

Гримировались мы жжёной пробкой, наводя ею усы и брови, а румянились и белились как настоящие актеры (у Сташи была книжка о гриме "Маска актёра", которую мы проштудировали).

В нашем театре был раздвижной ситцевый занавес и рампа, которую мы считали первой необходимостью и для которой купили несколько керосиновых ламп (сбоку стояло ведро с водой и лейка на случай пожара).

Могу себе представить теперь этот спектакль! Но мы отнеслись к нему очень серьёзно и роли выучили на зубок. У Сташи был природный актёрский талант — он его уже проявлял на наших детских спектаклях. И Лепорелло у него получился по общему мнению — замечательный! Кока с усиками и эспаньолкой был очень эффектен и тоже, по общему мнению, был настоящий Дон Жуан, и декламировал со страшной скороговоркой, соответственно испанскому темпераменту.

Донна Анна была точь в точь Лаура, но это никому не мешало. Мне — Первому гостю — надо было говорить: "Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам", — это ещё кое-как выходило, но я краснел и конфузился и уже еле мог лепетать, — стесняли любовные слова: "Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает; но и любовь мелодия..."

Со статуей Командора произошел конфуз. Витя, осыпанный мукой и в белой простыне, терпеливо стоял на табуретке (иногда только улыбался), но когда Дон Жуан произнес: "Каким он здесь представлен исполином! Какие плечи! что за Геркулес!.." — к нашему возмущению в публике раздались смешки. Публика была — дядя с тетей, несколько знакомых, приехавших в гости, которые терпеливо сидели на почетном месте — на первой скамейке, и прачки, и

дворники и другие обитатели двора, занимавшие остальной "партер". "Ложи", кажется, пустовали.

Потом мы в таком же "стиле" и с таким-же увлечением поставили "Скупого Рыцаря", где отличался Сташа — сам рыцар, Феля был Альбер, Кока — Герцог, я — Жид.

Этими затеями и кончился этот достопамятный август на Каменном острове — начало нового моего "этапа" в Петербурге.

Итак, я снова в той же самой грозной 1-ой С. Петербургской гимназии, где экзаменовался два года назад. На парадном подъезде меня опять встретил тот же строго-глядящий швейцар-бакенбардист в галунах и медалях, и меня охватило прежнее жуткое чувство: холодные стены коридоров, блестящие от масляной краски огромный рекреационный зал со скользким паркетом и с портретами Императоров во весь рост, гораздо более страшными, чем в Кишиневе, толпы незнакомых и каких-то неприязненных и франтоватых гимназистов — от всего я внутренно съёживался и казался самому себе маленьким и несчастным.

Гимназическое утро начиналось, как везде, с общей молитвы в рекреационном зале и не дай Бог было опоздать. (Опоздавших ставили под часами на площадке лестницы, как у позорного столба). Директор — Груздев — пухлый и коротенький старик, уже знакомый мне по экзаменам, но теперь уже с двумя звёздами на вицмундире, всегда тут, как полагалось, присутствовал, и затем мы все попарно шли в класс под недремлющим оком надзирателей, из которых один — Четыркин (прозванный, конечно, "Четырехдыркин"), бородатый и лохматый, был особенно свирепого вида. Род военной дисциплины царствовал вообще в гимназиях.

Наши черные форменные рубашки с двумя серебрянными пуговками на воротнике, после серых кишиневских, казались мне даже нарядными; некоторые франты (хотя быть одетым не по форме запрещалось) носили куртки без пуговиц — на манер "австрийских" — это почему-то допускалось. Появились тогда вероятно впервые и "белоподкладочники", носившие в классе наш парадный синий однобортный мундир, нарочито укороченный и, как в кавалерии, на белой шелковой подкладке, что тоже разрешалось.

Среди гимназических франтов был один великовозрастный болван, который всегда лихо подкатывал к гимназии на дрожках, но мы подглядели, что он берет извозчика на ближайшем углу за гривенник, чтобы "пустить пыль в глаза".

Какой уютной и домашней мне вспоминалась теперь кишиневская

гимназия! Опять новые незнакомые товарищи, новые, иные очень "важные", учителя. Я так был рад, что со мною в классе был Сташа. Конечно, двух Добужинских сейчас же в классе окрестили Добчинским и Бобчинским. (Я, как младший, был Бобчинский).

С Потёмкинской до гимназии (на углу Ивановской и Кабинетской) было очень далеко; я шел по Кирочной до Литейного пешком, а дальше ехал на медленной конке. Всё это путешествие брало 3/4 часа. Так как возвращаться после уроков на пустой желудок было утомительно, меня сделали "полупансионером", т.е. я получал казенный завтрак в гимназии. Эти шумные завтраки происходили в полуподвале гимназии, со сводами, где нас кормили кисловатыми пресными пирогами с капустой и унылыми простывшими котлетами, но всё таки это было маленькое развлечение. В гимназии был и пансион, которым заведывал учитель немецкого языка, благодушный Видеман, толстый господин, очень смешно произносивший русские слова. Говорили, что он раз написал в "Кондуите" (журнале наказаний), что один ученик "забрал казённую свечку и сгорел её в ватерклозете".

Класс наш был невероятно распушен, даже порочен, и учителя, несмотря на всю их строгость (на которую и я тоже, как и другие, скоро перестал обращать внимание), ничего не могли поделать, — шумели, дурачились и дерзили. Одного, особенно непокорного, Балашева, посадили на отдельную парту, рядом с учительской кафедрой, чтобы ему быть под рукой у учителя, но тому это только и надо было. Когда учитель отворачивался, он делал такие рожи (ухитрялся даже надевать на голову носовой платок и изображать старуху), что класс покатывался от хохота, а его изгоняли из класса, но он продолжал гримасничать и через стеклянную дверь. Главной жертвой всяких насмешек и издевательств был добродушейший второй учитель немецкого языка Herr Robentisch, с длинной, торчащей вперед седой бородой, красным носом и синими очками, сидящими на кончике носа. Удивляясь ошибкам, или озадаченный шалостями, он приговаривал лишь: "фоть те на, эво как". Эти его слова какой-то шалун ухитрился написать на всех тетрадках классных переводов, которые были вручены учителю. Был большой скандал. Самое строгое, что он произносил, было: "нехорош мальчик, ноль за поведение". Чего только с ним не делали — раз засунули ему в чернильницу селёдку и на это бедный старик только и сказал свое: "фоть те на, эво как". Про учителей, как это практиковалось во всех гимназиях, была сочинена длинная пародия на тему "У лукоморья дуб зеленый" с перечислением всех педагогов, где фигурировал и этот

немец: "Там на неведомых дорожках Herr Robentisch сидит на дрожках".

Наши гимназические будни были оживлены в ту зиму "чудесным спасением 17 октября", — как официально названо было спасение Царской семьи во время крушения поезда на станции Борки, и парадом при приезде Царской семьи в Петербург.

Мы всей гимназией были отведены на площадь у Казанского собора для встречи. Вдоль Невского были выстроены учащиеся и мы, как гимназия №1, стояли рядом с правоведами на углу площади. Тут мы ведели весь длинный ряд экипажей, кативших с Николаевского вокзала в Казанский собор, и самого Александра III, его семью и бесконечную свиту. Наша гимназия заорала "ура" столь звонко, что царь даже испуганно обернулся. А правоведы в припадке патриотического восторга выбежали из строя, окружили медленно двигавшуюся царскую коляску, и один из них, махая своей треуголкой, уронил ее в царский экипаж. Царь, к пущему восторгу всех, "сам" подал ему этот "пирог".

Был очень морозный день, от долгого стояния мы изрядно продрогли и, расходясь после парада, валом повалили в булочную Филиппова и набросилиь на горячие жирные пирожки с вареньем.

"Праздник крушения", как мы его называли, сделался после этого к общему удовольствию еще одним "табельным" днем, свободным от учения.

К гимназии за весь год я не мог привыкнуть, её казенщина всё время на меня действовала угнетающе. Учился я плохо и совсем отстал от других. Опять надо было осваиваться с новыми учебниками, с новыми требованиями. Одно время у нас со Сташей был репетитор, очень симпатичный студент Юдилевич (носивший курчавую шапку волос), но не долго; он попал в какую-то студенческую историю и исчез. Старалась помагать мне моя тётя Ася, но я шел одним из последних в классе...

Очень много времени я проводил со Сташей. О нашем Наутилусе мы уже не говорили, но читали много, увлекались, по-прежнему романами приключений (в журнале "Вокруг света") и по-прежнему любили Жюль Верна, но теперь с восторгом прочли "Труженики моря" и "Notre Dame de Paris" Гюго. За этот петербургский год мой горизонт особенно не расширился, и для моего развития вдали от папы этот год ничего серьёзного не дал.

Рисовал я впрочем, несколько больше, чем в Кишиневе, продолжал делать копии. Тогда же один из товарищей попросил меня

срисовать ему из "Нивы" портреты героев 1812-го года и, исполняя этот "заказ", я увидел, что мне очень легко удается сходство. Я начал тогда-же рисовать карикатуры, и что я "художник" — стало известно в классе.

Рисование в 4-м классе уже не преподавали, а о том, чтобы возобновить посещение Школы Общества Поощрения Художеств нельзя было и думать из-за гимназии и страшных петербургских расстояний.

В театре я был только раз: в Мариинском на "Лоэнгрине" в ложе с дядей и тётей, и опять, как и в Киеве, я был в упоении от оперы. Надолго осталась в памяти музыка и образ такой прелестной тогда Мравиной — Эльзы. Я купил ее фотографическую карточку и долго хранил и любовался ее кротким взором.

Балаганы на масляной были такие же, как и в моем раннем детстве, но мы со Сташей считали долгом относиться к ним уже критически и прежнего удовльствия теперь они, увы, не доставляли...

Ни с кем из новых товарищей я особенно близко не сошелся. Прежних же моих друзей я совсем не видел, а я так именно мечтал в Кишиневе об этих встречах.

Саша Маклаков, с которым мы так дружили в детстве, учился в Александровском Лицее, стал "важничать" и Лицей его от нас совершенно отрезал. Я не встречал и Сережи Саблина, он жил как "интерн" во 2-м Кадетском корпусе, Мери же была "затворницей" в Екатерининском институте. Черкасовы оставались в Очакове, и Нади я тоже был лишен. Приехала неожиданно хорошенькая Нина Иванова из Киева, но я ее видел лишь мельком. Ни одной девочки в Петербурге я не знал, оставался без "женского общества" и дичал.

После Кишинева, где я всё время скучал по Петербургу, для меня было большое счастье, что я очутился здесь снова. Хотя жизнь у меня теперь была уже совсем не такая, как раньше, дома, на Выборгской стороне, с папой, но так ясно помню тогдашнюю поэзию утренних туманных улиц, голый Таврический сад, который гляделся в окна дядиной квартиры в res-de-chaussee, и уютную петербургскую зиму того снежного года. Мы со Сташей уже теперь сознательно любили Петербург и часто ходили "открывать" новые места: раз забрались в Галерную гавань, побывали и на Охте. Каким-то образом однажды я один очутился у Большого Театра, который уже стоял окруженный забором и был обречен на слом — и я запомнил его величественный темный силуэт при луне.

Однажды я отправился на Выборгскую сторону посмотреть на наш дом, где прошло всё мое детство. Уже многое за два года изменилось, ворота с чугунными орлами исчезли и над всем зданием

появился новый четвертый этаж. Я с грустью вошел в знакомый двор — поднялся по нашей широкой лестнице, где, как и прежде, пахло кошками и было холодно, подошел к самым дверям нашей квартиры, где оставались еще дырочки от гвоздей медной дощечки с нашей фамилией. Там жили какие-то незнакомые люди. Я постоял и повернул обратно. Тогда же я заглянул к старому деду, у которого была лавочка в заборе у нашего дома со стороны Симбирской улицы, где в детстве я покупал леденцы и стручки. Когда я ему напомнил о моем отце, который некогда выхлопотал ему эту лавочку, старик вдруг встал на колени, перекрестился и сказал: "Навеки благодарен я благодетелю моему, твоему батюшке, Господь его Благослови!"

Мне было одиноко, несмотря на частые свидания со Сташей, я очень скучал без моего папы, хотя очень любил дядю Федю, у которого жил. И с тех пор всю жизнь был очен привязан к этому исключительно доброму очаровательному и всеми любимому человеку. Но я не мог, конечно, оценить тогда замечательную умницу и на редкость образованную женщину, его жену, тётю Асю. Она была требовательна и строга и иногда раздражительна, так как уже тогда у нее начинался мучивший ее кашель и чахотка, сведшая ее в могилу. И да простит она нас, — мы со Сташей прозвали ее "тетя Оса". Я был еще совсем мальчишкой и серьёзно обижался, когда она уверяла, что мы со Сташей, собственно говоря, "макаки", убежавшие из Зоологического сада, что я еще не разучился плакать и дядя, подтрунивая над этим, прозвал меня "Мотя" — Матрешка, баба.

Лишь года через три, уже незадолго до смерти тёти, я и Сташа имели возможность узнать ее лучше (мы гостили у нее на даче) и ее очень полюбили.

Игорь подростал и был любимцем тёти. Он действительно был прелестный 3-х летний мальчик с необыкновенной памятью и всех умилял, читая наизусть разные стихи.

Этот год в Петербурге кончился для меня печально: за "тихие успехи" я был оставлен на второй год в 4-м классе.

Теперь предстояла новая перемена: давнишняя мечта отца жить в Вильне наконец осуществилась: он был переведён туда на службу из Кишинева и мне надо было оставить Петербург и перейти в Виленскую гимназию.

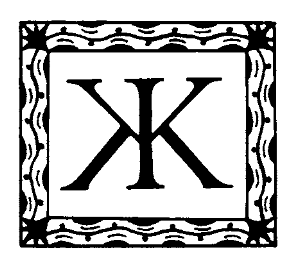
Для нашей семьи Добужинских, как я говорил, Вильна был всегда "наш" город. Вильна была мне немного знакома, и я любил

вспоминать Пасху, проведенную там у моих дяди Феди и тети Аси, у которых теперь жил в Петербурге, и я с волнением жлал, что опять увижу этот город, который так мне нравился, но не знал, что впоследствии у меня выростет такое родное чувство к нему: оно было как бы "голосом крови"...

С Петербургской гимназией я расставался с еще меньшей печалью, чем с Кишиневской, но Петербург от Вильны был совсем близко и мы со Сташей утешались возможностью свиданий. Так оно и было впоследствии, в Петербург я приезжал каждый год до самого окончания гимназии — или на Рождество, или на Пасху, или летом, и всё это было, как праздник. Эти приезды меня освежали и всегда чем-нибудь обогащали, и я всё время мечтал, чтобы когда-нибудь снова начать жизнь в Петербурге и остаться уже там навсегда.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ВИЛЬНА.
(ЛАГЕРЬ В ОРАНАХ)


ИТЬ В Вильне было давнишней мечтой моего отца, и наконец к его радости состоялся туда его перевод из Кишинева: он был назначен командиром 5 батареи 27 артиллерийской бригады. В Вильну отец переселился уже зимой 1888-89 г., я же оставался в Петербурге в гимназии, и когда в июне мы с няней и братом Игорем собрались к нему, он находился со своей частью в лагере, в Оранах, недалеко от Вильны, куда мы и направились перед тем, как обосноваться на зиму в Вильне.

Там мы жили как на даче. Лагерь был весь в зелени и воздух был необыкновенной чистоты, полный смолистого духа. Рядом протекала, извиваясь по дну глубокой балки, речка Оранка с крутыми песчаными берегами. В этой небольшой долине посреди сосен густо разрослись кусты орешника, и в жару всегда было душно. Я часто забирался туда ловить жуков для своей коллекции насекомых и купался в офицерской купальне. Там позже я нарисовал один из первых "настоящих" моих пейзажей.

Окрестности лагеря были плоские и монотонные — песчаные поля с чахлыми посевами, усыпанные камнями и валунами, почти как в Финляндии; тут и там виднелись низенькие сосновые перелески; иногда на пригорках росли в одиночку или группами высокие сосны; горизонт замыкала темная линия далеких лесов. Этот тихий и грустный литовский пейзаж я видел впервые.

В двух — трех верстах от лагеря лежало полуеврейское местечко Ораны — серые деревянные домишки, теснившиеся по обеим сторонам единственной улицы.

Местечко питалось лагерем и было очень оживленное, на домиках пестрели вывески, часто очень забавные, как у портного и парикмахера. Насколько припоминаю, это были произведения никому неведомых предшественников Шагала. Помню совсем допотопную вывеску: обнаженная согнутая в локте рука, из которой кровь бьёт закругленным фонтаном, и надпись: "здесь кровь отворяют и пиавки ставят". Эти "пиавки", извивающиеся в банке, тут тоже были изображены. Была еще замечательная надпись на воротах: "здесь продается парное молоко и разные щётки".

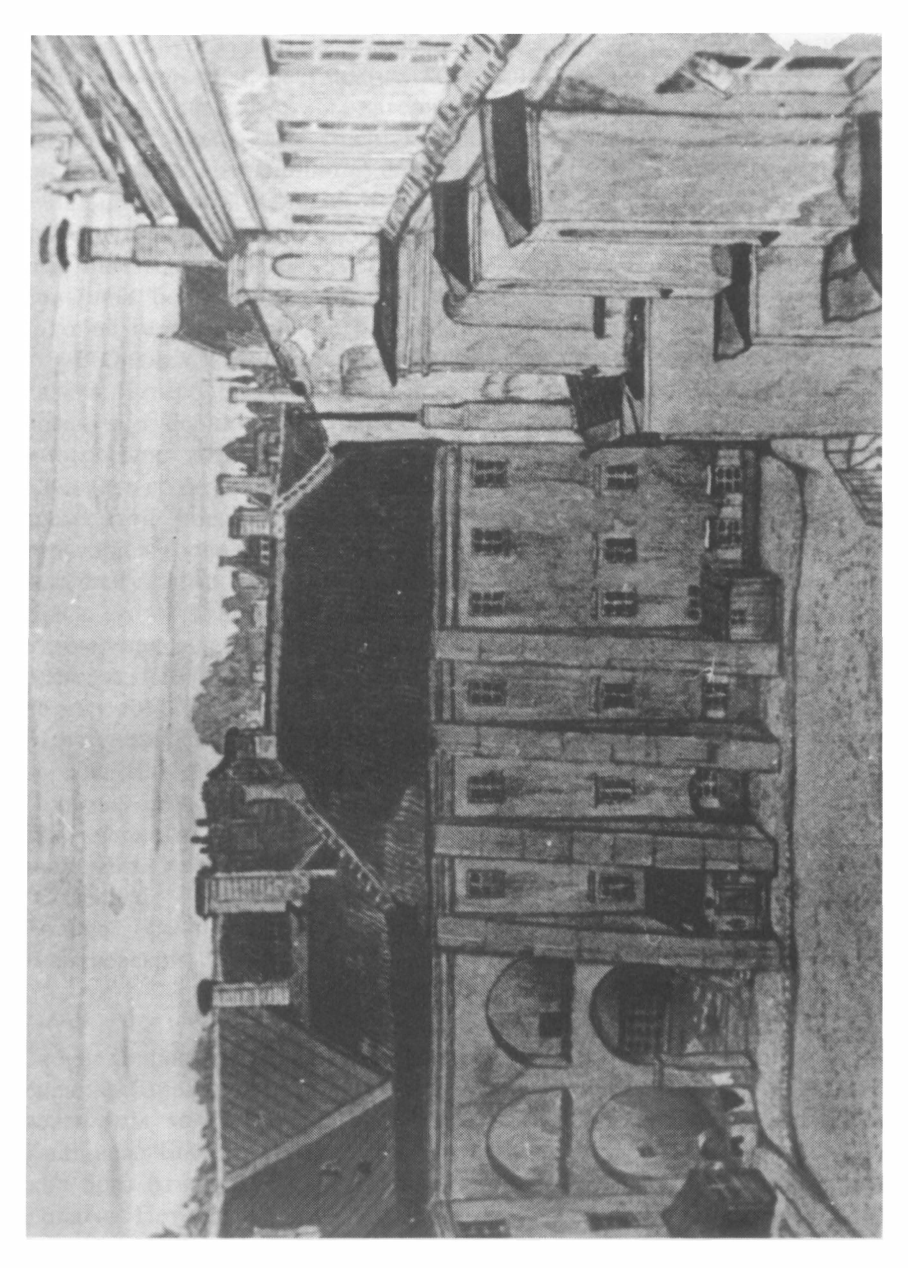
В лагере мы жили с отцом в его большом бараке вроде дачи. С раннего утра до меня доносились разнообразные музыкальные звуки, меня будившие: где-то за конюшнями трубачи разучивали разные (очень мелодичные) артиллерийские сигналы — я знал их все наизусть еще со времени Кишинева; а в сосновой роще настраивал инструменты духовой оркестр. Я любил прислушиваться к этому странному и почему-то очаровательному хаосу звуков...

По вечерам ежедневно происходила в лагере церемония "зари". После переклички, по всему длинейшему фронту выстроившихся в один ряд солдат, ровно в 9 часов взвивалась ракета и палила очередная пушка, а затем вдоль всей линии лагеря начинала течь красивая и сложная мелодия, которую выводили в унисон трубачи каждой бригады, одни отставали, другие перегоняли и под конец где-то вдали одиноко замирали последние трубные звуки.

После этой музыки по тому же длиннейшему фронту раздавалось стройное и нестройное солдатское пенье вечерней молитвы. Когда и оно затихало и становилось совсем темно, солдаты еще распевали лихие или заунываные солдатские и деревенские песни в своих палатках.

Их палатки тянулись позади линии пушек и зарядных ящиков, а за ними пролегала через весь лагерь березовая аллея — "офицерская дорожка", — по обеим сторонам которой стояли маленькие деревянные бараки офицеров. Это было место встреч, флирта, прогулок. В лагере было много дам и детворы, жили семейно. В тылу лагеря расположены были "службы" — конюшни, сеновалы, швальни, "шорни", цейхгаузы ("чихаузы", как говорили солдаты) и солдатские кухни.

Центром лагерного общества было офицерское собрание с садом, построенное в стороне на красивом обрыве, где часто устраивались балы, и откуда слышалась всю ночь музыка — вальсы, мазурки и польки. Туда мы с отцом иногда ходили съесть вкусный обед, но я больше любил лакомиться "солдатской пробой", которую в судках ежедневно приносили отцу, как образец пищи "нижних чинов":



М. В. Добужинский. Вильна. "Старый Университет" Акварель и гуашь. 1907.

горячие капустные щи с кусками мяса и гречневую кашу — нечто отборно-жирное и, разумеется, командиру самый лакомый кусок.

Главым празднеством лагеря, как и в Бендерах, был день состязательной стрельбы под конец лагерного сбора, когда всех волновал спортивный азарт. В одно из следующих лет приезжал на эту стрельбу с большой свитой Великий Князь Михаил Николаевич — сам генерал-фельдцехмейстер и генерал фельдмаршал российских войск, и я видел его проезжавшего верхом с длинной седой бородой, украшенного большим белым Георгием на шее и редкостной четырехконечной золотой георгиевской звездой на сюртуке.

В Оранах я бывал потом каждое лето, даже когда ездил гостить к дяде в Петербург на Каменный остров, или к моей матери в Тамбовскую губернию. В Оранах я научился стрелять из револьвера, много ездил верхом (бригадный берейтер научил всем правилам) и однажды со всей батареей сделал обратный "поход" в Вильну. Во время этой "военной прогулки", которая взяла двое суток, я особенно сдружился с офицерами батареи отца; всё это были воспитанные и интеллигентные люди, как это бывало в артиллерии. Среди них отличался своим задорным и лихим видом поручик Р..., — любимый отцом, как идеальный служака. Он был необыкновенный щеголь, носил какие-то особенные облегающие ногу рейтузы, называемые им почему-то "Лиссабонскими", и носил маленькую фуражку набекрень. Был кудряв, с бачками и усиками в стрелку, и вероятно был облечен в корсет. Над ним в батарее все трунили, но и все с ним дружили. Позже я мог оценить, как похоже изобразил Чехов своих милых артиллеристов в "Трех сестрах" и других его рассказах. Среди моих знакомых я знал и "Федотиков", и "Роде", и "Тузенбахов", и "Солёных", — если не их самих, то очень близких их родственников. Только фамилии они носили другие: Рыхлицкий, Третьяк, Дмитревский, Гольм....

В Вильне нас уже ждал нанятый отцом ещё весной дом на окраине города — настоящая маленькая усадьба — это было как раз то, о чем мечтал отец, но с еще более обширным садом, чем в Кишиневе. Было приятно, что в этом самом доме с мезонином раньше жил брат отца, дядя Федя, и пять лет до того, на Пасху, я приезжал сюда из Петербурга к нему гостить и у меня остались самые милые воспоминания.

Наш дом стоял в глубине двора (где были конюшни и сараи), а впереди, фасадом на проходящую мимо дорогу, врастал в землю тоже памятный одноэтажный длинный дом с маленькими окнами и

высокой крышей, заросшей зеленым мхом. Там жил с семьей хозяин, старик Бекешевич, Наполеон Наполеонович, в окне иногда виднелся его горбоносый профиль, склоненный над книгой. Перед фасадом этого дома тянулся ряд знакомых мне вековых тополей, которые видны были издали из многих пунктов города и были частью виленского пейзажа.

За садом был обрыв и дальше лежали пустыри, огороды и "поля орошения" вплоть до заповедного леса — "Закрета", который тянулся до огибавшей его Вилии и стоял тогда совершенно нетронутым бором. В Закрете я забирался в самую гущу леса, где среди столетних сосен и поваленных старых стволов царила точно древняя тишина и я настраивал себя на поэтический лад: я знал о литовских легендах (отец мне читал из Крашевского) и мне представлялось — вдруг среди деревьев покажется процессия вайделотов в дубовых венках и белых одеждах...

Отец сразу же занялся нашим фруктовым садом, завел парники и рассады и еще в начале лета насадил множество цветов, занялся и дворовым хозяйством — у нас скоро появились куры, утки, индюки и даже свинья. Я же бездельничал, пользуясь свободным временем, оставшимся до начала уроков в гимназии, продолжал собирать своих жуков и был очень доволен обновкой — ружьем монтекристо. Свой охотничий глаз я захотел проверить в саду на птичке. Неожиданно моя пуля снесла ей начисто головку и тут, когда я увидел как она трепыхалась, обезглавленная, на дорожке, меня охватил ужас и после этого я не мог убивать ни птицу, ни зверей и сделаться охотником не мог никогда.

В старом доме хозяев нашей "усадьбы" у своего дедушки жила та Лена, которую я впервые мельком увидел здесь же 9-ти летним, и я не забыл эту худенькую светловолосую девочку, которая тогда пряталась от меня за портьеру. Теперь после пяти лет, что я ее не видел, она была уже барышня, носила длинное платье и густую совершенно золотую косу. Она была старше меня года на полтора и потому смотрела на меня свысока и называла меня "дитя", от чего я впадал в полное отчаяние и мне все хотелось отличиться как-нибудь "по-взрослому". В доме собиралось много молодежи и однажды всей компанией устроили в саду состязательную стрельбу из моего монтекристо, и я изо всех сил старался заслужить ее похвалу и радовался, если на бумажной цели, которую я нарисовал, моя пуля ложилась рядом с Лениной. Лена "царила" в нашей компании, ее называли "Ириной" из "Дыма" и "кнжной Линой" — героиней романа

Маркевича "Четверть Века Назад". Она любила Жуковского и сладко была слушать, когда она задумчиво повторяла из "Теона и Эсхина" — (поэму она знала наизусть): "и грусть о погибшем не есть ли Эсхин обет неизменной надежды, что где-то в далекой и тайной стране погибшее к нам возвратится". Ее намеки о ком-то, кто "безумно был в нее влюблён этим летом на юге", о каком-то двойнике "Марка" из "Обрыва" окружали Лену уже совсем романтическим ореолом. Она казалась мне безнадежно и навсегда далекой, и я готов был плакать от непонятного мне чувства боли. Во мне что-то делалось, что я испытывал впервые (мне было 14 лет), нечто совсем непохожее на ту маленькую и полушутливую "влюбленность", которая была у меня к Надичке, Мери и Нинуше; мне было грустно — и казалось всё очень серьёзным.

Конечно "тернии" должны были появиться, но что ужаснее всего — были самого смешного свойства. Мы, разумеется, в нашей компании затевали разные "petits jeux" писали записки (игра в "секретари") и я получал всегда загадочные или равнодушные ответы от Лены на мои признания. Одна такая записка, которую я опрометчиво засунул в карман своих летних гимназических брюк, попала в руки няни: когда она их собиралась стирать — о позор!Отец, которому няня показала бумажку, очень весело смеялся. Но более всего мучил меня мой друг Сташа, когда позже, будучи в 5 и 6 классе, я приезжал к нему в Петербург и мы встречались с Леной, которая неизменно оставалась моей "Прекрасной Дамой" и недосягаемым идеалом. Он, изображая из себя женоневистника, пессимиста и циника, называл ее "драной кошкой" и "рожей", я мужественно переносил эти ужасные кощуства, но это плохо действовало на нашу с ним дружбу... Мое чувство "на заре туманной юности", к счастью неразделённое, длилось около четырех лет, пока само собой не ослабело. Оно всё время помогало мне оставаться чистым, сосредотачивало и вообще подымало меня: я старался быть достойным "ЕЁ". В моем духовном развитии эта первая любовь сыграла, конечно, очень большую роль.

Каникулы кончались, Лена уезжала в Петербург продолжать учиться в одной частной женской гимназии, у меня же начиналась новая жизнь в Вильне. Я поступил во Вторую Виленскую гимназию, увы, второгодником, в 4-ый класс, и новые впечатления несколько отвлекали "Молодого Вертера" от грустных мыслей.

Нацепив на спину ранец с книжками и тетрадками, как полагалось по гимназической форме, я шагал от нашего дома в гимназию, чтобы

сократить дорогу, через огороды и пустыри, напрямик к Венгерскому переулку, ведущему ближе к цели. Наше предместье "Пески" только что начинало застраиваться, и уже намечены были улицы, но стояли лишь заборы, побелённые или выкрашенные в желтый или в забавный розовый цвет, почему-то любимый в Вильне. На углах будущих улиц были уже прибиты синие дощечки с названиями их: Тамбовская, Ярославская, Воронежская, Костромская, с явной целью "обрусения" этого места, что меня уже тогда коробило.

На моем пути в одном месте с пригорка открывался вид на "Долину Свенторога" — восхитительная панорама Вильны с красными черепичными крышами и множеством костёлов и колоколен. Особенно зимой в солнечный день, в розовых лучах солнца, когда шел дым из всех труб, а все кругом было бело, лишь чернели далекие леса на холмах, а внизу деревья Бернардинского сада — всё было по другому, и не знаю — когда лучше.

Зимой я часто ездил в гимназию на наших санях, выезд был довольно элегантен: на лошадях была синяя сетка и кучер — денщик был облачен в ливрею. Впрочем этот наряд был скоро отменен: деньщиков не велено было переодевать в "вольное платье", солдат в шинели на козлах был комичен и меня лишь конфузил.

Вторая Гимназия, куда я поступил, находилась на узенькой очень оживленной Замковой улице в самом центре города и занимала длинный флигель упраздненного Университета. Дом наверно был 18 века, может быть и старше, стены и пол были неровные, а окна наших классов громадной высоты и почти до полу. Громадной величины были и кафельные печи, которые жарко натапливал маленький старичок, наш гимназический сторож Феликс. Рядом с нашей гимназией была Первая гимназия (куда мне не пришлось поступить из-за отсутствия вакансий), она занимала главное здание Университета, где были необыкновенной толщины стены и широкий коридор, подымавшийся в верхний этаж "пандусом" (pente douce) вместо лестницы — там помещалась домашняя православная церковь, общая для обеих гимназий.

Наш гимназический двор отделялся от 1-ой гимназии древней облупленной стеной, с редкими неправильно расположенными маленькими окнами, украшенной как-то странно, сбоку, курьёзной башенкой — каприз Барокко. Эта стена мне всегда казалась какой-то загадочной.

Старый Университет представлял из себя довольно сложный конгломерат зданий с внутренними двориками и переходами. От

прежних времен сохранилась и небольшая башня давно упразднённой обсерватории с красивым фризом из знаков зодиака. Все эти здания окружали большой двор Первой Гимназии, засаженный деревьями; к двору примыкал стройный фасад белого костёла Св. Яна, а рядом с костёлом стояла четырехугольная колокольня с барочным верхом, возвышавшаяся над всеми крышами Вильны.

В Вильне старина как бы обнимала меня (даже в гимназии) и я жил среди разных преданий, связанных с городом, так же как и в моем детстве — в Новгороде. Было множество мест, о которых рассказывали таинственные истории, говорили, что под городом протекает подземная река, что из Замковой горы ведут какие-то древние подземные ходы и коридоры чуть ли не к Трокскому замку. Эта гора с развалинами башни и замка Гедимина всегда была перед глазами и напоминала о литовском сказании — "Железном Волке" — пророческом сне полулегендарного героя Литвы. У подножья горы, среди площади, в стороне от других зданий, стояла высокая колокольня кафедрального Костела св. Казимира и ее неуклюжая странной формы база тоже говорила о седой древности: по преданию, которому хотелось верить, этот массивный каменный блок и был тот самый языческий альтарь "Знич", где горел неугасимый огонь Вайделотов. В то время Вильна была исследована мало, но постоянно натыкались на неожиданные открытия: так, в одном упраздненном католическом монастыре нашли в подвалах огромное количество черепов — все отмеченные на лбу красным знаком креста, что изумило своей загадочностью.

Живым преданием был в Вильне почитаемый всеми чудотворный образ Остробрамской Божьей Матери: в часовне, над городскими воротами с гербом Литвы — скачущим витязем с обнаженным мечом, сиял среди свечей и лампад кроткий лик этой Мадонны в обрамлении тяжёлой золотой ризы, украшенной короной и нимбом, и густо увешанной, как ожерельями, серебрянными Ex Vota — сердцами, руками, крестами... А внизу узенькая улица, проходящая под воротами, всегда была полна коленопреклоненной толпы. Драгоценным делало город и то, что в величавом Кафедральном Костёле почивали в гробницах великие князья и княгини Литовские, и, по преданию, сам воинственный Витовт; всё в Вильне казалось полным таинственности, геройства и святости.

С самого начала и за все годы жизни в этом городе он был мне мил и был как бы родной и "свой", даже гимназия, которую я не любил, не мешала этому чувству — оно осталось и на всю жизнь.

Впитывая в себя все разнообразные впечатления старины и любуясь ею, я незаметно для самого себя как бы "учился" архитектуре и стилям. Большинство грациозных и изяшных виленских костёлов было построено в 18-м веке, и дух этого века мне было дано впервые узнать именно тут. И не только это: в Вильне накопились наслоения нескольких эпох: была и готика, и грузное барокко, и классика (губернаторский дворец, где останавливался Наполеон). Очарователен был маленький кирпичный костел св. Анны, поздней, но подлинной готики — зимою, в снегу, это была настояшая театральная декорация. Говорят, что Бонапарт, увидев эту готическую игрушку, жалел, что ее нельзя взять с собой.

На этих подлинных произведениях искусства мой глаз и вкус, после любимого Петербурга, естественно продолжал развиваться: я стал замечать величие архитектурных пропорций, очарование пустых плоскостей, оживленных в одном месте каким-нибудь "картушем" или гербом (как на абсиде церкви св. Яна или на "Кафедре"), замечал прелесть "рокайля" и главное — я начинал чувствовать поэзию архитектуры.*

Город с его необыкновенно оживленной уличной жизнью еше больше оживлялся в большие праздники, на Рождество и Пасху. На рождественские каникулы наезжало множество студентов из Варшавы, Петербурга и Москвы, и еще более праздничными делались улицы, всегда полные весёлого звона бубенчиков — непременной принадлежности извозчичьих санок (зима всегда была снежная, с крепким морозом). В Сочельник ходили по домам "славельшики", эти певчие распевали неуклюжие вирши, а иногда это сопровождалось пантомимой. Помню одни такие "стихи": "Ах, вы глупые литвины, ведь Христос не есть ботвиньи, принесите кашку с молочком или мёду с сочком"...

На Крещенье по домам ходили — тоже по старому обычаю — "Три короля" — Каспар, Мельхиор и Балтазар и обязательно в компании с безымянной королевой. На головах у них всех были

*При польском правительстве в 1930-х годах многое в Вильне было умело, умно и со вкусом реставрировано. Были вскрыты в Кафедральном соборе великокняжеские гробницы, причем найден был в полуистлевшем парчевом одеянии склет Барбары Радзивилл, жены Сигизмунда II Августа, с короной на черепе и с великолепно сохранившимися всеми 32-мя зубами этой красавицы. Тогда же в злании Университета открыто было несколько замурованных помешений со сводами, украшенными росписью 17 и 18 в. Наш гимназический двор со странной стеной был наименован "двором Смуглевича", по имени польского художника 18-го века, запечатлевшего современные ему виды Вильны.

картонные золотые короны, а у королевы еще и белая вуаль до пят, которая в оттепель жалко обмокала и грязнилась. Балтазар был арап ("Мужин" — по-польски) и лицо его было густо замазано сажей.

В Великом посту, 4-го марта — день св. Казимира — был еще один народный праздник — "Кермаш" ("Kermess"), который оживлял тоже весь город. Большая пустая площадь перед "Кафедрой" (позже там был разведен сад) заполнялась огромным базаром. Из окружных деревень и местечек наезжали телеги, нагруженные всяким товаром — самодельной глиняной посудой, домотканными материями, коврами, "дорожками" и, главное, бубликами и баранками с тмином, маком, "чернушкой" и без всего, которых были целые горы. Наиболее лакомые были аппетитно поджаренные сморгонские бублики — круглые шарики с дырочкой, нанизанные на бичевку, как бусы. Их на базаре покупатели и надевали как бусы и разгуливали, шлепая по весенним лужам.

Такой же базар и гулянье — праздник, но поменьше, был и летом в день св. Петра и Павла около красивейшего собора этих святых на Антоколе, в предместьи Вильны, где почему-то особенно много продавалось пряников. Были пряники белые, мятные, и в роде "вяземских" медового цвета и вкуса, а также какие-то розовые в виде подбоченившихся человечков и скачущих лошадок. Этот торг напоминал мне наши вербные базары в Петербурге, где тоже продавались всякие лакомства и так же маячили над головами лиловые и красные воздушные шары.

На Пасху город снова радостно оживал и тогда уже пахло весной. В каждом доме накрывался пасхальный стол со всевозможными яствами, который стоял целую неделю. Кроме традиционной творожной пасхи, кулича с бумажной розой и окорока, изготовлялись разные торты и "мазурки", из которых помню необыкновенно вкусную миндальную "легуминку" — специальность виленской Пасхи. Стол украшали и расписными яйцами, "писанками", часто очень затейливого рисунка, их привозили из литовских деревень — произведения настоящего народного литовского творчества...

Только в Вильне я впервые узнал всё очарование весны. В моем петербургском детстве я видел лишь робкую и чахлую весну в соседнем сыром саду Медицинской Академии; в Кишиневе, где мы прожили после Петербурга два года, весна была совсем другая, необыкновенно красивая, с цветением черешен и вишен, но мне какая-то "чужая" и только тут, в Вильне, меня всегда охватывало единственное, ни с чем не сравнимое волнение, когда наступала весна. Таял снег

и ручьи бежали с веселым журчанием вдоль всех тротуаров (по "ринштокам", как называли глубокие уличные канавки в Вильне) и веяло какими-то незнакомыми мне и волнующими весенними запахами. Когда мы жили на окраине города, то даже зловоние "полей орошения", которые лежали между нашей "усадьбой" и Закретом — заповедным лесом, как-то странно-приятно соединились с весенними воспоминаниями...

Весь воздух был пропитан весной и невыразимое словами сладкое томление больше всего связано с первым, самым идиллическим годом в Вильне...

Мы с отцом прожили самой мирной жизнью на наших "Песках" два года.* Жизнь наладилась, шла регулярно. У нас жила всё та же моя няня, много возившаяся с моим братом Игорем, довольно непокарным и слишком живым мальчиком, и вела всё хозяйство. Наши деньщики были всегда славные парни — у отца был верный глаз выбирать их из солдат батареи (он почему-то любил рябых). Долгое время у нас служил поваром ("канонир", как звали в артиллерии "нижних чинов" — солдат) Петр Ткач, взятый отцом с собой из Кишинева, бывший раньше поваренком у какого-то богатого польского помещика, умевший готовить удивительно-лакомые блюда. Потом служил деньщиком казанский татарин Камам, который вдруг заинтересовался греческим алфавитом, подглядывая за моей спиной в тетрадку; я его научил читать по-гречески и умирал со смеху, когда этот настоящий гоголевский "Петрушка" читал мне "Анабазис" Ксенофонта или "Илиаду" Гомера. По вечерам всегда приходил к отцу для доклада фельдфебель Сергей Павлович Кожухов, с неизменным рапортом: "Так что, Ваше Высокородие, в батарее всё обстоит благополучно. Нижние чины на перекличке были все", а иногда тем же невозмутимым тоном добавлял: "только в казармах случился пожар", или воровство, или другая беда.

Нашей жизни придавала уют и милая собака Леда, рыжий сеттер с умной мордой, всегда мчавшаяся с веселым лаем рядом с нашими санями. Потом появились у Леды двое щенков — конечно, Кастор и Поллукс, как следовало по мифологии.

По вечерам, когда я кончал готовить уроки, отец, как это было в

*"Пески", где мы жили, так назывались из-за зыбучих песков, извозчики даже неохотно сворачивали туда от городской заставы на "Большой Погулянке" (застава была остатком николаевских времен — два желтых каменных столба с черными двуглавыми орлами наверху. Около же высилась и совсем древняя старина: барочная башенка со статуей св. Непомука).

Петербурге и Кишиневе, мне часто читал вслух. Теперь мы оба увлекались Диккенсом, у нас были все его романы в отличном переводе и с очень многими иллюстрациями Дю Морье; был у нас весь Островский, не говоря о русских классиках; тогда я впервые начал читать Тургенева.

Такова была идиллия первых лет нашей виленской жизни.

В Оранах жил отличный сапожник, обувавший всех офицеров, и этот Арон Прусский, худой, рябой еврей с черной бородой, был и нашим поставщиком и иногда появлялся у нас в Вильне. Отец ценил его искусство и, вообще, любил покровительствовать этим ремесленникам. Всегда в Вильне заказывал фуражки Шлосбергу — этот хлопотливый, бородатый еврей был такого маленького роста, что примеряя мне, великовозрастному, гимназическую фуражку, должен был становиться на стул. Отец всегда с ним шутил. Форменную же одежду нам отлично шил кудрявый высокий Гуз, живший в старинном узком доме, вплотную примыкавшем к костёлу св. Яна, так что у него слышны были звуки органа. У него были красивые волоокие дочки и висел портрет доктора Герцля, основателя сионизма — я не очень любил к нему заходить на примерку, потому что в его маленьких комнатах очень терпко пахло кухней и я на него сердился, так как он наровил всегда шить "на вырост", а я хотел франтить.

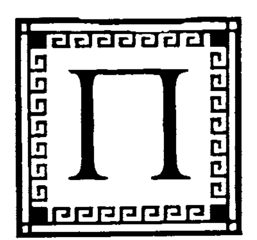
Разумеется, моего отца, для которого не было "ни эллина, ни иудея", евреи, можно сказать, обожали. Однажды мы гуляли по местечку и отцу вздумалось зайти в синагогу посмотреть, как там молятся. Произошел переполох при появлении в синогоге "господина Полковника". Принесли два стула — ему и мне, и вообще это явилось небывалым событием. Мы немного посидели, но отцу было неловко оставаться в фуражке — "точно это неуважение — это ведь храм".

Несколько позже, когда в Брест-Литовске был еврейский погром, возмутивший моего отца (он тогда был в генеральских чинах и являлся начальником Брестского гарнизона), он послал отряд солдат, чтобы прекратить безобразия, а перепуганные евреи, ища защиты, бежали укрываться в его гостинице...

Думаю, что после октябрьской революции, когда отец оставался один в Витебске, обращенный "в первобытное состояние" и, как генерал, мог бы быть властями "ликвидирован", вероятно, именно местные евреи и спасли его — власти оставили отца в покое и даже позволили уехать к семье в Вильну.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ВИЛЬНА ГИМНАЗИЯ



РИЕХАВШИЙ из Петербурга гимназист в нашей гимназии, весьма "демократической" по составу учеников, был явлением редким, но на меня поглазели и отстали, как было и в Кишиневе, и я аклиматизировался. Хотя в 4-ом классе, куда я поступил, я был второгодником, успехи мои, не смотря и на репетиторов, были "так себе", и в следующие классы я тоже переходил "с грехом пополам". Это была уже третья по счёту гимназия, где я учился, опять с новыми учителями, с новыми товарищами, новым бытом. Ко всему этому надо было привыкать.

В быту гимназической жизни привлекательного было мало. Учителя держались по-чиновничьи, оффициально, и некоторые наводили смертельную скуку, но они были довольно безвредны и их мы меньше дразнили, чем в петербургской гимназии.

Директор Бржезинский, со своей круглой рыжей бородой, в синих очках и синем вицмундире показывался редко, был сумрачен, с постоянным выражением какого-то отвращения на лице. Но это был человек спокойный и, как позже мы убедились, очень порядочный и добрый. Мы его уважали.

Оригинальной фигурой был наш "батюшка" — протоиерей, отец Иоанн Берман. Все знали, что он крещённый еврей (и кажется, из кантонистов), был учён, — кончил духовную Академию, и объяснял предмет интересно. Но в классе его не очень любили — был сердит и придирчив. Вскоре после моего поступления он помер и перед смертью получил Высочайшее разрешение переменить фамилию на Медведева.

Мои новые товарищи были симпатичные, умели хорошо подска-

зывать, передавать "шпаргалки" и делились со мной подстрочниками.

В моем 4-м классе на "камчатке", как в гимназиях называлась последняя скамейка, заседали ветераны — второгодники, один был даже чудо-третьегодник. Они басили, а некоторые уже брились. Вся эта компания через год исчезла из нашей гимназии и нашла приют в Шавельской, куда охотно принимали наших неудачников.*

В нашей гимназии были ученики четырех разных вероисповеданий — и было четыре законоучителя: у православных о. Берман, у лютеран — корректный пастор Брик, а у католиков — маленький, приветливый ксёндз Олехно. Класс еврейского закона Божия вел рыжебородый Вольпер, носивший, как все учителя, виц-мундир с золотыми пуговицами. Нас интриговало: о чем между собой беседовали в учительской эти четверо толкователей веры?

Все православные гимназисты обязаны были ходить в нашу церковь по суботам и воскресениям, чего не требовалось ни в Петербурге, ни в Кишиневе, но в "северо-западном крае", политически продолжавшим быть подозрительным, это требовалось по высоким государственным соображениям.

В собор мы шли, предварительно собравшись в гимназии и проверенные, парами и по росту, как институтки. В этом соборе св. Николая, очень красивого рококо, переделанного из костёла св. Станислава, приходилось выстаивать всю бесконечную архиерейскую службу в тесноте и духоте (я раз чуть не лишился чувств). Может казаться маловероятным, но на торжественных богослужениях должны были присутствовать гимназисты не только православные, но и католики и лютеране. Лишь евреи были освобождены.

Все эти церковные обязанности только смущали мою религиозность, даже вредили ей, и мне уже и в голову не приходило пойти самому, по собственной инициативе, в православную церковь, между тем с детства, с Новгорода, я так любил уютную и сердечную атмосферу православной службы, особенно всенощной, но теперь я предпочитал костёлы. В Вильне они были замечательной красоты, полные света и торжественности, и было истинное наслаждение слушать в них могучие звуки органа.

Неумная "религиозная политика" приводила конечно к обратным результатам. Также и преследование польского языка нисколько его не искореняло, хотя на нем и нельзя было говорить в общественных

---

*Среди них был Пристар (будущий премьер министр при Пилсудском) и Шабловский (будущий главный военный прокурор)... Обоих я впоследствии встречал, в расцвете их карьеры....

местах: на почте висела доска с оскорбительной надписью: "запрещается говорить по-польски". В гимназии этот язык был преступлением и гимназистам грозило исключение из гимназии (но таких случаев при мне не было).

Нас старались воспитывать в патриотическом духе и этому должна была служить... наша гимнастика. Руководил ею Ос. Ос. Струсевич, веселый поручик Троицкого пехотного полка (носивший фуражку с белым околышем и имевший чрезвычайно красные губы и ярко рыжие бакенбарды), который нас также учил и военному строю, что было только что тогда введено в гимназиях, — командуя звонким и бодрым голосом — "ать-два, ать-два, ряды вздвой, смирна-а"! На войне 1914 г. он оказался, говорят, необыкновенным храбрецом и заслужил Георгия. Под его дирижерством мы распевали воинственные песни: "взвейтесь, соколы, орлами" и "многи лета, многи лета, православный русский царь, дуржно-громко песня эта пелась прадедами встарь". С этими песнями 1-го мая мы отправлялись всей гимназией, маршуруя в ногу, через весь город, в Закрет на "маёвку" — единственное приятное воспоминание о моей гимназии. В лесу мы дурачились и веселились, и даже некоторые учителя вылезали из своих футляров, а иных мы даже качали (а одного раз уронили).

Труднее всего мне давались древние языки, а extemporalia (письменные переводы на латинский и греческий языки) были одно мучение. Мы зубрили, как в Петербургской и Кишиневской гимназии, этимологию и синтаксис обоих языков и засоряли память невероятным количеством исключений, причем эти исключения, изложенные в учебниках стихами, запомнались навсегда, а сами правила забывались! (до сих пор помню, конечно, предлоги "Ante, apud, ad adversus" и т.д. или из слов других на "US" "tribus, arcus, porticus, idus-iduum, domus, manus" или "vulgus — чернь-простой народ, имеет чаще средний род" и прочая дребедень). Из-за деревьев не было видно леса: классическая гимназия меньше всего знакомила с самим классическим миром, и о мифологии и об античном искусстве я несравненно больше знал из домашнего чтения. Когда я находился в 7-м классе министр Зенгер оказал гимназистам великое благодеяние — отменил ненавистные extemporalia, на которых все "резались", и в то же время велел нас знакомить с греческими и римскими древностями. В классе появились таблицы с изображениями вооружения греческих и римских воинов, колесниц, и проч., но очень скучные и нас мало заинтересовавшие.

Я вообще не был способен к языкам, лиш помогала хорошая

память, и в результате от многолетнего изучения древних языков, кроме тех исключений, запомнилось несколько отрывков из Иллиады, басня Эзопа "о Мухах", немного строф из Метаморфоз Овидия и кое-что еще, — может быть несколько больше, чем помнил Онегин, и то только потому, что самому хотелось заучить все это, а не по принуждению. Латинские и греческие уроки были для меня самой настоящей "трудовой повинностью". (Выражения этого тогда еще не знали).

В общем, мало кто из учителей мог в нас возбудить интерес к предмету, только в начале моего учения в Виленской гимназии я с удовольствием изучал... географию.

Про нашего учителя географии — старика с орлиным носом, Сергеева, у которого через весь лоб шел больший шрам, ходила легенда, что это след от индейского "тамагаука" и хотя других доказательств, что он путешествовал по Северной Америке не было, — мы верили.

Я с увлечением стал тогда чертить географические карты, не только как урок, но для себя. Меня еще в детстве занимали формы материков и островов, извивы рек и цветные зигзаги границ. Все это я рассматривал еще маленьким на тех рельефных картах двух полушарий, что висели на стене моей детской, над самой кроватью. Теперь я еще внимательнее стал всматриваться в географические очертания и силуэты и замечал необыкновенное *изящество* их и как бы органическую структуру. Я любил также находить разные странности в береговых линиях и контурах разных земель, озер, заливов и проч., и не только видел "льва в Скандинавии, "даму" в Англии, "сапог" в Италии, меня удивляли и странные повторения некоторых географических очертаний (напр., "Пелепонеза" и галлиполийского "трезубца", голландского "Зюидерзее" и Каспийского залива "Карабугаз", одинаковые "косы" — Мемельская в Прибалтике и Кинбургская в Крыму и забавляла курьезная закорючка мыса у Бостона, и мне хотелось побывать во всех эти уголках. (Впоследствии, во время моих странствий, я действительно попал и в Голландию и на Мемельскую косу и на тот американский завиток (Cape Cod), побывал и в "пасти" Скандинавского льва, и в "голенище" итальянского сапога).

Я сделал тогда для себя с увлечением несколько больших карт, раскрасил их, наклеил на коленкор и развесил в своей комнате, приделав палки для отвеса.

Это были настоящие уроки рисования, которые я себе задавал: тут надо было добиваться точного сходства и упражняться в

сохранении пропорций. Глаз мой и "умение видеть" на этом действительно развивались, а Сергеев мне ставил 5 баллов.

Уроков рисования, с 4-го класса в гимназии не было, но по желанию отца мне отдельно давал уроки учитель Колесников, путного, впрочем, было мало. Он только показал мне несколько акварельных приемов и научил как надо наклеивать на доску бумагу, намачивая ее. Потом я начал было посещать и школу рисования Трутнева, седого одноглазого художника-передвижника, которая помещалась в одном из флигелей 1-ой гимназии. Но там было совершенно то же самое, что и в петербургской школе Об-ва Поощрения Художеств, те же скучные гипсы — акантовые листья, уши и носы, та же штриховка — все было совсем неинтересно и я скоро перестал туда ходить.

С первых же лет жизни в Вильне я начал самостоятельно рисовать с натуры. Тщательно нарисовал карандашом нашу усадьбу со стороны обрыва, с заборами, крышами и тополями, а съездив раз в Троки, нарисовал развалины замка на озере — общий вид и детали — фрески в амбразуре одного окна, а также — что мне очень трудно далось — пейзаж около Вильны — холм с молодыми дубками — все это были мои первые внимательные и грамотные рисунки, если не считать совсем детских в Пятигорске и в Новгороде с натуры.

Одновременно в свободное время от уроков я делал копии с разных гравюр из "Нивы" и других журналов; сделал "Диану на крыльях ночи" Брюллова, сепией, но больше любил рисовать пером (причем, употреблял самое маленькое, чертежное). Это пришло как-то само собой, без чьего-либо совета и примера. Особенно старательно я сделал копию с офорта Шильдера (подражателя Шишкина) "Сосны в тумане", очень всеми, кто видел, одобрявшуюся, а с деревянной гравюры Матэ — голову Репинского хохочущего запорожца (мне было тогда уже лет 17), где я постарался передать сочность штрихов этой отличной гравюры.

Эти рисунки в одну из моих поездок на Рождество в Петербург, я взял с собой и они были показаны художнику Каразину, бывшему тогда в славе, который сказал: "хотя по копиям трудно судить о таланте, но из этого молодого художника может получиться гравер замечательный"...

Мои тетрадки я испестрял рисунками на темы из прочитанного или из изучаемого в классе — всегда в смешном виде — и карикатурами на товарищей и учителей, а обложки театрадей украшал узорными надписями, подражая отцу, который, как я видел еще в

моем детстве в Петербурге, всегда снабжал синие обложки своих казенных "дел" заглавиями из фантастических, очень затейливых и оригинальных букв своего изобретения.*

За мной в гимназии стала утверждаться "слава" карикатуриста, моей мишенью были, конечно, прежде всего учителя. Почему-то мы в классе решили, что они все пьяницы и устраивают общие попойки, и я изображал как одни из учителей пьют из рюмок, другие из горлышка водочных бутылей, третьи валяются под столом пьяные "как стельки" — "Convivium precertorum nostrorum". Больше всего я любил делать карикатуры на нашего латиниста, краснолицого, с большой бородой увальня, изображая его в самом неподобном виде, и я думаю, что он в конце концов узнал об этом и, может быть, мне и мстил, ставя плохие баллы. Мои товарищи большей частью забирали себе эти рисунки.

Когда я был в 5-м классе, приезжал в Вильну министр Делянов и посетил обе виленские гимназии, наводя, конечно, всеобщую панику. Говорили, что наша гимназия ему понравилась, а 1-ая — нет. На эту тему я и сделал карикатуру, которая имела большой успех в гимназии.

Было же так: Делянов со свитой (в ней был и наш страшный попечитель учебного округа Сергиевский с отвислой губой и какие-то чиновники) появился в нашем классе во время урока французского языка. Я только что сел на место, окончив переводить несколько фраз из "Prascovie ou la jeune sibirienne" Ксавье де Местра, и хитрый учитель, перед рассевшимся на наших партах синедрионом, сейчас же снова вызвал меня. Повторить то же самое уже без всяких ошибок было не трудно и старик министр, улыбаясь, одобрительно кивал лысой головой. Если другие наши учители так же схитрили, то понятно, что Делянов остался доволен нашей гимназией. Почему был недоволен Первой, — не знали, но все об этом говорили.

Я нарисовал после этого улетающего на облаке и стоящего на одной ножке в балетной позе носатого Делянова с Рогом Изобилия в одной руке, из которого на группу наших учителей сыпятся ордена, а на голову директора садится генеральская треуголка с золотым позуметом, толпе же огорченных и сердитых учителей 1-ой гимназии Делянов другой рукой показывает шиш. И я напророчил: наш

*В моих школьных тетрадках и было собственно начало того, что в далеком будущем развилось уже скрьезным образом: шрифты и обложки книг в огромном количестве мной нарисованные, что стало одно время как бы моей специальностью и дало мне в области русской книжной графике имя.

Директор вскоре получил чин действительного статского советника...

Эту карикатуру мой одноклассник Сережа Берман (сын законоучителя) забрал себе и показал отцу, тот же, к моему ужасу, отнес ее в учительскую и будто бы там все хохотали, а директор рисунок оставил себе. История эта так и забылась, но в гимназии моя слава карикатуриста росла.

Обе Виленские гимназии считались очень строгими. Особенно зорко наше начальство следило за исполнением гимназистами правил поведения и ношения форм. Была особая книжка, которую мы должны были иметь при себе, где эти правила были напечатаны. Там, между прочим, запрещалось "ношение перстней, колец, усов и прочих украшений" и, конечно, куренье где бы то ни было. За поведением гимназистов на улицах следили ненавидимые нами "помощники классых наставников", а также наш старший сторож, отставной жандармский унтер с седыми бакенбардами (довольно, впрочем, добродушный старик), обязанностью которого было также проверять на дому действительно ли болен отсутствующий на уроках ученик. Раз, когда я оставался дома, он для этого контроля появился и у меня, к его удаче в отсутствие моего отца, иначе он бы его спустил с лестницы! Дома же я оставался часто, когда просто не успевал приготовить уроков и тогда отцу приходилось писать в гимназию или о моей какой то "головной боли" или о классическом предлоге — "Расстройстве желудка" или, чтобы не сочинять, — загадочно и глухо: "по семейным обстоятельствам" — что уважалось тоже.

Для нас, гимназистов, зимой большим развлечением было кататься на коньках в Бернардинском саду. Большой каток освещался матовыми электрическими фонарями, играла военная музыка и "резать лед" в аллеях под ветвями деревьев, покрытых пушистым инеем, было восхитительно! Этот каток был собственно, зимним клубом, где собиралось виленское общество, главным образом, конечно, молодежь. Многие приходили просто потолкаться, посмотреть, как изощряются конькобежцы, поболтать и поухаживать, — совсем так же, как приходили на бал в дворянское или в офицерское собрание, и барышень на этот каток, как было и на балах, часто сопровождали мамаши. Место это считалось вполне приличным, но гимназистам надо было иметь особое разрешение и после какого-то часа кататься на коньках строжайше запрещалось — ослушников же (за этим следили вездесущие ненавистные "помощники классных наставников" — гимназическая полиция) — на другой день наказывали оставлением после уроков в гимназии на час или два.

Наказание было скучным, похожее на карцер. Наказуемых (их набиралось иногда довольно много) собирали в класс "еврейского закона Божия" — самую унылую комнату гимназии, с окном упиравшимся в стену узенького переулка "Скопувки", и дежурный надзиратель, уткнувшись носом в книжку нас сторожил (незавидное занятие — сам изнывал от скуки). От нечего делать мы вяло готовили уроки и всегда разболевалась голова.

На катке, конечно блистали офицеры, (в Вильне они были "всех родов оружия") и особенно лейб-драгуны 4-го Псковского Ея Величества полка — пожиратели всех сердец, у которых была замечательно красивая форма (сочетание темно-зеленого и розового цвета сукна с серебром), так что мы гимназисты, "синяя говядина", чувствовали себя париями.

Зато впоследствии (я был уже солидный шестиклассник и франтил), как я был доволен и как, наконец, восторжествовало мое гимназическое самолюбие, когда один хлыщеватый драгунский вольноопределяющийся в потемках, около того же самого катка, принял меня за офицера: я был высокого роста и мое форменное светло-серое пальто было совсем офицерского покроя. Он вытянулся и взял "под козырек", я же нашелся и вежливо сказал: "пожалуйста, не беспокойтесь, проходите" (как говорил мой папа юнкерам и кадетам в таких случаях), тот же расхохотался.

Однако торжествовать приходилось редко, с нашей солидностью начальство не считалось и однажды я "попался", посетив каток без разрешения, и был оставлен на час после уроков. Но вдруг в этот "карцер" вошел инспектор, он же наш "грек", корректный Александр Иванович и сделав вид, что ужаснулся, что великовозрастный гимназист тут сидит рядом с приготовишками, с пафосом воскликнул: "что я вижу — стыд и позор! Идиге, как можно скорее, домой". Но это был очень редкий случай амнистии, и потом в гимназии было много смеху и разговоров об этом.

Вначале гимназии я ни с кем из товарищей по классу особенно близко не сдружился и у меня никто не бывал — были лишь приятельские отношения.

Но в 5-м классе я сошелся с Алешей Рогаля-Левицким, который был по своему развитию и начитанности головой выше меня, да и был старше.

Это был болезненый юноша и еще недавно перенес какую-то тяжелую болезнь, был несомненно чрезвычайно способен, но почему-то совершенно не учился и был "последний ученик". Он сидел уже второй год в классе и ему грозило за неуспешность исключение из гимназии. Но к этому он относился совершенно равнодушно. Я с

увлечением читал Достоевского и его мысли были часто темами наших разговоров. Для своего возраста, Алеша был необыкновенно начитан, знал Шопенгауера и казалось имел уже свое определенное миросозерцание — был убежденный пессимист и старался и меня обратить в эту веру (и в свое безверие) — у нас были горячие споры. Я не сдавался, так как вопреки всем доводам, был в противоположность Алеше "Оптимистом". Он меня заразил своим интересом к психологии и по его совету я прочел тогда, в 5-м классе, от доски до доски толстую "Педогогическую психологию" Каптерева, и из нее и из популярных книжек издания Павленкова познакомился с некоторыми философскими учениями. Вообще, от него я очень много узнавал и у меня осталась самая благодарная память о нашей дружбе.

В это время произошло большое событие в нашей семье, женитьба отца после развода с моей матерью (он женился во второй раз на дальней родственице, тоже из рода Добужинских) и тут наступил перелом в моей сознательной жизни. Мы переехали в город, поселились в новом доме на красивом Георгиевском проспекте, стало комфортабельней, но уже прежнего уюта не было, не было и сада.

Но совсем близко, за мостом на другом берегу Вилии, стоял совершенно еще тогда нетронутый густой лес, "Зверинец" — бывший "заповедник" Виленских магнатов, где водились когда-то олени и кабаны. В этом лесу был устроен всегда пустующий каток, и было приятно на морозе кататься там в одиночестве — на коньках.

В моей комнате я повесил мои сытинские лубочные картинки — Полкана-Богатыря, Ивана Царевича на Сером Волке и Анику — Воина и Смерть. Тут я вяло готовил уроки и очень много читал — как никогда еще раньше: меня очень увлек Фламмарион — его фантастические романы "Урания" и "По волнам безконечности" открывали какие-то новые, головокружительные перспективы. Тогда же я зачитывался Достоевским — он так отвечал моим настроениям... До "Братьев Карамазовых" я тогда еще не добрался, но "Записки из подполья" "Маленький герой", "Подросток" волновали меня чрезвычайно. Когда я прочитал "Преступление и Наказание" мне захотелось впервые иллюстрировать Достоевского — пробовал, но у меня не выходило.

Я мучительно ревновал отца и очень скучал по няне, которая меня выкормила и воспитала, уехавшей в Петербург, откуда она мне писала — своим корявым почерком — полные любви письма.

Отец конечно, видел, что мне тяжело, был по прежнему ласкав со мной и всё делал, чтобы меня заинтересовать тем и другим и развле-

кать. Тогда я начал учиться на виолончели у бригадного капельмейстера, виолончелиста (отец купил мне по случаю хороший немецкий инструмент). Я стал заниматься и фотографией и моя комната одно время обратился в лабораторию с "эйкснегенами", "гипосульфатами", пробирками и ванночками для проявления пленок. Отец мне часто покупал билеты в театр — там одно время была оперетка (я видел "Периколлу" и "Дочь рынка" и другое); играла и хорошая драматическая труппа Незлобина — ставили Островского и Шекспира.

Он также устраивал мне поездки в Петербург на Рождество и летом, и эти поездки были для меня всегда, как истинный праздник.

В гимназии у меня произошла катастрофа — я был оставлен в 6-м классе на второй год — провалился на латыни, да и вообще в моем подавленном состоянии я учился без всякого интереса и шел одним из последних в классе. Это было большое горе и удар по самолюбию, я должен был разлучиться с перегнавшими меня товарищами, с которыми уже начал сходиться, и предстояло сидеть в одном классе с "мальчишками", а главное откладывалось на целый год окончание гимназии и казался недостижимо далёким желанный Университет — "рай свободы" как он мне представлялся.

После моего "провала", летом для моего утешения отец меня отправил в Петербург. Я гостил на мною любимом Каменном острове у дяди доктора и ненадолго съездил в Выборг, куда переселилась одна милая семья из Вильны, друзья отца. Была занимательная поездка по шлюзам на Иматру. Этот бешенный каскад меня поразил, сама же Финляндия очаровала: и сосновый лес, и огромные круглые камни в лесу, и мягкие ярко зелёные мхи, и главное — тихие белые ночи, которые ещё стояли, — всё напоминало полузабытые впечатления самого раннего детства в Райволе...

Вскоре же мы со Сташей получили приглашение от дяди Феди приехать погостить к нему в Эстляндию, в Силламяги.

Там оказалось совсем прелестно! высокие сосны, смолистый запах, шуршание гравия под ногами, шум серого моря... Было дождливое и сырое лето, но и дождик и сырость были какие-то уютные.

Дядина дача находилась у самого моря, и всё время был слышен прибой. Тётя Ася страшно кашляла, и это было её последнее лето.

К ней у нас со Сташей совершенно изменилось отношение: мальчишками мы видели в ней лишь требовательную и раздражительную "воспитательницу", теперь взрослые, мы поняли, что её резкости

объяснялись её болезнью, а то что мы знали, что она "приговорена", возбуждало особенную нежность и жалость к ней. Она много знала и много читала, с ней бывало интересно и забавно — юмор её не покидал и во время болезни.

Рядом жил с семьей Иван Петрович Павлов, известный ученый, физиолог. Он был женат на сестре тети Аси, "тете Саре", как с детства я ее называл — Серафиме Васильевне (они были Карчевские), добрейшим существом, с ямочками на щеках и с такими красивыми глазами, как у тети Аси.

Иван Петрович был приятелем дяди Феди, и отец мой его любил. Он был ворчун, постоянно "чертыхался" от своей горячности и был знаменит, как чемпион игры в "подкидного дурака": никто никогда не мог его обыграть, а он неизменно торжествовал. Другим его увлечением на даче была игра в "городки" или "рюхи", знакомая мне по Новгороду, в ней мы все принимали участие, где тоже он отличался. С молодежью он был сам молод и весел.

Там же гостил брат Ивана Петровича — Дмитрий Петрович, проф. химии Варшавского Университета. Он был очень высок и худ и такой же бородач, как и его брат, говорил хриплым басом, балагурил и смешил наше общество до упаду.

По соседству жили Терские, друзья Павловых, где были две барышни — Фаина и Соня, и Дмитрий Петрович нас со Сташей выдал за студентов, приехавших на каникулы к своим дяде и тёте (а я как раз тогда остался на 2-ой год в 6-м классе...), а потом сам нас коварно разоблачил. С этими девицами, умненькими и весёлыми, мы со Сташей вели разные серьёзные разговоры и устраивали "дебаты", причем Сташа провозглашал себя славянофилом, консерватором и пессимистом, а я наоборот — западником, либералом и оптимистом, и в спорах мы состязались перед сестрами в остроумии) а раз, не сойдясь во мнениях, в присутствии этих благовоспитанных барышень, жестоко повздорили, чуть не поругались — совсем по-мальчишески).

То лето, такое богатое впечатлениями, я закончил еще поездкой в Новгород, где давно не был и, к счастью, успел повидать всех, а через год дедушка, баба Дуся и дядя Тима, уже оканчивавший тогда Технологический институт, все как-то странно, один за другим, скончались от какой-то горловой болезни.

Учиться второй год в том же классе было нетрудно и у меня было много свободного времени, но я медленно сходился с новыми товарищами и все перемены между уроками провадил среди прежних приятелей, в их 7-м классе. Тогда завелся обычай собираться на дому

у одного из них — маленького Юльки Залькинда, с которым я особенно сдружился (несмотря на то, что он был 1-ый ученик в классе, "первых учеников" у нас в гимназии не любили) в квартире его брата, милейшего доктора рыжебородого Вильгельма Сигизмундовича. Иногда появлялась старозаветная старушка, мамаша, в шелковой наколке, угощавшая нас крепким чаем с печеньем-ломом. Там иногда мы музицировали. Доктор был хороший пианист, брат его играл на альте, я приносил свою виолончель, а Серёжа Берман (Медведев) скрипку, и мы исполняли для собственного удовольствия нетрудные квартеты или трио. Терпеливыми же слушателями были остальные трое из нашей компании: немцы Лукас и Велер и полушвейцарец Юлий Грожан (сын учителя французского языка).

Последний нас огорчал полным отсутствием слуха, мы им занялись, и он на наших глазах прогрессировал, а позже студентом, стал постоянным посетителем оперы и даже не очень фальшивил напевая мелодии.

Часто мои товарищи засиживались играть в карты, котрые я терпеть не мог, и меня так и не научили "винту", которым те увлекались, и пока они занимались этим делом, я сидел сбоку и рисовал. Толстяк Медведев, поджарый Лукас и густобровый Грожан были неизменными объектами моих какрикатур. Все это доктор забирал себе и за два года нашего "клуба" у него образовался целый альбом моих рисунков.

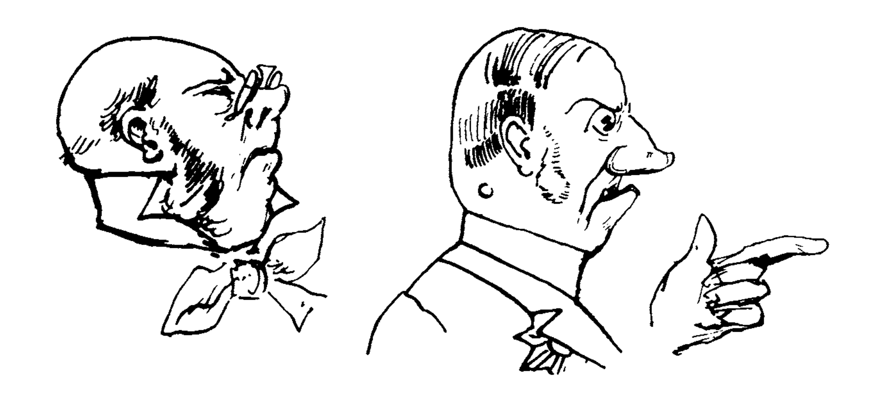
Нравственность наша оставалась чистой, хотя мы и любили похохотать над неприличным анекдотом и посквернословить ради зубоскальства.

Мы были совсем невинны в вопросах политики и в нашем кружке почти не касались серьёзных тем. Кто-то раз принес книжку запрещенного Писарева и я ужаснулся его циничному развенчанию Пушкина.

Почитывая популярные брошюры Павленкова, я знакомился с социальными теориями, и мне уже в то время будущее социализма с его нивеллировкой всего, представлялось невероятно унылым. Тогда ни я, ни другие, не могли предполагать что наш Юлька Грожан впоследствии станет крайним социалистом, что, впрочем, не мешало мне продолжать дружить с ним и его любить, он же никогда не совращал меня в свою веру.

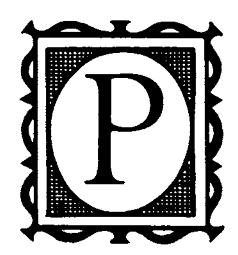
Я без труда перешел в 7-ой класс. 7-ой и 8-ой классы считались

уже преддверием Университета и я сразу почувствовал себя возмужавшим и уверенным в своих силах. Наступившее же лето 1893-го года было из самых замечательных в моей жизни: я первый раз поехал к моей матери в деревню, в Тамбовскую губернию и погрузился совсем в иной мир.



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ДЕРЕВНЯ



УССКУЮ деревню и помещичью жизнь мне пришлось узнать в моей молодости довольно поздно, лишь семнадцатилетним я попал в настоящую русскую усадьбу.

Из Вильны я ехал тогда в тамбовскую глушь "знакомиться" с моей матерью. С четырехлетнего возраста я жил с моим отцом и в детстве видел ее редко — у нее давно была своя семейная жизнь. Моя мать тогда уже оставила сцену и поселилась на своем хуторе в Кирсановском уезде. И с тех пор гимназистом, а потом студентом, я стал ездить туда каждое лето. Во время этих путешествией я пересекал почти всю Европейскую Россию с запада на восток и сколько было одних дорожных впечатлений! Особенно они были замечательны во время двукратной поездки по всей Волге от Твери до Саратова, когда я ездил в деревню кружным путем.

Хотя мои детские воспоминания Новгорода были еще совсем живы, но после "европейского" Петербурга и нескольких лет жизни в барочной и католической Вильне я вначале смотрел на русские города и природу вроде как глазами "чужестранца" и, может быть, отчасти благодаря этому, всё в деревне воспринималось так особенно остро и свежо.

Первый раз я поехал в деревню, только что перейдя в 7-ой класс гимназии, большое событие в моей тогдашней жизни, — и был в особенно бодром и жизнерадостном настроении, вдруг нахлынувшем на меня, и в большом волнении от предстоящей встречи с матерью. Отец

посоветовал мно по дороге остановиться в Орле, где жила его двоюродная сестра которую и он и моя мать знали еше в молодости.

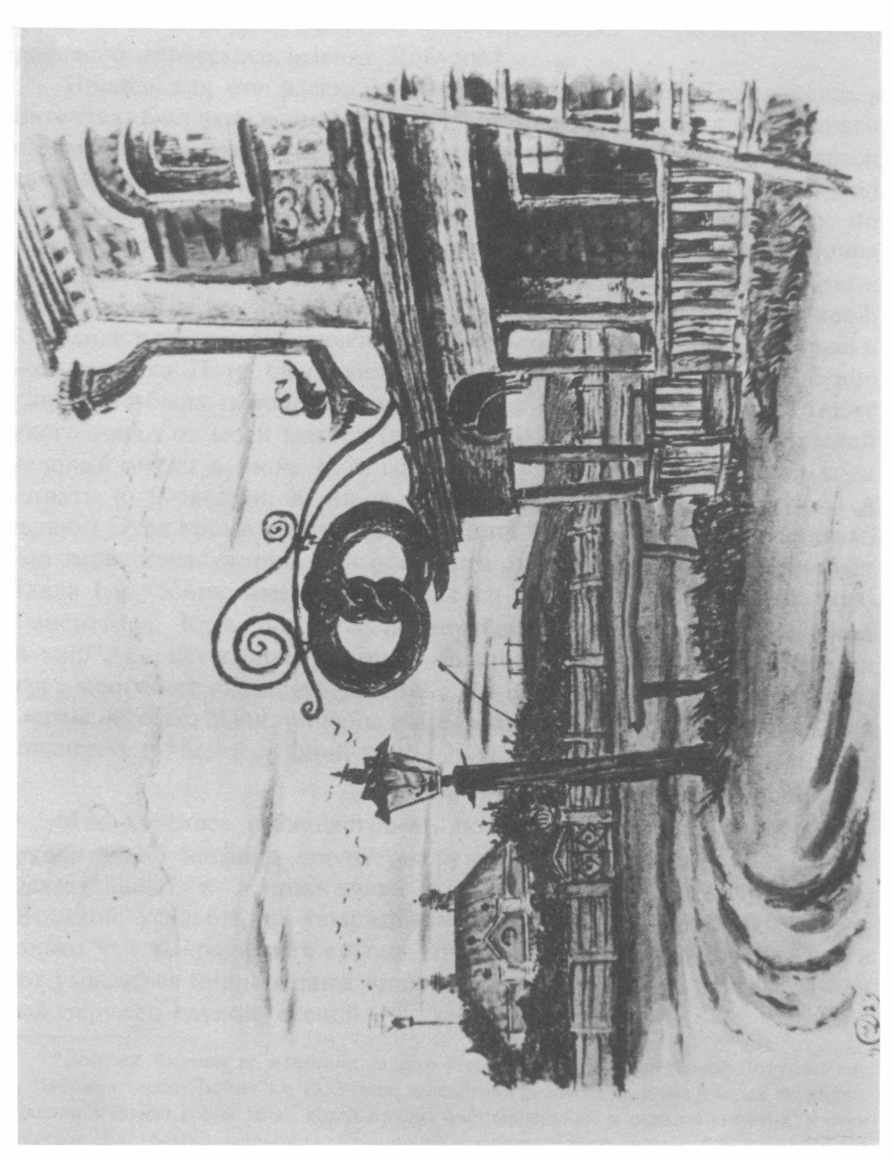
В Орле, совсем как и в Новгороде, на огромной плошади пахло сеном и дегтем, под ногами были такие же гигантские булыжники и меня поразил размах этого города: каменные солидные дома, обширные их сады, необыкновенного простора улицы, вдоль которых вольно носились целые тучи пыли.

Моя двоюродная тётка жила в старинном деревянном особняке на одной из окраинных тихих улиц, неподалеку от самого "Дворянского Гнезда", городской усадьбы Лизы Калитиной — предание еще было живо... Дом моей тётки был настоящий "барский", внутри все было комфортабельно и солидно — тёмные, тяжелые портьеры, старомодная мебель, особенно блестящий паркет, повсюду растения и цветы — от всего веяло домовитой налаженной жизнью и уютом.

Моя тетка Ольга Григорьевна была хороша в свои 45 лет (года, считавшиеся тогда "пожилыми"!; в чертах ее было что-то цыганское, говорила баском и решительно; у нее были такие же горящие глаза, как и в молодости (я судил по ее старой фотографии у моего отца). Она уже седела и, как полагалось тогда дамам солидного возраста, носила на волосах черную кружевную косынку. Конечно, передо мной была настоящая тургеневская барыня. Неожиданно было увидеть рядом с ней ее дочь Лину, маленькую, горбатенькую и странно одетую в шелковое черное шуршащее платье. Но кузина показалась мне умницей и мы водили с ней "серьезные разговоры", прогуливаясь по их большому саду и играя в крокет.

Будь я постарше, я бы воспользовался встречей с Ольгой Григорьевной и распросил бы ее про то замечательное орловское имение ее матери-"Витички", которое стало одно время как бы "гнездом" рода Добужинских, но уже давно ушло в область предания, о нем я знал с детства, но многое мне остается неясным и кажется легендарным.

Одна из сестер моего деда, Наталия Осиповна Добужинская, — судя по ее портретам, — женщина царственной красоты, была замужем за богатейшим "откупщиком" Гр. Гр. Ступиным, владельцем этого имения. Помимо огромной его семьи, четырех дочерей и двух сыновей, которые обитали все вместе на одной земле, выделенные и невыделенные, а многие и под одной кровлей, с мужьями, женами и детьми, там жили и две сестры владелицы Эмилия Осиповна Дреллинг и Екатерина Осиповна Добужинская, единственная оставшаяся в девицах, которую я в детстве смутно помню старушкой, когда она жила в Петербурге с дедушкой — своим братом. В Витичках же доживал свой век, будучи в отставке, среди



М. В. Добужинский. Булочная в Тамбовской Губернии. Тушь. 1923. (По старой зарисовке)

своего многочисленного потомства и патриарх рода, мой прадед, Осип Егорович Добужинский, примирившийся с потерей нашего родового литовского имения Добужи.*

Прадед, как мне рассказывала моя мать, видевшая его некогда в Витичках, был аккуратный и строгий старичек, роста был небольшого и в петлице всегда носил орден Владимира: его бледная фотография; которая хранилась в семье, запечатлела его острый взгляд из под нависших седых бровей. Особенно мне нравилось в нем, что, по словам моей матери, он любил рисовать. Прадед пользовался обшим уважением и вниманием, ему был отведён отдельный домик в парке и в доме никогда не садились за стол, пока он не появлялся в столовой. В течение ряда лет в Витички съезжалось очень много родни, бывал и мой дедушка Петр Осипович и его сыновья и дочери, и особенно оживленна была тамошняя жизнь в конце 1860-х годов, о чем я также много узнал от моей матери (она с моим отцом там провела и свой медовый месяц в июне 1869 года и оттуда отец уехал на два года воевать в Туркестан, а она в Петербург в консерваторию учиться пению.) Этот громаднейший дом, сущий Ноев Ковчег, по ее словам, был переполнен стариной и обставлен прекрасной мебелью времен Павла 1 и вообще имение было как то связано с милостями самого Императора. Курьезно, что два ломберных стола красного дерева "ампир", единственные реликвии Витичек, очень сложным путем и через много лет оказались у меня!... Но Витички уже очень давно, еще в моем детстве, были проданы и все бывшие его обитатели рассеялись или переселились в лучший мир.

Мне хотелось себя настроить поэтически: романы Тургенева я сравнительно недавно прочел впервые и они были еще мне совсем "осязательны" и я похаживал в мечтательном уединении возле "Лизиной" усадьбы, но, увы, всё там было каким-то новым и блестела только что выкрашенная крыша дома. На старый калитинский сад я мог умиляться лишь издали, видя только верхушки его деревьев — он был окружен глухою стеной.

*Добужи, бывшие во владении нашего старого рода ("Янушкевичей-Добужинских на Добужах герба Любич") с 1532 года, вследствии разных семейных и иных неурядиц, перешло в самом конце 18 в., когда прадед был маленьким и остался сиротой, в руки опекунов (Бистром) а затем к гр. Сесницким и к другим владельцам, и вернуть имение оказалось невозможным. Мой отец и один из дядей, а впоследствии и я, неоднократно посещали Добужи, а в 1932 г., во время существования независимой Литовской Республики, когда исполнилась 400-летие рода, тогдашняя владелица имения, старушка Страхова, у которой мы справляли этот юбилей, предложила мне составить дарственную на кусок этой земли предков, но она скоропостижно скончалась, не успев оформить это.

Я ехал всю долгую дорогу в 3-м классе. Удавалось и поспать, вытянувшись на длинной скамейке, пока новый пассажир не усаживался на мои ноги. С тех пор я приучился путешествовать и провести три, даже четыре ночи в вагоне мне ничего не стоило, предаваться же сну я мог в любой позе, и даже чем более она была неудобна, тем сон слаще.

В вагоне пахло мужиком, смазными сапогами, махоркой и каких только типов не приходилось видеть в 3-м классе, каких разговоров ни наслышаться, а ночью — подымались всевозможные храпы и с присвистом, и с чавканьем, и с воркованьем, и басистые, и дискантовые (особенно отличались толстяки), слышались сонные голоса и чьи-то бесконечные споры, под которые я и засыпал. И в следующие годы я ездил к маме почти всегда в 3-м классе и если бы записывал все те вагонные диалоги и словечки, накопился бы материал прелюбопытный.

На больших станицях я иногда видел шумные проводы и встречи с цветами и военной музыкой, офицеры и губернские франты толпились около синего вагона, в окне же улыбалась заезжая "дива" или местная "львица":, в станционных буфетах (где так особенно вкусно и обильно всегда у нас кормили горячим борщом, пирожками, икрой — чем угодно!) по переполненному залу сновали татары-лакеи с бритыми головами, на длинных столах с белыми скатертями стояли никогда неоткупориваемые запыленные бутылки с заграничными этикетками и красовались обязательные пальмы, всё шумело, торопилось и то и дело раздавался зычный голос вокзального швейцара, объявлявшего об отходе того или другого поезда. На маленьких станциях была своя жизнь, по перрону прохаживались под ручку разряженные девицы в расшитых крестиками "русских" костюмах, в бусах и с косами, поглядывая на пассажиров, а гимназисты или телеграфисты "волочились" за ними, разгуливая для шика в пальто в накидку. И никто не подозревал, что за всем этим где-то наблюдает Антон Павлович Чехов, еще никому тогда неведомый....

Я ждал первой встречи с моей матерью с понятным нетерпением: от последнего нашего свидания в Киеве, где она пела в опере (я слышал ее в "Кармен" и в "Демоне"), прошло пять лет — громадный срок в моем возрасте...

Мама жила в 40 верстах от уездного города Кирсанова, и мы письмом и телеграммой условились, что она меня встретит на станции. В Кирсанов поезд пришел поздно вечером и когда я вылез с

чемоданом из вагона, ко мне подошла невысокая полная дама и спросила: — "Вы Добужинский? Ну, здравствуй" — и крепко поцеловала. Я ее узнал в темноте и неожиданно было увидеть ее в сером шелковом платочке на голове; по-деревенски. Мы переночевали на постоялом дворе Сальникова и поздно заснули, беседуя при свечах, за самоваром. Она глядела на меня в упор своими зелеными близорукими глазами и задавала вопрос за вопросом. Нежностей не было, она их не терпела — и я всё больше узнавал ее голос, ее несколько отрывистую речь, смех, быстрые движения и эти родные глаза. Она всё посмеивалась, что я такой длинный и худой "до неприличия", обещала меня откормить, но предупреждала, что пища будет простая, "без всяких ваших городских фокусов", и теперь и на другой день, всю дорогу рассказывала про тот край, куда я еду, говорила, что я там увижу настоящие допотопные типы, что еду в страшную глушь к старосветским помещикам, в провинциальное болото, где трудно жить и дышать, и что там единственный культурный человек Иван Васильевич... Выехали мы рано, в яркое утро, я успел сбегать на соседний базар, принести к чаю в глиняной "махотке" удивительных сливок, густых, как сметана — такие же меня ждали и в деревне.

Ехать пришлось очень долго, мамины киргизские лошадки бежали неторопливой рысцой, позванивая бубенчиками. Работник ее, рыжий Моисей, жалел лошадей и не гнал. Но в разговорах время бежало незаметно. Дорога шла по бесконечным тамбовским хлебным полям, был июнь месяц, парило и наверное небо было тогда в круглых белых "барашках". Телеграфные столбы шли в бесконечность, на их проволоках кое-где сидели ласточки или воробьи и иногда висела мочала, или клок сена, а раз я увидел, что там каким-то чудом зацепился старый лапоть — и хоть бы одно деревцо разнообразило монотонную дорогу... Меня поразила ширина "большака", сплошь заросшего травой — куда шире Невского проспекта! Колей было сколько угодно, на выбор. Поразила меня и сама тамбовская земля — этот могучий чернозем, густой и вязкий, прилипавший толстенными глыбами к колесам, когда мы проезжали по лужам. Мы сделали только одну остановку в каком-то селе, был праздник, отошла обедня и я впервые увидел "русский народ" — баб в цветных платках и ярких кофточках на выпуск и мужиков в смазных сапогах, гуторивших у своих телег. Потом неожиданно раскинулся широкий во весь горизонт пейзаж: внизу лежала ровная поляна с безбрежными лесами за нею, блестела река Ворона — и у меня захватило дух от этого зеленого простора! А затем пошли овраги, узкие и длинные, с причудливыми разветвленниями, разъедавшие поля по всем направлениям. Мама по дороге меня поучала: это гречиха, это рожь,

это овес, это ячмень — я ничего не знал и она меня стыдила. Она велела мне дышать и дышать и, действительно, этот вольный воздух точно насыщал меня.

Однообразный пейзаж менялся мало, редкие деревни, которые мы проезжали, не радовали глаз, было всё удивительно бедно — соломенные и тростниковые крыши, серые избы с маленькими оконцами и крылечками, и нигде я не видел ни одного резного узора и даже наличника на окошке. Лишь кое-где колодезный "журавль" или одинокая растрепанная ветла оживляли бедный деревенский силуэт. Я вспомнил Литву, ее пейзаж возле Вильны и сравнивал: там везде в деревнях палисадники, всё лето полные цветов, высокие резные кресты у въезда в деревню, березы, елки, сосны и фруктовые сады.

Наконец, мы подъезжаем к усадьбе — и опять внизу долина, но меньше, со всех склонов спускаются полотенца полей, идут ряды ив, внизу змеится речка Ржавка, вся в кудрявых деревьях, а посреди котловины (мама уверяла, что это дно бывшего озера), точно оазис, лежит густой длинный сад и белеет большой михинский дом с высоким букетом старых лип возле него...

Мы уже издали слышим, как лают собаки, чувствуя наше приближение, подъезжаем ближе и я вижу, стоит в белом летнем костюме Иван Васильевич и с ним толстая Нина, а Ваня прячеться за нянькину юбку.

Дни потекли в совершенно новой для меня обстановке, я был, действительно, совсем в новом для меня мире. Дом был старый, вросший в землю, немного покосившийся, без всякой архитектуры — большая "мазанка" с нахлобученной, как на деревенских избах, соломенной крышей и массой комнат. Царила такая тишина, какой я еще не знал — лишь мирно кудахтали куры да жужжали мухи — единственные звуки этого уголка. Изредка еще слышались далекие бубенчики проезжавшей "закладки", а по вечерам уютное мычание коров, возвращавшихся с полей по домам. Комнаты в доме были высокие, выкрашенные в розовую или белую краску и полутемные от кустов сирени, глядевшей в большие окна. Кавказский ковер в разноцветных зигзагах и ромбах закрывал одну стену от потолка до полу, а на другой стене висела пожелтевшая, засиженная мухами отличная старая гравюра с картины Жозефа Верне, изображающая кораблекрушение, висел и мой портрет лет десяти в овальной рамке. У окон стоял длинный старинный рояль палисандрового дерева с пюпитром для нот в виде лука со стрелами и зеленые кадки с высокими фикусами. Весь этот интерьер с венской гнутой мебелью, самодель-

ными креслами в пёстрых выцветших чехлах и с "тахтами" у стен, покрытыми коврами, я столько раз рисовал, и тогда, и в мои дальнейшие приезды!

В том же доме, в задних комнатах, проживал отец Ивана Васильевича, древний старец, Василий Иванович Михин. Иногда он оттуда появлялся, семеня маленькими шажками и шаркая туфлями, в белом халате и обвислых белых штанах; был огромного роста, тяжелый, с розовым лицом, большим носом и жидкой татарской бородой. Он погружался в кресло и молчал, посасывая длиннейший чубук из вишневого дерева, а когда вдруг начинал говорить, то голосок оказывался до удивления тоненьким и жалким. У себя он весь день курил и читал страшно патриотическую газетку "Свет". Около него вертелась его старая экономка "Кумушка", как ее называли, чрезвычайно сладкоречивая, совсем высохшая, с кошачьей физиономией особа, ходившая вдобавок еще в каком-то детском чепчике.

Из дома, через низенький балкон, был выход в вольно разросшийся очень большой сад. От балкона шла березовая аллея, в конце которой была круглая площадка, обсаженная вековыми липами — центральное дерево от корня разделялось на три толстенных ствола. Эта "беседка" всегда была полна тени, и какой душистой, когда цвели липы! В дальней части сада всегда стояла сырость, туда еле пробивался солнечный луч — так тесно разрослись там старые клёны, а за садом выросла осиновая рощица и я больше всего любил валяться там на траве между тоненькими стволами, где всегда было прохладней и дул ветерок, и глядел на трепещущую листву молоденьких осин. Дальше за рощей под палящим солнцем розовели и зеленели полосы гречихи и чечевицы; они тянулись до речки Ржавки, сплошь заросшей тенистыми ивами, которая ровным полукругом огибала весь хутор.

Первые дни в деревне я был как бы раздавлен (это ощущение повторилось, и еще сильнее позже, когда я стал приезжать из Петербурга). Я был почти болен от озона и тишины. Она пугала меня, я начинал слушать биение своего сердца, не мог спать. Лишь понемногу я "отошел" и стал действительно наслаждаться природой и этой тихой и мирной жизнью, которая тут обнимала меня.

Никогда до этого лета я не знал таких звёздных ночей, какие увидел здесь. На усадьбу спускалась совсем "украинская ночь". Я любовался "стожарами", как называли в деревне созвездие Плеяд, и чудным зигзагом Кассиопеи, в котором приметил одну крошечную звездочку и назвал ее своею. Я тогда был очень увлечен Фламмарионом и знал довольно хорошо звёздную карту (она была тут со мной) и на небе находил и Арктура, и Сириус, и Вегу и вдруг заметил

новое собственное созвездие — гигантский "Игрек", который образует Боотес и звезда из Северной Короны. Я глядел до головокружения в бездну, а в кустах щелкал и заливался соловей... Тут я был "глаз на глаз" с природой. Огромный мир точно наседал на меня и впервые в эти ночи я почувствовал жуть бесконечности.

Я мог слушать без конца мамины рассказы про ее жизнь, которая прошла вдали от меня — так замечательно она рассказывала. Часто она вспоминала (а может быть и импровизировала, но как картинно, с каким юмором и как весело и талантливо!) целые длинные диалоги. Я не могу себе простить, что не записал хоть что-нибудь из этих рассказов — многое совсем ушло из памяти. Она рассказывала про театр, где пела (в Нижнем Новгороде, Казани, Киеве, Харькове, Тифлисе, Одессе) и про все эти города и про здешнюю помещичью жизнь (сюда она возвращалась каждое лето) — и целая вереница людей, как живые, проходили передо мной. "Портретист" она была необыкновенный. И, конечно, тут мне постепенно раскрывалась впервые и сама моя мать.

Она поступила в Петербургскую консерваторию, когда была уже замужем за моим отцом, и окончила ее по классу знаменитой тогда Ниссен-Саломон. У нее было контральто. Первое ее выступление состоялось на летнем концерте в Павловске, она пела затем в провинции, начав в опере Медведева в Нижнем и Казани, куда меня к ней привозили маленьким. Теперь в ее рассказах оживлялись и мои младенческие воспоминания (я был при ней до четырехлетнего возраста, и в Казани и в Нижнем) и она многое еще дополнила, между прочим, о моей, удивлявшей тогда всех музыкальности.

У отца сохранялись фотографии ее во многих ролях, те же я видел теперь и у нее. В свой первый дебют она пела Зибеля и рассказывала мне, что ей было стыдно впервые в трико. Но ее бархатный костюмчик с беретом на этой карточке был мил, и она сама с застенчивой улыбкой и взглядом из подлобья, держащая маленький букетик, была очаровательна.

От мамы я услышал о множестве театральных людей, о Медведеве и Сетове, известных антрепренерах (поставивших провинциальную оперу 80-х годов на значительную высоту), о разных актерах, с которыми приходилось ей служить и о многих музыкальных деятелях, между прочим о Тартакове ("Тартачини", как его прозвали в молодости в театре), который, как артист, рос на ее глазах, и о знаменитой в провинции драматической артистке Кадминой (она покончила с собой в Харькове и ее трагедия

послужила темой для драмы Суворина "Татьяна Репина"); портрет этой истинной красавицы был в альбоме у матери (альбом этот я любил рассматривать, там была целая галерея тогдашних артистов, многие сняты были в их театральных костюмах и гримах; какой бы теперь он был драгоценностью!)

От матери я наслушался, конечно, и всевозможных анекдотов о весёлых театральных курьезах. Мама и Иван Васильевич, который был не только замечательный певец, но и актер не менее замечательный, были исключением в театральной среде по своему образованию. Мама окончила Смольный (его "Александровскую половину") и училась там в ту пору, когда благодаря знаменитому педагогу К. Ушинскому, который был инспектором института, Смольный сделался одним из самых передовых учебных заведений Петербурга по своей программе (1860-ый года), а Иван Васильевич — Московский университет и был тоже, как она, в Петербургской консерватории, но в разное с ней время, и они, естественно, были центром оперных трупп и, конечно, "просвещали" своих коллег, хотя общий культурный уровень оперных артистов в провинции был довольно высок и всегда стоял гораздо выше, чем у актёров драматических. Оперные певцы не любили себя называть актёрами, считая себя "чином выше", — артистами.

После долгой, пестрой и интересной службы в театре мать моя, разумеется, очень скучала в деревне (она жила там уже года четыре до моего приезда). Её натуре, порывистой, горячей, с её презрением к обывательщине и всякой пошлости было тяжело и одиноко в этой глуши. Когда я узнал среду, в которой ей приходилось жить, я уже тогда начинал понимать всё это и видеть, что, действительно, Иван Васильевич, как утверждала мать, был тут единственный культурный человек. Но понять тогда всю сложность маминой натуры и взглядов мне было трудно, всё это я узнавал постепенно, да и то многое осталось для меня и до сих пор загадочным. Особенно мне неясно, когда именно в ней и благодаря чему сложились ее взгляды, которые делали ее в глазах многих настоящей "семидесятницей". Возможно, что многое возникло в ней благодаря влиянию Ивана Васильевича. Но и помимо того, моя мать, как человек крайне впечатлительный и свободолюбивый, не могла не поддаться веяниям времени и не быть в передовых настроениях своего поколения. По её рассказам, они одно время устроили род "коммуны" артистов, но ни "нигилисткой", ни атеисткой, ни революционеркой она не была — искусство её от всего этого уводило. Однако, её натура, не признававшая предрассудков, как она говорила, резко высказываемые мнения и вся жизнь, которая была вызовом обычным условностям, давали, вероятно, повод

считать ее "радикалкой". Но в ней не было ни капли педантизма и были большие противоречия, которые смягчали и еще более усложняли для меня мамин характер. Я знаю, что в душе она была религиозна, хотя, по ее словам, не терпела "попов" (сама она была дочь священника) и под её резкостью таилась сердечность, которую она старалась не показывать. В конце концов, в ней было то, что являлось самым существенным и симпатичным в её поколении — настоящий идеализм. Он был и в этом протесте против обыденного уклада и морали, и в искренней вере в силу личности, — вере в то, что собственный пример может перевернуть эту условную общественную мораль и предрассудки. Это, пожалуй, можно было бы назвать даже своего рода романтизмом, хотя этого ни за что бы не признали носители тех суровых и честных идей. Мама верила и в то, что лишь в деревне, ближе к природе и народу, и есть настоящая жизнь — всё это было близко к тому, что проповедывал Толстой, хотя во многом она взглядов его вовсе не разделяла. Вначале она старалась меня "перевоспитать", стыдила, что я "папенькин сынок", "баловень", "неженка" и заставляла меня самого все делать, хотела, чтобы я не боялся физической работы, даже черной, и я послушно таскал воду из колодца, рубил дрова, пробовал косить, она даже заставляла меня запрягать лошадь (это уж никак не выходило!). Но всё это меня лишь утомляло и в конце концов она махнула на меня рукой.

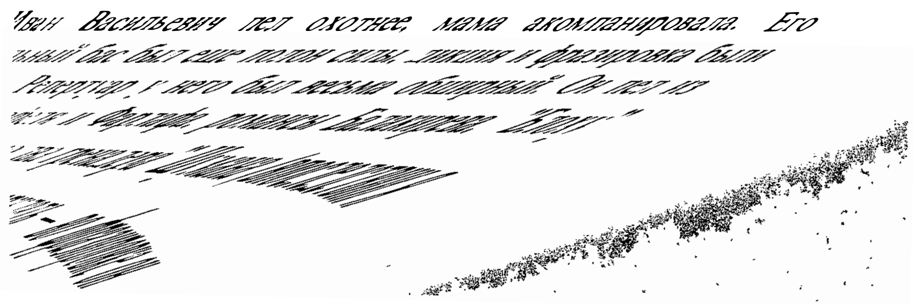
Очень часто с ней случалось спорить "принципиально". Спорить же с ней было трудно, жизнь ее, конечно, озлобила, она раздражалась, говорила колкости, я сам нервничал, иногда впадал в отчаяние. Мы, оба очень "отходчивые", всегда мирились, но и с самого начала, хотя взгляды мои тогда были еще совсем не установившиеся, я никогда не "сдавался". Я был "сыном своего отца", она видела это, ревновала конечно, но переделать меня не могла — мы слишком поздно встретились. Много, много лет позже, когда она вообще смягчилась, стала более терпимой к чужим взглядам, и я сам понял бессмысленность этих споров, наши отношения сделались ровнее. Но жизнь ее, в последние годы очень одинокая, шла всегда вдали от меня, только однажды она приехала гостить ко мне в Петербург (это было в 1910 году), видались мы редко и общались лишь довольно частыми письмами. Они бывали замечательные и я их все сохранил.

С первого моего приезда к матери она стала меня образовывать по части музыки. У нее было большое количество нот. Благодаря ей я, между прочим; как следует познакомился с Шопеном. Она играла очень много и из Шумана, Мендельсона и Листа. Больше всего моя

мама любила Бетховена и Баха, последнего я мог слушать до бесконечности. Играли они с Иваном Васильевичем также Моцарта и Гайдна. Иногда, когда кругом всё спало, пели лишь соловьи, я, гуляя под звездами, слушал музыку, которая доносилась из освещенного маминого дома. Но обыкновенно я сидел возле фортепиано и переворачивал нотные страницы. Эти вечера были незабвенны!

К Чайковскому — мне это было странно и огорчительно — у нее была какая-то неприязнь, она находила, что его музыка чрезмерно слезлива и утрированно сентиментальна — чего она вообще не терпела. И это ее мнение неожиданно для меня повторилось в позднейшей критике многих французов. ”Впрочем, — говорила она, имея в виду известную его извращенность, — он большой человек”, о чем тогда шептали с неким ужасом... И всё-таки она играла — и с большим увлечением — много произведений Чайковского и раз призналась: ”Не хочу любить Петра Ильича, а вот действует он на меня необыкновенно. Впрочем, это нервы”.

Она обожала Глинку и считала, что более гениальной оперы, чем ”Руслан” — нет (впервые именно от нее я слышал, что из ”Руслана можно сделать несколько опер, так она богата”). Ее любимой оперой была ”Гугеноты”, как одна из самых певучих. Мама мне пела не очень охотно — голос ее уже далеко не звучал, как раньше, но меня до слёз трогали его глубокие грудные ноты. Понемногу — каждое лето всё новое — я услышал в ее исполнении и романсы Шуберта (сладко вспомнилась его ”Серенада”, которую напевал мой отец в моем детстве), старого ”Соловья” Алябьева и романсы Глинки, Даргомыжского (особенно любимые мамой) и навеки мне запомнившийся дивный романс Бородина на пушкинское ”Для берегов отчизны дальней”. Своих оперных арий она мне почти совсем пела.



Иван Васильевич стал земским начальником после того как оставил театр — его дворянство и университетский диплом юридического факультета давали возможность получить это место и в то же время жить в своей усадьбе. По словам моей матери, он взялся за эту службу после больших колебаний, либеральные взгляды его и убеждения уж очень не соответствовали этой должности, недавно тогда учреждённой.

Я иногда наблюдал на дворе его собеседования и прения с кучкой просителей и всегда любовался, когда он разъяснял мужикам их дело, спокойно покуривая "самокрутку" и подсмеиваясь над их несообразительностью и упрямством. "Земского" в уезде уважали за то, что он, хоть и "барин", но говорил с мужиками просто и понятно, их языком, без начальственного тона, и не "распекал", как полагалось.

В нем, конечно, много было от актёра и своим "барством" он немного играл. Но его высокая, сутулая фигура, горбатый нос, острый ус (он уже не брился), великолепный бас, неторопливые движения — всё это само собой импонировало. На хутор постоянно приезжали телеги с мужиками и группы их сидели, ожидая очереди в тени под вётлами, — настоящая картинка "передвижников": "Ожидают" или "К земскому приехали". Канцелярию вёл письмоводитель, круглоголовый, белобрысый и с моржовыми усами добродушный Борис Ильич, он писал изумительным калиграфическим почерком и корпел над бумагами, сидя в маленькой избушке во дворе, которая называлась у нас "амбарушка".

Страстью Ивана Васильевича была охота и он иногда в высоких сапогах выше колен уезжал куда-нибудь в глушь дня на два и приносил множество трофеев. Он был также рыболов и когда мы ездили в компании на реку Ворону, он уединялся с удочкой и священнодействовал. К охоте, как и к рыболовству, меня никак не тянуло и я ни разу не ездил с ним в эти экскурсии, хотя он и соблазнял меня картинами природы, закатами и восходами солнца. Земский участок его был огромный и ему приходилось уезжать для разбора разных тяжб на несколько дней. Во время этих путешествий он останавливался во многих усадьбах. В этой хлебной и лесистой стороне нашего уезда находились обширныя имения Боратынских, Башмаковых, Петрово-Соловово и других, там его всегда радушно принимали. Хотя он, и тогда и позже, всегда звал меня с собой в эти поездки, я этим ни разу не воспользовался, о чем потом очень сожалел. Пропустил же я возможность посетить эти старинные поместья исключительно потому, что общество Ивана Васильевича во время этих долгих поездок меня бы крайне стесняло... Хотя ко мне всегда он был мил, называл на "ты" ("Мстислав", как и мать), но я так

никогда и не мог найти "моста" к нему, впрочем, и не искал по понятным причинам. При этом он был человек необыкновенно молчаливый, что меня тоже смущало и действовало иногда даже угнетающе.

Совсем близко, в верстах двух от маминого хутора находилась деревня Семёновка, очень бедная и невзрачная, с довольно милой деревянной церковкой с зеленым куполом и шпилем на колокольне, с одиноко стоящей мельницей на выгоне и высокими вётлами по "меандрам" Ржавки. За церковью лежало кладбище, необычайно унылое — ровное голое поле, всё в низеньких и кривых лучинных крестиках без всяких надписей, кое-где лишь отмеченных жалкой выцветшей ленточкой, треплющейся на ветру. Меня всегда угнетал вид этого безотрадного места — символ полнейшего безразличия к смерти. Нигде ничего подобного мне не приходилось видеть и позже.

Посреди деревни красовались два совершенно одинаковых кирпичных домика — зажиточного крестьянина и священника, сплошь заросшие высокими кустами сирени, из-за которых выглядывали только зелёные крыши с железным кружевом на трубах. Кстати сказать, эти украшения "мещанского стиля", как и жестяные колючие "репьи" на воротах и водосточные трубы в виде дракона с зубами и крыльями были очень типичны для всей средней и южной России. Я впоследствии зарисовал много этих курьёзов, на которые, кажется, никто не обращал внимания. За деревней тянулись фруктовые помещичьи сады, окруженные плетнями, и дальше шла широкая красивая дорога в большое и богатое село Инжавино (или в просторечьи "Ржавино" — по нашей Ржавке, которая и там извивалась), лежавшее верстах в семи от Семеновки. Там бывали "ярмонки" и по каким-то дням большие базары, куда я охотно сопровождал мою мать, ездившую туда по хозяйству. На эти базары мужики привозили самодельную керамику — глиняные горшки, кувшины, "махотки", плошки, миски самых примитивных форм с зелёной и коричневой поливой, редко украшенные каким-нибудь бедным орнаментом в виде прямых или волнистых полосок. Среди этих посудин, в порядке и безпорядке расставленных, наваленных на соломе возле телег, я выискивал забавные глиняные свистульки, желтые и зеленые, восхищавшие меня своим неуклюжим юмором. Одни были в виде лошадок без задних ног с выгнутой колесом шеей, иногда с подбоченившимся всадником на спине, другие в виде барыни в шляпке, с турнюром и почти всегда с гусем под мышкой. И я чувствовал, что в этих наивных и весёлых безделушках есть *настоящее* народное искусство, они мне даже казались какими-то драгоценностями! Инстинктовно я был прав, конечно, да и

прелесть лубка мне была уже знакома с детства. Но я не подозревал тогда о поразительном и необъяснимом сходстве этих русских коньков и дам с формами таких-же игрушек Микенской Эллады! К потехе домашних я накупал немало этих "уродств" и каждое лето увозил к себе домой.

Как это ни странно, за все те гимназические и студенческие годы, когда я ездил в деревню, у меня не было никаких серьёзных романов, а помещичьих барышень там было много. Всё это было "не то", а в университетское время у меня в Петербурге уже зрела большая сложность в личной жизни, и в деревне многое мне стало казаться мелким и уж очень провинциальным.

Но, всё-таки, я почти совсем влюбился в "крестьяночку", когда я был еще гимназистом. Эта Евгения ("Евдения", как произносили крестьяне) — девушка лет 17-ти, жила в шалаше в нашем фруктовом саду со своим отцом, арендовавшем яблони. У нее было румяное круглое личико — совершенное яблочко, мелкие ровные зубы, голубые глаза и светлые напробор волосы. Во всей ее повадке было какое-то изящество, даже породистость (которая нередка у крестьян) и руки ее были маленькие и очень красивые, хотя и шершавые от работы. Она была совсем "венециановская" пейзанка — крестьянка-барышня.

Так ясно помню, как однажды она тихо появилась, босоногая, на пороге двери из сада — я читал книжку (наверное моего Шекспира) и вижу, как она, стоя там, застенчиво, манит меня к себе неловкой ручкой. Я всегда почему-то глупо терялся перед ней и не могу себе представить, какие могли мы с ней вести разговоры. Помню только, она повторяла: "Ах, барин, барин, какой вы хороший" — и мы, иногда забравшись в шалаш, где сладко пахло яблоками, тихо сидели, обнявшись, на соломе, и самым невинным образом целовались. Евгения скоро уехала ("мы переселенцы"...) неизвестно куда — не в Сибирь ли? — и "роман" мой был очень краток, оборвался на предисловии... На этом и кончилось мое единственное соприкосновение с "народом".

С мужиком я не умел говорить, меня он стеснял, я понимал, что я совершенно чужой для него. Но никакого чувства превосходства у меня не было, даже наоборот: то, что я занимаюсь искусством, в его глазах было "баловством", и я испытывал нечто вроде конфуза перед ним и даже какой-то виноватости, ничем необъяснимой. Когда я старался говорить попроще, мне это самому казалось фальшивым.

Но "своими" были толстая, добрая, уютная нянюшка, ее муж,

мордвин, с бородкой мочалкой, маленький веселый старичек Иван Тимофеевич и рыжий рабочий Моисей; они меня нисколько не стесняли. Мать моя, наоборот, умела и любила говорить с мужиками и бабами, которые постоянно приходили к ней за домашними лекарствами или поболтать. Она хорошо знала их нравы и ужасалась темноте тамбовского народа и всяческим суевериям. Меня огорчало, до чего крестьянская одежда была прозаична: сарафанов тут и в помине не было, мужики носили посконные рубахи, редко цветные, на головах засаленные картузы блином, лапти же почти не встречались — обычно ходили в высоких сапогах. А парни в праздники, несмотря на жару, для пущего франтовства, носили еще поверх этих сапог — блестящие резиновые галоши. Бороды у мужиков продолжали расти по Гоголю: "лопатой", "заступом" или "клином". Бабы одевались в кофты — "распашонки", иногда с цветными пуговками, и в тёмные юбки с какой-нибудь цветной оборкой, а в праздничные дни щеголяли, кто побогаче, шелковыми платками на головах. Любили и бусы, стеклярусные и коралловые, франтихи старались наряжаться "по-господски", заводили рукава пузырями, какие были в моде в 90-х годах.*

Нередко эти здоровенные девки и бабы бывали хороши, зубы у всех были на загляденье, особенно красива бывала их легкая походка, они держались прямо, с высоко вздёрнутыми грудями и ловко махали рукой в такт своему шагу. Звонкие песни, которые доносились с полей и огородов, распевались или скорее выкрикивались ими во все горло — так голосить было своего рода шиком.

Однажды нянюшку навестила знакомая мордовка — знахарка, я как раз тогда мучился зубом и мама шутя предложила: "Пусть она тебе зуб заговорит!" Я был уже студент и мне показалось это ниже моего достоинства. Однако, зуб так ныл, что я решил попробовать "на всякий случай". Баба-яга повела меня в поле к одинокой рябине (рябина для этого дела должна стоять именно одиноко), велела закусить больным зубом ветку, что я и сделал, и пока я покорно стоял — и довольно долго — в этой весьма глупой позе, она бормотала какие-то заклинания. Удивительно, что, несмотря на мой внутренний протест и скептицизм, зуб действительно перестал болеть! Колдунья была вознаграждена четвертаком.

---

*Именно в эти 1890-ые годы запечатлевал внешний облик крестьян и декаданс народного костюма — и с большой остротой — Рябушкин. Гораздо позже, лет на 10-15, появился Кустодиев с его базарами, девушками и хороводами. Но цветистость и праздничность, которые он искал в деревне, в противоположность унылым передвижникам, и само добродушие его таланта мешали ему замечать курьезы и уродливости крестьянского быта, которые могли быть столь ценны для художника.

Все летние месяцы, которые я проводил у моей матери, я с увлечением рисовал всё, что меня окружало, не задаваясь никакими задачами, кроме того, чтобы делать "похоже". Глаз мой был внимательный и, конечно, как все начинающие художники, я слишком много занимался подробностями и лишь понемногу инстинктом стал искать обобщений. Я уже давно заметил, что мне как-то само собой и легко удавалось портретное сходство и в мой большой альбом, подаренный отцом, я зарисовал понемногу всех моих деревенских знакомых. Мои гимназические карикатуры на товарищей и учителей (чем я уже был "знаменит" в гимназии), конечно, очень помогали моим портретным упражнениям. Дома я рисовал и моих приятелей и нянюшку с ее прялкой, и ее старенького мужа, и заскорузлые физиономии маминых рабочих Моисея и Константина и премиленькую пятнадцатилетнюю внучку нянюшки, Парашу ("Барашу", как мы ее называли за светлые кудряшки). Только мама мне не давалась.

Пейзаж этой части кирсановского уезда был беден и однообразно-невесел и в то же время я мог заметить, как при этой бедности он был тонок и даже как то изящен, и как разнообразно и деликатно "нарисованы" были природой силуэты вётел, которые спускались вереницей по плавным откосом холмов или курчавились вдоль извивов нашей речки. Меня удивляли замысловатые острые формы длинных оврагов бегущих по склонам котловины, на дне которой текла эта речка, и я любовался шахматным узорам разноцветных полей. Эти "скатерти" и "полотенца" ржи, гречихи, овса и плантации табаку — каждая имела свой цвет и, на языке художников, свою "фактуру" поверхности.

При чувстве юмора, которым я был наделен, для меня было находкой наше село, куда мы ездили на базар, и я там многое зарисовал — розовый домик булочника Молоденкова с заржавевшим золотым кренделем, качавшимся над дверью, каменные неуклюжие аркады облупившихся рядов с какими-то трельяжами, зеленые жестяные луковицы на столбах у заборов, резные вычурные кладбищенские ворота. Облик нашей деревни Семеновки, жалкий и нищий, поражал меня до крайности и я не почувствовал остроту его, пока не понял, что и в подобной бедности, как в навозной куче, можно найти настоящий "жемчуг", и именно тут, в деревне, я начинал сознавать, что для художника нет "красивого" и "некрасивого".

В последующие годы я посещал Семеновку с большими перерывами, за это время видел много другого, узнал Европу, узнал хорошо Россию — бывал в Псковской, Тульской, Черниговской губерниях, в местах гораздо более живописных, гораздо более

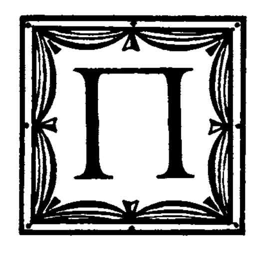
богатых по своей природе, и во многих старинных поместиях, исключительных по красоте, но именно мои ранние и скромные тамбовские впечатления оказались наиболее плодотворными и вдохновительными. Они уже сделались *воспоминаниями* моих юных лет и то, что так было мне мило в деревне — эти ковры пашень, кудрявые помещичьи сады, столетние липы и навсегда запомнившееся голубое небо в круглых белых облачках — всё это помогло родиться тому, что было моей первой театральной любовью — моему" "Месяцу в деревне" Тургенева на сцене Московского Художественного Театра.

Этот мирок, в котором жила моя мать, всё то, что было связано на протяжении ряда лет с моей юностью, весь этот кусок жизни был как остров, отрезанный от остального моего мира. То же самое было и с Новгородом моего детства, который позже совершенно бесследно ушел из моей реальной жизни. Странно, что даже при всем желании "построить мосты" это удавалось с большим трудом, — и в этом было что-то фатальное. Мать моя решительно отказывалась приезжать в "гнилой" Петербург, который "ненавидела", и посетила его только однажды.

Я показал ей тогда только что поставленный и еще совсем свежий "Месяц в деревне", который МХТ привозил в Петербург. Она осталась недовольна, нашла, что всё слишком нарядно, пейзаж же слишком бледен и малокровен (она была мой самый строгий критик; впрочем, наверное во многом бывала и права). Но только она одна и знала, что именно в этой постановке навеяно её усадьбой — от толстых лип её сада до маленького "Кораблекрушения" Жозефа Верне, висевшего у нее в зале. Этой пожелтевшей романтической гравюрой я любовался еще гимназистом. Теперь я её превратил в большую картину, украсившую голубую гостиную "Месяца в деревне".

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ВИЛЬНА. ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ.



РИХОДИТЬСЯ немного вернуться назад. После первой поездки к моей матери я возвратился в Вильну совсем обновленным, и от прежнего подавленного состояния освободился. То, что заветный аттестат зрелости уже не за горами, а с ним и Университет — примиряло с гимназией: только бы теперь скорее ее кончить! В этом бодром настроении и прошли два последних года в гимназии, появилась жизнерадостность — точно взошло "Солнце".

Но ничем особенным я не мог бы похвалиться за эти два года. Учиться мне было легко, с удовольствием даже заучивал наизусть Овидия и Горация, и без труда перешел из 7-го в 8-ой класс. Я продолжал много читать, кончил всего Достоевского, прочел "Войну и Мир" во второй раз, и много романов Золя (особенно мне понравились "Oeuvre" и "Ventre de Paris", а в 8-м классе увлечен был Жорж Занд и Гофманом.

Но в общем я мало сидел дома и проводил время довольно легкомысленно и пусто, стал посешать балы в Офицерском и в Дворянском собраниях, и у меня завязывались новые знакомства.

На Рождестве, семиклассником, я побывал в Петербурге и съездил, впервые в жизни, в Кронштадт, где жило "святое семейство", как отец называл семью Черкасовых. Уютнейшим образом я провёл среди них дня три. Надичка, мой самый первый друг детства, уже кончала один из Петербургских институтов, носила длинное платье и была очень мила со своей стройной шейкой, украшенной родинкой, и

в гладкой прическе. Я попал к ним в самое радостное время — Надя была помолвлена с военным инженером бароном Клодтом (фон Юргенсбург) и никто не подозревал, что Константин Семенович, ее отец, через месяц внезапно скончается посреди своих детей... Через год я встретил Надю на вокзале в Вильне, когда она ехала со своим мужем в свадебное путешествие в Париж. Она была очень красива, очень элегантна и мне было странно, что ее муж старше ее, но было приятно сознавать, что моя сверстница теперь замужняя дама и баронесса — это как-то подымало меня самого в собственых глазах...

После первого лета в Тамбовской деревне, а особенно после второго, где я столько рисовал с натуры, я себя всё больше чувствовал художником. Мои карикатуры в нашем "клубе" продолжались — он существовал еще год, пока мои товарищи, перегнавшие меня, не окончили гимназию и не рассыпались по разным университетам. Теперь я изощрялся в моей технике и придумал из озорства и для эффекта "жирные штрихи", которые имели большой успех у моих невзыскательных друзей. В этом я никому не подражал, кроме Вильгельма Буша и Каранд'аша, я видел только вялые и пошлые карикатуры в "Стрекозе", "Шуте" и "Осколках", которые мне ужасно не нравились. Среди моих сотоварищей не было художников, только в 8-м классе появился новичек Цивинский, отлично рисовавший одним тонким штрихом "галантные" сюжеты, но он меня не заразил. (Прим. ред.: Художник Цивинский жил потом в Латвии и долгие годы его карикатуры появлялись на страницах рижской газеты "Сегодня".)

Будучи в 7-м классе, я задумал сделать большую карикатуру-рисунок знаменитого катка в Бернардинском саду с его завсегдатаями, который я часто посещал, но там уж не предавался спорту, а больше наблюдал. Я много трудился над этим рисунком, делал всё от себя и тем упражнял свою зрительную память. Этот рисунок со многими персонажами виленского общества пошел по рукам и составил мне даже "славу" в Вильне, а многих, говорят, и обидел.

В гимназическое время в Вильне я только пассивно вбирал впечатления и неизменно любовался, но рисовать город я начал лет через 6-7, после окончания гимназии, когда созрела потребность к этому и уменье, — после Мюнхенских лет и поездок в Венецию и Париж. И долгая разлука помогла тому, что мои глаза раскрылись. Помню только один рисунок Вильны, сделанный на память в "импрессионистической манере", но уже в студенческое время (Костёл св. Екатерины ночью).

С переездом к нам второй жены моего отца — Костуни — (я был еще в 6-м классе) — я ее теперь стал называть, к огорчению отца, официально Констанцией Оттовной, — началась новая жизнь и новые порядки. С ней я сойтись не мог, не знал о чем говорить, она тоже, да и в дальнейшем, когда появились дети, Олег и Ольга (Ляля), которых я очень полюбил, это не приблизило ее ко мне. А тут встала еще новая стена: моя, так называемая "мачеха" невзлюбила брата Игоря (правда, он был шалун), и отец, который его обожал, скрепя сердце, отдал мальчика интерном в кадетский корпус во Пскове — что было лучшим выходом. Там оказался очень умный и заботливый воспитатель, а кроме того во Пскове жили тогда Маклаковы (мой дядя был туда переведен начальником пехотной дивизии), и Игорь по воскресеньям мог ходить к своей тёте Кате. Позже, приезжая в Петербург, я по дороге всегда останавливался во Пскове, брал номер в гостинице "для проезжающих" и мы с ним "кутили", объедались знаменитыми виленскими колбасами, которые я привозил из Вильны, и я читал ему вслух что-нибудь из Марка Твена или из Гоголя.

Дома было все тоже, только, когда я был в 8-м классе, родилась моя сестра, чудная девочка, ее назвали Ольга-Рогнеда, хотя священник не хотел этого языческого имени.

Зимой же произошло большое несчастье: Констанция Оттоновна однажды вечером поехала на прогулку в коляске, лошади чего-то испугались и понесли, кучер не мог их сдержать. Она растерялась, выпрыгнула из экипажа и жестоко разбилась. Я помню ужас этого вечера, почему-то зажженные свечи и страшное беспокойство отца из-за ее долгого отсутствия. Он нашел ее в соседнем госпитале в беспамятстве, которое продолжалось много дней. Тут я увидел, как любил эту женщину мой отец, — он не отходил от ее кровати, записывал каждое слово, которое она говорила, медленно приходя в сознание.

Она долго лежала больной дома, и вся квартира пропахла иодоформом. Меня переселили к старикам Добужинским, было чрезвычайно мрачно, — подо мной жил сумасшедший, косноязычный еврей, которого какие-то негодяи дразнили, а он дико мычал. Я затыкал по ночам уши от ужаса.

Здоровье жены моего отца после этого несчастья совершенно пошатнулось, у нее развился туберкулёз, отец ее возил в Закопане в австрийский курорт, потом она ездила на кумыс в Пермь, но всё было безуспешно. От ее красоты ничего не осталось, она стала невероятно худа и крайне нервна, но прожила еще шесть лет...

Из внешних событий, которые произошли когда я был в 8-м классе, — была смерть имп. Александра III, после чего пошли всякие слухи и легенды о молодом царе — все от него ждали какого-то обновления, и общее настроение в Вильне было тревожное и полное каких-то надежд. Нам в гимназии почти не говорили о политике, также и национальные вопросы совсем не затрагивались. Раз только один из моих товарищей по классу — поляк, что-то сказал мне о "Великодержавной Польше" и что "мы еще Москве покажем", — что меня даже испугало.

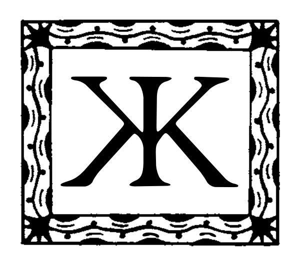
Выпускные экзамены я сдал с подъёмом и благополучно (едва не удостоен был серебряной медали, — не хватило одного балла!) и, наконец, получил из рук директора Бржезинского долгожданный аттестат зрелости. Поздравляя меня и пожимая руку, директор неожиданно сказал: "А у меня всё хранится ваша карикатура на Делянова" и пожелал мне дальнейших успехов (это был тот рисунок, который я сделал в 5-м классе!).

После этого торжества, выходя гурьбой из гимназии, мы первым делом сорвали с фуражек гимназические серебряные значки, лавровые листья и буквы "В.2.Г." и побросали их в тротуарную канаву, "ринншток". С соседом по парте, Пушкевичем, мы пошли ко мне в пустую квартиру (отец с семьей был в лагере, в Оранах, и я оставался один в Вильне с деньщиком, он же повар) и откупорили бутылку вишневой настойки, которая ждала этого дня 6 лет! (На этикетке отец написал: "1889 г. Открыть в день окончания Славушкой гимназии"). Увы, кто-то из деньщиков за эти годы не утерпел, соблазнился этим нектаром и налил какой-то кислятины!

У меня уже была заготовлена студенческая форма. Так как получившему аттестат сомнений в приеме в какой-бы то ни было университет не было, то окончившие гимназию обычно в эту форму сразу же облачались. И я, переодевшись в белоснежный, совсем офицерский китель с золотыми пуговицами с орлами и, налев летнюю студенческую фуражку с белым верхом и синим околышком, сейчас же пошел щеголять в "телятник" (так назывался в Вильне бульвар) и в ботанический сад. И сколько было встреч, восклицаний и поздравлений — мое тщеславие могло быть удовлетворено! Я встречал еще таких же счастливцев, как и я, и мы уселись демонстративно в, запретном еше вчера гимназистам, летнем ресторане и молодецки потребовали полдюжины пива.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

УНИВЕРСИТЕТ И НАЧАЛО МОЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.



ИЗНЕРАДОСТНОЕ настроение, с которым я окончил гимназию, продолжалось всё беззаботное лето в деревне у моей матери, где "вновь испеченным" студентом я чувствовал себя совсем именинником. Продолжалось оно и первое время по приезде в Петербург.

В самом начале всё меня волновало: и сам Петербург — теперь он был совсем уже мой (мечта осуществилась) — он мне показался особенно красивым и парадным, — и новые впечатления Университета, где всё после гимназии было необычным. Мне нравилось давно знакомое мне тёмно-красное петровское здание "12-ти Коллегий" с рядом высоких клёнов перед его длинным фасадом, и казалась необыкновенно торжественной, украшавшая фронтон с двуглавым Александровским орлом, золотая надпись на синей ленте: "Императорский Университет".

Кончая гимназию, я понятия не имел о факультетских программах университета, и наше гимназическое начальство не давало никаких советов куда поступить. Поэтому часто выбирали факультет случайно, по примеру товарищей или знакомых. Мой отец предлагал мне сделать выбор самому, осмотревшись уже в Университете: в то время на первом семестре разрешалось менять факультет. С детства отец внушал мне интерес к истории, а с другой стороны, будучи любителем-натуралистом, заражал меня и этим своим интересом, и логично было-бы мне выбрать историко-филологический факультет, или естественное отделение физико-математического факультета (куда год назад поступили мои гимназические друзья, двое "Юлек" —

Грожан и Залькинд). Но от историко — филологического меня отпугивали древние языки, осточертевшие своей грамматикой, и мне этот факультет представлялся продолжением гимназии, а на втором устрашала высшая математика, которая вообще была моим кошмаром, и я выбрал юридический факультет, вовсе не мечтая в будущем посвятить себя юридической деятельности, но знал, что он был более всего "общеобразователен", меньше других факультетов готовил к узкой специальности и будто бы давал много свободного времени. А я давно уже решил, что параллельно с Университетом обязательно буду заниматься живописью.

Когда я вступил в этот "храм науки", мне всё показалось импозантным и серьёзным, но в тоже время меня сразу окатило холодом: и этот бесконечный коридор, тянувшийся вдоль всего здания, и громадный колонный актовый зал, и аудитории, многие из которых мне, увы, напоминали наши классы — всё было буднично и казённо. Среди студенческой толпы, безустанно сновавшей по коридору, я себя чувствовал неуютно — у меня не было ни души знакомых, а из одноклассников почему-то никто не поступил на мой факультет. Со мной был только мой двоюродный брат Сташа, который считал себя уже "старым студентом", будучи курсом старше меня, и он на первых порах помог мне ориентироваться.

Начало моей студенческой жизни я всегда вспоминаю с неприятным чувством — весь первый год прошёл в сомнениях, в больщом безволии и в очень подавленном настроении. Университет и моя самостоятельная жизнь вовсе не оказались тем "раем свободы", о котором я мечтал, скоро наступила проза и большие разочарования.

Когда я попытался, накупив книг и приступая к занятиям, разобраться в программах отдельных предметов только одного первого курса, меня ужаснула огромность этих програм и, главное, я почувствовал, даже со страхом, что вряд-ли я найду достаточно интереса и тем более любви к юридическим наукам...

Вначале я старался аккуратно посещать лекции и многое записывать, но гимназия не дала никакой подготовки (только немного пригодилась латынь для Римского права) и я был, как в лесу.

Некоторые профессора читали казенно и сухо, и напоминали наших учителей гимназии, и даже наш прославленный ученый Коркунов, который у нас на первом курсе читал энциклопедию и философию права, наводил скуку, бормотал что-то невнятное и лишь изредка вдруг зажигался и тогда заинтересовывал аудиторию (он был и очень страшный экзаменатор, как я позже убедился на собственном опыте). Больше всего меня интересовали лекции проф. Сергеевича по русскому праву. Он был настоящий актёр. Своими цитатами из

"Русской Правды", смачно выговаривая древне-русские выражения, он часто веселил слушателей, но терпеть не мог, когда студенты хохотали над какой нибудь "боярстей задницей" (особый род наследства). Лекции проф. Туган-Барановского по политической экономии, которая очень увлекала студенчество, как и лекции других популярных профессоров, таких как Косоротов и кн. Тарханов (по Судебной медицине) — иногда читались в Актовом зале, так как аудитории не вмещали всех слушателей.

На юридический факультет Петербургского университета при мне "валили валом" — многие поступали лишь ради университетского диплома, ибо считалось, что юридический "легче" других факультетов: в то время не было даже обязательных "семинарий". Те же, которые собирались серьезно заниматься, могли слушать лекции самых выдающих ученых юристов, так как в те годы факультет был исключительно блестящ по составу профессоров, что сам я тогда мало ценил и чего, в сущности, не сознавал.

Довольно скоро я убедился, что я лишь даром трачу (подумаешь, какое драгоценное!) время, посещая лекции, и по примеру большинства моих однокурсников, я почти совсем перестал на них ходить. Быть исключенным за нехождение на лекции опасности не представляло: "педеля", которые за этим следили, получали от студентов — лентяев "мзду" и всё налаживалось. Записывать же лекции и вовсе оказалось не нужным, так как можно было просто купить литографированные издания лекций, чтобы подготовиться в нужное время к экзаменам.

Но из любознательности я заходил на лекции по юриспруденции, читавшиеся и на других курсах — Мартенса (международное право), Фойницкого (уголовное), Дювернуа (гражданское). Последний был очень декоративен — осанистый, полный, с седой эспаньёлкой, и я любовался его эффектными позами и закругленными жестами настоящего оратора. Его я больше других профессоров стал слушать, а на втором курсе по его же предмету написал "зачетное" сочинение.

В 1896 году была в Петербурге открыта скандинавская выставка (ее устроил никому еще тогда неведомый Дягилев за два года до выхода в свет первого номера его "Мира Искусства"), и я, под впечатлением Цорна и других портретистов, думал, как было бы интересно изобразить фигуру проф. Дювернуа на пустом белом фоне стены с одним из его жестов, рядом с большой бобровой шапкой, которую он почему-то приносил с собой и клал на кафедру... Но такой портрет так, конечно, и остался в проекте.

Первый год я заглядывал на лекции и других факультетов, чтобы по совету отца ориентироваться в университете, но, увы, кроме

Валериан Петрович Добужинский с сыновьями, Игорем и Мстиславом, студентом 1-го курса С. П. Б. Университета.

сумбура ничего не получалось. В моих колебаниях проходило время и я, по инерции, так и остался на юридическом факультете.

Слоняясь по аудиториям и университетскому коридору, я мог вдоволь насмотреться на студенческую толпу. В общем, облик петербургского студента был корректный и скромный. Большинство носило студенческую форму такой, как полагалось — двубортный сюртук, золотые пуговицы с орлами и синий воротник. Но считалось "шиком" иметь светло-голубой или бирюзовый воротник, или совсем тёмный — цвета "воронова крыла", как и носить при сюртуке шпагу. Самые же большие франты завели тогда моду на белую шёлковую подкладку у сюртука и мундира, в подражание кавалерийским офицерам, и "белоподкладничество", как прозвана была эта мода, стало в глазах либерально настроених студентов признаком пустоголовья, или презираемой ими монархической идеи. Либеральные же студенты всячески "демократизировали" форму, носили сюртук расстёгнутым, а под ним косоворотку или рубаху, иногда цветную, с поясом. Когда же при мне была введена серая тужурка, она начала совсем вытеснять неудобный сюртук и к ужасу "Нового Времени", — стража законности и приличий, студенты начали появляться в этих тужурках "даже" в театре. Но на вольности в форме наше начальство внимания не обращало, а "белоподкладничество", вероятно, одобрялось свыше, как доказательство благонадёжности.

Во всех моих колебаниях и растерянности — с чего началась моя студенческая жизнь — одно давало мне опору: я хотел быть художником и мне было ясно, что главный интерес для меня лежит в искусстве. И именно тут, в этом моем "заветном", меня ожидал очень большой удар.

Поступая в Петербургский Университет, я мечтал непременно его совместить с Академией Художеств. Для этой цели я и стремился именно в Петербург, вопреки уговорам моей матери выбрать Москву. Летом, в деревне, чтобы подготовить себя к экзамену в Академию, я впервые взялся за масляные краски, но не имея никаких указаний, делал, конечно, совсем не то, что было нужно, и потому было весьма наивно решиться держать экзамен. Я даже не понимаю, откуда у меня взялась эта смелость. Но я пошёл "на ура", подал прошение и в назначенный день очутился в Рафаэлевском зале Академии среди множества экзаменующихся. Предстояло написать маслом натурщика, который позировал в яркой чалме и держал на плече какой-то

топорик. Я присматривался к тому, что делали окружающие, заходил и в другой — Тициановский — зал, тоже полный чающих попасть в Академию. Плохие этюды меня только подбадривали, когда я их сравнивал с моими, но некоторые из экзаменовавшихся писали с завидной для меня уверенностью! Одним из лучших становился на моих глазах этюд Елены Маковской, дочери Константина Маковского, красивой рыжеволосой барышни. Около ее работы толпились, говорили, что у нее "палитра красок и мазок отцовские". (Впоследствии она занималась скульптурой и всегда жила в Германии, выйдя замуж за немецкого скульптора Luksch. Я с ней познакомился лет через 20.)

Наши работы обходили безмолвные професора, помню их равнодушные лица и саркастическую улыбку Владимира Маковского.

Карандашный рисунок с натуры делали в помещении "классов" и мне досталось место в амфитеатре, как на грех, очень неудобное (я вероятно опоздал) — у самых ног натурщика. Нарисовать фигуру в подобном ракурсе при моей полной неопытности оказалось, конечно, не по силам. Я видел свои ошибки, но жирный "итальянский" карандаш не слушался резинки, а начать новый рисунок было нельзя, так как давали только один казенный заштемпелёванный лист, и я запутался окончательно. Мой плохой замученный рисунок, конечно, был забракован, но, "как ни странно", масляный этюд, хотя я впервые писал красками, неожиданно был одобрен.

Всё же принят в Академию я не был.

После провала в Академию, я долго ни за что не мог взяться. Это была для меня настоящая катастрофа и большой удар по самолюбию, даже странно, какое угнетающее впечатление произвела на меня эта неудача. Я впал в состояние полной апатии. "Рана" заживала очень медленно и всю зиму я не мог оправиться. Надо было еще много пережить и узнать для того, чтобы мне стало ясно, что Академия Художеств вовсе не "столп и утверждение истины" и не через нее только идет путь к "настоящему" искусству, как тогда мне наивно казалось, и не в ней только и было для меня "спасение". Позже я понял, что это именно и было хорошо, что я в Академию не попал и что не пытался, будучи студентом, снова держать экзамен.

Я все-таки не желал "сдаваться" — мне во что бы не стало хотелось "стать художником" и учиться живописи, и тут пришла мысль — не поступить ли в школу Общества Поощрения Художеств?

В канцелярии Школы я объяснил, что еще будучи 10-тилетним мальчиком я учился в этой школе и прошел 3 класса, но оказалось,

что по существующим правилам меня могли бы принять лишь снова в приготовительный класс!... На это я всё-таки не пошел. Я знал, что в Петербурге существуют частные художественные школы Дмитриева-Оренбургского, Дмитриева-Кавказского и Гольдблата. (Последний специально подготовливал, "натискивал", к экзаменам в Академию Художеств.) У первого оказалось дорого, и я записался, но не сразу, в школу Дмитриева-Кавказского. Его школа помещалась тогда — что было мне кстати — на Среднем проспекте Васильевского острова, как раз против дома, где я поселился. Но я стал ее посещать будучи уже на втором курсе.

В моем тогдашнем подавленном настроении настоящим утешением для меня стал Эрмитаж, где, можно сказать, полным самоучкой, я учился по картинам истории искусства. На русском языке существовала тогда единственная "роскошно иллюстрированная" история искусств Гнедича, собственно весьма поверхностная "хрестоматия", собрание "общих мест" и азбучных истин — книга, ставшая даже "притчей во языцех", которая у меня была, когда я был еще гимназистом и которая мне решительно ничего не давала, кроме имён.... До появления на русском языке Истории Искусства Мутера, действительно меня просветившей, было еще далеко.

По Эрмитажу я ходил как в потёмках и руководствовался лишь единственно каталогом картин с очень скупыми и сухими сведениями о художниках и "школах", составленными Андреем Ивановичем Сомовым, и этот каталог я самым тщательным образом изучал.

Мне никто ничего не подсказывал и не объяснял, я мог руководствоваться лишь одним чутьем и собственным вкусом:, я воспринимал всё больше эмоционально, инстинктовно, без ошибки чувствуя, к чему у меня лежит и к чему не лежит душа.

Иные картины меня так пленяли, что я ходил в Эрмитаж как бы на поклонение им. Диапозон моих очарований был очень велик, всё расширялся и вкус мой уже тогда делался эклектическим....

Трудно припомнить, как менялись, утверждались и умножались мои симпатии, и увлечения, и как накоплялись знания за все четыре года моих эрмитажных посещений. Во многом я, разумеется, не мог разобраться, до многого долго не мог дорасти и лишь постепенно мне стало открываться живописное мастерство отдельных художников и стиль той или другой эпохи.

Важно то, что я доходил "своим умом", но поэтому всё усваивалось медленно, непоследовательно, скачками, и я видел, как велики пробелы в моем образовании, особенно в истории. Всё-таки,

мало по малу, всё становилось на свое место, каждое посещение музея всегда чем-нибудь меня обогащало.

В отделе русских картин Эрмитажа (позже они перешли в новый Музей Императора Александра III) у меня были определенные симпатии и антипатии (последних было больше). Семирадский и Айвазовский казались приторными и фальшивыми; картины передвижников наводили скуку; мне скучен был и Шишкин. Мне нравились только "Балаганы" К. Маковского и сильные вещи Репина, больше всего его "Запорожцы". Из старых же русских картин всегда на меня производила большое впечатление своею театральностью "Последний день Помпеи" Брюллова. В общем, вкус мой был еще очень незрел и неустойчив, и всё-таки меня удивляет, как мало я ошибался в тогдашних моих суждениях по сравнению с будущими моими оценками.

К концу университетского курса я настолько хорошо уже знал картинную галерею Эрмитажа, что когда приезжала в Петербург из провинции одна моя эстетически настроенная двоюродная сестра, то по ее просьбе я служил ей гидом по Эрмитажу, даже читал ей там целые лекции. При моих тогдашних познаниях — могу себе представить их наивность! — но в глазах кузины Жени, бывшей гораздо старше меня, я был авторитетом, и это было мне лестно.

В тот первый нерадостный год моей студенческой жизни было для меня еще развлечением заходить в химическую лабораторию во дворе Университета к моим двум приятелям-студентам и эти визиты меня всегда подбадривали. Мои химики, двое "Юлек", там всё время возились с колбами и пробирками, и я присматривался к их опытам, которые я называл к их негодованию "фокусами". Вся эта химическая компания была поголовно музыкальна, все были театралы, и постоянно в лаборатории распевались и насвистывались разные арии и мелодии из "Садко", "Ночи под Рождество" или "Князя Игоря".

Светлые помещения лаборатории, где всегда стоял сладковатый запах от разных "реакций", были полны шкафов и полок с множеством стеклянок разных удивительных форм — был замечательный фон, на котором всё мне мечталось сделать портрет одного из моих химиков с полотенцем на шее и с обожженными пальцами рук, который бы держал какой-нибудь странного вида

стекляный сосуд. Но, конечно, я был беспомощен взяться тогда за такую задачу, хотя ясно представлял себе такой портрет.

В эти годы особенной популярностью пользовался среди студенчества проф. Лестгафт, читавший анатомию, и мои приятели водили меня на его лекции. Этот старик, необыкновенно живой и крикливый, с лысым черепом и с кудлатой бородой походил на какого-то библейского пророка. Предмет свой он читал скороговоркой (всё время повторяя "следовательно есть", что у него выходило "следтнесть"), но чрезвычайно наглядно и совсем обходился без научных латинских названий, считая ненужным набивать ими головы слушателей. Это было ново и даже "революционно". Про него ходило множество анекдотов и один, особенно забавный, как он приучал студентов к вниманию и отучал от брезгливости при препарировании трупов. Он рылся во всех внутренностях и потом рукой разглаживал себе усы и предлагал студентам следовать его примеру. Те, преодолевая отвращение, делали то же самое. Тогда он поздравлял их с одной доблестью, которая должна быть у медика — небрезгливостью, но высмеивал их за отсутствие другой добродетели — внимательности: он ковырял труп одним пальцем, а усы трогал другим....

Часто, проходя университетским узким двором, я любовался его перспективой: слева тянулись аркады 12-ти Коллегий, справа чернело здание физической лаборатории со странной цилиндрической пристройкой на крыше, а в глубине, за низеньким домиком ректора, закрывавшим вид на Неву, блестел золотой купол далёкого Исаакия. В морозный солнечный день, когда изо всех труб клубился розовый дым, это было красиво, и я много раз на память пытался изобразить этот вид и карандашом, и даже "маслом", но всегда у меня выходило "не то", с натуры же нарисовать этот уголок я не решался, — стеснялся проходящих студентов. Через несколько лет, когда я стал много рисовать Петербург, и снова попал на это место, мотив этот меня не затронул — он был действительно красив, но я искал другое.

Дома я довольно много рисовал, сделал вид из моего окна — соседние крыши каких-то ампирных зданий, барки на Неве и шпиль Петропавловского собора — мой первый петербургский набросок; я продолжал и то, что делал в гимназии — шаржи на профессоров и портреты карандашом с натуры — оба мои химика позировали очень терпеливо.

Я поселился вместе со своим товарищем по гимназии, студентом "естественником" 2-го курса. Мы нашли комнату по близости от Университета, на Васильевском острове, на углу Среднего проспекта и Тучковой набережной, в огромном ампирном розовом доме, сплошь заселенным студентами. Комната была узкая и очень длинная с одним окном, как-то странно расположенным в углу, но было приятно, что оно выходило на юг, и к нам в комнату часто заглядывало солнце, что из этого окна видна была Большая Невка, крепость и много неба. Внизу был бульвар — тополевая аллейка — и весной, когда распускались почки, в окно доносился их аромат.

В углу комнаты стояла традиционная петербургская круглая печка с "вьюшками", а на шкапу почему-то красовалось чучело ястреба с распростёртыми крыльями. На стене над моей кроватью я прикрепил мои любимые лубочные сытинские картинки, которые висели в моей комнате в Вильне, а потом появилась фотография эрмитажной "Венеры с зеркалом" Тициана.

Нас опекала прислуга Василиса, богатырского роста молодая смешливая баба, скуластая зырянка, у которой впереди было не два зуба, а три. Она потешно говорила по русски и, не умея справиться с нашими фамилиями, прозвала меня "Глинный" (длинный), а моего сожителя "Маленький", так эти прозвища за нами и остались. Она нам ставила самовар, бегала за булками и колбасой, и жарко топила печку.

У нашей квартирной хозяйки в квартире висело много сочных офортов Шишкина и суховатых — известного в свое время гравера Пожалостина.

Живя на Васильевском, я обычно ходил обедать в "польскую столовую" на Михайловской улице, очень популярную среди студентов. Этот изрядный конец я всегда делал пешком и каждый раз набирался бодрящих впечатлений от тех замечательных мест, мимо которых я проходил. Если я шел из дому, то мой путь к Дворцовому мосту и Адмиралтейству лежал мимо Биржи и Ростральных колонн, а до Биржи приходилось идти под бесконечно длинными сводами Петровских низеньких складов (один из петербургских "буянов"). Там всегда вкусно пахло какими--то пряностями и лежали груды яшиков, бочек и канатов.

Место, где я жил, было очень "петербургское", на редкость уютное и тихое, но жить в этом довольно глухом углу Васильевского острова, точно "на задворках", и в Университет входить с заднего крыльца — при тогдашнем моем унылом настроении — еще более угнетало, и я начинал мечтать о том, чтобы поселиться на одной из тех улиц, где-нибудь около Литейного проспекта, которые я знал и

любил еще с раннего детства, и где жило большинство моих родных и знакомых.

Это и осуществилось, но не скоро, и две зимы я прожил на Васильевском. С моим сожителем мы жили дружно, он был покладистого и весёлого характера, очень аккуратный, и если не сидел в лаборатории, то усердно занимался дома, а я же наоборот: когда у меня наступили дни уныния и апатии, я решительно ничем не мог заняться и окунулся в "рассеянный образ жизни", о котором неохотно и вспоминаю. Тогда, бывало, мы не видались по несколько дней подряд: я возращался ночью, когда он спал, а утром он уходил, когда я еще не просыпался. Всё-таки пример моего благоразумного сожителя всё время был мне большим укором...

Я попал совершенно случайно в компанию моих старых товарищей еще по петербургской гимназии, компанию мне довольно чуждую, но весёлую, и я стал с ними проводить время самым бессмысленным образом.... и вовсе не весело... До поздней ночи сидели мы в "Аквариуме" или в "Альказаре", слушая цыган (причём я чуть не влюбился в одну статную, необыкновенную красавицу-цыганку), или в каком-то кабаре в Пассаже, и всё-таки научить меня пить никак не могли. Может быть, через всё это нужно было пройти, — но тут лучше "опустить занавес".

К моему подавленному настроению прибавилось отвращение и мучительные угрызения совести, точно я изменил самому себе: с детства я хотел быть не таким, как другие......

За весь мой первый год в Университете я ни с кем не сходился, да и не было случаев к общению. На сходках я не участвовал, "семинариев" на нашем курсе не было и среди "землячеств" — нашего виленского тогда не существовало. Я был поэтому тот самый "единичный посетитель университета", каким именно и полагалось быть студенту по пресловутому "Уставу 1884 года".

Часто глядя на толпы студентов, слонявшихся по университетскому коридору, я думал — неужели в этой массе нет тех, которые так же, как и я, одиноки и как и я интересуются искусством? Но как было найти своих единомышленников? У меня, правда, были приятели, но настоящей дружбы не было. Со Сташей мы всё больше расходились во взглядах и во вкусах — полной откровенности быть не могло. Я чувствовал полное одиночество и мне всё яснее становилось, как мне нужна серьёзная моральная опора. И я мечтал именно о женской дружбе...

Большинство будущих моих единомышленников и друзей прошли курс юридического факультета Петербургского Университета, но все они окончили Университет в год моего поступления: Александр

Бенуа, Философов, Дягилев, Нувель, Грабарь и князь Аргутинский. При мне в Университете были Рерих и Билибин, но с ними я знаком тогда не был.

Мне всегда было приятно бывать у моего, любимого с детства, дяди Федора Петровича, брата моего отца. После службы в Вильне он давно уже жил в Петербурге и теперь занимал редкий пост судебного следователя "По особо важным делам", каких на всю Россию было всего два. И как раз перед моим поступлением в Университет он провёл очень беспристрастное следствие по нашумевшему делу об избиении полицей студентов нагайками на Невском, в день университетского праздника — 8-го февраля (дело деликатно называлось "о неправильных действиях полиции 8-го Февраля")и вывел на чистую воду кого следовало.

Он был добрый и жизнерадостный человек — один из самых обаятельных людей, каких я вообще знал в жизни, и не удивительно, что к нему всех тянуло. Но он скоро опять был переведен в Вильну.

У дяди Феди я стал встречать барышню, родственницу одного из его судейских приятелей, одетую со вкусом, молчаливую и застенчивую, с необыкновенно милой улыбкой. От моего дяди я узнал, что она воспитывалась за границей и года два как вернулась в Петербург, и теперь серьёзно занимается музыкой. Она мало кого знала в Петербурге и бывала часто в семье моего дяди, где её полюбили и называли Лизой.

Она с большой серьёзностью играла в винт, я же в винте ничего не понимал и сидя в стороне и посматривая на играюших, на неё глядел с особым уважением, как знающую эту премудрость.

Скоро я стал ходить к дяде ради неё, но первые две зимы мы встречались редко. Я долго стеснялся её, с самого начала у меня к ней был большой респект, мне импонировала ея безукоризненная воспитанность, знание языков и так нравилось что она выросла в Европе... Я чувствовал что она особенная, не такая как другие.

Мне было с ней всегда интересно, в наших беседах она на всё находила ответ, часто неожиданный и смелый и могла поставить такой же вопрос. Неужели правда — думалось мне — я найду тут ту чистую женскую дружбу, по которой я так тосковал и которая так была тогда мне нужна?... И действительно, к моему счастью, это так и случилось. И даже больше: — на всю жизнь.

Перед своим отъездом дядя Федя познакомил меня с одним своим приятелем, в дом которого мне стало интересно ходить — там случались очень оживлённые собрания с судейскими людьми, литераторами, журналистами и артистами: бывал только-что появившийся юный Шаляпин, любитель певец адвокат В. Цехоновский, Вец — про которого шутили, "В. Вец не Пе Вец" и др. Там я встречал Ариадну Владимировну Тыркову, необыкновенно красивую женщину с огненными глазами и горячей речью, так-же писателей Гарина-Михайловского и Станюковича.

К. М. Станюкович — автор очень симпатичных и живых "Морских рассказов" — был седой, осанистый барин, большой шармёр, типа Тургенева, и в ту зиму справлял свой 35-летний юбилей. Через одного знакомого студента, знавшего, что я художник, я получил от одной группы студентов "заказ" (конечно, бесплатный) — нарисовать адрес, подносимый Станюковичу. Какой был текст адреса, не помню, но так как юбиляр во время оно был сослан "в места не столь отдаленные" за вольнодумство, то, конечно, упоминалось, что он пострадал за правду и т.д. Поднесение такого адреса было маленькой политической демонстрацией, впрочем, очень безобидной. Я же рисовал этот адрес без всякого увлечения и никак не мог придумать подходящий символ, нарисовал какой-то корабль в штиль. окруженный грозовыми тучами, и был недоволен собой.

Под конец первого года в Университете я, наконец, взял себя в руки и начал понемногу заниматься предметами своего курса и вечерами посиживал дома. Но учился с перерывами, так как очень много тогда читал (опять перечёл Достоевского и один за другим поглощал романы Золя) и по настоящему засел за науки весной перед экзаменами.

Готовясь к экзаменам, я всегда делал подробные конспекты, причем их часто разрисовывал цветными карандашами, и это помогало усваивать самые абстрактные понятия и системы, так как зрительно я всё гораздо лучше запоминал и усваивал, чем по слуху. Перед самыми экзаменами я стал заниматься вместе с одним из моих однокурсников и мы экзаменовали друг друга. Для этого я ходил к нему на Пушкинскую и часто даже оставался ночевать в его меблированных комнатах, где за обоями невероятно противно шуршали тараканы.

Больше всего меня заинтересовала философия и энциклопедия права. Всё-таки благодаря собственному чтению еще в гимназии и отчасти дружбе в Вильне с Алешей Рогаля-Левицким, очень

развитым и умным юношей, я кое-что усвоил из разных философских учений, имел понятие о Платоне и Аристотеле, а также о Гегеле, так что, хоть очень немного, но был подготовлен к этому предмету, весьма трудному для новичка.

Регулярно работать я себя не приучил за все университетские годы, но переходил с курса на курс благополучно, лишь на первом курсе провалился у Коркунова (как раз по энциклопедии права, которая меня наиболее интересовала!). Но это катастрофой не было, так как экзамен был перенесен на следующий курс, "заложен", по студенческому выражению. Провалиться было немудрено — Коркунов был настоящий инквизатор. Самое ужасное было то, что студент должен был сам отвечать на вопросы, помеченные на вытянутом билете, а страшный профессор молчал, гляля на него в упор выпученными оловяными глазами, шевелил рыжими усами и делал судоржные гримасы. Экзаменовавшийся под этим "взглядом василиска" скоро увядал и получал — или безапелляционный "кол", или неожиданное "весьма".

От времени этих первых переходных экзаменов осталось в общем приятное воспоминание, тем более, что они окончились благополучно. Весна с запахом тополей проникала в мою студенческую комнату, стояли белые ночи, которые я так любил, а между экзаменами раза два ездил в Павловск на музыку; там в парке, на вокзале, давались традиционные симфонические концерты, в то время под управлением Главача. Парк был в белую ночь полон поэзии и "Valse Fantaisie" Глинки связался навсегда для меня с этим чудным Павловским парком.

Перед тем как направиться в деревню на лето к матери: я заехал в Новгород погостить у моего дяди Евстафия, переведенного туда на службу из Петербурга. Но из моих родных по матери в Новгороде уже никого не было. В призрачном тихом свете белых ночей Святая София с ее шлемами-куполами и серебряным голубком на кресте, была сказочно красива... Я заглянул на мою сонную Прусскую улицу, она так же мирно заростала травой, поглядел я и на дом, где родился. Но там жили уже другие люди.

То лето у моей матери ничем не ознаменовалось.

Покинув деревню в начале сентября, я заехал в Москву, побывал в Малом Театре на Островском, а в Третьяковской галерее восхитился портретами Репина, поражен был картинами Ге и, кажется, впервые оценил Федотова.

Из Москвы я поехал в Нижний Новгород на открывшуюся там Всероссийскую выставку.

Мой второй год в Университете начался в прежнем невеселом и вялом настроении, при этом я физически себя чувствовал плохо. Утешали меня лишь частые поездки в Вильну к отцу. Я продолжал жить там же, на Васильевском острове. Науками я занимался мало, но теперь стал довольно часто ходить в школу Дмитриева-Кавказского, куда записался еще после моих неудачных экзаменов в Академию.

Лев Евграфович Дмитриев-Кавказский (по происходжению кубанский или терский казак и потому — "Кавказский") был фигурой живописной: был лыс, горбонос и с курчавой бородой; иногда носил черкеску был очень симпатичный и приветливый человек и всеми любим. Он был известен, как офортист и изобразитель Кавказа и издал альбом рисунков своего путешествия в Малую Азию. С востока он привез кувшины, блюда, ковры, пестрые ткани, а также целые костюмы, в которые наряжал натурщиков и натурщиц, и ученикам было занимательно делать нарядные картинки. К сожалению, сам опытный офортист, он никогда не учил офорту, а как раз мне, при моей наклонности к графике, это могло быть интересно и полезно...

В школе работали все "по-старинке": сначала делали на холсте рисунок углем, его закрепляли фиксативом и затем поверх угля накладывали краски. Получался раскрашенный рисунок, неизбежно сухой и черствый, живописи же не получалось. Советы доброго профессора были очень простодушны: он требовал, чтобы всё было точно и "похоже" и указания его сводились к тому, что "это надо сделать подлиннее, а это по-короче", или — "здесь темнее, там — светлее".

Я присматривался к тому, как делали другие, но все рисовали и писали по шаблону. Я только немного освоился с палитрой.

Вскоре школа переехала с Среднего проспекта Васильевского острова на 12 линию, в дом Дервиза, в более обширное помещение, и тогда в школе появился новый ученик, Чижов, который всех расшевелил. Этот долговязый и белобрысый малый писал "под Репина" — мазками и шлепками, как попало, "нутром", рисовал же плохо. Иногда у него выходило ловко, чаще же получалась мазня. Не знаю, куда делся впоследствии этот несомненно талантливый человек.

Школу, всё время и позже, я посещал с перерывами и в общем выносил из нее мало, об Академии же перестал и думать, так как все мои мысли все больше направлялись на то, чтобы после Университета ехать учиться в Европу. Школьных работ маслом всё-же накопилось

много. Мой первый этюд старого еврея в бухарском халате я привез в Вильну показать отцу, и он его повесил в своем кабинете. Это первое мое "живописное произведение" впоследствии, к моему конфузу, попало в Виленский музей.

В школе я ни с кем не сблизился и держался особняком, как и в Университете.

Позже меня в этой школе занимался М.М. Фокин, впоследствии наш замечательный хореограф, и когда, очень много лет спустя, он мне показал последние портреты своей кисти, я не мало был удивлен, увидев тот же самый "стиль", которому он, оказывается, так и не изменил всю жизнь, как ученик Льва Евграфовича.

В 1896 году петербургские студенты издавали первый "Студенческий сборник" — альманах и в редакторы пригласили трех маститых старцев: Григоровича, Майкова, и Полонского. В Университете было вывешено объявление, приглашающее студентов доставлять в редакцию рассказы, стихи и рисунки. Я решил тоже принять участие в Сборнике, и один мой рисунок пером, пейзаж в Оранах, был напечатан с ошибкой в фамилии; рисунок был сухой и скучный, мне самому не нравился и я был даже рад опечатке, так как благодаря ей, он был как бы не моим! В Сборнике принимал участие и Рерих, тогда студент-юрист. Его рисунок изображал каких-то воронов, сидящих на камнях. С ним я не познакомился, знал лишь его по виду, он был и тогда такой-же, как позже, — розовый, с аккуратной бородкой, застегнутый на все пуговицы.

Этот "Сборник", как и следующий, попал потом "на зубок" "Миру Искусства", и был зло высмеян — так, как в журнале умели это делать, за пошлость. И вполне справедливо.

Продолжая жить на Васильевском острове, в той же комнате, как и раньше, я стал встречаться у моих хозяев с русским англичанином В. Карриком, довольно известным тогда карикатуристом, большим птицеобразным человеком. Он меня научил нехитрой литографской технике — рисовать разведенной типографской тушью на кальке, и дал мысль отнести какую-нибудь карикатуру в "Стрекозу". Я разхрабрился и отнес один рисунок, сделав его этой техникой, в редакцию на Фонтанку (я немного знал редактора "Стрекозы", литератора И. Ф. Васильевского, школьного приятеля моих дядей, но решил не прибегать к "протекции"). Рисунок представлял молодую даму с двумя франтами по бокам, сюжет не очень оригинальный, но

карикатура была смешная, и неожиданно издатель журнала, старик Корнфельд, ее принял и сразу мне выдал мой первый в жизни гонорар — 3 рубля.

Больше всего впечатлений мне давали выставки, которые всё делались интереснее. После довольно бесцветной и приторной Итальянской, в предыдущем сезоне, но где меня поразил Сегантини своей пуантилической, как бы мозаичной, живописью, — я восхитился выставкой скандинавских художников во главе с Цорном,* о чем уже упоминал, и после этих ясных и здоровых реалистов, какими скучными и чёрными показались мне наши передвижники!

На эти выставки, как уже вошло в обычай, я ещё с осени ходил вместе с Лизой, она была в курсе всех моих новых художественных впечатлений. Тогда же мы стали посещать утренние репетиции симфонического оркестра Консерватории. На этих утренних концертах особенно сосредоточенно слушалась музыка, и они, вообще, овеяны были каким то очарованием. Мы слышали много Моцарта, бетховенского Эгмонта, его 5-ую и 9-ую симфонии и впервые в жизни 6-ую симфонию Чайковского.

Бывал и у нее, я иногда засиживался, часто слушал ея игру на рояле.

Я возвращался около полуночи к себе на Васильевский остров пешком. И любил для сокращения пути идти по льду замерзшей Невы наискосок от Адмиралтейства к Университету, и как памятны эти одинокие возвращения и сколько можно было передумать за долгий путь.

На третий курс моего факультета я перешел без труда и летом 1897 года произошло большое событие в моей жизни: я в первый раз поехал за границу.

ПЕРВОЕ ЗАГРАНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
1897 года.

Мой отец всегда говорил, что для меня, как художника, необходимо видеть Европу, и когда я перешел на 3-ий курс Университета, он смог устроить мне небольшое путешествие за границу. На первых порах он советовал ограничиться Германией (да и денег на поездку мог дать немного) и, главное, побывать в художественных центрах:

*Это была первая выставка организованная Дягилевым, никому тогда еще неизвестным. Он устроил большой банкет в честь Цорна.

Дрездене и Мюнхене, осмотреть музеи и, если удастся, — позаняться тогда же летом в одной из художественных школ. От Парижа, куда все стремятся, он отговаривал, думал, что там бездельничают и "модничают", и что во всяком случае я еще успею туда попасть. Немцев же он уважал за трудолюбие и дисциплину и считал, что в начале поучиться у немцев было бы более дельно. Меня и сейчас поражает его замечательный план.

Ехал я, разумееется, в самом праздничном настроении. В Вильне, перед отъездом за границу, я впервые в жизни облачился в штатский костюм и с 190 рублями в кармане двинулся в путь, довольно храбро, так как тогда ничего почти не знал понемецки. Но со мной был самоучитель ("полиглот"), как всегда с самыми идиотскими разговорами, и отец еще мне всунул в карман, скорее в шутку, брошюрку "Вопросник", издание Главного Штаба. Там были замечательные фразы: "Как далеко до ближайшего колодца?", или "Если не будешь говорить правду — тебя повесят". Никому, а отцу прежде всего, не могла прийти в голову подозрительность подобной книжки, изданной на случай войны! — времена были глубоко мирные, и книжка в моем путешествии только всех веселила и немцев больше всего.

Я с волнением переехал впервые границу — узенькую речку между Вержболово и Эйдкуненом, и глядел во все глаза: всё *было необыкновенно* — и замечательная чистота и аккуратность на станциях, где каждый столбик и даже песок у перрона были особенные, "заграничные". Даже весь пейзаж изменился, — сейчас же после границы пошли совсем другие дома с высокими крышами, другие деревья, поля лежали разграфленными, как на чертеже ("Подлецы", как говорил у Щедрина путешествующий сановник, — "даже кусочка земли не оставили нераспаханной").

Уже в Эйдкунене меня сразу обдал неизвестный на наших железных дорогах запах каменного угля — этот "запах заграницы" и позже меня всегда волновал...

Меня поразил ранним утром подъезд к Берлину: внизу на улицах блестел асфальт всё чистилось и мылось, в утренних сумерках уже начиналась бодрая деловая и незнакомая жизнь огромного города.

Как мы заранее условились, я без труда нашел в соседстве с вокзалом Фридрихштрассе в гостинце брата моего петербургского сожителя, и с ним обсудили мой маршрут путешествия. Сам он ехал в

Гейдельберг к брату, который изучал там химию на летнем семестре, и он соблазнил включить в мой Rundreise, кроме Мюнхена и Дрездена, — Гейдельберг. Туда мы в тот же день и приехали, и всё оказалось еще очаровательнее, чем я предполагал, вспоминая Тургенева.

Мой приятель меня устроил в том же доме, где жил, на самой крыше, в мезонине, по узенькой улице, упиравшейся в громаду готического собора. В нижнем этаже моего дома помещался кабачок — "Zum grünen Baum" с качающейся вывеской, где был изображен зеленый дуб. Из моего окошка были видны крутые крыши и множество дымовых труб, из которых вились белые дымки; повсюду на подоконниках стояли горшки с цветами и тут же висели клети с птицами. Иногда высовывалась рука с лейкой или показывался белый чепчик — совсем милая картинка Шпицвега или Швиндта! Я попытался сразу же этот вид нарисовать в мой дорожный альбом.

Я с наслаждением гулял один по городу, это была еще совсем старая уютная Германия, всё было примитивно, даже еще не было трамваев. Забирался и к необыкновенно живописным развалинам ренессансного замка на горе, мне только мешало, что там пили пиво!

Я познакомился со студентами (в Гейдельберге училось много русских) и мне показали достопримечательности города, и главную — знаменитый университетский карцер, стены которого сплошь разрисованы карикатурами, силуэтами, смешными изречениями и вензелями. С языком я справлялся благополучно. Мои немецкие пособия всех забавляли, раз только я "отличился" — вместо "kalte Milch" попросил "Kalbs Milch" — "телячье молоко" и кельнерша потом без смеха не могла мне прислуживать.

На улицах и в кафе я наблюдал и зарисовывал всевозможные типы немецких студентов с их разноцветными шапочками и физиономиями, украшенными рубцами от "мензур" (т.е. дуэлей) или заклеенными крест на крест пластырями. Видел и самых настоящих классических буршей, каких изображали во "Fliegende Blätter" — с неизменным бульдогом и с длинным чубуком .

Я уже собирался, после трех дней в Гейдельберге, ехать дальше в Мюнхен, как случайно на улице встретил моего виленского товарища по гимназии Велера с его братом. Они ехали в Швейцарию и предложили поехать вместе... Дополнительный билет стоил гроши и хотя это было малодушие, удержаться было трудно — и я очутился в Люцерне! *Начались новые упоительные впечатления, и бирюзовое озеро, и горы, тающие в блаженной дали — как всё это было по*

другому, чем мои детские незабываемые горные впечатления Кавказа...

Мы решили пройти пешком по знаменитой дороге Axenstrasse от Flühlen до Brunnen и в жаркий день, с чемоданами за плечами и с альпенштоками пустились в дорогу — прогулка взяла почти целый день. На утро поднялись по довольно страшной воздушной дороге, вися над пропастью, на Rigi Kulm и там, в чистом воздухе этих горных высот, я долго валялся на траве, слушая перезвон коровьих колокольчиков. Спутники мои ушли искать какие-то тропинки, я же пытался рисовать и втискивал в мой маленький альбом необычную перспективу пропастей и горные пространства без горизонта. Что-то новое открывалось моему глазу художника...

Мы добрались до большой, казарменного вида, гостиницы на вершине горы, чтобы рано утром полюбоваться оттуда на знаменитый восход солнца над панорамой Альп, но вставши, увидели только белую стену тумана и перед ней на терассе спины англичан, закутанных в пледы, неподвижно сидящих на складных стульях. Как нам говорили, они упрямо дожидались зрелища уже несколько дней.

В Базеле я с моими спутниками расстался, чтобы встретиться в Мюнхене (у нас были разные маршруты), но мой поезд пришел в Мюнхен с большим опозданием и в гостинице, где они должны были меня ждать, их и след простыл, и я был впервые предоставлен самому себе — без языка в незнакомом городе...

В той же гостинице я и остался, и следующие дни провел в музеях и на огромной выставке картин в Glass Palast. Самый город я в тот первый приезд узнал мало, только его центр и необыкновенно красивые парадные улицы. Хорошо зная Эрмитаж, я уже мог в старой Пинакотеке разбираться в старых мастерах и их сравнивать с эрмитажными картинами. Хоть мне трудно вспоминать тогдашние первые музейные впечатления, но меня более всего пленил в Мюнхене ранний итальянский Ренессанс, которого так мало было в Эрмитаже, и старые немцы, больше всего Дюрер и его "Апостолы" — шедевры Пинакотеки. В новой Пинакотеке, переполненой колоссальными академическими полотнами Пилоти и Каульбаха, и множеством Дефреггеров и прочих "дюссельдорфцев", которые мне показались не хуже и не лучше наших передвижников; я очаровался Швиндтом и, конечно, любовался... Бёклином, который был тогда всеобщим богом. И я мог вдоволь насмотреться и на Фр. Штука, который тогда мне нравился своим крепким рисунком и такой же композицией своих картин. На выставке же современного немецкого искусства в Glass Palast'e для меня были большой новостью стилизованные пейзажи Вальтера Лейстикова, художника второстепенного, но мне еще не

приходилось видеть такого декоративного отношения к природе. Я сравнивал с нашими пейзажистами, которые не искали композиции, вяло копировали натуру и изображали отрезок природы, взятый "как попало". Для меня это был "укол", еще до того, как меня гораздо серьезнее укололи японцы.

На второй день в Мюнхене я очень соскучился без языка и пошел искать русских студентов в Политехникум — я знал, что их там много. В конце концов, попал в компанию, довольно симпатичную, и следующие дни посиживал с ними в кафе на Amelien Schelle. Но я не подозревал, что как раз в это время в Мюнхен съехалось довольно много русских художников учиться живописи: там жила Елена Маковская и ученики Репина: Веревкина, Явленский, Кардовский и Грабарь, с которыми я познакомился только через два с лишним года, когда, наконец, дождался своей мечты: поехать учиться в Мюнхен.

В Дрездене я очутился среди декорации, сходной с той, что меня окружала в родной Вильне: я увидел такое же рококо, такие же плоские фасады домов 18-го века около Старого Рынка и был совершенно очарован Frauen Kirche. Я навсегда полюбил и Эльбу и тенистую Брюлловскую террасу, и нарядный ажурный Цвингер.

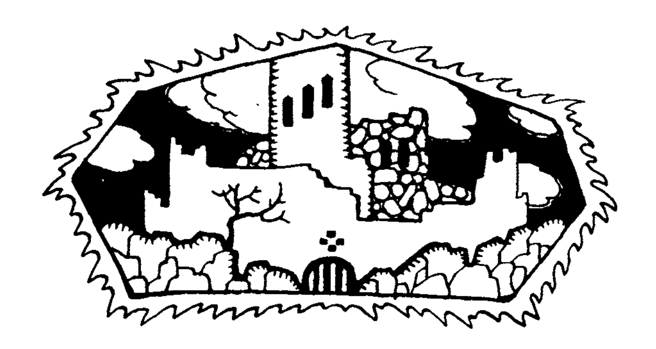
В воскресение я был в русской церкви и после службы познакомился со священником о. Анненковым, который сразу же позвал меня к себе на дачу. Он жил в "Саксонской Швейцарии", где воздух был пропитан упоительным хвойным ароматом. Я любовался с террасы этой дачи на расстилавшийся внизу истинно романтический горный пейзаж: лесные дали до самого горизонта, странного силуэта голые скалы и вспомнилось: "тихие долины полны свежей мглой".

Я хорошо осмотрел картинную галерею в Цвингере и долго сидел в молитвенной тишине зала перед Сикстинской Мадонной, настраивая себя на поклонение "мировому шедевру". Но, к моему конфузу, оставался холодным: как "видение", Мадонна мне казалась слишком грузной и земной...

На обратном пути я в Берлине не останавливался, так как в дороге вконец издержался и приехал в Вильну без копейки.

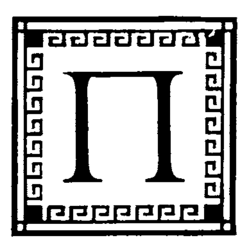
Хотя я вернулся обогащенный множеством новых впечатлений, но умный план моего отца я осуществил меньше чем на половину и мне было конфузно. Всё-же это путешествие, как позже я понял, имело для меня очень большое значение: в моем художественном развитии назревал определенный перелом и я переживал очень большой душевный подъем, какого я еще не знал в моей жизни.

За последние два университетских года во мне уже созревал художник, я стал верить в свои силы и только и мечтал по окончании курса Университета совершенно посвятить себя живописи и поехать учиться за границу — в Мюнхен, что и осуществилось, когда я получил диплом.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ТРЕТИЙ И ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС УНИВЕРСИТЕТА.



ОСЛЕ ЗАГРАНИЧНОГО путешествия я возвратился в Вильну полный радостного подъёма и чувствовал тот прилив сил, когда по старой поговорке "море по колено" и всё "трын-трава" и мой любимый город после Дрездена и Мюнхена показался мне не менее очаровательным по архитектуре: я мог сравнивать.

В августе, в летнем театре Шумана в Ботаническом саду, заканчивала гастроли русская опера с хорошими артистами, с большим репертуаром и я, наконец, дорвался до театра и не пропускал ни одного спектакля. В Петербурге в опере я бывал редко, получить дешевый билет в Мариинский театр было трудно (раз я дежурил всю ночь, промёрз и закаялся), но бывал, как уже упоминал, больше на концертах.

Теперь я упивался оперной музыкой. Вспомнилась "Кармен", которая так меня сладко очаровала в Киеве, когда мне было 12 лет, а тут впервые увидел "Фауста" и "Травиату", "Гугеноты", "Пророка" и совершенно был упоён "Пиковой Дамой", которую я услышал в первый раз.

У меня был приятель-студент, который был вхож за кулисы и он меня познакомил со всеми (артистами). В труппе были известные певцы Максаков и Давыдов, последний вскоре был приглашен в Мариинский театр, а также меццо-сопрано Московского Большого Театра Е.Г.А. Она была очень знаменита и мне было лестно показываться с ней на улицах и концертах.

Вскоре вся эта компания, прошумев и взбудоражив виленскую жизнь, а мне вскружив голову, улетучилась, но мой подъём и жизне-

радостное настроение (мой "Sturm und Drang") меня не оставили и в Петербурге. Там я решил изменить жизнь и покинуть Васильевский остров. Главной причиной перемены места, в которой я сам себе еще не вполне признавался, было желание жить поближе к Лизе.

Я стал жить на Загородном проспекте около Владимирского проспекта уже один. Я жалел только, что больше не видел в окне столько неба, как было на Васильевском, и не блестела уже вдали игла Петропавловской крепости... Но не забывал прежнего места и изредка из Университета заходил к милым Ярковым, где продолжал жить их верный жилец, мой Юлька. Иногда весёлой компанией во главе с Гогой Я. и его беспутным дядюшкой, Валерианом Ивановичем, мы упражнялись в пародиях на декадентские стихи, зло высмеиваемые тогда Бурениным, и коллективно творили нарочно нелепые стихи, в роде того, что "я не смою любви своей мылом, сковырнуть не смогли ее шилом, и пылаю пурпуровым пылом — караул!" Но "Савлы понемногу становились Павлами"...

Я, конечно, не пропускал ни одной выставки (в 1897 г. была выставка английских и немецких акварелистов, — вторая, устроенная Дягилевым в Общ. Поощр. Худ., где я воочию увидел некоторых прерафаэлитов — Holman Hunt, Walter Crane, Burnes Johns которые произвели на меня сильнейшее впечатление.) Я продолжал посещать школу Дмитриева-Кавказского, но больше рисовал дома "от себя". В ту зиму я познакомился с Р.Р. Голике, издателем "Шута". В "Шуте" тогда помещались занятные рисунки талантливейшего, рано умершого, Рябушкина на тему русских былин и Голике посоветовал заняться такими же темами, и для сего ознакомиться с русскими лубками и дал мне рекомендательное письмо к Стасову, который заведывал русским отделом Публичной Библиотеки.

Стасов принял меня радушно и вероятно не мало был удивлен, что какой-то студент заинтересовался русскими картинками. Он выложил мне все огромные тома Ровинского и я ходил в Библиотеку несколько дней, и сделал много зарисовок. Эта моя первая работа по первоисточникам была мне очень интересна, с самим же могучим старцем много говорить не пришлось, я лишь издали дивился его богатырской бороде и громогласному разговору. После этого я скомпоновал для "Шута" несколько рисунков на тему "Соловья Разбойника", но Голике ни одного не принял — нашел, что слишком похоже на "лубок"... (Однако я совсем не копировал лубков и, насколько помню, не было сходства ни с Рябушкиным, ни с Билибиным). Зарисовки же мои я спрятал для будущего (Они пригодились через много лет...)

Потом, оставив попытки рисовать в стиле русского лубка, я

сделал один рисунок "в духе английских прерафаэлитов" (так мне казалось) — "Звезда вечерняя". Нарисовал его на литографском Corn-papier и это была моя первая литография, и первый рисунок, помещенный в "Шуте". Я не хотел прямо подражать кому-нибудь, но обратился, так сказать, к "первоисточникам" и ходил в Эрмитаж, чтобы присмотреться к листве и деревьям у Перуджино и у раннего Рафаэля (Св. Георгий".)

Мы продолжали посещать утренние репетиции симфонических концертов и были на одном вечернем концерте в Таврическом дворце — тогда приезжал в Петербург дирижировать Никиш — и помню как великолепен был длинный колонный зал, освещенный рядом сверкающих хрустальных люстр. Когда наступила весна, я любил делать долгие прогулки вдоль всей Невы, по набережной от Летнего Сада до Николаевского моста, любуясь панорамой Петербурга и белыми ночами.

С третьего на четвёртый курс экзаменов в Университете не полагалось и весеннее настроение ничем не было омрачено. Мое "зачётное сочинение" я сдал благополучно, и хотя оно было написано неинтересно и неумело, проф. Дювернуа поставил мне "удовлетворительно".

Летом 1898 года, в деревне, я, как всегда, много рисовал и, находясь под впечатлением прошлогоднего путешествия за границу и картин, которые я видел на немецких выставках, стал в шутку подражать пейзажисту-стилизатору Вальтеру Лейстикову. Мне нравилось рисовать в сумерках, когда делаются чёткими силуэты деревьев и в их контурах можно было видеть орнамент, или фантастические фигуры. Впрочем, такие рисунки я пробовал делать и раньше.

Перед началом занятий в Университете на моем четвертом курсе я съездил к отцу. Почти год, как он был назначен председателем комиссии по постройке артиллерийских казарм на Немане, около местечка Олиты, где сооружался целый военный городок — как бы военный "форпост". Отец часто туда ездил из Вильны, а затем временно поселился в этом еврейском местечке у одного из своих офицеров. Туда я поехал осенью.

Я был очарован этим местом. Казармы строились в совершенно девственном сосновом лесу около чудной реки, которая образовывала там большую дугу, и позже, когда выросли казармы, они оказались

окруженными вплотную лесом. Мы с ним объезжали окрестности, и в бричке, и верхом, и однажды меня мой конь сбросил на землю через голову, но неожиданное сальтомортале обошлось благополучно, а отец меня уверил, что тот не ездок, который ни разу не падал с лошади.

Мне уже был знаком литовский пейзаж около Оран, но тут меня поразили сельские кладбища: всегда это был холм или курган, окруженный низенькой каменной стеной со щетиной высоких крестов, стоявших посреди берёз и стройных сосен, а кладбища эти лежали, как острова, среди песчаных полей... Потом в Петербурге я много раз пытался на память нарисовать такой романтический пейзаж. Зимой я еще раз съездил к отцу в Олиту, тихий лес, весь в инее и засыпанный снегом был сказочно очарователен.

В школу Дмитриева-Кавказского я продолжал ходить, но без всякого интереса: она мне ничего уже не давала — я ее "перерос". Мысль учиться живописи за границей после окончания Университета во мне окончательно окрепла. До того, чтобы строить какие-нибудь планы, было еще далеко, но я много уже слышал о Мюнхенских школах.

В течение той зимы читал лекции по искусству Киевский профессор Адриан Прахов в музеях Штиглица и Академии Художеств. Он начал с античной скульптуры — в обоих музеях находилось много гипсовых копий — и я стал его постоянным слушателем. Читал же он с пафосом и иногда "пускал слезу". Однажды я решился показать ему мои рисунки. Рассматривая их, он мне сказал: "Вы — художник!" и это меня окрылило, т.к. Прахов считался большим авторитетом. Я знал, что он был одним из руководителей по росписи только-что построенного в Киеве собора Св. Владимира, расписанного Васнецовым и др., что казалось событием в тогдашней русской художественной жизни.

Но действительно настоящим большим событием, а для меня как-бы и "откровением" была замечательная выставка, устроенная в июне 1898 года Дягилевым в залах музея Штиглица, перед выходом в свет первого номера его журнала "Мир Искусства"; и в нашем искусстве это была историческая дата. Помимо картин восхитивших меня — Сомова, Александра Бенуа, Бакста, Серова, Врубеля — на ней выставлена была керамика (особенно изумляли вещи Врубеля) и вышивки в русском народном стиле Е. Поленовой и М. Якунчиковой,

а также резные деревянные изделия по рисункам Малютина — из мастерских кн. Тенишевой в Талашкине и Саввы Мамонтова в Абрамцеве.

Всё на этой выставке поражало новизной, не было унылых коричневых фонов, на которых у нас на выставках обычно развешивались картины, и толстых золотых рам, в которые они обязательно обрамлялись. Всё было светло и изящно, и выставку еще украшали живые цветы — вещь доселе у нас невиданная на выставках.

На выставке я издали заметил элегантную фигуру Дягилева — на него мне указали — приветливо, или скорее, как мне показалось, "милостиво" улыбавшегося кому-то. Я тут первый раз его увидел. Конечно, я много раз бывал на этой выставке и больше всего пленён был, поразившим меня своей тонкостью, искусством Сомова.

Последний год в Университете я стал заниматься гораздо серьёзнее чем раньше. Заветная цель приближалась и я верил: по окончании Университета должна была начаться настоящая жизнь. Но заниматься и сосредотачиваться было трудно: Университет бурлил и настроение студенчества было очень напряженным.

В университете я держался вдали от поголовного увлечения студенчества политикой, и хотя многие из моих приятелей принадлежали к разным политическим партиям, мне и в голову не приходило следовать их примеру: быть членом партии мне казалось точно рабством. Впрочем, никто меня и не тянул в политику, т.к. убедились в моем равнодушии и "незрелости", и на меня махнули рукой.

Я никак не мог найти своего отношения к социализму, да и не был достаточно "вооружен знаниями" и, как ни старался, так и не мог одолеть пудовый кирпич — "Капитал" Маркса. С моими товарищами я слабо спорил, со многими доводами не мог не соглашаться, но логика говорила одно, а внутреннее чувство другое.

Так я и не мог продумать многое до конца и остановиться на определенных взглядах. Я начинал чувствовать себя "индивидуалистом" и художник, зревший во мне, протестовал против "нивеллировки". Я был с юности отравлен Достоевским и социализм, как будущее человечества, представлялся мне самой унылой и унизительной перспективой. И всё-таки меня мучило, что я не знаю, чего хочу, и я завидовал тем из моих сверстников, которые, как мне казалось, имели свое определенное "миросозерцание".

С моим другом детства, двоюродным братом Сташей, мы всё больше расходились во взглядах. Хотя я в сущности не знал, какую

форму правления я "предпочитаю" (на этом то мы и скрещивали копья), я чувствовал, что весьма многое "неблагополучно в Датском королестве" и многим возмущался. Он же, еще будучи гимназистом, был определенным монархистом и теперь храбро высказывал свои взгляды, приводившие меня в отчаяние. Вести прения с ним было трудно, он был ловкий и остроумный спорщик, был начитан в писаниях славянофилов и легко припирал меня к стене (так же бывало и в детстве, когда мы дрались). С его точки зрения я был презренным "западником" и "либералом". (Иным, впрочем, я и не мог стать при широких взглядах моего отца и свободолюбия моей матери).

Со Сташей в конце концов мы совсем перестали вести политические споры, т.к, начинали уже серьёзно ссориться.

Как ни странно и непоследовательно, но у меня порой рождалась совершенно еретическая мысль: "А что, если просвещенный абсолютизм и есть лучшая форма правления"? Но ни за что на свете я ни с кем бы не поделился этой греховной мыслью, особенно со Сташей, который бы тут лишь торжествовал. Я поступил в Университет, когда только что взошел на престол Николай II и я помню, как в Петербурге многие поддавались обаянию молодого царя, какие создавались легенды и сколько возлагалось на него надежд, котрые так обидно были им названы "бесмысленными мечтаниями" и какие последовали разочарования...

За последний год моего пребывания в Университете меня невольно захватила волна общего протеста и я даже довольно горячо участвовал в сходках, апплодировал ораторам, познакомился со многими студентами и был даже выбран в делегацию к К.К. Арсеньеву, почтенному старцу, адвокату, но по какому поводу, совсем не помню! Настроение студенчества было в общем дружное, оппозиционное, и правые студенты, которых вообще было мало, стушевались и ничем себя не проявляли. Помню, как всех тогда насмешило попавшее впросак "Новое Время" — газета, очевидно, с большим удовольствием и торжествуя напечатала письмо в редакцию трёх студентов, весьма резко осуждавших сходки и забастовки и выражавших самые черносотенные чувства. Увы, фамилии этих верноподданных студентов — Тоиди, Каруд, Лёссо — сразу же были расшифрованы: если читать наоборот, то это были Идиот, Дурак и Осёл.

Министром Народного Просвещения был тогда генерал Ванновский, который положил конец смуте по военному, и я, вместе со всеми моими колегами оказался исключенным из Университета. Эта необыкновенная мера имела целью принимать обратно студентов лишь по проверке их благонадежности и их так сказать "просеять". я

был принят обратно, но государственные экзамены предстояло бы держать в присутствии полиции, которую предполагалось ввести в здание Университета. Это было уже слишком и большинство от экзаменов отказалось, но эта забастовка, как бы провоцированная самим начальством, имела для многих весьма тяжелые последствия — отдачу в солдаты для отбывания воинской повинности, а для иных и ссылку " в места не столь отдаленные"...

Небольшая группа оканчивавших решила поехать держать государственные экзамены в Одессу, в Новороссийский Университет, где не было таких "беспорядков" и не принималось таких мер, как в Петербурге, и был слух, что держать там экзамены вообще куда легче... И я решил поехать тоже.

Но решиться на это с лёгким сердцем было, впрочем, не так легко. Меня смущало, что я совершаю точно измену по отношению к моим товарищам, с другой же стороны меня соблазняла софистическая мысль: почему, собственно, мой отказ держать экзамены, и решение отложив окончание университета, пожертвовать целым годом моей жизни — может принести пользу студенчеству и помочь пострадавшим?... Я во что бы то ни стало хотел скорее получить диплом и мне казалось совершенно невозможным и ужасным ждать еще один год — я просто не мог себе этого представить. Мои сомнения я постарался в себе заглушить и, хоть с осадком в душе, поехал в Одессу в настроении очень решительном и храбром.

Держа экзамены, я пережил один из самых больших подъёмов в моей жизни и в первый раз ощутил в себе те волевые силы, которые в будущем проявлялись по разному и отдельными вспышками и длительным напряжением. Это был настоящий экзамен на мою личную зрелость и был первым самым серьёзным шагом в моей жизни, а для меня лично это был даже "подвиг".

Никогда не забуду этого времени — мая в Одессе — дивной зеленой луны, сладостного запаха белых акаций, наполнявшего улицы, и всех впечатлений южного города. Я нашел уютную чистую комнату на Гулевой улице. Мне пришлось взяться за некоторые курсы впервые, но память обострилась чрезвычайно и я помогал себе тем, что, готовясь, делал графически-ясные конспекты и всё западало в память удивительно чётко. Хотя приходилось работать и по ночам,

но я старался не переутомлять себя, успевал выспаться и отлично питался. Однажды среди ночи, совсем усталый, я с ужасом вдруг увидел, как через мой стол и мои бумаги быстро проползла невиданной величины студенистого вида, сороконожка — я чуть не уронил лампу и на полу задавил страшное насекомое. Еле заснул после этого. К этим существом, как и к уховёрткам, паукам и тараканам у меня какой-то мистический страх.

Я разыскал моего давнишнего друга по Виленской гимназии Алёшу Рогаля-Левицкого. Он оставался тем же неисправимым пессимистом, но его пессимизм сделался еще мрачнее, его стала преследовать мысль о дурной наследственности, но при всём этом его настроение, как было и в ранней моей юности, вызывало во мне только обратное. Я всегда любил его общество, его большой ум, весьма скептический, насмешливость и большую начитанность. Он с презрением служил в акцизном управлении.

В Одессе я сошелся с одним студентом-виленцем, приехавшим тоже держать экзамены, с громкой (татарской) фамилией Чемоданов. Он был внук, известного в свое время, карикатуриста и отлично рисовал, и я завидовал его ловким наброскам, особенно умел он изображать лошадей и толпу, но этот очень одаренный человек не верил в свои способности и серьёзно не занимался, а мог бы стать замечательным художником. Впоследствии он стал судебным следователем в провинции, но всё же искусства не оставлял и некоторые его картины сохранились в Белорусском Музее (в Минске). Сам я в Одессе совершенно не рисовал — не было времени, лишь по окончании экзаменов по просьбе моих коллег я сделал рисунок для адреса, поднесенного студентами проф. Кремлеву. Рисунок-рамка был из извилистых трав, зеленого и лилового цвета, и мне, и всем казался элегантным, я сделал его в духе того судорожного стиля, который тогда был последним словом моды! С Чемодановым и Алешей Левицким мы насыщались вкусными обедами в одной домашней столовой, где бывало много одесских студентов. Они вообще косо смотрели на нагрянувших к ним петербуржцев, что неудивительно.

Каждый выдержанный экзамен мы с Чемодановым обыкновенно праздновали прогулкой на "Большой" или на "Малый Фонтан", где любовались бирюзовым морем, странно сочетавшимся с рыже-оранжевым цветом скалистых берегов. После одного удачного экзамена мы поехали в море на парусной лодке, но поднялся сильнейший ветер, моего спутника укачало и он сделался зеленым, я же устоял, чем был горд.

Экзамен за экзаменом я благополучно и даже хорошо сдавал и, наконец, кончилось это страдное время — я получил к великой моей радости (и сюрпризу) диплом первой степени.

Из Одессы я почти ежедневно писал Лизе восторженные письма и она меня подбадривала и всё желаннее становилась наша мечта.

Увы, много еше пришлось пережить за это лето, оно прошло в разъездах вдоль и поперек России: из Одессы я поехал в Петербург, потом к отцу в Олиту, оттуда к матери в Тамбовскую губернию. Я вернулся в Петербург "победителем" и в воспоминаниях встают белые ночи, музыка на вокзале в Павловске, пустынный летний Петербург и многое незабвенное...

К отцу я поехал со стесненным сердцем. Зная его взгляды на "раннюю женитьбу", я предвидел, что будут тяжелые объяснения, — даже не хочеться вызывать в памяти подробности....

В самом подавленном настроении я поехал к матери, где было так же тяжело — она говорила то же самое, что и отец.

Я вернулся к отцу. Отец не менял своего отношения насчёт моей поездки за границу, настаивал даже, чтобы я ехал непременно в Мюнхен, и обещал мне там помогать: — "остальное меня не касается. Но мой совет — поезжай один, займись серьёзно, без помехи, которая неизбежно будет, если женишься. Впрочем, можешь поступать, как хочешь — ты взрослый человек". Это был его последний ответ. Тогда мне не приходило в голову, что мой дорогой отец говорил то же самое, что старик Болконский своему сыну.

Но уже всё было решено: мы венчаемся с Лизой в Петербурге, и я знал — наша жизнь в Мюнхене будет обеспечена, и у меня, и у Лизы тоже с ее стороны...

Наша свадьба состоялась в дождливый осенний день ("дурная погода к счастью". говорили) в Преображенском "всей гвардии" Соборе, который с детства был мне мил.

Посаженным отцом был к моему утешению брат отца, дядя Сташа. В тот же вечер мы уехали в Мюнхен.

В Вильне на вокзале нас встретил дядя Федя с женой, который нас уверил, что всё будет хорошо, что отец помирится. Он обещал его уговорить. И дядя оказался пророком. Прошло два года (и сколько было пережито) и по возвращении из Мюнхена мы гостили у моего отца, который окружил мою жену самым милым и нежным вниманием, а позже и моя мать ее оценила и полюбила, и всё прошлое было забыто навсегда...

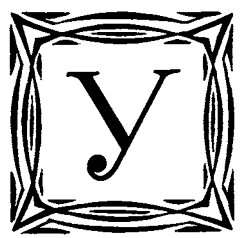
Списавшись с одним студентом, учившимся в Мюнхене, я успел узнать кое-что об условиях тамошней жизни, об Академии и частных художественных школах и, еще перед свадьбой получил в Петербурге от академика Вилье, к которому меня направил Дмитриев-Кавказский, рекомендательное письмо к проф. Рубо в Мюнхене.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

•

НАЧАЛО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЮНХЕН
(1899-1901)



ЧИТЬСЯ живописи за границей было мечтой с юности. Когда я был в Университете в Петербурге и стал серьезно заниматься искусством, часто приходилось слышать о Мюнхене, который в то время, наряду с Парижем, был тем центром, куда у нас стремились ехать художники совершенствоваться.

Мой отец, еще в детстве мне говоривший, что хотел бы чтобы я стал "европейцем", советовал мне выбрать Мюнхен.

В нашем путешествии первая остановка была в Дрездене, которым я уже был очарован во время моей первой поездки за границу — за два года до этого, а для моей жены это был почти родной город: там она училась во французском институте и провела безвыездно 9 лет с семилетного возраста.

В Мюнхен мы приехали в холодное ветреное утро и, по сравнению с Дрезденом, первые впечатления от города были какие-то скучные: у вокзала крутились по ветру бумажки и сор, все казалось прозаическим.

Мы без труда нашли в Швабинге, мюнхенском Монпарнассе, две чистеньких и удобных комнаты, где и прожили всю ту зиму. Улица была скучноватая, но тихая и в двух шагах от школы Ашбе, куда я вскоре и поступил. Комнаты были с самой мещанской обстановкой: бархатный диван с высокой спинкой, портьеры с помпончиками и, конечно, портрет Людвига II-го Баварского в золотой раме — олеография.

У меня была от академика Вилье карточка к профессору петербургской Академии Художеств Рубо, жившему тогда в Мюнхене. Рубо посоветовал пойти с моими рисунками к проф. Академии Гизису, которого он почему-то особенно рекомендовал.

Но старый грек Гизис оказался заядлым академиком, и когда я показал ему тамбовские пейзажи с кущами деревьев, похожих на облака, думая, что ему понравится моя "передовитость" он спросил в недоумении: "Sind das Bäume?"

В ученики к себе меня он не принял, но дал совет поступить в школу Ашбе.* Эта школа была известна и у нас в России. Именно туда последнее время многие и ехали учиться по окончании Академии или приезжали лишь на лето.

Школа находилась на Георген-штрассе и помещалась, к моему удивлению, в большой бревенчатой избе квази-русского стиля с петушками и резными полотенцами. Этот дом-студия принадлежал раньше художнику который соорудил его в этом "репетовском" стиле, модном у нас в 1870-80 гг., на память о России, где он долго прожил. Этот курьезный дом стоял в стороне от улицы и весь был окружен высокими клёнами.

Я пришел туда во время шумного перерыва. Студия с высоким окном во всю стену, сквозь которое золотилась осенняя листва, была полна учеников и учениц и сразу же появился круглоголовый и курносый Филькович, многолетний русский ученик Ашбе, который взял меня под свое покровительство. Под его опеку вначале обязательно попадали все приезжавшие из России. На первых порах он мне много помог, стоя за спиной Ашбе, переводил всё, что тот мне говорил (в немецком я был весьма слаб).

Ашбе почти каждый день посещал школу. Он был сущий гном с большой головой, со свисавшим на лоб коком шевелюры, и с вихрастыми усами; его пенснэ со шнурком за ухом смешно сидело на переносице. На улице он носил рыжую широкополую шляпу набекрень, длинное, тоже рыжее, пальто в талию и ходил с тростью, у которой был набалдашник в виде птичьего клюва. Серьезного в этом облике было мало. Каждого поступающего в школу он приглашал к себе — в его собственное ателье (я тоже был позван), где он демонстрировал свои произведения, большей частью только начатые: портрет графини такой-то, баронессы такой-то и т.д., — написанные с нарочито сложными световыми и красочными эффектами (одна дама, например, была освещена с одной стороны красной, с другой —

---

*Anton Azbe был по происхождению словак, ученик Пилотти, автора знаменытых в Германии огромных исторических картин.

зеленой лампой). Удивляло с какой ловкостью, даже мастерством, всё-таки были написаны эти портреты, а о том, что это собственно была безвкусица, а сам он настоящий сноб, как-то умалчивалось, не нашлось тут "андерсеновского мальчика"...

В ту пору школа Ашбе была на вершине славы и система его преподавания была особенно для начинающих, очень полезна и являлась по сравнению с Академиями тогда действительно "новым словом". Педагог Ашбе был очень умелый.

Новый ученик с самого же начала был ошарашиваем корректурой. Он старательно вырисовывал "глазки", "кудряшки" и "пальчики" с ноготками, Ашбе же, взяв толстый кусок угля, безжалостно проводил через всю эту робкую дребедень жирную линию, показывая как надо прежде всего "ставить" и "строить" фигуру. "Nur mit grossen Linien arbeiten" — это был первый его девиз и действовал он благотворно. Многие впрочем, на этой "grosse Linie" так и застревали и никак не могли в неё вставлять детали. Но во всяком случае это был отличный приём против диллетантского и близорукого копирования натуры. Мне сразу многое открылось, а то что я делал раньше, показалось безпомощным и вялым. Я сейчас же взялся за "Grosse Linie" и Ашбе стал меня отмечать, даже вскоре ставил в пример. Поступавшие к Ашбе вначале, как и я, занимались исключительно рисованием, на живопись же переходили после долгого "искуса".

Наряду с "большой линией" Ашбе учил и "большой форме", поглощающей мелкие детали. Этому служила его "Kugel System" довольно остроумный рецепт, следуя которому легко достигалась внешняя эффектность рисунка. Ашбе учил светотень распределать на рисунке головы соответственно с распределением силы теней и рефлексов на шаре. При этом анализируя форму человеческой головы, Ашбе её трактовал как многогранник, с передними, боковыми и промежуточными плоскостями и эта "геометричность" заключала в себе уже зачатки будущего "кубизма" (хотя слово это тогда еще не произносилось). Я помню в школе работы некоторых учеников, рисовавших только одними прямыми линиями — подобие будущих кубистических рисунков. Но на это смотрели не как на самоцель, а лишь как на упражнения и опыты. В этой "системе Ашбе" самым ценным было обобщение и упрощение форм и для меня, как и для всех новичков, это являлось действительно новым и свежим словом, тем более по сравнению с тем, что делалось в это время у нас в России вообще во всех академиях, где ограничивались лишь фотографической копией с натуры! Хотя я не учился в Петербургской Академии, но знал, как и чему там учили. Все указания профессоров

сводились собственно к тому что говорил в своей школе добрый Дмитриев-Кавказский: "это короче, это длиннее, тут светлее — здесь темнее, или же теплее и холоднее", либо к таким туманным и загадочным выражениям, как у Чистякова (впрочем, по всем отзывам замечательного учителя): "это чемоданисто" или "надо глядеть на натуру "коровьим глазом" (то есть не мудрствуя), или: "надо делать похоже, но если слишком похоже, то нехорошо" и т. д.. А Репин часто совершенно сбивал учиников с толку — одного восхвалял до небес ("ах, как прекрасно, теперь мне надо у вас учиться"), а другого (иногда и того же самого на другой день) повергал в полное отчаяние, говоря разные жестокие вещи вроде того, что "к чему вы, в сущности, беретесь за живопись, когда есть столько других интереснейших специальностей"... И всё-таки все стремились учиться у этого мучителя — его любили... Естественно, что многие, кого наша школа не удовлетворяла и кто мог, стремились за границу, в Париж или в Мюнхен, и эта тяга дошла до апогея именно в те годы, когда и я поехал в Мюнхен.

А. П. Остроумова впоследствии мне рассказывала, что когда по окончании Петербургской Академии она приехала в Париж к Уистлеру и показала ему свою живопись, то услышала от него: "Чему же вас учили столько лет? Вам всё надо начинать сначала". И чему могли научить тогдашние профессора-передвижники, сами посредственные живописцы (Репин — не в счет) и в большинстве не имевшие понятия о композиции картины? Рисунок, столь процветавший и ценимый в европейском искусстве, у нас считался чем-то второстепенным и лишь школьным упражением, а о самостоятельном художественном значении рисунка и о разнообразии технических приемов не было и речи — всё сводилось по наследству от "классической" Академии к унылой однообразной "штриховке". Мне переучиваться не приходилось — в Петербургской школе Дмитриева-Кавказского преподавание было очень примитивно и писали и рисовали там, "как Бог на душу положит", и потому дурных технических привычек я не приобрёл.

В школе Ашбе рисовали исключительно древесным углем и это было новым для меня "открытием". У нас этот уголь был лишь подсобным материалом, им только слегка намечался рисунок, чтобы "не сбиться с формы" и чтобы заканчивать "начисто" пресловутым "итальянским" карандашом, принятым в наших художественних школах. Тут же в Мюнхене этот мучительный карандаш вообще был изгнан. Уголь — материал мягкий и податливый — освобождал от ненужной штриховки, легко, быстро и аппетитно ложась, особенно на рубчатую поверхность французской бумаги — "Энгр" — чрезвычайно

для этого подходящей. Уголь позволял работать широко и свободно и, благодаря его "живописным" свойствам, легко достигались все нужные градации светотени. Помогал этому и простой мякиш булки, — в этом случае идеальная резинка. И мы уничтожали на сей предмет в изобилии круглые "Kaiserbrötchen".В школе всегда крепко пахло шеллаком от фиксатива, которым закреплялся уголь.

Для школы уголь, действительно, был незаменимым материалом, но его "ватность" и "рассыпчатость" были главным недостатком, а эффекты* светотени, которые легко давались, вели к соблазну "шика". Но вначале было истинным наслаждением рисовать этой широкой техникой.

Другий материал — "сангина" (мел разных оттенков "кирпичного" — цвета), — отрицательных свойств угля не имевший, при мне в школе Ашбе употреблялся сравнительно мало. Но верный ученик Ашбе Д.Н. Кардовский, ставший потом профессором, ввел в Петербургскую Академию именно сангинную технику. Преемственно, у его учеников — Ал. Яковлева и Шухаева — она стала их любимой техникой рисунка. Все трое — Кардовский, Яковлев и Шухаев — переработали по своему принципы Ашбе, на которых и воспиталось целое поколение русских художников. Таким образом, — что, кажется, не отмечалось — наш "неоакадемизм" имеет начало в немецкой школе.

Модели у нас были довольно разнообразные. Для голов позировали морщинистые старики и старухи; иногда довольно уродливые баварские девицы, а также итальянцы и цыгане, — иногда бывали негры. Все они или приходили в школу сами по понедельникам, или наш "Obman" (староста школы) выбирал их на "бирже" натурщиков — на лестнице у Академии. Голую натуру выбирал сам Ашбе. Однажды, при мне пришла наниматься, вероятно в первый раз, какая-то молоденькая стыдливая немка, и он велел ей тут же при всех разоблачиться. (Обыкновенно же соблюдался "decorum" и это делалось за ширмой). Она стояла красная с согнутыми коленками среди юбок на полу, в позе Венеры Медицейской, окруженная воззрившимися учениками. Но Ашбе, пожевав сигару: "Nix" и та, чуть не плача, должна была удалиться.

Раз позировал геркулес-негр, который неожиданно дико хохотал,

*Уголь остался для меня и поныне любимым материалом, но чтобы его "rehausser" для четкости я стал прибегать к соединению этой техники с тушью (кисть или перо).

вероятно вдруг что-то вспомнив или заметив смешное. Другой негр раз упал в обморок и всех напугал. Позу Ашбе сам ставил, его любимой позой была, когда женская модель, изогнувшись, глядела на собственную пятку — предел элегантности! В противоположность нашей петербургской Академии мужская модель позировала без "фиговых листков", что было вначале очень странно

В школе стояла и гипсовая фигура мускулатуры человека и было несколько черепов (специальность Фильковича); ученики ходили и в Анатомический театр в Университет на вскрытия. Туда меня не тянуло, так как на лекциях Лесгафта в Петербурге я получил к этому отвращение, которое не поборол.

Помещение самой школы было украшено образцовыми работами бывших учеников Ашбе — лучшая реклама в школе. Эти этюды висели над многочисленными фотографиями с картин и рисунков старых мастеров (Веласкеза, Гольбейна, Дюрера, Тинторетто и др.) и некоторых современных художников (между прочим, весьма почитаемого в школе Лейбля). Среди же ученических этюдов были необыкновенно сильно "вылепленные" головы Кардовского и яркая живопись Кандинского (будущего зачинателя "безпредметной" живописи), Явленского и Грабаря (особенно помню розовую девочку последнего).*

Обычно в школах учаться на примерах своих товарищей — наиболее талантливые "ведут" за собой других. При мне было несколько очень способных. Но я замечал, что те, кто очень давно сидел у Ашбе, делались на одно лицо и впадали в шаблон. Для начала же я правильно сделал, поступив именно туда.

В школе меньше всего было немцев — осанистый граф Гольцендорф, лысый отставной "оберст", престарелая высокородная дама и еще несколько человек (почти все титулованные). У Ашбе была слабость к титулам, и всё время в школе слышалось его "Herr Graf", "Herr Baron", даже "Durchlaucht"; меня же, проведав, что я окончил университет, он всегда величал "Herr Doktor" Большинство учеников были иностранцы, между ними венка "Мета", полудурочка, над которой вся школа глупо потешалась; бородатый чех Куба, впоследствии знаменитый у себя на родине; красивая черненькая румынка "Соня", как все ее звали, хромоножка, которая была горда, а

*Все четверо и М. В. Веревкина, ученица Репина, приехали в Мюнхен еще в 1895 году и за год до меня уже покончили со школой, но продолжали работать в Мюнхене. Первый год моего учения я их знал только по виду.

за нее и вся школа тем, что ее портрет написал "сам" Ленбах; грек Сильва с наружностью "настоящего" художника, с длинными волосами и эспаньолкой a la Вандейк — я с ним часто беседовал, так как он говорил по-французски. Были и двое французов, державшихся особняком (их свежая живопись выделялась среди школьных работ и мне нравилась). Я с любопытством присматривался, что делал Садковский, поляк, с которым вскоре познакомился ближе, и оценил его тонкий вкус и культурность. Этот маленький блондин с золотой бородкой, худой и болезненный, был настоящий "прекубист", рисовавший одними прямыми линиями и тоже державшийся изолированно.

У Ашбе занимались также двое мексиканцев — один маленький с усиками, другой мрачный, большой, бородатый, которые жили тут же в нашей школьной "избе", на антресолях, и которые, однажды, при всех столь свирепо повздорили, что даже вытащили ножи — их еле разняли.

Из русских упомянутый Филькович был ветераном школы. Трудоспособности он был самой упорной (и никчемушной). Каждого поступающего он поражал цифрами — количеством черепов, которые он нарисовал для изучения строения костей человеческой головы. Вначале это импонировало новичку, но вскоре его "раскусывали" и от него отпадали (так было и со мной) и бедный Филькович стушевывался и, продолжая свои черепа, скромно поглядывал со стороны и покусывал ус.

Уже за год до моего приезда школа была столь переполнена, что Ашбе устроил параллельное отделение для вновь поступающих и, имея в виду изобилие русских, пригласил в руководители одного из любимейших своих учеников — Игоря Грабаря. Поступая в школу, я знал об этом отделении школы, где было много соотечественников, но решил учиться у самого Ашбе и с Грабарем познакомился только в следующем году.*

Посещая школу, вначале я был очень аккуратен, за день порядочно уставал и за 2-3 месяца сделал очень много, все мои работы сохранял и видел, что прогрессирую. До января я занимался рисунком и лишь во второе полугодие взялся за краски.

---

*От Грабаря я впоследствии узнал об Антоне Ашбе много неожиданного и симпатичного — что он был необыкновенный добряк и его безбожно эксплуатировали собственные "сателлиты", умер же он почти в нищете.

Я приходил в школу к 9-ти ч. утра, запасаясь по дороге Kaiserbrötchen -ом, этим суррогатом резинки. Мне так памятны эти свежие морозные утра с особенным, новым для меня, "мюнхенским" запахом каменного угля и асфальта, моя бодрость и ученическое волнение перед школой. В 12 ч. в перерыве занятий мы с женой шли обедать в ресторан "Минерва", помещавшийся против Академии, где всегда заседал за бутылками Ашбе, окруженный своими "сателлитами", самыми маститыми из учеников, приветствовавший нас по австрийски: "Servus!". Или — "Gruss Gott". С 2 до 4 — я был снова в школе и вечером еще работал с 5 до 7.

В этот первый год нашей мюнхенской жизни стояла удивительно красивая солнечная осень. Мы хорошо познакомились с городом, который нам становился совсем по душе. Мы полюбили его новые широкие улицы с фонтанами и длинные их перспективы, особенно любили "нашу" Леопольдштрассе с аллеей тополей и триумфальной аркой, увенченной колесницей, везомой львами. Мы любили гулять прохладным воскресным утром в Englischer Garten — огромном безлюдном парке, через который протекал быстрый желтый Изар и где сладостно пахло осенней увядшей листвой. Там стояла высокая Китайская башня, точно такая, как я увидел позже в Kew Gardens в Лондоне.

Я так ясно помню тогдашний юный облик моей жены, особенно в рамке этого осеннего парка. Она всегда была одета с "петербургским" вкусом, в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки. Часто на улице я видел, как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как "иностранка".

Потом поздней осенью настало время дождей и свирепых ветров и потому было особенно уютно дома по вечерам слушать то, что тогда она всего больше любила играть (мы взяли напрокат пианино) — баллады Шопена, или его Berceuse, или Ausschwung Шумана или его "Карнавал". И эти пьесы неразрывно связаны у меня с этим мюнхенским годом.

После злых ноябрьских ветров и непогоды вдруг наступила тихая зима — всё сразу покрылось пушистым глубоким снегом и когда в сумерках зажигались тусклые Фонари, в старинных улицах веяло подлинной старой уютной Германией. И особенно повеяло этим в Сочельник, когда темные дома горели всеми окнами и всюду в них видны были свечи рождественских елок. Мы часто ходили в эти

старые кварталы Мюнхена, с крутыми высокими крышами и нарядными фасадами барочных церквей, так красиво запорошенных снегом, который лежал по всем завиткам и карнизам. Это барокко как бы роднило Мюнхен с моей любимой Вильной и, может быть, именно тогда, в эти мюнхенские годы, мне стала открываться, уже сознательно, поэзия архитектуры.

Всю зиму мы жили уединенно и знакомство вели лишь с Клементьевым, учеником Репина, который за год до меня приехал из Петербурга в школу Ашбе, и его женой очень милой "хохлушкой", Верой Андреевной. Они тоже были недавно женаты. Он накопил большое количество фотографий с картин старых мастеров и было приятно и поучительно их вместе разглядывать. От жены же Клементьева моя жена научилась кой-чему по хозяйству, о котором до Мюнхена не имела никакого понятия и была тогда настоящей "белоручкой".

Как художник Клементьев мне ничего не мог дать и наши вкусы расходились, но мне нравилась в нем его пытливость и "жажда знаний", неудивительная, впрочем, у самоучки, каким он был. От него я узнал его "биографию", довольно необычную для нашего времени, борьбу с отцом, богатым волжским купцом, который жестоко противился его желанию стать художником — эта история была совсем в духе Островского. Сам Клементьев был весёлого нрава, остронос, в пенснэ со шнурком и носил модную тогда эспаньолку (я сам в Мюнхене завел бородку).

Мы стали часто гулять вместе с ним и нашими дамами. Под Новый год — ("Silwester") — пошли в Hofbrauhas — эта пивная была достопримечательностью Мюнхена — и видели ежегодную церемонию: длинной вереницей по всем помещениям проходили с кружками пива студенты и не студенты и приветствовали сидящих за столиками "Prosit Neujahr!". А весной, когда стало теплее, ездили несколько раз за город и побывали в Schleisheim'e и Nymphenburg'e. В первом видели картины весьма почитаемого в Германии Ганса Морреса,* а сам Нимфенбург — длинный белый дворец, несколько напоминавший наш Ораниенбаум, и его стриженный парк — нас совсем пленил своим особенным, почти игрушечным, уютом.

За зиму мы насмотрелись в Мюнхене разных уличных зрелищ. Ночью иногда бывали студенческие "факельцуги" очень эффектные, когда с музыкой несли знамена корпораций, а в веренице медленно двигающихся ландо восседали упитанные бурши со шпагами и

---

*Художник этот мало известен в Европе, он был как бы предшественником Бёклина. Некоторые его композиции напоминают Пювиса.

шарфами через плечо, в лосинах и высоких ботфортах, как я видел это ещё в Гейдельберге три года тому назад.

В полдень, ежедневно около дворца Принца-Регента происходил маленький парад — смена караула, по старинному баварскому ритуалу, и мы иногда ходили туда посмотреть, как офицер и солдаты в их голубой форме, совсем по балетному выделывают курьёзные па с невозмутимо серьёзными физиономиями. На соседней же Marien Platz тоже в полдень можно было подивиться и настоящему миниатюрному театру — процессии заводных фигурок, водруженных на фасаде ратуши и появляющихся из старинных башенных часов с огромным циферблатом. Это представление шло под очаровательный перезвон древних курантов.

Ранней весной мы видели во время карнавала "Fasching-schwang", — длиннейшую процессию колесниц проезжавших по Людвигштрассе, конечно с Гамбринусом, пивными бочками, Валкириями и Лорелеями, державшими гирлянды бумажных цветов и пр.. И насмотревшись всяких тяжеловесных немецких дурачеств (кто-то из сидевших в одной из колесниц, проезжая, посадил на пику каски шуцмана кренделёк и тот не заметив, так и продолжал стоять в строгой позе с этим украшением и это было ещё самое остроумное). Был дурацкий обычай во время этого карнавала щекотать встречных павлиньим пером. Один шутник когда мы сидели в кафе, дерзнул, проходя, коснутся пером щеки моей жены, — я вскипел и вскочил, а тот вполне резонно заметил: "если шуток не понимаете, то лучше сидите дома". Тут же Клементьев вздумал зарисовать одного толстого немца в свой альбомчик, тот заметил это и тоже вскипел: "Bitte nicht fixieren!".

Также весной, во время католического поста, каждые 10 лет в Мюнхене на улицах танцуюъ старинный "Schafflertanz". Нам повезло в этот год увидеть это зрелище. Обычай установился с XVII века, когда во время страшной чумы в Мюнхене для поднятия бодрости духа граждан, бургомистр Шефлер придумал развлекать их танцами. И теперь по традиции это продолжал устраивать город. Маленькая труппа танцоров, одетых в нарядные кафтаны баварских цветов, голубого и белого, в белых париках и чулках, исполняет маленький балет в течение недели в разных местах города. Сначала на площади перед дворцом, потом перед домами именитых граждан, а затем просто в удобных для этого местах на улицах и перекрестках. Танцы милы и наивны — это род "польки", при чем был "номер", когда

ставился боченок и на нем "корифей" держал концы обручей, украшенных цветами и лентами, а танцоры кружились вокруг. Весна была мокрая, и танцоры бодро шлёпали по лужам, не щадя белых чулок. Мотив старинной музыки — такой же милый и наивный как и танец, и он, конечно, запомнился.

Я очень усердно работал в школе и всё же находил время довольно часто бывать в обоих Пинакотеках — старой и новой — и в Schack Galerie — в последней нагляделся на Швиндта и на симпатичных мне "назарейцев". По Старой Пинакотеке я ходил довольно "слепым", но поражался железным рисунком Дюрера, который там действительно очень хорош (особенно его Апостолы) и полюбил романтического Альтдорфера. Я хорошо знал наш Эрмитаж, но тут мои знания очень расширились, тогда же я запоем читал и Мутера (мне прислал отец многотомное русское издание его истории искусства).

В Мюнхене мне приходилось видеть много художественных журналов и я начинал просвещаться в европейском искусстве, но больше в тогдашнем немецком. Тогда царили Бёклин и Франц Штук, и я тоже поддался общему увлечению этими двумя "кумирами" (оно началось у меня еще в Петербурге). К Бёклину, как к первой любви, у меня долго (втайне) держалось некое "благодарное чувство", пока я не увидел (уже в зрелые годы) в Базеле большое собрание его знаменитых картин бок-о-бок с французской живописью, полной прозрачности и света... В те же мои мюнхенские годы его считали гением, и помню тогдашние панегирики ему Грабаря, да и первые годы — в журнале "Мира Искусства".

В общем же, тогдашнее современное немецкое искусство меня оставило довольно равнодушным, а иные художники, как знаменитый тогда Lovis Corint и Klinger даже раздражали. Мне только нравились некоторые пейзажисты, особенно стилизатор Лейстиков и школа "Worpswede", а главным образом привлекала графика. Меня восхищал и график — Otto Dietz, часто печатаемый в "Jugend", и в "Симплициссимусе" — Т.Т. Heine и другие рисовальщики, и вообще этот журнал был самым острым и передовым в то время и я с нетерпением ждал выхода каждого номера.

Во втором полугодии я стал писать красками. У меня уже был маленький опыт, приобретенный в Петербурге в школе Дмитриева-

Кавказского, но я оказался по сравнению с моими коллегами изрядно безспомощным.

Живопись, которая царила в школе Ашбе, мне совсем не нравилась — все писали ярко, густо накладывая краски, при чем Ашбе требовал "nur mit grossen Pinseln arbeiten" и чтобы тонкие штрихи делались краем широкой кисти, а мелких кистей не признавал вовсе. Он говорил при этом, чтобы не смешивали красок на палитре ("получается-де грязь"), а чтоб разные краски черпали с палитры прямо на кисть, которые и соединялись бы в общем мазке. Тогда живопись будет сиять "nähmlich als Diamant", как он уверял и играл при этом своим бриллиантовым кольцом на мизинце ("nähmlich" было его любимое словечко). Этот ловкий прием мне казался фокусническим "трюком" и мне никак не давался. Я всё более убеждался, что красочная и жирная живопись, культивируемая у Ашбе, была совершенно лишена самого главного — тона и это было одним из тех разочарований в его школе, которые понудили меня ее оставить и в конце года перейти к другому учителю — Холлоши.

Я много слышал о его школе, которая, как говорили, была полной противоположностью школе Ашбе, и по всему, что я узнавал, она мне казалась и более серьезной и более художественной. От Ашбе многие туда перекочевали и я стал подумывать о том же. Особенно мне советовал это сделать Садковский, к мнению которого я прислушивался и с которым всё больше сближался. Он раньше занимался у Холлоши и считал его учителем исключительным и вообще — "настоящим художником".

На лето вся школа Холлоши уезжала в Венгрию, где писали на plein air. Всё, что я узнавал от Садковского, меня очень интересовало, а перспектива поехать в Венгрию меня соблазнила окончательно, и я решил вместе с Садковским изменить Ашбе. К нам присоединился и Клементьев.

Весной я познакомился с Симоном Холлоши и сговорился, чтобы начать занятия в Венгрии, в маленьком городке Nagy Banya (Надь-Баня) — родине Холлоши. Холлоши мне очень понравился, он был похож на цыгана (может быть, и был цыган) с черными волосами, лежавшими на лбу чёлкой, и слегка косящим глазом. Он рассмотрел мои рисунки и отметил как раз те, где более внимательно были разработаны детали, и одобрил некоторые мои опыты живописи.

ВЕНГРИЯ, ШКОЛА ХОЛЛОШИ

Мы с женой поехали отдельно от школы. По дороге остановились в прелестном Зальцбурге. Рано утром, гуляя, попали на базар и очаровались цветочным рынком, где не было обычных выкриков, а слышалось лишь перешептывание торговок, что показалось необыкновенно уютным! Немного задержались в Вене, поразившей нас после тихого Мюнхена своей праздичностью. Там успели побывать в картинной галерее Лихтенштейна и погулять по Пратеру. Остановились ненадолго и в очень красивом, но банально нарядном Будапеште, с его "голубым" Дунаем.

Венгерцы оказались настоящими "иностранцами", сплошь франтами с модной картинки, все "с иголочки", с бачками и нафабренными усами, чрезвычайно вежливые. Австрийские офицеры, затянутые в корсеты, щеголяли в своих необыкновенно эффектных, "униформах", совсем опереточных. И всё казалось почти маскарадным зрелищем.

Nagy Banya ("Большая Шахта") был старинный уютный городок и лежал у самой границы Румынии — там где начинаются отроги Карпат. Местоположение было очаровательно — с одной стороны высились лесистые горы, с другой, к югу — шла безконечная даль степей, и всё кругом тонуло в какойто бурной растительности. Мы поселились, как и все приехавшие из Мюнхена, за рекой (быстрая мелкая речка бирюзового цвета), в деревне под горой, где жили шахтёры (в горах добывалось золото). Домики были все разноцветные, "мазанки" — голубые, желтые, розовые, с палисадниками, как в Малороссии, и всё кругом было в яркой зелени. Мы жили у приветливой старушки Шнитко-Нени, муж которой, древний старик, ещё воевал с русскими в 1849 году! Нам отвели целую избу, где было совсем как в этнографических музеях. У нас были две горницы, и их разделяла кухня с большой печкой посередине и со множеством расписной посуды и тарелок, развешанных по стенам; в комнатах стояли высокие кровати с горой перин, на комоде — множество "Bondieuseries", стены были украшены картинками и даже, к удивлению, репродукциями (правда плохими) разных знаменитых религиозных картин, и лубочными иконами, а также портретами венгерских солдат: — герой скачет на лошади, размахивая саблей; — готовая картинка, литография, — а для лица вырезан кружок и вставлена Фотография. За домом был огород и росла необычайной высоты кукуруза, за огородом же бежал горный поток с ледяной водой, где было славно купаться по утрам. Рядом на потоке, работала лесопилка и это было единственным неудобством: нам не давала

покоя пила, визжавшая и гудевшая на все лады. Но потом привыкли и не замечали этой музыки. Тут же, у мельницы, деревенские девушки стирали бельё, и какие красивые песни они пели!

В городок мы ходили кое что купить (помню замечательную "салами", которая продавалась в лавке вместе с верёвками и сбруей), или посидеть в кофейной на тенистой площади, возле старинной башни. Из маленьких домов иногда слышались звуки цимбал, любимого в Венгрии инструмента, что бывало по вечерам очень поэтично. В городе была старая гостиница с большим двором и решетчатыми балконами, откуда одно время нам домой доставляли очень вкусные обеды, настоящие венгерские — гуляш с паприкой, лапшу с орехами и шафраном и другие удивительные пряные и медовые блюда.

За лето моя жена немного научилась по-венгерски и могла объясняться с нашими хозяевами и в лавках.

Иногда в городке бывали базары (я покупал там разные свистульки, чашки, горшочки, замечательно красиво и цветисто расписанные). На базаре, под палящим солнцем, можно было насмотреться на замечательные наряды венгерских крестьян. Они носили широчайшие белые штаны, как две юбки, широкие кожанные пояса, подобные броне со множеством пряжек и карманов, и маленькие круглые шляпы с цветочками. На базарах появлялись и русины и румыны. Иные носили в накидку свитки, расшитые узорами, а другие — род белых бурок.

Среди толпы двигались помещичьи коляски, приезжавшие откуда-то из степей запряженные цугом. На козлах сидели кучера с длинными усами, закрученными как штопоры, и щёлкали бичами.

На этом же базаре наша толстая Шнитко-Нени продавала в плошках студень из телячьих ножек, который она варила в своей кухне, где всю ночь виднелся свет. Но как она нас не угощала, мы не решались отведать этого варева.

За городом был цыганский табор; цыгане жили там, как пещерные люди, в землянках. Они были интереснейшие наши модели. Среди них часто позировала удивительная красавица, молоденькая Эстерка (через год она превратилась в толстую бабу!).

В школе работали на "открытом воздухе" — был для этого отведен дальний уголок в парке, там же стоял сарай из трех стен для работы в дурную погоду.

В школу приходилось идти по солнцепёку через цветущий,

заросший высокими травами, луг, и через загородный парк — очень большой и отлично устроенный. Там разгуливали элегантные офицеры в своих нарядных формах (где были сочетания кофе с молоком и бирюзы, или кирпичного цвета с небесно голубым, или с темно-синим) и дамы под зонтиками, в светлых летних платьях. В парке был ресторан, по вечерам освещенный лампионами, где мы иногда слушали музыку цыганского оркестра. Цыган-дирижер (с розовым галстуком!) играл на скрипке и когда видел что кто-нибудь задумается, заслушавшись его, отделялся от своего оркестра, приближался к слушателю и наигрывал над его ухом. Иногда же садился в цветочную клумбу и там заливался на скрипке. Цыгане тянули свои бесконечные "сердцещипательные мелодии", порой действительно очаровательные, подобные, может быть, тем, что слышал сам Брамс. Играли без нот, по слуху, и импровизировали. Среди этих музыкантов отличался один удивительной игрой на цимбалах; свой инструмент он ставил на пустой боченок для резонанса. Всё это было самое подлинное — мы были в сердце Венгрии!

Я с большим рвением принялся заниматься в новой обстановке и в новой среде. Так как работали на рассеянном свете, задачи для меня были совершенно новые. Холлоши всё время толковал о "чувстве" формы. Он при этом остерегал от излишнего подчеркивания ("nicht übertreiben"), остерегал и от сухости и замученности и всё время напоминал и требовал, чтобы линии, штрих, мазок были "свежими". Всё, что он говорил — с большим жаром и искренностью (часто указывая на сердце и стуча в грудь) — было гораздо тоньше, чем корректуры Ашбе. Он превосходно анализировал форму и благодаря его горячим внушениям все работали очень усердно. Он внушал внимательно вглядываться в характерное и индивидуальное. В противоположность Ашбе он не предлагал никаких готовых формул и в этом отношении был совершенно чужд академизму. Школа же Ашбе со своими рецептами по сравнению со школой Холлоши могла, действительно, казаться по-своему академической. То, что Холлоши при этом говорил нам о "впечатлении", больше всего приближало нас к сущности импрессионизма.

Я впервые у него понял значение тона в живописи. Чистые краски, которые процветали у Ашбе, тут были изгнаны и то, что мой новый учитель мне говорил, было действительно освежающим. Но технических указаний Холлоши почти не давал, предоставляя самим ученикам находить технику живописи, и этому мы учились друг у

друга. Кроме того же угля, которым рисовали у Ашбе, в школе было в ходу писание масляными красками в одном каком-нибудь цвете (обычно бралась жженная умбра) и светлые места или вытирались тряпкой со скипидаром или же это делалось с помощью. белил. Такими приемами я сделал несколько голов.

В Мюнхене было в ходу модное словечко "Kitsch", означавшее безвкусипу, подделку под искусство и эффектничанье, и вообще претенциозную "дешевку". Поэтому оно было ругательным словом. Холлоши воевал с малейшими проявлениями этого "кича" и жестоко высмеивал всякий "шик" и желание сделать "картинку". "Школа Ашбе" поэтому третировалась тут, как гнездо "кича".

Ученики обожали Холлоши. Во всем, что он говорил с таким искренним убеждением, сказывался настоящий артист. Как теперь я представляю себе, судя по его пейзажам, которые он мне показывал, он довольно близко стоял к французам (скорее всего к Писсаро или Будэну), хотя то, что он писал (как это нередко бывает у подобных ему энтузиастов — я вспоминаю Ционглинского!), было ниже того, что он нам давал, и того, что носил в себе.

В школе было около 25-ти человек, больше всего венгерцев. Из них особенно отличал Холлоши Мессароша — весьма странно и уродливо рисовавшего, хромого Ягельсбахера, очень талантливого и темпераментного художника (впоследствии, я видел его зрелые произведления в репродукциях). Из России, кроме нас с Клементьевым и Садковского — учился тот самый Зиновий Гржебин, который впоследствии, совсем оставив живопись так много сделал замечательного в России в издательском деле) — "Жупел", "Шиповник" и т.д.). Тогда он очень усередно работал и был одним из любимых учеников Холлоши. Гржебин принадлежал к школьной "богеме" и по вечерам постоянно сидел в ресторане в парке, слушая цыган, или в шумной компании в деревне распевал по ночам венгерские песни (помню одну про гусей: "сас любо э-чор-ба, ме нека фо-ю-ра, маринени варма.....). Гржебин был очень забавен со своим огромным носом, кудрявый, в очках, и ходил в русской белой рубашке с горошинками.

То лето было очень дружным и мирным в нашей школьной богеме, но, как я узнал впоследствии,, после моего отъезда в Россию, у Гржебина произошла настоящая дуэль с Мессарошем, в которую была замешана одна из наших учениц — очень скромная девушка-венка. Гржебин был ее "рыцарем". Дрались на эспадронах и накануне дуэли он всю ночь до зари упражнялся в фехтовании. Рассказывали, что во время дуэли Гржебин вошел в такой азарт и так искровянил противника, что его еле укротили, окатив водой из ведра. Это

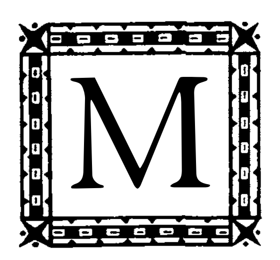
легендарное событие держалось втайне, и Гржебин сам никогда об этом не хотел вспоминать.

Тоскуя по отцу, которого я не видел почти год, я решил съездить к нему в Вильну (что от Венгрии было сравнительно близко). Пробыл у него недолго. Из моих рассказов он увидел, какой полной жизнью я живу и как много мне дает заграница. Когда я уезжал, отец отпустил со мной моего младшего брата Игоря, кадетика. Для путешествия его переодели в штатское и он был очень смешной в широкополой соломенной шляпе. В пути произошло трагикомическое приключение. Рано утром поезд остановился на какой-то станиции в Галиции, откуда я решил дать телеграмму моей жене о часе приезда. И к моему ужасу, выйдя из телеграфа на платформу, я увидел удаляющийся поезд. Такой кошмар бывает во сне. А поезд увозил спящего кадетика, не говорящего ни на одном языке, кроме русского, в чужеземную страну! На станиции понимали по-польски. Дали телеграму вдогонку поезду и разбудили спящего сладким сном мальчика, он испугался, но в конце концов понял, что ему надо меня ждать на узловой станиции. У него был билет, но ни копейки денег. Мне пришлось дожидаться несколько часов следующего курьерского поезда. Брата я нашел на вокзале в Кашау и первое его слово было: "есть!". Он голодал полдня. В Nagy Banya мы приехали только на следующий день утром. Игорь у нас провел недели две, наслаждался нашей жизнью. С Гржебиным он подружился и по утрам купался с ним в нашем горном ручье.

Из любопытства мы побывали вместе с учениками школы и в шахтах, где добывалось золото. На нас надели непромокаемые плащи — всюду текло. Мы слышали гулкие взрывы и оказалось потом, что во время этих взрывов мы беззаботно сидели на ящиках с динамитом! Видели голых рабочих, работавших кирками в тунелях при свете горных ламп, совсем картина Менье. Видели также, как промывают золото в весьма примитивных корытах.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЯЯ

ВТОРАЯ ЗИМА В МЮНХЕНЕ.



Ы ВЕРНУЛИСЬ в Мюнхен в начале августа и только что успели найти небольшую квартиру тоже в Швабинге, и взять на прокат кой-какую мебель, как родился наш первенец. Скоро у нас всё пришло в норму, наладилось хозяйство и появилась прислуга Марианна, настоящая немецкая "Гретхен" с косами вокруг головы, а затем появился у нее и жених "Schatz" — аккуратный немецкий солдатик, который когда я невзначай заходил на кухню, вскакивал и щёлкал каблуками становясь "во фронт".

От отца моего была получена телеграмма — благословение и пришел подарок-самовар, который немало удивил таможенных чиновников — тогда самовар в Германии был диковинкой, и мы много смеялись: они думали, что это какой-то музыкальный инструмент.

Когда вернулся из Венгрии Холлоши, я начал было работать у него в мастерской, но она была тёмная и тесная, и я стал ходить неаккуратно. В городской его школе все писали черно и тускло, и примеров, которым хотелось бы следовать, я не видел и стал подумывать о том, чтобы заниматься самостоятельно у себя на дому. Нанимать модель было конечно, гораздо дороже, чем учиться в школе. И после некоторых колебаний, я решил (хотя было неприятно обидеть Холлоши) снова ходить в школу Ашбе и работать там по примеру Садковского — "по своему".

В битком набитой учениками школе я как то сделал маслом интерьер мастерской с огромным абажуром висячей лампы на первом

плане и с высоким окном, где уже опять золотилась осенняя листва. Этот этюд увидел Ашбе и одобрил.

Хотя занятия мои были несистематичны, но этот второй год в Мюнхене дал чрезвычайно много для моего художественного развития. Я продолжал с увлечением штудировать Мутера — русский перевод его "Истории современной европейской живописи", где был дополнительный том о русском искусстве, составленный Александром Бенуа. Тогда же я "от доски до доски" стал читать все номера недавно лишь начавшего выходить в Петербурге дягилевского "Мира Искусства", которые мне давал Локкенберг, новый мой коллега по школе, а с января следующего, 1901 -го, года я сам начал получать этот журнал — его мне выписал мой отец. В "Мире Искусства я между прочим с интересом читал и корреспонденции Грабаря о мюнхенской художественной жизни и другие его статьи.

Локкенберг приехал из Петербурга и с ним мы много и увлекательно беседовали. Это был маленький блондин с тонким насмешливым голосом, очень подвижной (мы его прозвали "штопор"), его этюды в школе выделялись своей смелой красочностью. Он был необыкновенный энтузист и пламенный поклонник "Мира Искусства".

Меня продолжали интересовать работы Садковского, как и он сам, этот замкнутый человек. За ту зиму мы с ним больше сблизились. Когда мы узнали что он заболел и долго лежал без всякого ухода в своей холодной студии, моя жена стала посылать ему обеды, и после этого он особенно с нами подружился.

В эту зиму состоялось, наконец, моё знакомство с Грабарем, которое было вообще одним из самых счастливых и важных "событий" для всей моей дальнейшей художественной жизни.

Я стал бывать у него, он показывал свою живопись, очень "пастозную" и красочную, но сам он был ещё на "перепутьи". Помню его картину страшных толстых женщин в бриллиантах (инспирированных, конечно, известным рисунком Бёрдсли) и портрет элегантной дамы с собакой, где он пробовал пуантилистическую технику. Тогда же у Грабаря я познакомился с японскими гравюрами, их у него была большая и очень хорошая коллекция, и японское искусство тут впервые меня "укололо" Грабарь тогда уже оставил преподавание у Ашбе и жил вместе с кн. Щербатовым и скульптором К.К. Рауш фон Траубенберг. Они были неразлучны и три их фигуры были очень заметны в Мюнхене: гигант с детским личиком Щербатов в николаевской шинели с бобровым воротником, сутулый франтоватый Рауш в неизменном цилиндре и маленький коренастый Грабарь в зелёной тирольской шляпе с пёрышком. Грабарь был таким

же "здоровяком", каким оставался и впоследствии, только в Мюнхене он носил немецкие усы a la Вильгельм и бородку. По-немецки он говорил как немец — и щеголял баварским выговором.

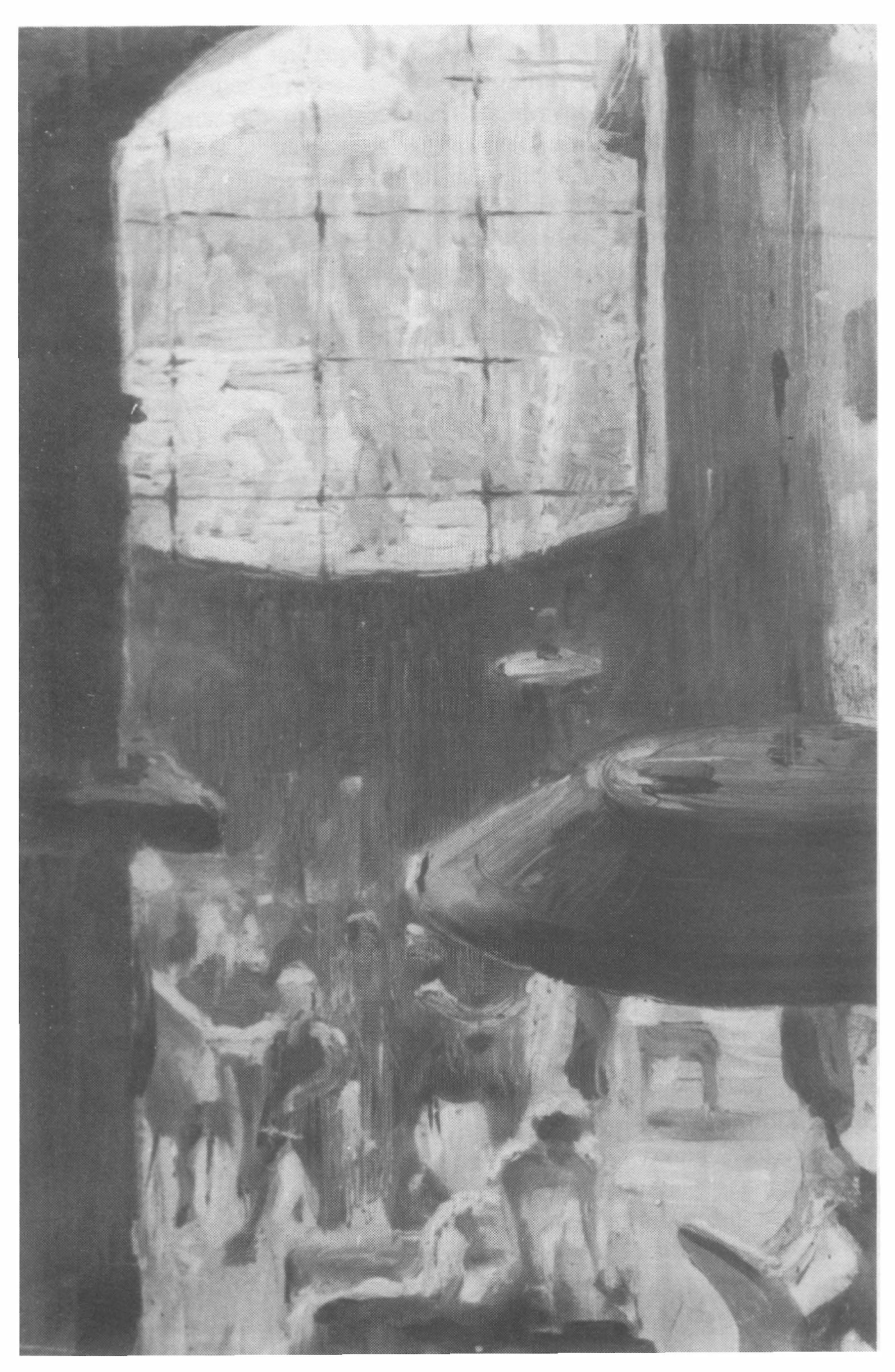
Грабарь стал часто приходить к нам и заинтересовался моими работами. Повидимому, тогда в моем "художественном младенчестве" он как будто уже в меня "поверил" и это меня очень окрыляло. Незаметно, иногда намеком, он открывал мне очень много нового и постепенно делался моим настоящим "ментором" в искусстве.

Грабарь вместе со своими сожителями уже собирался покидать Мюнхен, где он пробыл около 5-ти лет, чтобы ехать в Россию. У меня не было еще никаких планов на дальнейшее. Я мечтал втайне о Париже, но обстоятельства складывались так, что и мне тоже приходилось расстаться с заграницей. Я торопился взять всё что мог от Мюнхена.

Мы с женой продолжали жить обособленно и я держался в стороне от русского художественного центра — Веревкиной и Явленского (у которых собиралось много художников — и русских и немцев) — исключительно по той глупой причине, что стеснялся общества, потому я также избегал и русского посольства, где многие бывали. Знаком был лиш с Гулькевичем, секретарем посольства, очень воспитанным и приятным господином.

С Явленским я познакомился весной того же года. Основанное им и Веревкиной общество художников "Blaue Reiter", сыгравшее позднее большую роль в современном немецком искусстве, в то время только еще назревало, с обоими ими я ближе сошелся гораздо позже, в 1913 году, когда снова попал в Мюнхен.

Среди тогдашних "последователей" Грабаря был немец Др. Трейман (доктор философии) — самый преданный и покорный его ученик. Он даже старался походить и наружностью на своего учителя — носил такие же усы, бородку и так же коротко стригся, как Грабарь. Он недурно объяснялся по-русски, научившись языку самоучкой. Говорили, что (это было еще до меня) Грабарь одно время был совершенно невидим и замкнулся с Трейманом, делая всех интриговавшие опыты новых красок и какого-то небывалого нового связующего краски вещества — "медиума" для темперы. Рисовал Трейман превосходно, а его мастерская была настоящей "лабораторией алхимика". Так как красок полагалось не щадить, то он приготовлял их в количествах колоссальных и употреблял уже не тюбы, а огромные бычачьи пузыри, из которых краска выдавливалась на палитру в виде толстой колбасы. Палитра, конечно, тоже



М. В. Добужинский. "Мастерская в школе Ашбе" Мюнхен. Этюд маслом. 1900

была гигантских размеров, и я помню нестерпимую вонь от размоченных и сушащихся на веревках этих пузырей. Раз застал я очень занятное зрелище: чтобы достичь полной иллюзии на полотне и лучше сравнивать изображение с натурой, Трейман поставил мольберт рядом с натурщиком, а сам, воооруженный двухметровыми кистями, издали наносил ими краски, забившись чуть ли не в самый угол своей тесной студии. (Про их тогдашние эксперименты Грабарь в общих чертах вспоминает в своей автобиографии).

Некоторые бывшие ученики Ашбе — бар. Зедделер, Мурашко и ученицы его Мейерсон и Шабад, собирались для работы с натуры в небольшой студии, куда пригласили для руководства Явленского. Грабарь мне посоветовал поработать с этой группой и воспользоваться указаниями Явленского. Я туда ходил некоторое время тою весной, но та "пастозная" живопись, на которую меня "наводил Явленский, мне не удавалась, общение же с этим весьма культурным художником и очень милым человеком было приятно, и я много от него узнавал.

После всех моих колебаний в течение этой второй мюнхенской зимы мне опять захотелось вернуться к Холлоши и поехать в Венгрию, на природу, где работалось как-то свежее, и то, что я приобрел там, теперь мне показалось особенно ценным, а главное было мне по душе.

Добрый Холлоши простил мой "флирт" со школой Ашбе и ничего не имел против моего возвращения.

Тогда мне еще было неясно в чем именно противоположность этих двух мюнхенских мастерских. Тут можно было видеть два совершенно различных направления в подходе к натуре. У Ашбе — его принцип "большой линии" и "большой формы" логически вел к упрощению, к "плакатности", к декоративности — в конечном итоге к "деформации натуры, к отходу от реальности (помню, как кем-то провозглашенный тогда лозунг "Los von Natur" вызывал сенсацию в школе). У самого "последовательного" из последователей Ашбе Явленского, его "головы" постепенно превратились в чистые схемы (вероятно, чтобы выйти из тупика, он тогда уже обратился к примитивам и стал себя вдохновлять детским творчеством). Другой "ашбовец" — Кандинский — пошел гораздо дальше и его композиции можно назвать началом безпредметного искусства, столь заразившего современное абстрактное "творчество", и пресловутого немецкого экспрессионизма — "экспромты" Кандинского порывали со всякой реальностью. Но эти явления — более позднего времени, при мне до

этих эксцессов ещё было далеко, хотя зачатки уже появились.

У Холлоши в противоположность тому, что делалось в мастерской Ашбе было бережное отношение к натуре. Он взывал к своим ученикам, что форма должна восприниматься чувством, а не "холодным рассудком". Здесь было утверждение реальности, любование индивидуальной формой, и вообще, как бы "интимное" углубление в натуру.

Естественно, что в то время мне лично было трудно отдать предпочтение чему — либо одному — мне и то и другое начинало быть интересным — и такая двойственность во мне утвердилась и оставалась затем всегда в моём творчестве. В нём уживался "интимный реализм", как я про себя его называю, и одновременно влечение к стилю, к гротеску и даже к абстрактному.

Как живописец я получил от Мюнхена сравнительно мало: жирная и цветистая живопись, которая культивировалась у Ашбе, мне была не по нутру, у Холлоши я видел поиски "тона", но эту живопись справедливо упрекали в безцветности и даже грязи. Только когда я попал в Париж и воочию, а не по репродукциям, увидел картины импрессионистов, мне начало что-то открываться, но, к сожалению, остаться там, чтобы серьёзно заняться живописью я не мог и в дальнейшем шел своим собственным путём.

ПОЕЗДКА В ВЕНЕЦИЮ И В ПАРИЖ

Перед тем как снова поехать на второе лето в Венгрию к Холлоши мне посчастливилось весной побывать в Венеции и в Париже — впервые в моей жизни.

Перед отъездом в Венецию Грабарь меня снабдил самыми подробными указаниями, что можно увидеть за короткое время, бывшее в моём распоряжении. Снабдил и всякими практическими советами — и Венецию и Париж он знал превосходно. С помощью его я составил подробную программу путешествия и выполнил ее самым добросовестным образом.

Я поехал в конце апреля, в Мюнхене уже всё цвело и я был удивлён, проснувшись в вагоне от холода: кругом высились Альпы, всё было покрыто снегом и где-то далеко внизу, в синеве, поэтично светился огонёк. Я не заснул, жадно любуясь пейзажами, и с восходом солнца ехал уже по сияющей зелёной Ломбардии.

В Венеции в первые моменты было разочарование: закопчёный грязный вокзал и неожиданный маленький пароходик, вроде тех — "лёгкого финляндского пароходства", — которые бегали у нас по

Фонтанке, а я воображал, что одни гондолы. Но это было мимолётно — и я очутился в самом сердце Венеции, на площади св. Марка. По совету Грабаря я остановился именно тут, на этой площади, в комнатах "Cafe Negro", около знаменитых часов.

В моём распоряжении было два дня и я начал без устали ходить по лабиринту города, поглядывая на план, пробираясь по узеньким кривым набережным и мостам и нашел всё что было намечено и "азбучно" было необходимо узнать — и дворец Дожей, и Академию, и Scuola S. Rocco, несколько чудных церквей. В S. Marco меня больше всего восхитила на сводах искрящаяся поверхность золотых древних мозаик и весь собор был точно огромное ювелирное сокровище, а в S. Giorgio di Schiavoni — святой Георгий, поражающий дракона, Карпачио — длинная картина необычайной красоты (с тех пор, пожалуй и началась моя влюблённость в кватроченто). Разумеется, я вынес и огромное впечатление от Тинторетто — кумира всех нас, учившихся в Мюнхене, — в Венеции я мог вдоволь на него насмотреться.

Это путешествие для меня было как бы "приготовительный класс", тогда я ещё был недостаточно зрел, чтобы воспринимать всё, как надо, многого я просто не знал. В будущем мне предстояло несколько очаровательных путешествий по Италии. В то же первое посещение Венеции я ходил по городу просто, как турист — зевака, и был совсем опьянен этой весёлой весенней Венецией и ее "калейдоскопом" — и эти дивные церкви, и порхающие голубки на площади, и горбатые мосты, и на зелёной воде каналов чёрные гондолы с силуэтом гондольера на корме (совсем как у Гварди, я бы теперь сказал), и полосатые столбы для причала, и венецианки в чёрных шалях, разгуливающие по домашнему, с непокрытой головой. Всё было совсем как сновидение, и в памяти осталось туманным, каким всегда остаются сны.

Мне теперь трудно вспомнить тогдашние, мои самые первые впечатления Парижа. Столько раз я бывал в нем позднее, и подолгу живал, и они заслонились последующими впечатлениями. Но помню что прежде всего меня поразило — невероятная огромность Парижа, и общий серый цвет зданий (только позже я понял всю живописную прелесть и богатство этой серости). Я тонул и терялся, очутившись совершенно один в этом гигантском Париже, и в то же время совсем не было жутко, наоборот, — меня окружала какая-то пленительная и приветливая мягкость, точно всё мне улыбалось в Париже, при этом — кругом, на каждом шагу, было необыкновенно

интересно и даже, странно сказать, я скоро почувствовал, что точно я тут был когда-то, город стал казаться почти своим и родным.

Но лишь когда, значительно позже, я узнал колоссальный, серьёзный и мужественный Лондон, и величественный драгоценнный Рим — я мог уяснить себе, в чем единственность Парижа и при том, как женственен его "Genius Loci". Не даром Париж — Лютеция: она.

Я разыскал по адресу, данному мне кем-то у Ашбе, одного русского художника, который меня устроил в старом отеле на углу rue de l' Arbalet и rue Bertholet, в окрестностях Пантеона. У меня в комнате был старомодный альков с занавесками (что мне понравилось, как нечто бальзаковское), а на окнах — жалюзи. Утром меня будил смешливый гарсон; в ближайшей кофейне я пил кофе из громадной чашки, подобной нашей "полоскательнице", и устремлялся в недра Парижа — каждый день за новыми открытиями.

Едучи в Париж впервые, я заранее изучил план его и уже "предчувствовал" его по Золя и по Мопасану. И тогдашний Париж был действительно ещё Парижем Мопасана и Золя — с фиакрами, омнибусами, уличными криками, какими-то вкусными запахами, солдатами в красных штанах, толпой в цилиндрах и канотье. На больших бульварах (тогда это было самое модное место) я мог видеть нарядные туалеты дам, "dernier cri" тогдашней моды (большие шляпы, длинные платья, кружевные летние зонтики — Тулуз-Лотрек!). Я уже тогда, в первый раз в Париже, любил сесть за столик у какого-нибудь кафе и просто глазеть на прохожих (и позже это продолжало быть одним из больших моих удовольствий) — так всегда была занимательна и так необыкновенно живописна парижская улица, а из старинных уютных улочек Латинского квартала не хотелось бы и уходить — я смотрел во все глаза и подлинно упивался Парижем.

Я следовал и в Париже всем ценнейшим указаниям Грабаря, быстро ориентировался, побывал всюду, где только можно было успеть, видел самое главное — лазил на башню Notre Dame к химерам, поднимался на самый верх Tour Eiffel совсем ещё "молодой" — 12-ти летней, спускался в крипты Пантеона, постоял в Invalides у гробницы Наполеона, осмотрел все фрески Пювиса в Сорбонне и в Пантеоне, и ходил почти каждый день или в Лувр или в Клюни. В Лувре я больше всего был поражен не так "Моной Лизой"

как леонардовской же "Мадонной в скалах" и его же "Иоанном Крестителем". Оттого что у меня было так мало времени, — восприимчивость обострилась чрезвычайно и многое из увиденного в эти дни запомнилось навсегда.

Я съездил также и в Версаль где провёл полдня, и подивился божественному виду с террасы дворца на перспективу садов. Париж я тогда не рисовал — ещё не было у меня будущей моей привычки во время путешествия не расставаться с альбомом.

Я был всё время один, кроме того русского художника у меня в Париже не было ни души. Этот знакомый меня раз потащил куда-то очень далеко на лекцию модного тогда Макса Нордау (его "Вырождение", развенчивавшее гениев, я читал студентом) и помню безконечный обратный путь пешком в мой отель, через весь ночной Париж до Латинского квартала. Я вообще очень много шагал по Парижу, делая громадные концы и благодаря этому действительно хорошо знакомился с ним.

За эти счастливые несколько дней я по-настоящему "просветился": после Мюнхена на меня пахнуло совсем иным духом в искусстве, это были импрессионисты — новое для меня откровение. Я ехал в Париж, чтобы их увидеть, уже достаточно подготовленным — и репродукциями в журналах, и только что прочитанным Мутером, который особенно увлекательно пишет об этих художниках, и многое также мне открыл Золя в его "Oeuvre" (я так ясно себе представлял по роману живопись "Клода", даже казалось, чувствовался запах маслянной краски!). Но в Париже, когда я увидел подлинные произведения Мане, Моне, Ренуара и Дега — они меня совершенно ошеломили. Была большая удача: в магазине Дюран-Рюэля, куда меня тоже направил Грабарь, мне охотно показали множество этих именно художников — картины самого первого сорта, и я мог рассматривать их, даже беря в руки — удовольствие совершенно исключительное!

Каким-то образом я даже попал в собственную квартиру Дюран-Рюэля и видел в спальне знаменитый портрет девочки Ренуара!

Тут впервые я почувствовал какую-то как бы "драгоценность" трепетной и, казалось мне полной чувства техники этих замечательных мастеров, а угловатые движения и неожиданные позы, с необычной остротой запечатленные Дега, казались редкостными и восхитительными "находками". Он с этих пор стал одним из моих "богов" и навсегда.

Теперь, после Парижа, всё мюнхенское (и вообще немецкое) современное искусство мне представилось тяжелым, надуманным, и лишь то что давал мне Холлоши, было живым и свежим; только теперь я это мог вполне осознать. И как бы мне хотелось учиться и работать в Париже, дышать его воздухом, и жить среди этой прелести, которую я впервые узнал! Тяга туда искони существовала и сколько русских художников из тех, кто мне теперь становился так близок духовно, — из круга "Мира Искусства" — "прошли" через него. Ещё недавно, до того как я поехал в Мюнхен, в Париже работали и учились — Ал. Бенуа, Сомов, Бакст, Лансере, Остроумова, Коровин, Серов, а некоторые, как Шервашидзе и Рерих, жили там ешё и тогда (1901).

В тот же год из Мюнхена началась уже определённая тяга в Париж — уезжал бар. Зедделер, собирался Садковский. И из школы Холлоши — Гржебин и многие другие.

Увы, для меня тогда это было совершенно неосуществимо, и с этой грустной мыслью я вернулся в Мюнхен, хотя и обогащенный всем виденным.

ВТОРОЕ ЛЕТО В ВЕНГРИИ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ.

В Венгрию второй раз мы поехали, как только я вернулся из Парижа, в конце мая, с нашим малюткой еще не зная, что покидаем Мюнхен совсем. В Nagy Banya мы устроились там же, где в прошлом году, и наняли в помощь моей жене расторопную, весёлую деревенскую девочку по имени Торчи. В школе я работал с большим подъемом, — теперь исключительно маслом — и Холлоши одобрял мои этюды. Кроме того, я успевал рисовать в нашей деревушке и написал несколько пейзажей; пробовал и пастель. Я научился хорошо грунтовать холсты (у меня накопились разные рецепты) и этим делом занимался на нашей веранде, заросшей виноградом.

Скоро к нам опять приехал погостить Игорь — на этот раз он путешествовал самостоятельно и справился один благополучно.

Стояло чрезвычайно жаркое лето. По утрам мы купались в нашем горном ручье, всегда приходил сосед Гржебин, и мы продолжали дружить с ним и Садковским (Клементьевы уехали в Рыбинск) и по вечерам — нашей маленькой компанией — ходили в парк слушать цыганский оркестр.

Была поистине мирная идиллия. И тут случалась катастрофа — наш маленький скончался.

Как это переживалось — писать незачем. Нашему первенцу было

11 месяцев, был спокойный мальчик с милой улыбкой, и в гробике, среди цветов, он лежал, как маленький ангелочек.

И от друзей и даже от незнакомых людей, мы видели много сердечного, но похоронить маленького на чужбине не хотели и решили повезти его в Вильну... Было много хлопот со всякими разрешениями и все помогали.

Так кончилась наша заграничная жизнь.

В Вильне нас встретил отец, тогда он первый раз увидел мою жену, и меня до слез тронуло, когда его седая голова наклонилась чтобы поцеловать ее руку. Мы похоронили нашего малютку на красивом русском кладбище, рядом с моей маленькой сестрой Татьяной, под высоким деревом на самом обрыве холма... Мой отец увез нас с собой в Олиту, недалеко от Вильны, и там мы стали немного приходить в себя.

Отец окружил мою жену самым милым вниманием и мы жили у него точно в идеальной санатории. У отца была очень большая квартира в одном из офицерских флигелей артиллерийских казарм, стоявших среди векового, почти нетронутого, соснового леса стена которого была перед самыми окнами. Воздух был напоен смолистым ароматом и царила тишина, какой мы давно не знали.

Когда в этом лесу строились казармы, отец берег каждое дерево и куст, и между домами образовались маленькие садики, а около офицерского собрания уже разросся большой тенистый сад, где он настроил беседок и насадил цветов. Там жили маленькая серна и лисица, пойманные в лесу, а в большой клетке сидела сова — и я вспоминал, как в моем детстве в Петербурге, отец превратил нашу квартиру в маленький ботанический и зоологический сад, и лишь теперь его многолетние мечты осуществились и он, наконец, мог себе создать иллюзию почти помещичьей жизни.

Мы с женой часто ездили в коляске по шоссе или через лес в сторону Немана или вдоль полей, и я видел снова грустный и тихий литовский пейзаж: серое осеннее небо, с медленно летящей одинокой вороной или с быстрой стайкой воробьев.

Сельские кладбища, узорные литовские придорожные кресты, леса на горизонте, и бедное местечко Олита, где стоял красный деревянный костёл, я знал еще до Мюнхена, но теперь — после всего, что я видел за границей, этот уголок показался мне чрезвычайно своеобразным и очень живописным.

Мы побывали и в Вильне, — и снова мой любимый город меня очаровал. И в будущем Вильна с ея восхитительным изящным

барокко — после каждого моего путешествия за границу, когда проездом в Петербург я туда заезжал — всегда выдерживала экзамен сравнения.

Мы провели у моего отца десять — полных самого мирного уюта — дней. Тут я мог хорошо сосредоточиться и в беседах с отцом подвести итоги заграничной жизни.

Как начнется моя художественная жизнь в Петербурге было для меня туманным, После Мюнхена я чувствовал себя на перепутьи и не знал, что буду делать. И, по правде сказать, я очень скромно судил о своем даровании. Для своего художественного образования я сделал много и возвращался из-заграницы с большим багажом впечатлений и с некоторыми знаниями. Я, конечно, окреп в рисунке, но мне нравились слишком разные явления в искусстве, и каким путем пойду — я еще не мог дать себе отчета.

За мюнхенское время я почти совсем забыл то, к чему так начало меня тянуть еще в Петербурге — к иллюстрации и к стилю (мое увлечение прерафаэлитами и одновременно русским лубком, когда я был студентом). В Мюнхене же я лишь между делом и скорее для забавы жены, если вообще стоит упомянуть об этом — придумывал иногда виньетки, делая их невольно в стиле "Jugend'a". В конце же мюхенского пребывания я начал на память делать (пастелью и углем) городские мотивы (сделал дом на окрайне ночью и "Siegestor" с тополями) т.е. возвращался к тому, что началось ещё в университетские годы (мои первые перербургские мотивы). Но и будущее увлечение тогда ещё дремало во мне.

За годы учения в Мюнхене, делая безконечное количество "голов", сначала углем, потом маслом, я собственно продолжал мои портретные упражнения, которыми давно занимался, особенно в деревне летом у моей матери. Я подготовлял себя к портретной живописи, но в душе считал себя больше пейзажистом. Меня мучило, что многого в рисунке я ещё не успел достичь и, главное, я видел, что далеко ещё не овладел техникой маслянной живописи и не мог найти за столь недолгий срок. — что естественно — своих собственных приёмов. Кому-либо подражать сознательно мне претило. Я всё еще находился под "гипнозом" идеи, что только в маслянной живописи "настоящее" искусство, но уже японцы Хокусаи и Хирошиге и Французы, особенно Дега, картины которого сделаны и маслом, и пастелью, и "неизвестно как", — всё мне начинало открывать совершенно иные горизонты. И я грустил, что мало глотнул

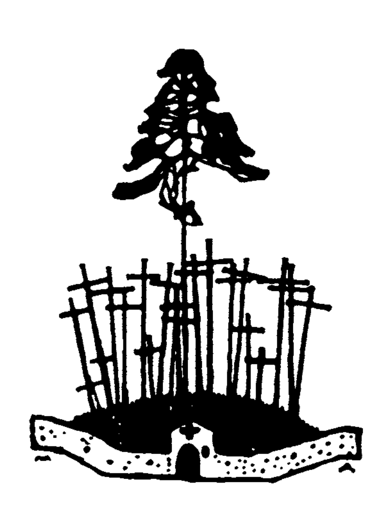
парижского воздуха и что нельзя было дольше остаться в Европе чтобы живописью заняться серьёзно.

Я знал, что в Петербурге началось нечто очень большое и новое в искусстве. Знал я это уже давно, и в Мюнхене меня это всё время волновало, это же и утешало при отъезде из заграницы. Я всё время был в курсе того, что там делалось и чем "горели" в "Мире Искусства, журнал в Мюнхене я читал, как уже говорил, с великим увлечением и незаметно для себя (и это было, пожалуй самым серьёзным приобретнием за мюнхенские годы) проникался его вкусом и чувствовал и верил, что для меня именно оттуда, как ex oriente lux.

Но издали мне казалось в то же время — и это меня смущало — что "там" знают нечто, что мне ещё не открылось, и я не решался мечтать, что могу приблизиться к этому "источнику света" куда меня так тянуло.

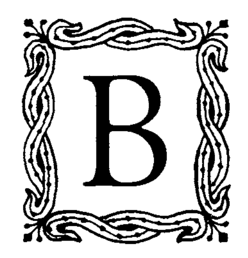
За границей я мало вспоминал Петербург — я жил среди слишком сильных и совершенно новых впечатлений, но теперь, перед возвращением, опять он начал всплывать передо мной, и я волновался — каким я найду его после всего, что я видел и как он меня встретит? В России же, иначе как в Петербурге, я, разумеется, и не мог представить себе нашей будушей жизни.

Но надо было начинать эту жизнь, и во второй половине августа мы уехали в Петербург.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

НА ПЕРЕПУТЬИ.



ПЕТЕРБУРГЕ, по взвращении из за границы, я до ужаса был поражен уровнем вкуса, который царил в петербургской жизни, но, к счастью, я не чувствовал себя одиноким — у меня был "компас и маяк" -- "Мир Искусства", где, я верил, сосредотачивается вся художественная правда. и который был для меня выразителем абсолютного вкуса -- хоть и казался тогда этот маяк мне недостягаемо далёким. К счастью для меня, через несколько месяцев в Петербурге появился мой мюнхенский "ментор" — Игорь Грабарь, и он очень помог мне найти точку опоры. Но вначале, пока Грабаря не было, я оставался совсем без "руля и ветрил", и не знал с кем посоветоваться и что делать, и тогда вдруг меня осенила неожиданная и вовсе не остроумная мысль: не поступить ли мне в Академию Художеств?...

Шесть лет до этого, студентом Университета, я провалился на вступительных экзаменах и с тех пор я не делал новых попыток в течение всего университетского курса. Уже тогда я критически относился к Академии, т.к. был хорошо осведомлен обо всём, что там делается.

Войну, объявленную "Миром Искусства" Академии Художеств, я с восторгом приветствовал и зачитывался еще в Мюнхене журналом Дягилева, и делался всё более революционно настроенным против сего "оплота и гнезда реакции" в русском искусстве. Теперь, после Мюнхена и тех новых "откровений", которые я получил за границей, когда я чувствовал себя обладателем некой истины в искусстве, — что могла мне дать Академия? Но у меня была мысль, что попав в нее, я мог пользоваться (и безплатно) живой натурой и воображал, что

смогу там продолжать работать как хочу, идти собственной дорогой... Мерещилась при этом еще и другая "высокая цель". Мысли мои были самые наивные: я был уверен, что проникнув в этот "вражеский стан" и показывая там пример "как надо работать", можно будет оживить академическую мертвечину и вообще сделать подкоп под академические "устои". Я забывал только, что для этого отважного дела надо было прежде всего быть принятым в эту Академию.... Но почему-то в этом я не сомневался.

И вот, в середине сентября, чувствуя себя немного как "тать", я очутился среди экзаменующихся в Рафаелевском зале Академии. Для меня было сюрпризом, что рядом со мной оказался мольберт Вальтера Локкенберга, моего товарища по школе Ашбе! В Мюнхене он был ярым поклонником "Мира Искусства", мы оба изучали каждый номер от доски до доски. Тут оказалось, что и он держит экзамен, полный также самых озорных намерений, как и я!

И мы тут же, "с места в карьер" начали "делать революцию", т.е. стали в перегонку писать натурщика по "грабаревски" — жирно, цветисто, с зелеными подпалинами не жалея масляной краски.

Оба наши этюда (насколько помню, вовсе не плохие и по живописи, и по рисунку) возбудили удивление, даже некоторую сенсацию, в "паузы" около наших холстов собирались группы экзаменовавшихся, профессора же молчаливо проходили мимо. Разумеется, за дерзкие краски приняты мы оба не были и "революцию" в Академии поднять не могли. Говорили, что на экзаменационном совете один Репин ратовал за принятие в Академию этих двух "бунтарей". Особенно высоки были мои шансы благодаря моему крепкому рисунку, но Совет не внял Репину.

Как бывало всегда в Академии, делалась потом выставка экзаменационных этюдов и можно было выставлять и принятым, и не принятым свои домашние работы. Я воспользовался этим и демонстративно выставил многие из моих мюнхенских рисунков, которые, говорят, обратили на себя внимание. (Это была моя первая выставка, если не считать ученической выставки школы Холлоши, бывшей летом того же года в Будапеште...)

Локкенберг год спустя экзаменовался наново и поступил таки в Академию и говорили, что учащихся действительно расшевелил. В дальнейшее время встречаться с ним приходилось редко. Помню на одной выставке "Мира Искусства" (кажется в 1907 году) его "Лихачей" (набережную в белую ночь), написанных в импрессионистической манере, по Грабарю. Потом он уехал в Китай, где и умер.

Моя провалившаяся попытка попасть в Академию никакого впечатления на меня не произвела — не то, что было, когда я не был

принят в Академию будучи студентом, — мне только было досадно, что я не смогу быть в мастерской Репина, что единственно казалось мне интересным. Среди профессоров только он один был истинно-талантливый художник, хоть и ужасал тем, что порой бывал безвкусен.* И я сделал, не желая сдаваться, и по совету некоторых, еще новую попытку, совершенно никчемушнюю, поступить частным образом в академическую мастерскую к Репину (он, как я знал, брал со стороны).

Я отважился принести к нему на квартиру в здании Академии папку моих мюнхенских работ и он, разложил их на рояле и разглядывая, говорил нараспев: "Ах, это так изящно у вас — вот чего не хватает нашим художникам!" Но всётаки мне отказал, якобы за "недостатком места"... Потом мне было всегда неприятно вспоминать этот визит к Илье Ефимовичу. Я знал, что уже несколько лет существовала "Тенишевская мастерская", где преподавал Репин (на Галёрной улице), но я теперь слышал столько курьёзов и анекдотов об этом преподавании, что никакой охоты стремиться туда не было. После неудачи с Репиным, моя знакомая по школе Ашбе Е.Н. Клокачева, которая теперь выступала в Академии на конкурс, устроила мне возможность заниматься частным образом в батальной мастерской проф. Ковалевского. Мастерская находилась в академическом саду, походила на оранжерею и там можно было писать почти как в "плэн-эре", даже огромных гвардейских лошадей в натуральную величину, казаков в черкесках, но это не привлекало меня. Зачем я туда попал? — меня самого это и конфузило и злило. До чего унылым мне всё там показалось после Мюнхена! И бездарная живопись, и вся атмосфера мастерской с несмолкаемыми простецкими шуточками учеников. После трёх или четырёх посещений я бежал без оглядки, оставив в мастерской свой белый халат и большую мюнхенскую палитру.

Всю эту эскападу с Академией я постарался поскорее забыть и никому не говорил ни об этой ненужной и глупой затее, ни об её провале.

После всех этих faux pas я опять стал возвращаться к давнему вопросу: только ли в одной масляной живописи и есть настоящее искусство? Сам я всегда, и может быть больше всего, любил *рисунок:* и уголь, и карандаш, и перо; меня привлекала и самая тонкая графика, — и тут неожиданно открылась возможность

*Особенно неприятна и фальшиво-театральна была одна из последних его картин "Пушкин на экзамене в Лицее", да и его кровопийца "Иван Грозный" меня коробил. (Ужасные "Какой простор" и "Отыди от Меня сатана" появились позже).

работать и учиться именно в этой области. Та же Е. Н. Клокачева познакомила меня с В.В. Матэ, профессором гравюры в Академии Художеств и он, увидев мои рисунки, охотно согласился принять меня "неофициальным учеником" в свою мастерскую, где занимался офортом и другими видами гравюры. Наконец я мог на чём-то одном сосредоточиться — то, чего я давно хотел.

В. В. МАТЭ.

Мастерская Матэ помещалась при его казенной квартире — в длинном круглом коридоре нижнего этажа Академии Художеств, куда я принёс ему показать мои рисунки пером и карандашом. Мои занятия там и общение с этом милым человеком были у меня первым просветом на заре этого периода моей жизни.

Василия Васильевича я полюбил; он был высокий и худой, с густой шевелюрой, длинной редкой бородой и добрейшими глазами. Он не был очень замечательным художником (помню, как он корпел над заказным офортом — портретом Нобеля, который он с мучением делал по фотографии, и который ему всё не удавался), но деревянные "тоновые" гравюры его были очень хороши, и в свое время были новым словом. Гимназистом лет 16-ти я скопировал пером его замечательную гравюру с репинской головы запорожца и был, так сказать, издавна заочно его учеником, что ему при случае и сказал.

Он был вообще отличний мастер по технике всех родов гравюры и давал хорошие советы, но ученикам своим предоставлял полную свободу. Среди профессоров он был "крайним левым" и был человеком отзывчивым на всё новое в искусстве. Но авторитета у него в Синклите Академии было мало, т.к. его там считали "блаженным". Среди учащихся он был очень популярен, но учеников у него было мало, я запомнил только одного: Быстренина.

Довольно скоро я научился офорту* и гравировал или в мастерской у Матэ, или носил медные доски домой. Узнал также и сложную технику акватинты, этот род гравюры особенно меня занимал и некоторые оттиски были удачны. В.В. показал мне также и приём деревянной гравюры, но как я ни старался, у меня ничего не получалось и не хватало достаточно терпения. (То же было и позже, когда через несколько лет хотела мной заняться А.П. Остроумова, бывшвя ученица того же Матэ, а тогда ставшая уже одним из близких моих друзей). Мне удавалось лишь резать на линолеуме.

---

*Сделал, между прочим, один из моих первых петербургских мотивов — "Крыши", воспроизведенный в моей "Графике" 1923 г.

Бывать у В.В. мне было приятно и потому, что я мог во время отдыха рассматривать его многочисленные книги по искусству и гравюры, и любоваться предметом моей зависти — большой коллекцией забавных русских народных игрушек. Сам я гимназистом начал собирать глиняные свистульки на деревенских базарах в Тамбовской губернии и был, так сказать, одним из пионеров этого собирательства, а потом увидел и у Александра Н. Бенуа еще большую коллекцию этих игрушек). Часто жена Матэ, круглолицая Ида Романовна, немка, задерживала меня на завтрак, за которым я иногда встречал дружившего с Матэ Серова (приезжая из Москвы, он останавливался у него, или у Дягилева). Серов меня очень стеснял, он был угрюм и молчалив, и этот "страх", который он внушал, как я узнал, был не только у меня одного. Изредка я приходил к Матэ вечером, когда позировала модель, и видел там Серова, сосредоточенно и точно сердито рисующего. Я очень любил уже тогда его искусство.

К сожалению я занимался у Матэ только в течение двух зим, и то с перерывами, потом же ходить к нему стало очень трудно из-за ненавистной службы, на которую мне пришлось поступить.

Жалею также, что в будущем я так мало занимался офортом (обратился к нему опять лишь в 1915-17 годах), увлекшись снова акватинтой, но это был лишь "эпизод" в моей художественной жизни. Гравёрные же приёмы, которые были усвоены у Матэ, я применил позже к литографии на камне и к моей "граттографии" (о чем ниже): процарапывание иглой.

Осенью 1902 года Матэ устроил в Академии выставку Blanc et Noir, и просил меня нарисовать обложку для каталога и предложил принять участие на выставке. С обложкой я опоздал, сделал только несколько проектов, на выставку же послал мои первые петербургские мотивы (уголь с пастелью): вид из окна нашей первой квартиры на 6-ой роте Измайловского полка — деревянный домик в снегу среди брандмауэров соседних домов. Тогда я был уже полон впечатлений вновь обретённого Петербурга, который меня поразил после заграничнего отсутствия, но выставленный рисунок, мой "дебют", остался совершенно незамеченным....

Несмотря на общение с милейшим Матэ, я чувствовал себя без опоры, до всего приходилось доходить своим умом — что, впрочем, было полезно. Тогда мне очень много давал, как было и в мои

студенческие годы, Эрмитаж, и после Мюнхенской Пинакотеки, Венецианской Академии и Лувра, я на многое глядел уже по новому. По прежнему очаровывался "Венерой" Тициана, "Мадонной" Франческо Франчиа и маленьким "Святым Георгием" Рафаэля, но теперь мне стали в Эрмитаже особенно милы голландцы, "фламандской школы пёстрый сор" (Пушкин), и в то же время я ходил на поклонение Пуссену — более всего меня очаровывала его дивная картина "Танкред и Эрминия"...

Чтобы не забывать живописи, еще до поступления к Матэ, я вздумал копировать в Эрмитаже и выбрал самое трудное: Веласкеза, "Голову Оливареса". Одно время работа у меня шла удачно, потом всё испортил — засушил, замучил — и бросил: было не по силам и никого не было, кто бы мог дать совет.*

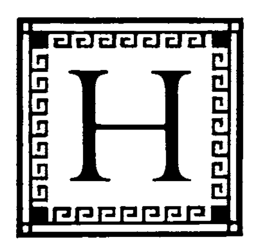
Тоскуя по Европе, я хотел взять как можно больше от того, что мне тогда давал Петербург, и в первую же осень записался слушателем в недавно открывшийся Археологический Институт (там, между прочим, читал лекции Рерих, за год до меня окончивший Петербургский Университет). Мне хотелось заполнить многие пробелы знаний в истории искусства и вообще в истории, и я теперь жалел, что напрасно потерял четыре года на юридическом факультете, вместо того, чтобы быть на историко-филологическом.

Но я брал на себя слишком много. По утрам я занимался у Матэ, дни стали уходить на начавшиеся хлопоты по поискам службы, куда, увы, надо было поступить для заработка, по вечерам Археологический Институт и огромные концы, которые приходилось делать, часто пешком, в течение дня, всё это крайне меня утомляло и скоро посещать Археологический Институт я уже был не в силах.

*Через очень много лет снова явилось желание копировать. Это было в 1914 году в Лондоне, но тогда я без ошибки сделал выбор — фрагмент из "Крещения Христа" Пьеро делла Франческа.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

"УКОЛЫ" ПЕТЕРБУРГА И ПЕРВЫЕ ПЕТЕРБУРГСКИЕ РИСУНКИ.



ЕСМОТРЯ на разные неудачи в первые месяцы моей петербургской жизни, и на будни, которые так меня угнетали, с самого начала по приезде в Петербург я ощущал всё время как-бы озарение и носил в себе чувство, похожее на влюбленность: меня совершенно поразил Петербург, который я увидел после двухлетнего отсутствия — теперь я смотрел на него совсем новыми глазами. Всегда я его любил, но никогда он меня так не волновал, как теперь по возвращении. Я его как бы забыл и теперь стал замечать всё то, что так его выявляет из всех городов, — я мог сравнивать, видев столько в Европе... Меня, конечно, восхитила тоже по новому его красота, которою любовался с детства — Нева и стройные ансамбли зданий, поразили величие и поэзия ампира. По новому утвердилось и жившее с детства, какое-то родное чувство, к монотонным казённым зданиям, удивительным петербургским перспективам, но еще острее меня теперь уколола изнанка города, его "недра", своей совсем особенной безысходной печалью и четкостью линий... Эти задние стены домов — кирпичные брандмауэры с их белыми полосами дымоходов, ровная линия крыш, точно с крепостными зубцами — бесконечными трубами, — спящие каналы, черные высокие штабеля дров, тёмные колодцы дворов, глухие заборы, пустыри — всё казалось небывало оригинальным, чего нигде нет на свете — только тут и существующим.

Я пристально вглядывался в графичные черты Петербурга, всматривался в кладку кирпичей голых неоштукатуренных стен и в этот их "ковровый" узор, который сам собою образуется в неровности и пятнах штукатурки, изучил и мог на память рисовать

тяжелые перила Екатериненского канала, и ажурные – Фонтанки, квазиготическое кружево перил реки Мойки и узоры других чугунных решёток на набережных. И это именно решётки, как и античные маски на замках окон и ворот ампирных зданий (сколько их и каких очаровательных было на улицах моего Измайловского полка) и замысловатые желтые консоли, и поддерживающие навесы подъездов — больше всего, мне казалось, таили в себе поэзию петербургской старины.. И не только эта "графичность" Петербурга и сумрачные черты его так поражали меня. После монохромных городов, которые я видел в Европе, я вдруг впервые заметил многокрасочность Петербурга; встречались красные, зелёные, белые, розовые, коричневые дома и домики в перемежку с казенными зданиями, выкрашенными в классическую желтую охру. Изумляли меня и контрасты: наряду со строгими ансамблями я видел знакомые с детства уютные, совсем провинциальные уголки, деревянные домишки со ставнями, стоящие бок-о-бок с многоэтажными домами, наивные вывески, полосатые пузатые барки, толпящиеся на Фонтанке, курьёзные "рыбные садки" на ней... И улица пестрела своей толпой, совсем еще как в моем детстве, и деревенский люд с своим живописным обличьем наполнял весь город.

Как раз в это время (1901-1902) была устроена в "Современном Искусстве" на Морской (предприятие кн. Щербатова и фон Мекка) выставка "Старого Петербурга" и я любовался на ней старинными литографиями Петербурга (а позже по примеру Бенуа и Сомова сам стал собирать их) и по ним можно было убедиться, как многое в уличной жизни Петербурга тогда еще сохранилось от старины и царило прежнее живописное смешение сословий.

Теперь я точно впервые увидел на яву то, что меня так смутно волновало в юности в романах Достоевского, и я всё больше чувствовал, что Петербург всем своим обликом, со всеми контрастами трагического, курьёзного, величественного и уютного действительно "единственный и самый фантастический город в мире".

Но не один Достоевский заполнял тогда мои мысли, они всё больше обращались к Пушкину, к его петербургским образам и вдохновенные рисунки Бенуа к "Медному Всаднику", только что появившиеся в свет, давали мне заразительный пример.

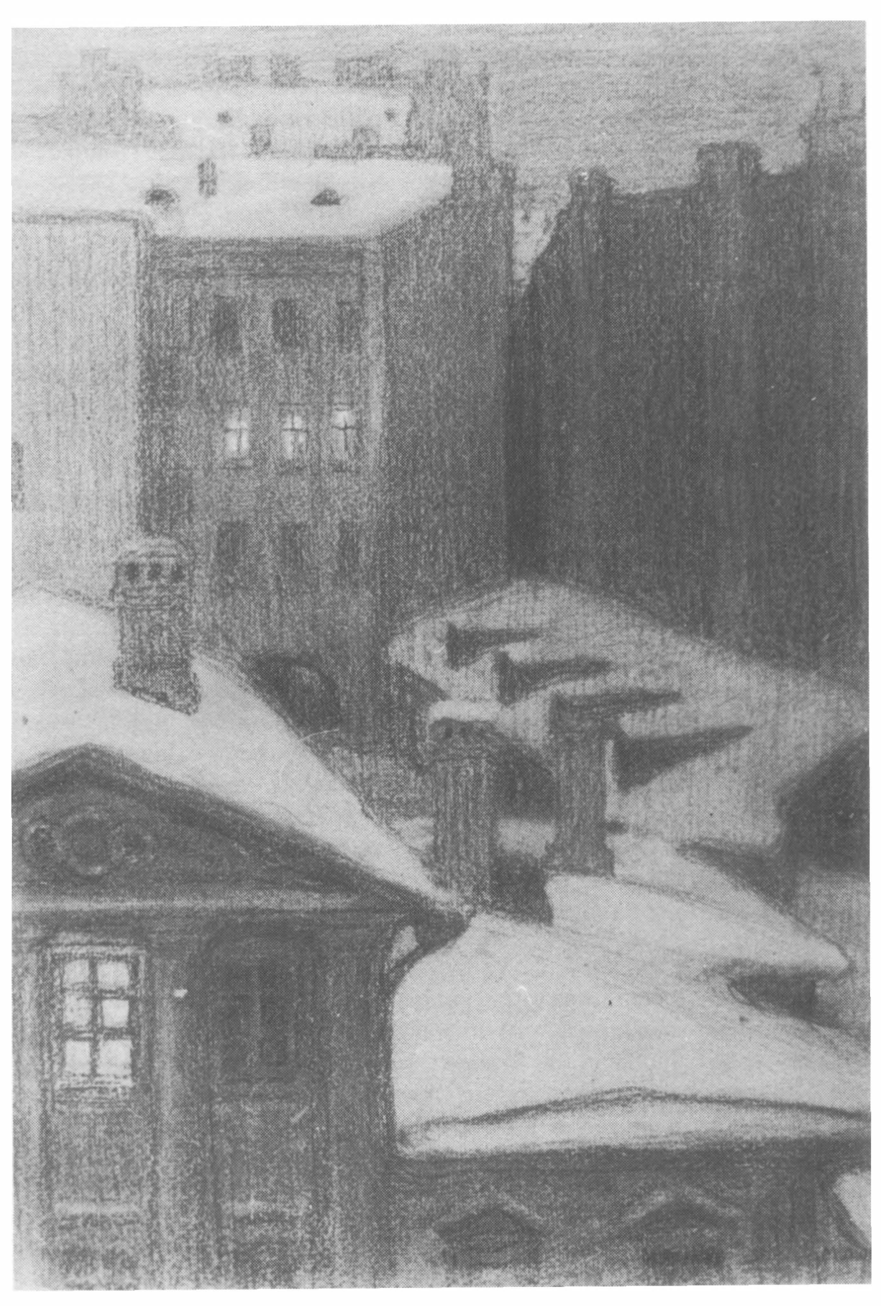
Я не только пассивно воспринимал все новые впечатления Петербурга, у меня рождалось неудержимое желание выразить то, что меня волновало. Волновало и то, что этот мир, каким я его увидел, кажется ни кем еще не был замечен и как художник я точно первый открываю его с его томительной и горькой поэзией. Конечно, я был охвачен, как и всё мое поколение, веяниями символизма и

естественно, что мне было близко ощущение тайны, чем, казалось, был полон Петербург, каким я его теперь видел...

Я не мог не любоваться красотами "вновь обретенного" Петербурга; но в те первые годы моей новой петербургской жизни это изображать меня совсем не тянуло. Я слишком был подавлен буднями этой жизни и все-таки сквозь пошлость и мрак петербургских будней я всё время чувствовал нечто страшно серьёзное и значительное, что таилось даже в самой удручающей изнанке "моего" Петербурга.

Я не помню точно, почему мы с женой выбрали именно Измайловский полк, чтобы там поселиться. Кажется просто подвернулась по газетному объявлению удобная квартира на 6-ой роте. "Роты" мне были знакомы еще в детстве: на первой роте когда-то жил дедушка, а в старинном доме Гарновского на углу Фонтанки, где были казармы Измайловского полка, жила моя тётя Катя Маклакова, и белый Троицкий Собор, который я знал и любил еще с детства — эти воспоминания делали почти родным это место. В тихих улицах ("ротах") и по-сейчас держался особенный петербургский уют, и стояли еще нетронутыми маленькие ампирные домики, каменные и деревянные, двухэтажные и трехэтажные, часто с мезонинами, с гипсовыми классическими масками или венками над окнами. Не шумной была и 6-ая рота, где находился только что выстроенный дом, в котором мы поселились. Из окон нашей квартиры в четвертом этаже видна была внизу крыша старого деревянного дома, окруженного высокими брандмауэрами — самый первый мой петербургский пейзаж. Из других окон видны были дворы и безконечные дымовые трубы. Через год мы переехали на соседнюю 7-ую роту, где и прожили целых семь лет. Улица была пролетарская, шумная, с извозчичьими дворами и трактирами. Но наш 5-ти этажный кирпичный дом стоял в глубине двора, отступя от улицы, на которую выходил длинный фасад низенького старинного особнячка хозяина, выкрашенный в зеленый цвет, со ставнями и белыми ампирными украшениями над окнами. Во дворе был садик с высохшим фонтанчиком посередине и высокими, хотя и чахлыми, деревьями и качелями. Сбоку же садика высились чёрные штабеля дров и целая гора каких-то красных саней — "розвален", на зиму куда-то исчезавших.

Эта неказистая, но ставшая мне милой, петербургская "усадьба" была неоднократно мной изображаема и в летнем ее виде, и в уютном



М. В. Добужинский. "Сумерки" Петербург. Итальянский карандаш и пастель. 1901-1902

снежном уборе.* Окрестности нашего жилища были мрачные, недалеко пролегал жуткий Обводный Канал, а наша улица упиралась в Забалканский проспект, всегда грохочущий от ломовиков, полный суетливого люда, одна из самых безобразных и даже страшных улиц, настоящий "Питер". На углу нашей 7-ой роты и Измайловского проспекта стоял старинный верстовой столб в виде обелиска, который придавал особую ноту этому пейзажу и слабо, но утешал.

В осеннюю липкую слякоть и унылый на много дней зарядивший петербургский дождик, казалось, вылезали изо всех щелей петербургские кошмары и "мелкие бесы" и я спешил пройти скорее угнетавшие меня места, подняв воротник до ушей и проклиная гнилую питерскую погоду, лужи и мокроту, забиравшуюся всегда в калоши. Я предпочитал с нашей 7-ой роты попадать на просторы Измайловского проспекта, на который выходила наша улица с другого конца. Там стоял ряд одинаковых зеленовато-белых кубов — казарм Измайловских солдат с палисадниками, один как другой и белела громада Троицкого Собора с колоннами и золотыми звёздами на синих главах. Тут было менее людно, казённо-чинно и веяло уже Санкт Петербургом.

Иногда я проходил узким Тарасовым переулком, от 1-ой роты к Фонтанке по проходному двору дома Тарасова и тут можно было переезжать на другую сторону Фонтанки на ялике, а зимой идти по протоптанной тропинке по льду. Это всё были тоже знакомые по детству края. По проходному двору я ходил маленьким за руку с моей няней, а от тёти из углового окна ее квартиры любил глядеть на Фонтанку, кишащую барками, посреди которых шмыгал маленький финляндский пароходик. Всё это было и теперь перед моими глазами.

Когда мы нанимали нашу квартиру на 7-ой роте, меня поразил вид из окон, выходивших на сторону, противоположную улице. Там был огромный пустырь с какими-то длинными непонятными погребами, обросшими высокой травой, а позади стояла глухая, дикого цвета стена, тоже чёрная, самая печальная и трагическая, какую можно себе представить, с пятнами сырости, облупленная и с одним лишь маленьким подслеповатым оконцем. Пустынная стена притягивала меня к себе неудержимо. Я гадал — что притаилось за этой стеной, где лишь изредка теплился тусклый огонёк в единственном окошке?...

*"Маленький домик в снегу" находится в Третьяковской галерее

Невольно я всё время думал о Достоевском — он снова стал теперь в Петербурге занимать мои мысли — и эта стена мне начинала казаться жилищем какого-то безвестного Макара Девушкина, в реальность которого я стал даже верить. Это становилось почти кошмаром.

Но во мне победил художник. Я почувствовал неодолимую потребность эту страшную стену изобразить и с величайшим волнением и пристально, с напряженным вниманием, со всеми ее трещинами и лишаями её и запечатлел, уже любуясь ею... — и она перестала меня угнетать. Я что-то *преодолел* и эта пастель была первым моим настоящим *творческим* произведением.*

Меня и теперь удивляет, почему меня привлекала эта сторона Петербурга, а не его "красота", которую я так любил с детства и продолжал любить уже сознательно; меня больше в ту пору пленяли эти далёкие от "красивости" черты Петербурга. Я любил выбрать такую точку зрения, чтобы композиция была острой, не банальной и тут всё время передо мной был пример Хирошиге.

Я продолжал рисовать "мой" Петербург для себя и может быть и естественно для моих настроений того времени, что мой вкус останавливался тогда на формах таких простых и даже суровых, лишённых всякой "красивости", как та стена. И всё больше и больше меня влекло изображать *графически* сам по себе чёткий и геометрический Петербург.

Ничто не мешало мне сосредоточиваться в те свободные часы, когда я с жадностью торопился рисовать. Моя семейная жизнь с ее уютом давала мне полное равновесие и душевный покой.

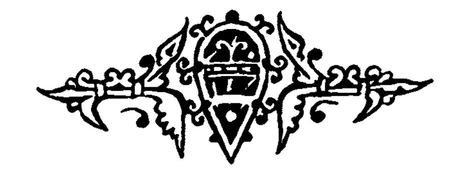
Я не думал, конечно, ни о каких выставках, то, что я делал было моё "заветное", я рисовал для себя самого, да вначале я и не знал никого, кому бы хотелось показать, что я делаю, и только когда приехал в Петербург Грабарь, мой мюнхенский ментор, он увидел у меня всё, что я делал и мои первые Петербургские мотивы. Первые петербургские рисунки я редко делал непосредственно с натуры — только, когда рисовал из окна.** На улицах же я делал небольшие наброски в маленький альбом или на кусочках бумаги, в самых общих чертах. Записывал и краски, и разрабатывал эти эскизы дома по

---

*Она была впоследствии приобретена Гиршманом, а затем перешла в Третьяковскую Галерею. Воспроизведена в журнале "Мир Искусства" за 1903 год.

**Мне очень везло на окна в Петербурге: из нашей квартиры я сделал "Крыши в снегу" (выставлено было на выставке Blanc et Noir в Академии в 1902 году), "Крыши" офорт, упомянутый "Двор" (стена), теперь в Третьяковской Галерее, "Белая ночь", "Дрова" пастель, была у Грабаря, затем у Д-ра Трояновского: позже использовал наш двор и садик неоднократно.

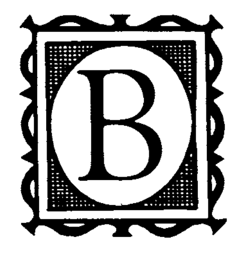
памяти, но часто возвращался на те же места со своим рисунком, чтобы всё проверить. Иногда же, упражняя память, старался на месте всё запомнить и рисовал уже дома "от себя". В Петербурге я долгое время стеснялся рисовать на улицах, и я делал точно контрабандой мои поспешные зарисовки. Это заставляло меня схватывать самую суть и с наибольшей простотой, не отвлекаясь деталями. Такое рисование придавало вероятно особую силу и жизнь моим городским мотивам. Робость свою рисовать в городе на людях я преодолел лишь позже, во время моих заграничных путешествий (с 1906 года), после чего и в Петербурге я отваживался рисовать даже на Невском (правда в ранние часы), не обращая внимания на прохожих.* Впоследствии это стеснение совершенно прошло, особенно после революции 1917 года.



*Две серии рисунков к так и не изданной Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг книге "Петербург" (1906 г.).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ



ЕРНУВШИСЬ в Петербург из Мюнхена, после двухлетних занятий живописью, я был полон желания прежде всего продолжать и тут учиться на натуре, но сразу же понял, что заниматься с такими же удобствами и свободой, как в Мюнхене, нечего было и думать. Там, как и в Париже было сколько угодно дешевых ателье, в Петербурге же такие студии были на перечет, а брать на дом модель было-бы совсем недоступно.

Как вообще образуется моя новая петербургская жизнь, мне было совершенно неясно и я находился в полном тумане. Теперь прежде всего приходилось серьезно думать о "земном", о том, какой и где найти источник заработка. Давать уроки рисования? Но я имел слишком маленький опыт (на четвертом курсе университета я занимался с одной девочкой, дочерью сенатора П.) и мне казались эти занятия ужасно скучными; рисовать карикатуры и опять иметь дело с пошлыми юмористическими журналами после Мюнхена мне представлялось уже каким-то позором. Заняться портретом мне не приходило и в голову, хотя к этому я, казалось, уже был достаточно подготовлен в Мюнхене — да и как получать заказ на портрет? При этом я всё еще тогда витал в облаках и порой мне казалось вообще профанацией менять творчество на деньги (каково это понять современному художнику!), поэтому я решил, что всего лучше найти постоянный заработок — безразлично какую бы то ни было работу, службу, занятие, должность, но только чтобы это было делом совершенно посторонним искусству, и даже чтобы никто и не знал, что я художник, а у себя " в тишине" делать то, в чем весь смысл моей жизни...

Тут и стали рождаться планы поступить именно на государственную службу...

В те времена, можно сказать, "все служили", это была старая традиция, которая еще крепко держалась в России, особенно в "чиновничьем городе" Петербурге. Служили потому, что это было "принято" и давало position sociale, а в будущем какую-то пенсию. Конечно, я думал не об этом, а лишь о жаловании, я утешал себя тем, что чиновниками были по воле судьбы многие люди искусства, и служба не мешала им быть писателями, поэтами, музыкантами. Служили иные недолго, другие и всю жизнь в Министерствах, и Глинка (в Министерстве Путей Сообщения!) и Чайковский, и Островский, и Салтыков-Щедрин (который был даже вице-губернатором) и Тютчев Лермонтов, Федотов и Мусоргский были офицерами гвардии, а Римский-Корсаков морским офицером. Даже Пушкин числился на государственной службе и должен был в иных случаях надевать ненавистный ему камер-юнкерский мундир.

Хотя в материальном отношении у нас с женой петербургская жизнь, как было и в Мюнхене, была скромно, но более или менее обеспечена, но я знал, как не легко моему отцу поддерживать меня, что меня тяготило. Еще в Мюнхене я подумывал о заработке, там только раз я попробовал послать мою акварель в Jugend но к моему конфузу ее получил обратно, хотя и с любезным письмом.

Самой интересной и симпатичной, и мне и моему отцу, с которым я обо всем советовался, казалась служба в Эрмитаже, или в Министерстве Иностранных Дел (перспектива консульской службы за границей!), но ни там, ни тут не было никаких протекций.* Вдруг, по наивности, мне пришло в голову: Министерство Народного Просвещения — ("просвещать народ")! Но когда об этом я написал отцу, он лишь посмеялся над моей наивностью, говоря, что ничего путного в этом Министерстве "Народного обалдения" не видит, и видеть не советует!

На государственную службу я решил поступить исключительно потому, что я знал, что в Петербурге чиновники являются в свое министерство не раньше 12 часов, а то и к часу, значит я имел бы всегда свободные утренние часы, чтобы заниматься своим делом...

Впрочем я решался на это с тяжелым сердцем — одно слово

*Через несколько лет я пытался поговорить об Эрмитаже с А. И. Сомовым, хранителем картинной галереи, отцом Кости Сомова, с которым я дружил, но понял, что это невозможно: требовались очень большие знания в истории искусства, которых тогда у меня не было.

"чиновник" меня угнетало; при моем свободолюбии стать "человеком 20-го числа" казалось мне кабалой и чем-то почти позорным. Мне хотелось только видеть себя в учреждении наиболее нейтральном и безобидном. Однако, куда либо поступить оказалось вовсе не так просто: чтобы быть принятым на казённую службу было недостаточно моего университетского диплома, даже первой степени, дающего сразу чин 10-го класса — нужна была еще личная рекомендация. И тут она случайно и нашлась, чтобы поступить неожиданно... в Министерство Путей Сообщения! Оно как раз и было "безобидным" и казалось вне политики, чего мне и хотелось. Кроме того было немного забавно: я считал себя с детства "путешественником" и эти "пути сообщения" мне были даже симпатичны. Все же в связи с моим зачислением на службу пришлось пережить много неприятного, даже угнетающего.

Протекция оказалась в лице приятеля всегдашнего моего "гения покровителя", дяди Феди, — Н.С. Терского, который меня знал еще гимназистом (лето в Силламягах!) и к которому я был направлен. Терский был в министерстве видной фигурой — был тайным советником, вице-директором канцелярии министра и управляющим "отделом по отчуждению имуществ" и в этот самый "отдел" я благодаря ему и мог поступить, но далеко не сразу: там вакансии не было и я сначала попал в другой департамент, находившийся на Итальянской улице в красном старинном доме, рядом с Пассажем, и носивший неуклюжее и тоже, вероятно, старинное название "Управление внутренних водных путей, шоссейных дорог и портов". Очутиться под такой вывеской было неожиданно и смешно, но на деле оказалось всё вовсе не забавно. Несмотря на протекцию, пришлось с визитной карточкой Терского дожидаться приема у директора этого учреждения, много дней подряд. Изнывая от скуки, я дежурил часами, слоняясь по темным унылым коридорам, изучал шкапы с пачками "дел" в синих обложках, перевязанных веревочкой, карнизы, покрытые паутиной и тусклые стекла перегородок. Меня бесила эта дурацкая роль просителя и я казался самому себе униженным, и, неизвестно за что, оскорбленным, в своем длинном сюртуке, жалко украшенным университетским значком в петлице, который я зачем-то нацеплял.

После почти целого месяца этого подлинного "хождения по мукам", я был зачислен на службу "сверх штата" и без всякого жалованья, и еще с предупреждением, что оно может быть мне назначено через год, а то и через два, когда откроется вакансия на "штатное место"...

Обстановка канцелярии, куда меня посадили, как нарочно, была

самая удручающая и мне показалось, что снова вернулась гимназия с ее уроками, даже было еще худшее и я себя чувствовал каким-то испытуемым, каким-то разжалованным и точно опороченным.

В огромной, унылой, полутёмной комнате, где вероятно никогда не мылись окна, и низко свисающие лампочки под зелёными абажурами горели иногда и днем, сидело множество чиновников и мне чудилось, что я среди сослуживцев Акакия Акакиевича. Чиновники были какие-то безликие, старые, поношенные, забытые и забитые, высиживавшие тут свою пенсию и гемморой. Точно это было свалочное место всех этих "чернильных душ", "крапивного семени".

С первых же дней меня вздумал дрессировать на должность мой столоначальник, наверное в прошлом бурсак и попович. Он задавал мне задачи, совсем как уроки, — составлять резолюции по каким-то делам Управления. Эта премудрость была не Бог весть как велика, но я ничего не смыслил ни в шоссейных путях, ни в приморских портах, и проекты моих резолюций вызывали его ехидные замечания и шуточки. Я принимал всё слишком всерьёз, эти испытания мне были отвратительны и порой всё казалось кошмаром. Дома я избегал даже говорить о том, что окружало меня на службе, я буквально отрясал ежедневно прах, возвращаясь к себе и понятно, как дорог был мне каждый час моей свободы. Как я хотел иметь хоть лишний часок — сколько бы я успел сделать! Я даже иногда мечтал с отчаяния — будь я в ссылке или в заключении, до какого совершенства я мог бы довести тогда свою графику! (Это было задолго до революции и *тогда* могли быть еще естественны подобные наивные мечтания...) В сущности я не должен был жаловаться: злачное место, куда я попал, давало как раз именно то, чего я и ждал от казённой службы: тут действительно не было ничего общего с тем, чем был полон мой внутренний мир, а утро и вечер были у меня к счастью совершенно свободны, и за те месяцы, когда я томился в этой канцелярии я очень много успевал рисовать у себя дома. Тогда именно я начал делать мои первые петербургские рисунки.

Глупее всего было то, что закабалив себя ради жалования, я на своей службе не получал пока ни копейки! Полагалось выдержать какой-то законный срок.* Но как раз именно под крышей этого допотопного учреждения открылся неожиданно источник небольшого постороннего и постоянного заработка. Среди моих скучных и

*Только почти через 2 года я стал получать настолько приличное жалование, что наконец мог не пользоватися той субсидей, которую получал от моего отца...

сонных геморроидальных сослуживцев оказался один жизнерадостный молодой человек Мазуркевич, круглолицый и румяный, с эспаниолкой и с золотым пенсне со шнурком, хохотун и анекдотист и вдобавок стихотворец — совсем роза среди чертополоха. (Злые языки говорили, что это он автор стишков на шоколадных этикетках, вроде: "как русский, так и эст. шоколад охотно ест".) Этот добродушный весельчак скоро познакомился со мной (я упорно держался в стороне от всех) и я узнал от него, что он постоянный сотрудник журнала "Шут". От скуки я раз не утерпел и нарисовал в карикатурном виде одного из чиновников. Мазуркевич подглядел карикатуру и ему пришла "блестящая мысль" делать вместе со мной еженедельную страницу в "Шуте". "Не-дельные (это казалось, вероятно, ужасно остроумно) наброски" и стал меня соблазнять верным заработком. И, увы, как меня ни коробило сотрудничество в этом пошловатом издании, я, скрепя сердце, согласился...

Гонорар был не блестящий — тот, что я получал в том же самом "Шуте", когда был студентом — ...7р.50к. за страницу, но в месяц я мог всё-таки заработать 30 рублей. Эти "тридцать серебренников", за которые я себя продавал, при дешевизне тогдашней петербургской жизни, были некоторым подспорьем.

Рисовал я "инкогнито" и вместо подписи ставил монограмму "М.Д.", которая походила на шляпу, и хотя злободневные темы были самые плоские, меня занимало выдумывать общую композицию страницы и упражняться в чистоте штриха. Приходилось рисовать типографской тушью, острым пером на толстой кальке и это требовало большой аккуратности. Потом я стал изобретать и новую технику: брал литографский карандаш и подкладывал под кальку разные шероховатые поверхности и проч. Некоторые рисунки всё-таки были довольно живы и орнаментальны, я несколько из них сохранил.

Как раз в это время, когда всё было так отвратительно, и эта служба, и "Шут", приехал в Петербург Грабарь и в моем "падении" я ему сейчас же признался. Он отнесся к сотрудничеству в "Шуте" очень неодобрительно, посоветовал это бросить и даже стращал, что если я мечтаю о "Мире Искусства" (это были еще мечты), то там это будет очень "mal vu". (Но я и не знал, что сам он в прошлом, студентом, грешил тем же "Шутом", а также "Стрекозой" и "Нивой" — он это скрывал...)

Когда я последовал его совету, на совести стало легче, сделать это

я мог и потому, что начал, наконец, получать маленькое жалование на службе....

Как это не было досадно и мучительно, но часть своего времени я и после вхождения в "Мир Искусства" продолжал уделять министерской службе, но там для меня произошла большая перемена к лучшему. В начале 1902 года открылась вакансия в "Отделе по отчуждению имуществ" при канцелярии Министра Путей Сообщения, я был переведен туда, в главное здание Министерства (Фонтанка 117) и обстановка моей службы значительно улучшилась.

Было удобно, что Министерство находилось близко от нашего жилища в Измайловском полку, всего в 12 минутах ходьбы (я дорожил каждой минутой утреннего времени и высчитал это). Как сказано, раньше часу никто на службу не приходил, сидели же в канцелярии до пяти часов, лишь очень редко задерживались позже и на дом дел не полагалось. Но я и тут продолжал тянуть служебную лямку без жалования. Моя должность была "И.О." (исполняющий обязанности) младшего помощника делопроизводителя. И первое жалование — 45 р. в месяц — было назначено только через полтора года, когда я перестал быть "И.О." и был "осчастливлен" утверждением в должности и в чине коллежского секретаря. Многие находили, что всё это редкое по быстроте начало служебной карьеры и даже поздравляли!!

При этом как-то случалось, что я никакой присяги, как всегда делалось при поступлении на государственную службу, не приносил, и в моем паспорте не было отмечено, что я чиновник. Я продолжал быть окончившим университет с дипломом "1-ой степени и сыном генерал-майора" — что мне давало в дальнейшем право получать заграничные паспорта без спроса у своего начальства.

Мои сослуживцы в Отделе по отчуждению имуществ были теперь другие, всё это были, за редкими исключениями, люди с высшим образованием и молодые. Эта канцелярия считалась как-бы "штатской гвардией" в Петербурге, хотя и не была столь "шикарным" местом службы, как Министерство Двора, Иностранных дел и др., но и тут была "золотая молодежь", много бывших лицеистов и правоведов здесь тоже делали карьеру. В общем это были люди хорошего воспитания и то, что называется "люди общества", они были отлично одеты и ношение формы считалось плохим тоном. Вицмундир надевался лишь в случае личного доклада в Совете Министра,

но так наряжались лишь "делопроизводители" и "чиновники особых поручений", которых было мало.

Хоть теперь всё окружающее меня было "чином выше", я чувствовал себя и здесь совсем чужим. Разговоры, которые велись на службе (за стаканом неизменного чая), клонились обычно к картам, скачкам, бегам, клубным происшествиям, злословию и к анекдотам. Взгляды царили, конечно, "нововременские" и снобические. Принимать участие в подобных разговорах мне претило и я держался в стороне, молчал и рисковал прослыть гордецом или чудаком. Года три никто из сослуживцев и не подозревал во мне художника.

Дела, которыми занимались в нашей канцелярии, касались вознаграждения за отчуждавшуюся землю, отходившую под новые жел.-дор. линии. Когда между собственниками земли и жел.-дор. Управлением добровольного соглашения не достигалось, дело поступало в наш отдел и тут решался спор или в пользу владельцев, или в пользу жел. дорог. Министерство, конечно, мирволило последним — резолюцию утверждал Совет Министра. В некоторых же более сложных случаях дела передавались на заключение Госуд. Совета. Собственно эта процедура являлась канцелярским судопроизводством, вроде дореформенного суда. И была настоящей "волокитой".

Помощники делопроизводителей, каким был я, должны были приготовлять по таким делам доклады в Совет Министра, т.е. излагать "обстоятельства этих дел", и составлять проект "заключения" — всё это с трафаретными канцелярскими выражениями, чему научиться было не трудно.

Так как "обстоятельства" этих дел бывали довольно сложные и дела довольно толстые, то чтобы приготовить экстракт из множества документов, надо было иногда порядочно над ними покорпеть. В своих "заключениях" я старался быть "судьей праведным", чтобы не потворствовать "эксплуататорам" — управлениям жел. дорог, которые норовили, конечно, платить как можно меньше за отчуждаемые земли, особенно крестьянам, часто тут одурачиваемым.

Мой прямой начальник, делопроизводитель, доклад этот проверял и обычно жестоко кромсал и от моей резолюции часто ничего не оставалось — шли насмарку все мои старания о справедливости.

Особых юридических знаний эти канцелярские упражнения не требовали и не стоило, конечно, кончать Университет, чтобы вершить подобные дела, и меня удивляло, как люди могли посвящать всю свою жизнь такому скучному занятию.

К счастью, дела по отчуждению не бывали однообразными (мой "стол" ведал отчуждениями под Рязанскую и Московско-Виндаво-

Рыбинскую жел. дор.) и моя "работа" монотонной и отупляющей не была. Меня развлекали иногда корявые прошения крестьян — одни самодельные, жалко наивные, другие витиеватые — произведения сельских писарей и "аблокатов" (помню, один стараясь почтительней выразиться, написал: "снисходительно ходатайствую перед вашими сиятельствами"). Бывали и почерки столь забавные и замысловатые, что я копировал буквы, как образчики порой замечательной каллиграфии.

Но как всё, что меня окружало и всё, чем приходилось заниматься, было далеко от главного интереса моей жизни за стенами Министерства. И какой бессмыслицей казалась эта пустая трата времени! Иногда в этой канцелярии решительно нечего было делать и приходилось лишь высиживать положенные часы, к счастью, не очень долгие. Тогда я тайком порисовывал. И тут за моим канцелярским столом (покрытым зеленым сукном и со многими ящиками) сделано было много маленьких рисунков, идей разных виньеток, букв, обложек, первых мыслей будущих композиций — и шаржей на моих сослуживцев. И когда я наконец ушел из Министерства, все эти ящики оказались полными моих набросков.*

Первые годы моим начальством ("делопроизводителем") был А.А. Венценосцев, хлыщеватый, энергичный и быстрый молодой человек в пенсне и с холёной бородкой, начинавший делать большую карьеру: в петлице его виц-мундира висел Владимир. Он был попович и наверное гордился, что его громкая фамилия рифмовала с Победоносцев (тот тоже был "кутейник"). Отец мой в письме как-то спросил: "Ну, что твой "Звездочетов"? Я проговорился моим сослуживцам и так за ним это прозвище и осталось. Как начальник со своими подчиненными он держался вполне прилично и скоро вознесся от нас в какие-то очень большие бюрократические высоты. Его заменил милейший Мих. Вас. Луначарский, старший и сводный брат будущего Наркома.

Он был типичный украинец, похожий на Тараса Григорьевича Шевченко своей лысиной и усами, был с барской ленцой и громко зевал в своём кабинете. Ко мне и к моему наступившему тогда крайнему нерадению (это было уже на 5-ый год моей службы) он относился очень благодушно и с его согласия я даже стал два раза в неделю уезжать из Министерства преподавать в школу живописи

---

*В отставку, как это ни невероятно, я ушел, прослужив почти 7 лет, в 1909 году, когда у меня начались большие театральные работы. Уже три последние года перед этим я решил это сделать, но еще не мог найти в себе мужества бросить службу. Жалованье мое тогда было 150 руб. в месяц..

Званцевой. Так как школа была очень далеко, то обычно в тот день я и не возвращался обратно.

В громоздкой министерской машине многие винты и колёса просто бездействовали, при чем без всякого вреда для тяжелого и медленного хода этой государственной машины. Она действовала так, как ей полагалось, ибо всегда находились "без лести преданные" и ревностные служаки, которые работали за двоих. Никаких "угрызений совести" от собственной нерадивости, будучи одним из маленьких колёсиков машины, я не испытывал, так как служил не хуже и не лучше большинства моих сослуживцев. Иногда, впрочем, Михаил Васильевич меня стыдил: "М.В., голубчик, вы всё-таки как-нибудь закончите мне этот докладец". Как можно было после этого жаловаться на службу?

Надо упомянуть, что этот почтенный статский советник был недурной певец — бас, и выступал в концертах и в опере — кажется, в Панаевском театре, и всегда под своей собственной фамилией, Луначарского. Говорили, что он был хороший Борис Годунов в дошаляпинское время.

Более высоких начальствующих лиц никогда почти не было видно, изредка появлялся приветливый Г.Г. Гильшер, бывший, кажется, камергер и мой добрый Терский, а совсем редко А.А. Ермолов, начальник канцелярии министра, элегантный, слегка согбенный старец. Самое же высшее начальство: министр и члены совета — уже совсем были скрыты от глаз облаками, окружающими вершину Олимпа.*

Теперь, на склоне лет, я вспоминаю все те годы моей службы уже без всякой злобы. И как всегда в памяти всплывает больше хорошего, чем дурного... Но тогда, когда всё это было ежедневной реальностью и изо дня в день повторялось, я не находил в себе благодушия, не мог примириться, и порой во мне подымалась настоящая ненависть и презрение ко всему, что меня окружало на службе. Но всё — и угнетающие и отрадные впечатления на ней и люди, с которыми мне приходилось изо дня в день встречаться — всё это было лишь небольшой частью моей тогдашней жизни, а то, чем я жил за стенами министерства и было самое настояшее. Но всё-таки эта двойная жизнь не мешала моему искусству. Даже, может быть, наоборот. Я

*При мне переменилось три министра. Я застал еще кн. Хилкова, которого непочтительно прозвали "Хилкач", хотя непочтительного отношения он, кажется, не заслуживал: он был человек "американской складки" — ездил в Америку изучать пути сообшания, и говорят, служил там машинистом на железных дорогах. В подражание Аврааму Линкольну он брил усы и носил такую же бородку.

носил в себе скрытый от других мой любимый мир и в этом, конечно, была своя романтика. И как я зачитывался тогда Гофманом...

К счастью, у меня было природное чувство юмора и оно помогало не принимать "кошмара действительности" слишком всерьёз. Надо отдать справедливость и тем людям, которыми я был окружен на службе: мои сослуживцы, как я говорил, были тактичны, благовоспитаны и сдержаны, как и полагалось настоящим петербуржцам, и мне нравилось, что они мной мало интересовались, а когда гораздо позже всем стало известно, что я художник, я видел как это импонировало им, начальство же, как я говорил, стало мне давать разные поблажки. Понемногу — "рыбак рыбака видит издалека" — я нашёл в той же канцелярии и настоящих моих единомышленников как и я тяготившихся службой и имевших то или иное отношение к искусству и литературе, что было совершенно неожиданно и вообще замечательно для нашей петербургской жизни.

Впрочем, наша канцелярия, где делопроизводители пели в опере, а чиновники писали картинки или сочиняли стихи, не была исключением в чиновничьем мире С. Петербурга. В Государственном Контроле, самом бюрократическом и скучном учреждении, заведующий им знаменитый Тертий Иванович Филиппов был музыкант-любитель и много сделал в области хорового пения. В том же Контроле, как я потом узнал, был чиновником В.В. Розанов и тайком от своих друзей служил А.П. Нурок, постоянный сотрудник "Мира Искусства" и один из его столпов, и кто знал, что такое Контроль и знал взгляды "Силена" (как подписывал свои ядовитые статьи Альфред Павлович), это было совершенно пародоксально! Надо еще добавить, что в нашем Отделе по отчуждению имуществ, во главе Юрисконсульской части стоял Деларов, известный в Петербурге коллекционер и большой знаток искусства. (Этого сангвиника с бородой а ля Тинторетто можно было часто встретить на соседнем с Министерством Александровском рынке-толкучке, как и длинного с моноклем старика — барона Врангеля-отца, копающихся в старом хламе в поисках "Жемчужин", которые там действительно можно было находить.*

*Петербург был настоящее "золотое дно". Рерих и Браз, например, не выезжая из Петербурга, собрали замечательные коллекции стрых фламандцев и бронз эпохи Ренессанса, выискивая их у петербургских старьёвщиков. Александровский рынок притягивал и меня. Было соблазнительно, идя со службы, заходить в его галерии, где за гроши можно было покупать разные курьёзы и "скурильности", вынятки, гравюры, фарфор, и старинную мебель. Теперь даже непонятно, как при моих с женой маленьких средствах я мог собрать столько милой старины, коллекционировать и понемногу так красиво обставить нашу петербугскую квартиру.

Со мной в одной комнате сидели над такими же, как у меня бумагами, и куда-то часто исчезали бывшие правоведы — толстяк Офросимов и усач Зворыкин, — "два Аякса", потом оказалось, что они брали уроки гармонии и контрапункта в Консерватории у Лядова. Они, кажется, первые, когда я стал вылезать из своего футляра, узнали, что я художник. Как-то сам собой завёлся обычай, что возле моего стола собирались "соседи" из других отделений канцелярии и получался род "клуба", что скрашивало унылые служебные часы. Больше всего шумел, ероша свою шевелюру, Н. Н. Евреинов (тоже, как многие другие, бывший правовед), тот самый Евреинов, в будущем театральный бунтарь, режиссер, драматург и памфлетист, одно пребывание которого в стенах министерства и среди корректной компании его сослуживцев казалось абсурдом. И вся его фигура — грива волос, бритое лицо (что тогда было редкостью), какие-то клетчатые костюмы, его стучащие по коридорам "американские" ботинки, и громкий голос — всё будило сонное канцелярское царство.*

Самым старшим по возрасту среди всех был седоватый и глуховатый Н.Н. Вентцель писавший в "Новом Времени" часто очень остроумные стихи и пародии под псевдонимом "Бенедикт", который был и превосходный переводчик. Появлялся иногда в этом же кружке и Вейкот, критик и тоже переводчик.

Ближе чем с другими я скоро сошелся с Константином Александровичем Сюннербергом. Он был "чиновником особых поручений" и опять же, как и многие в нашем "Отделе", он окончил Училище Правоведения. Он был на редкость образованный человек и настоящий "европеец" (по крови швед). В нем было привлекательно какое-то внутреннее изящество и аристократизм, по внешности же он мог казаться "сухарем" и "человеком в футляре". Он был худ, почти тощ, носил аккуратно подстриженную бородку, был чистоплотен до брезгливости и у него были удивительно красивые руки. Он был весь как-бы "застёгнутый", даже его очки с голубоватыми стёклами были точно его "щитом", и когда он их снимал, представлялася совсем другим человеком. Вскоре я понял, что ему не менее тяжко на службе и что у него та же двойственность жизни, и это нас еще больше сближало. С ним всегда было интересно беседовать, обоих нас интересовала современная поэзия он сам писал стихи и особенно увлекательны были наши беседы у него на дому, когда в них

---

*Он уже был знаменит: поставил в Суворинском театре свою невероятно претенциозную пьесу с ужасным названием "Красивый деспот" (!). Позже Евреинов издал забавную и парадоксальную книгу "Оригина о портретистах", где вспомнил "Отдел по отчуждению имуществ" и меня среди своих сослуживцев.

участвовал приезжавший из Ярославля его родственник Байков, профессор Демидовского Лицея. Он был неутомимый и задорный спорщик, и мы засиживались до поздней ночи. У Сюннерберга выработалась своя теория творчества, философски обоснованная, которую он развивал в своих критических статьях, а затем в своих книгах "Красота и свобода", "Цель творчества" и др. Впоследствии для сборника его стихов "Плен" я нарисовал ему обложку.

Я любил бывать в пустой, приготовленной на лето квартире моего приятеля· без ковров и портьер в комнатах делалось гулко и сами они казались больше, а в окна глядело перламутровое небо белой ночи. Меня всё время притягивал широкий вид из окна этой квартиры на огороды с зеленеющими грядами, на чёрные штабеля дров, какие то задние дворы и бесконечные заборы и на стены далёких разноцветных домов с фабричными трубами позади. И я много раз рисовал этот вид и на этом фоне через несколько лет я сделал его большой поколенный портрет.*

Когда я сблизился с кругом "Мира Искусства", я свел Сюннерберга с моими новыми друзьями, но у Бенуа он бывал редко, он был там несколько чужим. Также я познакомил его с редакцией московского журнала "Весы", в котором он и стал сотрудником. Меня же он ввел в среду писателей и поэтов (Георгий Чулков, Федор Сологуб и Алексей Ремизов у него бывали). Впервые я также встретился у него с Мейерхольдом.

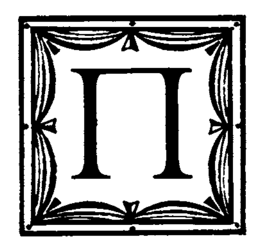
Константин Александрович был женат на очень милой, красивой, полной горения, Варваре Михайловне, с которой вскоре познакомилась и сблизилась моя жена. Их квартира была недалеко от нашей и мы часто ходили друг к другу за всё время моей службы и жизни в Измайловском полку. Он был в курсе всех моих работ. Когда мы переехали в 1909 году в другой район Петербурга, далекий от прежних мест, и я одновременно, наконец, оставил мою службу в министерстве, встречаться с Сюннербергом приходилось редко. При этом я очень много времени стал проводить в Москве, в МХТ, и моя жизнь, как и вообще художественная жизнь тех лет чрезвычайно усложнилась — я "разрывался на части" (не помню даже встречался ли я с Сюннербергом в "Аполлоне" — редакция стала тогда художественным центром Петербурга), и дружба наша как-то незаметно и необъяснимо растаяла...

---

*"Человек в очках", который находится в Третьяковской галерее (название было придумано Грабарем).

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

ВХОЖДЕНИЕ В КРУГ "МИРА ИСКУССТВА"



РИЕЗД Грабаря в Петербург был для меня самым радостным событием и с ним я стал с тех пор очень часто встречаться. У меня накопилось к его приезду много работ и ему первому я и решил показать некоторые из моих рисунков Петербурга.

Эти темы он особенно поощрил, но ждал от меня, продолжая роль ментора, всё большего и большего севершенства в смысле техники, постоянно толкуя о "мастерстве". У Грабаря был особенный педагогический дар — угадывание самых слабых сторон своего ученика и умение ему подсказать именно то, что он чувствовал еще смутно; так было со мной, при этом он был безжалостный критик, что тоже было полезно. Еще в Мюнхене он очень много помог моему художественному развитию, и я всегда оставался ему признателен за то, что он давал мне такие драгоценные указания перед моими первыми поездками в Венецию и Париж, где благодаря этому я успел увидеть самое замечательное. Теперь, в Петербурге, наше общение стало еще более тесным и дружеским. Грабарь был олицетворением жизнерадностности и по наружности был таким же — здоровяк и крепыш с лоснящейся круглой головой — с крепко сидящим на носу пенсне и круглым подбородком; он всегда был в прекрасном настроении и его серьёзность часто переходила в забавную, совсем детскую, шутливость.

Я начал бывать и у него на Васильевском острове, где он имел отличную студию в доме Дервиза, и где я видел много его свежих и ярких этюдов, сделанных уже в России, под Москвой, главным образом в имении князя Сергея Щербатова, где он гостил после Мюнхена. Мне его этюды очень нравились — это были всё осенние и

зимние пейзажи и их пуантилистическая манера была для русских художников совершенной новостью.

Очень ценным было для меня в беседах с Грабарем и то, что иногда, благодаря одному его намёку, мне открывались, можно сказать, некие "тайны" архитектуры. Именно тогда стал расти во мне серьёзный интерес к архитектуре вообще, который благодаря также последуюшему общению с Александром Бенуа (а затем и благодаря театру) занял такое большое место в моей художественной жизни. Грабарь в этой области был очень сведущ, он не только прошёл весь курс архитектурного отделения в Мюнхенском Политихникуме, но проявил уже себя и архитектором — строителем: как раз в то время под Москвой по его проектам в стиле строгой классики сооружался целый госпитальный городок (больница имени Захарьина).

Формы и пропорции русского ампира, среди которого я отчасти вырос, теперь я стал сознательно усваивать, изучая по настоящему архитектуру старого Петербурга. На многое, как я говорил, мне открыл глаза журнал "Мир Искусства", а теперь Грабарь, когда мы вместе ходили по городу он многое мне объяснял и на месте. Так, между прочим, мне раскрылось всё величие архитектуры Томоновской Биржи и нашего замечательного Адмиралтейства. И с каким наслаждением я всматривался в восхитительные детали его фризов, масок над окнами и в другие архитектурные украшения...

Мы оба возмущались порчей Петербурга, которая началась еше с середины века и продолжалась на наших глазах, когда производили возмутительные переделки старинных зданий (помню, как мы негодовали на перестройку Константиновского училища) и я даже начал составлять список этих безобразий.

Грабарю я также обязан первым знакомством с Японским искусством — еще в Мюнхене я видел у него гравюры Хокусаи, Хирошиге и Утамаро. Теперь у него были и новые листы. В 1902 году в Петербурге появился маленький и весёлый японец Хасегава, немного говоривший по-русски, который посещал многих художников и приносил превосходные японские гравюры и их у него охотно раскупали, тем более что и цены были невысокие. Это было за три года до японской войны и многие потом, вспоминая Хасегаву, полагали, что он был соглядатай и какой нибудь офицер японского генерального штаба, может быть даже генерал! Я сам, хоть и не мог много тратить, купил несколько гравюр и книжку "Мангуа" Хокусаи.*

*Кроме Хироше и Хокусаи у меня были Купийоши, Кунисада, Тойакуни, Эйсен и др. После своего отъезда в Москву, Грабарь подарил мне несколько замечательных листов...

Особенно поражал меня Хиросиге своей неожиданной композицией и декоративностью своих пейзажей. Его выбор угла зрения и "отрезка натуры" были огромным для меня открытием.

После этого какими вялыми и бескостными показались мне картины русских художников, особенно же передвижников с точки зрения композиции были совершенно пустые.

Всматриваясь в эти японские гравюры, я очаровывался их сдержанной красочной гаммой и декоративностью композиций, всё больше входил во внутрь этого странного мира и совершенно влюблялся в него.

К японцам с тех пор я периодически "возвращался", но и до сего дня это искусство мне остается "нужным".

В начале зимы 1902 года Грабарь посвятил меня в его планы "Художественного Предприятия", как оно было "по деловому" названо, — "Современное Искусство". Оно возникло независимо от Дягилевских выставок и журнала и было параллельным ростком нашего искусства. Дело это субсидировано было москвичами — кн. С.А. Щербатовым и Н.Н. фон Мекком, которые были и инициаторами, и осуществлялось под наблюдением Грабаря.

Цель была — создать ряд "показательных" интерьеров со всей обстановкой, куда наши художники круга "Мира Искусства" могли бы вложить свой вкус к изящному и чувство стиля — всё то, что совершенно утрачено было в петербургском быту.

Дело было начато очень широко: было нанято большое помещение в самом оживлённом месте Петербурга, на Большой Морской (против дома Общества Поощрения Художеств, точно в пику этому старомодному учреждению). Помещение — целый этаж — было совершенно перестроено и разделено на ряд зал и отдельных комнат, отделка же их, как и вся мебель и все предметы обстановки исполнялись по рисункам Бакста, Алекс. Бенуа, Лансере, Коровина и Головина.

"Современное Искусство" открылось в январе 1903 года. Предполагалось, что по истине необыкновенно красивое убранство комнат явится блестящим сюрпризом и ошеломит петербургскую публику, даст толчок вкусу, чуть ли не создаст новую эру... Так думал и предвещал энтузиаст Грабарь.

Действительно была великолепна тёмно-синия столовая Бенуа-Лансере с белыми пилястрами, с бирюзового цвета панно, с белой мебелью и тяжёлой хрустальной люстрой; был очарователен овальный будуар Бакста с малиновым ковром, тонкими трельяжами и зеркальными стенами, и очень уютная "чайная комната" Коровина с ткаными панно, изображающими осеннюю кленовую листву.

Полуэтажом выше ютилась низенькая "светёлка", придуманная Головиным, в сказочном русском духе с весело раскрашенной резьбой, с совами, райскими птицами и с большим ликом солнца на узорчатом потолке. Этот теремок, хотя и выпадал из общего стиля, будучи черезчур "театральным" — был настоящий маленький chef d'oevre и невиданная в Петербурге новость.

Для картинных выставок были отведены два зала, устроенные по образцу Дягилевских выставок, на европейский манер, что было "новым словом", со стенами, затянутыми светлым холстом и широкой развеской картин в один ярус. Аппетитные соломенные циновки, покрывавшие пол и цветы, украшавшие залы, придавали выставке еще более привлекательный вид.

Первая выставка, открытая в "Современном Искусстве", была К.А. Сомова. Теперь даже трудно понять почему тогдашняя критика и публика так были озлоблены и возмущались его искусством. Сомова называли "кривлякой" "декадентом", особенно газета "Новое Время" изощрялась в глумлении. Между тем эта выставка для тех,кто чувствовал прелесть его искусства и тонкость его мастерства, была настоящим праздником. Тогда было показано всё лучшее, что вообще было им сделано — всё раннее его творчество, полное грустной и острой "сомовской" поэзии. (Была и его очаровательная "Дама в голубом", которая была приобретана в Третяковскую галерею.) Признание пришло гораздо позднее и тогдашняя выставка успеха не имела несмотря на "рекламу", которую сделало ей посещение царской четой этой выставки

Снобическая публика могла зато получать удовольствие на выставке в том же помещении, видя драгоценные ювелирные изделия Ренэ Лялика, которые были "dernier cris" преходящей парижской моды того времени.

Также не имела того успеха, какой был бы наверное, будь она устроена несколькими годами позже, — следующая выставка — "Старого Петербурга". На ней были показаны старинные изображения Петербурга из коллекций немногосчисленных еше тогда собирателей — С.С. Боткина, кн. В.А. Аргутинского-Долгорукого, А.Н. Бенуа и больше всего из собрания П.Я. Дашкова — и всё это заполнило оба выставочных зала. На выставке был показан во всей красе Петербург, запечатленный в гравюрах, литографиях рисунках и отчасти в картинах за всё время его существования, начиная с огромных "панорамных" видов Зубова, Валериани и Махаева Петровской и Елизаветинской эпохи. Выставка была одним из

стимулов к возникновению у нас в последующие годы культа Старого Петербурга, к появлению множества книг, ему посвященных, а затем и организации "Музея старого Петербурга".*

Нечего и говорить, каким наслаждением эта выставка явилась для меня, как и следующая, открытая в "Современном Искусстве" японских гравюр. На ней были первосортные оттиски из тех, что привёз Хасегава, которые теперь находились в руках главным образом Бенуа, Грабаря и Сомова (выставил и я одну из гравюр), а также из замечательной коллекции морского офицера Китаева.

Последней по счёту была выставка Н.К. Рериха. Его сильные и глубокие краски и суровое настроение картин, всегда крепко "построенных", весьма импонировали. Тут он тоже был, как и Сомов, представлен превосходно. Кажется на его выставке я с ним познакомился.

По закрытии выставки Рериха закрылось и "Современное Искусство" благодаря крайней неподготовленности публики и враждебному отношению прессы, получился полный провал. Публика почти не ходила и, конечно, никаких заказов на обстановку комнат не последовало. Вся эта изысканность предназначалась для очень богатых людей, стоила очень дорого и ей было не место и не время. Четырехлетние усилия журнала "Мир Искусства", проводника нового вкуса, еще не давали в нашей жизни каких-либо заметных плодов...

Так кончилось "Современное Искусство" — это весьма несвоевременное предприятие ("Дон Кихотское", как выразился впоследствии сам Грабарь) — полузабытый эпизод нашего петербургского "Ренессанса". Оно было увековечено журналом "Мир Искусства": номер 5-ый в 1903 году был посвящен целиком ему с репродукциями всех интерьеров. Само "Современное Искусство" выпустило с текстом Грабаря иллюстрированную монографию Сомова и книжку о японской цветной гравюре. Очень скоро предприятие было ликвидировано. Будуар Бакста и столовая Бенуа-Лансере были перевезены кн. Щербатовым в Москву в его новый дом (постройки Таманова) на Новинском бульваре, а Головинский теремок — в его подмосковское имение "Нару "

Грабарь по ликвидации дела окончательно покинул Петербург и в

*Впервые, можно сказать, открыл глаза на красоту Петербурга и высказал интерес к городу, воспетому Пушкиным, журнал "Мир Искусства": вышедший за год до этой выставки номер 1-ый 1901 года был целиком посвящен петербургской архитектуре с замечательной статьей Александра Бенуа и рисунками Лансере и Остроумовой.

Москве начиналась его разнообразная и полная энергии деятельность — издание грандиозной "Истории Русского Искусства", а позже директорство в Третьяковской галерее и проч. Свободное время он посвящал живописи, живя в имении "Дуччино" своего приятеля, художника Мещерина, на дочери которого — Валентине Михайловне — он тогда женился. Изредка он приезжал в Петербург и останавливался у меня в квартире; общение с ним не прерывалось, а когда с 1909 года начались мои частые наезды в Москву, я побывал и в его "Дуччине".

После выставок в "Современном Искусстве" новым событием для меня лично была очередная выставка журнала "Мир Искусства" в Пассаже, где поразил всех удивительный "Поверженный Демон" Врубеля.* Там же были картины Сомова, Алекс. Бенуа, Лансере, Бакста — тех художников, которые мне стали любимы еще с первой выставки "Мира Искусства" в 1898 г. в Музее Штиглица. Ее я посещал будучи еше студентом.

Лето 1903 г. как предыдущее я провёл опять в Олите с женой и маленькой Верочкой, родившейся сразу по приезде в Петербург, у отца и за это время там и в моей любимой Вильне я сделал, уже по новому, много рисунков, раскрашенных акварелью и графических. Новое было в том, что я стал смелее в технике, начинал острее выбирать точку зрения и крепче компоновал.

Бывая в Вильне я впервые, если не считать 2-3 рисунков, сделанных мной еще студентом, — стал рисовать и уголки — двор, заваленный ящиками с верхушкой барочной колокольни над ним, длинную пустую стену костёла Петра и Павла с деревцом впереди и разные другие мелькие архитектурные мотивы, а в Олите зарисовал красный деревянный костёл с оградой из ббулыжников и какой-то каменный сарай у реки. В лесу я тоже рисовал, но мало удачно.

Больше всего я рисовал в Вильне в следующие года, наезжая из Петербурга. Я уже тогда не стеснялся рисовать на улицах. Рисовать было уютно, никто мне не мешал, только иногда скверно пахло в живописнейшем виленском "гетто", которое я больше всего облюбовал — с его узенькими и кривыми уличками, пересеченными арками и с разноцветными домами. Когда я уходил после рисования, то старые торговки-еврейки, сидевшие у "ринштоков" со своими корзинками, говорили: "приходите еще к нам", а раз увидел протянутый к рисунку из-за моей спины палец: "тут неверные

*Во время выставки Врубель приходил переделывать и доканчивать картину и ее калечил...

пропорции", — оказался ученик школы рисования, — я его поблагодарил. Однажды, рисуя один живописный пустырь, я услышал голос: "Счастливый уголок — третий художник его рисует!" Обернувшись, я увидел, что это был проходивший полицейский пристав, который мне сделал под козырёк.

С осени 1902 года в Петербурге я чувствовал в себе особенный подъём творчества. Грабарь же продолжал свою роль "ментора" и, как говорит в своей монографии,* "я откровенно и дружески высказывал Добужинскому своё мнение, видя в его рисунках черты его собственного персонального стиля, которые могли путём упорной работы развиваться в большое искусство. При этом я указывал ему конкретно на самые слабые и самые сильные места, рекомендуя направить дальнейшие поиски по линии выработки большего мастерства и прежде всего твердости руки".

При этом Грабарь всегда мне советовал, приводя в пример себя самого, "удерживаться от соблазна ранних выступлений", чтобы появиться уверенным в себе и своих силах. Он был в курсе всего, что я делал и наше петербургское общение длилось уже больше года, но он держал меня как бы на испытании, ждал, чтобы я еще созрел и долго меня не знакомил ни с кем из художников "Мира Искусства". Однажды, когда я к нему зашёл, у него был Сомов, Грабарь меня попросил подождать в соседней комнате, пока кончится "деловой разговор", и так меня с Сомовым тогда и не познакомил — точно меня посадил в карантин. (Впоследствии мы с Сомовым, став приятелями, оба смеялись над этим.)

Сам Грабарь, описывая в своей монографии это время и свое ко мне отношение, очень трогательно вспоминает, как ему было стыдно смотреть в глаза моей жене — Елизавете Осиповне — "этой чудесной женщине, которая могла подумать, что я ее "Славу" отвожу от "Мира Искусства" по каким-то непонятным соображениям и которая могла считать меня полгода предателем"... прибавляет и другие очень сердечные слова...

Мои самые первые петербурские рисунки и акварели, довольно робкие и неуверенные, которые видел Грабарь, еще были "пробами" и сам я не придавал им большого значения, но он уже усмотрел в них, как он вспоминает в той же монографии, нечто "столь персональное", что наконец решил (это было в ноябре 1902 года) некоторые из этих рисунков, а также и мои виньетки показать Бенуа, Сомову, Баксту и Дягилеву, которых он ждал к себе. Он был даже уверен, как упоминает в этих воспоминаниях, что "мои виньетки и Бенуа,

*Игорь Грабарь. "Моя жизнь". Издательство "Искусство", Москва — Ленинград, 1937 г.

редактировавший "Художественные Сокровища России" и Дягилев — "Мир Искусства" вырвут у меня с руками, так они хороши".

Так почти и случилось.

От Грабаря еще с Мюнхена я знал о "Мире Искусства": о его возникновении из юношеского кружка Бенуа, о Дягилеве, который примкнул, будучи в Университете, к этой группе и какую роль он сыграл в появлении журнала (по словам Бенуа "не было бы Дягилева, не было бы и "Мира Искусства"); понимал и то, какая в ту пору назрела потребность иметь такой орган: "новыми идеями в искусстве, точно драгоценным ароматом, был как бы пропитан воздух", — писал журнал и, что "Мир Искусства" стал проводником их и мог привлечь и единомышленников. Читая и зачитываясь журналом, еще живя за границей, с самого первого номера, я был в курсе, благодаря репродукциям и критическим статьям всего, что возникло нового, как в нашем, так и в европейском искусстве' Дягилев, подобно Петру, открывал окно в Европу — русскому искусству не хватало свежего воздуха — знакомства с европейским. Я знал также, как ополчились на "Мир Искусства" и отсталая пресса и публика, возмущавшаяся новшествами. Теперь в Петербурге в живых беседах с Грабарем всё мне делалось еще ближе, и хотя я стоял далеко от "Мира Искусства", уже чувствовал себя всецело в его лагере и только мечтал приблизиться к этой "земле обетованной".

В один памятный мне ноябрьский день 1902 года, вернувшись с женой откуда-то домой поздно вечером, я нашел на столе городскую телеграмму от Грабаря: "часть рисунков будет напечатана в "Мире Искусства", часть выставлена на нашей выставке.

Совершилось то, о чем я так долго мечтал, как о самом желанном....

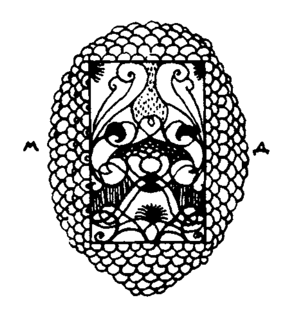
С этого времени (конец 1902 года) началось моё сближение с кругом "Мира Искусства", а с Бенуа, Бакстом, Лансере и с Сомовым скоро возникла и дружба. Своим дальнейшим развитием я больше всего обязан Александру Бенуа. Его критику я неизменно любил, она всегда была для меня чрезвычайно ценной, потому что он, как никто, знал всё моё художественное развитие с самых первых шагов, с Мюнхена.

Теперь уже я становился "на рельсы" и дальнейшие годы прошли в исключительно счастливой и неповторимой атмосфере, которая меня окружала в Петербурге.

Я делался всё более уверенным в самом себе и мне легче было справиться с тем, что засоряло мою жизнь.

Как художник, я себя чувствовал как-бы в волне общего подъёма, который охватил тогда творчество моего поколения, и уже больше не был одинок: необыкновенно скоро я стал "своим" в кругу "Мира Искусства" и нашел в нем с тех пор самых близких мне по духу друзей.

В этом общении, во взаимном понимании стал утверждаться мой собственный путь, или вернее, начали намечаться мои дальнейшие пути в искусстве...



КРУГ "МИРА ИСКУССТВА".

В ОДИН И ТОТ же день Грабарь меня привёл и к Дягилеву, и к Бенуа. Бенуа в то время был занят редактированием журнала "Художественные Сокровища России" и хотя был "душой" "Мира Искусства", бывал у Дягилева сравнительно редко и с ним я и познакомился в редакции его журнала.

Квартира Дягилева, где была и редакция, была типичной петербугской "барской", с большими окнами на Фонтанку. По вторникам у него были собрания сотрудников. Эти собрания я стал посещать еженедельно. Бывало многолюдно и очень оживлённо. В столовой за чайным столом с "сушками", у самовара хозяйничала няня Дягилева, сморщенная старушка с бородавкой посередине лба (увековечненная Бакстом на одном портрете с Дягилевым), которая придавала столовой очень милый и неожиданный уют. Все с ней здоровались за руку. Эти собрания были просто дружескими встречами и в эти вторники менее всего говорилось о самом журнале. Он делался где-то "за кулисами" и как бы домашним образом: — всю работу вёл сам Дягилев с Философовым, долгое время не было и секретаря (потом лишь появился скромный студент Гришковский). Бакст тут же, у Дягилева, в задней комнате занимался и "чёрной работой", — ретушировал фотографии для клише, даже делал свои узорные надписи для журнала и т.д. В маленькой комнате возле передней был склад номеров журнала, с которыми возился лакей Дягилева, черноватый Василий Зуйков, летавший по Петербургу со всякими редакционными поручениями. Потом мне пришлось познакомиться и с типографией Голике и Вильборга, где печатался "Мир Искусства" (самого Ром. Ром. Голике, маленького, беззубого и очкастого, я знал еще студентом). Бывать на вторниках у Дягилева

мне было в высшей степени интересно. Тут всплывали вопросы и общего характера и часто возникали споры. Эти разговоры сменялись самой весёлой пикировкой. Зачинщиками всех споров и колкостей был маленький изящный Нувель, заливавшийся заразительным смехом; лысый Нурок — ("Силен", как он подписывал свои злые заметки в журнале), — забавный циник с невозмутимым лицом Мефистофеля, и длинный и худой Яремич, хитро прищуривавшийся и безжалостно язививший своим хохлацким остроумием.

Я очутился в этой среде, уже давно спевшейся и говорившей своим языком, как гость, попавший в незнакомый дом в самый разгар веселья, издали прислушивался к беседам и, по свойственной тогда застенчивости, редко решался вставить свое слово. В этих беседах, то весьма серьёзных и содержательных, то изрядно легкомысленных, у меня открывалось очень много нового и неожиданного и мне, новичку, часто вскользь брошенное слово открывало глаза на многое, что я чувствовал еще смутно и это смешение серьёзного и шутливого особенно меня поражало. Тут было полное отсутствие педантизма, показывания какой-нибудь учёности и эрудиции, которая на самом деле у многих была. Дягилев, при всей его приветливости, какую я встретил и у других, меня "стеснял". Это чувство так и держалось очень долго и после, несмотря на всё его умение шармировать, улыбку, мягкое рукопожатие и внимание, с которым он беседовал. Он тогда был несколько "сырой" полноты с "сочным голосом певца" (он долго и серьёзно занимался пением), в котором были "командирские" нотки и отпугивавший меня несколько "пшютоватый" акцент. У него были манеры настоящего "грансеньёра" и в то же время во всем его облике, в его пухлом лице и мягких губах, как ни странно, было что-то детское (я помню его забавную, именно детскую, манеру тереть глаза "кулачком"). Во всей его повадке и манере разговаривать была какая-то барская леность и в то же время я всегда его видел куда то спешащим, иногда под вечер надевавшим фрак. Все тогда, помнится, подсмеивались над его мнительностью. Она действительно доходила до анекдота. В то время он неизвестно почему боялся заразиться лошадиным "сапом" и никогда не ездил на извозчиках — у него была маленькая наёмная каретка-купе, в которой он и разъезжал.

Я потом убедился, что Дягилев ни у кого из общих друзей не бывал, разве только заходил в редких случаях "по делу"; даже у Бенуа, который был общим центром, я его встречал впоследствии раза два, не больше. К себе он также никого не приглашал "запросто" и сближения не искал и близок был лишь с Философовым, Нувелем и, как ни странно, с Серовым. "Стиль" его жизни был совершенно отличен от быта всех остальных.

Что было в нем замечательного — Дягилев при всех своих замашках "полководца", входил во всякие детали, мелочей для него не было, всё было "важно" и всё он хотел делать сам. Я наблюдал это множество раз уже в тот дальний период. Помню, как однажды, чтобы подогнать меня с одной работой для портретной выставки, он приехал ко мне "на край света", в Измайловский полк, в мое отсутствие и дожидался меня целый час, только чтобы самому убедиться в том, что я делаю, и пристыдить меня за медлительность. Пресловутое "диктаторство" Дягилева с самого начала "Мира Искусства" было признано как нечто вполне естественное, и все добровольно подчинялись этому. На моей памяти не возникало никаких вопросов, связанных с самолюбием, и недоразумений в среде "Мира Искусства" не случалось. Выставки, устраиваемые журналом, были как бы личным делом Дягилева. Было, правда, внутреннее товарищеское жюри, т.е. мы сами между собой совещались что лучше выставить, но в конечном итоге он сам отбирал картины, и все охотно подчинялись этому выбору. Единственно с кем он сам советовался, были Серов и Бенуа. Единство воли, которое сосредотачивалось в Дягилеве, было той силой "Мира Искусства", которая могла объединить всё невороятное разнообразие индивидуальностей — что было особенно важно на первых шагах нашей новой художественной жизни. Теперь это уже кажется несомненным и роль Дягилева особенно замечательной. Не менее Дягилява стеснял меня и Философов — человек необыкновенно красивый, высокий, стройный, с холодными светлыми глазами, почти не улыбавшийся (при первом знакомстве мне в нем почему-то почудился "Ставрогин"). Несмотря на то, что он был еще с детства дружен с Бенуа и Сомовым и был одним из основателей "Мира Искусства", мне всегда он казался каким-то чужим в этой среде. Так в сущности и было. Его взгляды постепенно отходили от общих, и я помню резкое расходжение его с Бенуа по совершенно случайному вопросу: надо ли восстанавливать только что тогда рухнувшую Венецианскую Кампаниллу, и мнение Философова, что "надо толкнуть то, что готово упасть", показалось Бенуа ненавистным ему Ницшеанством. Для меня всегда было странным, как такой несомненно чрезвычайно одаренный и в высшей степени образованный человек, как Философов, которому пророчили, я знаю, блестящее будущее, лучшие годы отдал, в сущности, очень скромной роли помощника Дягилева в ведении "Мира Искусства". По каким-то причинам он оказался "неудачником", и "Новый Путь", который он основал с Мережковским, и его Религиозно-филисовские собрания, бывшие одно время очень популярными в Петербурге, всё это было по своему значительным, но не на высоте тех возможностей,

которые, казалось, перед ним открывались.

На этих Дягилевских собраниях я скорее всех сошелся с Лёвушкой Бакстом и с ним первым я потом перешёл на ты. Он чрезвычайно франтовато одевался, носил какие-то серые клетчатые костюмы и яркие галустуки и был весьма занят своей наружностью, особенно шевелюрой, которая весьма хитро закрывала лысину. (Над ним трунили, что он носит особенный паричок, но он страшно сердился). У него в квартире на Кирочной был настоящий будуар с духами и щетками "30 родов". Он был розовый, с большим носом, в пенсне, рыжеват, говорил медленно и лениво растягивая слова, и забавно не выговоривал некоторых букв. Иногда впадал в задумчивость и "отсутствовал", а "разбуженный", говорил что-нибудь невпопад, что всегда вызывало общее веселье. Мнителен он был не менее Дягилева и всегда в себе находил какие нибудь болезни. У него был совершенно особый шарм и он был всеми очень любим. Мы с ним некоторое время до его переселения в Париж преподавали вместе в частной художественной школе Званцевой (она так и называлась "школой Бакста и Добужинского") и очень дружны были во всех взглядах на преподавание. Как он работал, я совсем не знаю, он уединялся и кажется не любил, чтобы его видели за работой. Тогда он занят был в этом уединении своим "Terror Antiquus", но эта большая голубая картина, когда появилась на свет, оставила всех холодными и, помнится в среде "Мира Искусства" она вызвала отношение даже отрицательное, говорили, что он "перемудрил", она и не была особенно типичной для него. Незадолго до нашего знакомства Бакст вместе с Серовым был в Греции и теперь "сходил с ума" по Криту и Кноссосу (тогда только что были сделаны новые открытия в Микенской культуре). Это путешествие сильно появлияло на него и он уже оставлял свой несколько "надушенный" 18-ый век (Эллада так же сильно подействовала и на Серова: — его "Похищение Европы"). Но еще до этого путешествия, вдохновившись вазовой живописью древней Греции, Бакст сделал постановки "Ипполита" и "Эдипа" в Александринском театре. В тот период был лишь зародыш будущего необычайного размаха Бакста в русском балете. Я видел и его "Фею Кукол" — его первое выступление в театре — и знал его эскизы к этому балету. Это были первые театральные эскизы, которые мне пришлось видеть (что было задолго до первой моей работы в театре в 1907 году) и естественно они не могли не подействовать на мое воображение.

Так же скоро, как с Бакстом, я сошелся с Евгением Лансере, племянником Бенуа, который был мой ровесник (мы были среди всех самые младшие). У Дягилева он бывал редко, казался как-то не в

"тоне" всей атмосферы. У меня сразу же при первой встрече было такое чувство, что мы с ним давно знакомы, что бывает редко. Мне нравились в нем и приветливость, родственная Бенуа, особенная скромность и в то же время "открытость", и какое-то благородство. И по внешности он был такой: стройный, с красивым длинным лицом, с острым профилем и ясными глазами. То, что он рисовал своими мужественными и сильными руками — его крепкая как бы железная линия — мне импонировало чрезвычайно. У него были прелестные девочки — сёстры, очень похожие на него (одна из них, впоследствии по мужу Серебрякова, была необыкновенно талантливой художницей) и дома у них был такой же милый и патриархальный уют, как и у Бенуа. Лансере жил тогда в наследственном старинном доме Бенуа у Никольского собора с очаровательными ампирными масками над окнами.

Изредка появлялся у Дягилева В.А. Серов. Приезжая из Москвы, он останавливался или у него, или в Академии у В.В. Матэ. Бывая у последнего, я, еще до знакомства с "Миром Искусства", там его встречал, всегда хмурого и неразговорчивого. Я его боялся и все, мне казалось, побаивались этого "нелюдима". На собраниях он всегда сидел в стороне, прислушивался и, не выпуская изо рта папиросы, что-нибудь рисовал в альбом. Делал и злые и очень похожие карикатуры на присутствующих, больше всех доставалось Баксту, с которым он был особенно дружен. Рядом с ним он казался небрежно одет, был коренаст, с необычайно острым взглядом исподлобья. Большей частью в этой шумной компании он помалкивал, но одно его какое-нибудь замечание, всегда острое, или забавляло всех, или вызывало серьёзное внимание. Мнением Серова все очень дорожили и с ним считались, как с неоспоримым авторитетом, он судил обо всём спокойно и был настоящим общим "сдерживающим центром". Бенуа как-то его назвал "совестью "Мира Искусства". Я понемногу к нему привыкал, поняв и ту любовь, которая была к нему у всех, как и к его искусству. Помню, когда в одну из следующих зим пришло известие из Москвы, что он серьёзно болен и почти при смерти, — как все были расстроены и как Дягилев нервно ходил взад и вперед по своему кабинету, держа в руках телеграмму. С Серовым мне было трудно сблизиться, он был и гораздо старше меня и кроме того я долго был убежден, что он меня "не признаёт". Потом вдруг "признал" и даже по его настоянию был приобретен мой "Человек в очках" в Третьяковскую галерею. Я ближе подошел к нему и смог по настоящему оценить этого замечательного человека, к сожалению, лишь незадолго до его смерти.

Он был необыкновенный труженик в искусстве и, несмотря на длительность, с которой создавались его вещи, они были прекрасны

именно своей необычайной свежестью. Тут был удивительный секрет его искусства. Портреты его кажутся, как у Гальса, сделанными точно в один присест, но известно, как он настойчиво добиваясь или композиции, или характеристики, или чёткого мазка, переделывал их множество раз и как часто он начинал всё наново, чтоб избегать всякой засушености. Требовательность его к себе лежала в самой честности и правдивости его натуры, он искал больше всего простоты, которая всё же не всегда ему давалась* и вообще он всё время был в исканиях. Его тянуло и к стилю и к историзму, и его Петр, шагающий по начатому Петербургу, одно из самых проникновенных "видений" прошлого, а портрет Иды Рубинштейн и "Похищение Европы" — сдвиг и начало чего-то нового, чего впрочем, увы, не пришлось дождаться.

Нувель и Нурок, которых я постоянно встречал у Дягилева, были весьма образованными музыкантами, а Нурок и композитором. В. Ф. Нувель вёл музыкальный отдел в "Мире Искусства", и благодаря его инициативе возникли, как один из ростков журнала — "вечера современной музыки". Эти камерные концерты были закрытыми и посещались лищь по приглашениям. Там исполнялись произведения молодых композиторов Скрябина, Рахманинова и др. по их рукописям, и новинки иностранцев (Цезаря Франка, Макса Регера, Дебюсси и др.). а также старинная музыка 17 и 18 века. Там выступали отличные пианисты и неоднократно приезжавшая в Петербург Ванда Ландовска. Пела иногда также сестра Сомова. На этих вечерах впоследствии впервые появился совсем юный тогда Прокофьев, всех поразивший своим искрометным и задорным талантом. Сам "Валечка" Нувель был признанный "Magister elegantiarum". Но скорее его можно было назвать "потрясателем основ", столько у него было ядовитого и сокрушительного скептицизма. Но всё это выражалось в таких забавных и блестящих, порою весело-циничных выходках и так было тонко и умно, что обезоруживало и было в нем всегда привлекательно. Нувель был одним из самых первых "зачинателей" "Мира Искусства" на ряду с Бенуа, Философовым и Дягилевым и был тем "перцем", который придавал "Миру Исскуства" особенную остроту.

А. П. Нурок был самый старший в нашем кругу и казался мне вначале необыкновенно мрачным и злым. Но, узнав его ближе, я убедился, что это была "маска", и даже когда он снимал кривое пенсне со

---

*Иногда вдруг появлялся какой-то слишком подчёркнутый жест, излом или поза (кн. Орлова и Вл. О Гиршман) даже оттенок "шика", который он сам ненавидел. Он искал и чего-то большего, чем "жизненность" портрета. Я помню он при мне однажды перед вернисажем остановился около одного портрета, своей работы и недовольно и иронически сказал: "как живой"; он не выносил "паноптикума" и боялся больше всего, чтоб портрет не "выпирал" из рамы.

своего длинного носа, его глаза оказывались предобрыми, а в дальнейшем мне совсем открылось настоящее его "лицо". Как ни странно, он был чиновником в одном из самых допотопных "Акакий Акакиевичевских" департаментов — в Государственном Контроле. (А Нувель служил чиновником Министерства Императорского двора). Многие в ту пору служили, и никого поэтому не удивляло, что я сам в то время служил в Канцелярии Министерства Путей Сообщения...

Из других посетителей дома №11 на Фонтанке я вспоминаю Кику Ге (Николая, внука художника). Он тогда был студент, совсем почти мальчик, широкоплечий, с гордо поставленной головой и горбоносый, и поражал особенным умением вести споры на самые хитрые философские темы. Я помню его высокий фальцет и его ловкие реплики, показывавшие глубокие его знания и начитанность, и как все с интересом слушали этого настоящего "вундеркинда". Он скоро умер и лишь мелькнул в нашей среде.

Наконец постоянно я встречал у Дягилева В. Я. Курбатова, сотрудничавшего в журнале. Он "всё знал", но это его "всезнание" часто бывало поверхностно и порой вызывало улыбку, хотя в некоторых областях он действительно был эрудитом, особенно в истории старого Петербурга; его книжка о петербургской архитектуре, впоследствии изданная очень изящно, была серьёзной и всеми ценимой. В частной своей жизни он был выдающийся химик и впоследствии был профессором в Технологическом Институте. Наружность его была примечательной: нескладно высокий, с огромным лбом и толстым носом и губами. Голос имел тоненький ("Журчащий ручеек", как говорил Яремич). Говоря с ним по телефону, часто ошибались, думая, что это говорит дама. Всем нам он был очень симпатичен.

Довольно редко появлялись при мне в редакции сотрудники-литераторы Мережковский и Розанов. Маленький, узкоплечий, "волоокий" Мережковсвий всегда как бы "вешал" и "пророчествовал" своим несколько высокопарным и картавым голосом, и тогда все умолкали. В "Мире Искусства" в то время печатались его замечательные трактаты о Толстом и Достоевском, которыми я зачитывался. Зачитывался я также писаниями Розанова, полными самых смелых и жутких парадоксов. Он мне казался человеком большого ума, но мне было необъяснимо, как он мог писать одновременно и в стане наших "врагов" — в "Новом Времени". У него была любопытная наружность: огненно рыжий, всегда с торчащим хохолком на макушке, с маленькой бородкой и весьма хитрым взглядом поверх очков. Бакст именно тогда сделал его замечательный портрет, что в музее Александра III.

Хотя И. Я. Билибин был постоянным сотрудником "Мира Искусства", я не помню его на собраниях у Дягилева, кажется, он

был одно время "в опале" и я познакомился с ним позже, чем с другими. Вспоминаю, как Бенуа однажды сказал при мне Яремичу "Поедемте к Библибину, надо его наконец вытащить, кстати и жена его очень милая художница". Билибин во многом отличался от других. На фоне нашего Петербургского "европеизма" он был (если не считать Рериха) единственный "истинно-русский" в своем искусстве и среди общей разносторонности, выделялся как "специалист", ограничивший себя только русскими темами и специальной техникой; но технические приёмы его, несмотря на известную сухость, были одними из самых "безукоризненных" по своей каллиграфии. Так же и орнаментальная сторона его композиций была замечательной.

Сам он по своим "богемным" наклонностям тоже был исключением. Но был забавный, остроумный собеседник (заикался — что придавало особое "каше" его шуткам) и обладал талантом, особенно под влиянием вина, писать шуточные высокопарные оды под Ломонсова. Происходил он из именитого петербургского купеческого рода и очень гордился принадлежавшими ему двумя портретами своих предков, кисти самого Левицкого, одного юного купчика, другого борадатого купца с медалью. Сам Билибин носил русскую бородку "a la moujik" и раз на пари прошелся по Невскому в лаптях и высокой войлочной шапке-гречинке. Жена его, англичанка, М.Я. Чемберс, была действительно милой художницей и очень милым человеком, она тогда делала рисунки для детских книжек, но талант ее заглох из за семейных забот: она всю себя отдала воспитанию маленького оглохшего сына.

Не появлялся на собраниях и постоянный участник выставок "Мира Искусства" Н.К. Рерих, который держался вообще в стороне от всех, и у меня с ним и впоследствии, несмотря на "ты", большой близости не образовалось. Я его помнил еще по университету, такого же румяного, с золотой бородкой, аккуратного и солидного. Большое мастерство его и очень красивая красочность казались слишком "расчётливыми", подчёркнуто эффектными, но очень декоративными. Он был ученик Куинджи и "бенгальское" освещение картин его учителя (хотя Рерих ушел очень далеко от этого) всё же тут носило некоторый отпечаток. Сама техника его масляной живописи и особенно темперы, была очень серьёзна и совершенна, но искусство его стояло особняком среди "Мира Искусства".

Рерих был для всех "загадкой", многие сомневались даже, искренно или лишь надумано его творчество, и его личная жизнь была скрыта ото

всех. Он к себе "не допускал" и по-видимому очень был занят своей собственной довольно блестящей карьерой.*

Был столь же "солидным", как Рерих, толстый и круглолицый Браз, с которым все мы ближе сошлись лишь в позднейшее время. Он был хороший и сильный живописец, поклонник Шардэна, учился в Мюнхене у Холлоши, который был и моим учителем, но тоже по своей художественной сущности стоял несколько в стороне от "Мира Искусства".

В тот же самый памятный ноябрський день 1902 года Грабарь, перед тем как меня привести к Дягилеву, познакомил меня с Александром Николаевичем Бенуа. Эта первая встреча была в редакции журнала "Художественные Сокровища России", редактором которого был тогда Бенуа. Редакция помещалась в "низке" со сводами Общества Поощрения Художеств на Мойке. В тот же самый дом я в моем детстве ходил рисовать в школу этого "Общества". Там началось первое моё ученье. Тут же началась новая моя "эра". В Бенуа я думал встретить высокомерного, иронического человека, каким я представлял себе его по его ядовитым и умным критическим статьям, или важного "знатока искусства", который тут же раздавит меня своей учёностью. Вместо этого я увидел самую милую и веселую приветливость и внимание которые меня в Бенуа и поразили, и пленили, и сразу же отпали все мои тревоги. Бенуа был тогда лет тридцати с небольшим, но на вид был довольно старообразен, сутуловат, немного даже "играл под дедушку", был с изрядной лысиной, с бородкой в пенсне со шнурком, и одет довольно мешковато (как и Серов). Всё это было для меня неожиданно, я наивно хотел, зная его по его картинам, чтобы во внешности его было соответствие с элегентным веком, который он любил изображать! Но это смешное "разочарование" длилось лишь первый момент.

Бенуа знал обо мне очень мало, лишь то, что мог ему рассказать Грабарь, и он видел только несколько моих работ. Но он заговорил со мной, как с равным по общим нашим вкусам и его доверие сразу же делало меня как бы "своим" для него, и больше всего меня сразу же к нему приблизило. Он мне тут же дал первый заказ сделать одну виньетку в журнале и нарисовать некоторые надписи. Очень скоро я начал бывать у Бенуа в его маленькой квартирке на Офицерской улице, где меня пленил её необыкновенный уют и царившая милая и тёплая семейственность. Я приходил к нему не только в те дни, когда собирались его друзья, когда было шумно и многолюдно. У него я приобретал,

*Сравнительно молодым человеком он был назначен директором Школы Общества Поощрения Художеств, одним из первых художников "Мира Искусства" был сделан академиком, а под конец метил и в "генералы". Были слухи, что он легко мог получить и камергерский ключ.

конечно, несравненно больше, чем в интереснейшей болтовне и спорах у Дягилева, особенно в те дни, когда другие не мешали и нашим беседам, и моему копанью в его бесконечных папках с гравюрами и в книгах. Сам он был истинным "кладезем" знаний, и общенние с ним, умнейшим и очаровательным собеседником, было настоящим моим "художественным университетом", к которому я был, впрочем, довольно хорошо уже подготовлен Грабарем в мое мюнхенское время и я сам "собственным умом" давно уже доходил до многого. Но у меня были очень большие пробелы и тут, именно у Бенуа больше всего, я делел всё новые и новые открытия, и незаметно мои горизонты всё более и более расширялись. К моей радости я замечал, как его вкусы и симпатии совпадают с моими, и смутные мои влечения тут находили как раз отголосок, — и моя любовь к "Гофмановщине" и к уюту Диккенса и к миру Андерсена, и ко всему смешному, дурашливому и наивному Мы оба одинаково, я видел, любили своё, петербургское детство и "наш" Петербург. Всё это необыкновенно сближало, и хоть "путь" мой до этого шёл отдельно и был совсем иным, оказывалось, что мы любим одно и то же. То, что делал Бенуа мне было очень по душе: меня занимали его темы, нравился сам его рисунок, легкий и нервный; его техника раскарашенного акварелью рисунка мне открывала глаза на многие возможности. Я помню, как еще студентом я восхитился на первой выставке "Мира Искусства" его одним "романтическим" рисунком: какими-то барочными воротами в снегу, — он меня "уколол" и сходством с любимым мной Виленским барокко, и этот рисунок был одним из "толчков" для меня еще в ту пору. Я невольно стал подражать Бенуа, подражание это было естественным, хотя и со своими отклонениями. Бенуа в то время готовил рисунки к своей "Азбуке", я видел эти рисунки еще "на корню" и был в восторге от их милого юмора, уюта и фантазии (книжка эта между прочим стала любимой книжкой моих детей, по которой они учились читать). Он всегда рисовал, не расставаясь с альбомом, делал наброски со своих гостей и их групп, и этим мне давал заразительный пример. Продуктивность его была беспримерной, хотя серьёзной работе он отдавал только утренние часы до завтрака, и тогда никого у себя не принимал. Весь же остальной день у него уходил на бесконечные художественные дела и разъезды. Впоследствии Бенуа завёл обычай раз в неделю брать на дом модель и у него на квартире многие собирались для рисования. Бенуа меня ввёл по настоящему и в 18-ый век, который действовал на мое воображение одно время очень сильно.

Помимо тех бесконечных старинных гравюр и рисунков, которые я видел у Бенуа, мы с ним несколько раз были в Царском Селе (он тогда начал писать о Царскосельских дворцах) и лучшего "путеводителя", когда мы ходили с ним по Екатерининским покоям и чудному парку,

конечно, не могло и быть. Гуляли потом мы также вместе по поэтичнейшему Ораниенбауму и по Петергофу. И тут среди подлинного 18-го века мы погружались в особенную русскую северную прелесть этой эпохи.

Бенуа был обладателем больших коллекций. У него было множество ценнейших гравюр и рисунков, оставшихся от его отца, и огромная библиотека, и он всё время собирал всё новые и новые "драгоценности". Мне самому эта любовь к старине была всегда близка. Мне он давал рыться в его папках и книжных шкафах сколько угодно и сам не только охотно, но часто с большим увлечением давал объяснения, бесконечно мне ценные. Бенуа был в сущности замечательным педагогом (что отмечает и Остроумова в своих биографических заметках) и незаметно для меня он меня просвещал и заражал своим интересом и любовью к 18-му веку, дух которого он чувствовал, точно сам был современником эпохи.*

Я с детства знал страсть собирательства, и у меня были все задатки коллекционера, унаследованные от отца, и теперь это вновь воскресало; таким же собирателем (только рисунков) был Яремич, а у иных, как у меня, это было скорее любительством, когда собиралось вообще то, что нравилось, без погони за раритетами и без всякой системы. Невероятно смешанным было и коллекционерство Бенуа, у которого наряду с сепиями Гонзаго или Бибиена,были Утамаро, Хокусаи, гравюры 17 и 18 веков, карикатуры обожаемого нами Вильгельма Буша, эскизы Менцеля, гротески Калло, всякие "скурильности" и т.д. и т. д. Всё это говорило о необычайной ширине его "мира" искусства. Иногда мы с Бенуа, Сомовым, Курбатовым и Яремичем обменивались той или иной гравюрой или рисунком и делали взаимные маленькие подарки из своих коллекций, и ревности в собирательстве не бывало. Это коллекционирование давало очень много радостей и увлечение это было частью нашей жизни, и в конце концов накоплялось много очень ценного, как полезнейший и "интимный" исторический материал.**

Бенуа жил в старинной отцовской обстановке и среди семейных реликвий, что придавало его дому особенный патриархальный уют. Я понимал прелесть подобной старины, где таится и живет нечто от прошлой жизни, а что вещи имеют свою душу, мы с Бенуа это знали от Андерсена и часто говорили на эту тему. Культ предков держался всегда

*Подобное проникновение в эпоху было у нашего почти современника Адольфа Менцеля (серия его картин и рисунков из жизни Фридриха Великого) и его влияние на творчество Бенуа и главным образом на его Версальский цикл исторических композиций - несомненно.

**После многих лет у меня набралось очень много литографий старого Петербурга и случайно постепенно образовалась большая коллекция гравюр любимого мной Ходовецкого; собирал я также старинные модные картинки и детские книжки начала 19 в.

и в нашей семье Добужинских, и я очень грустил, что от дедов мне остались лишь крохи. Я так завидовал Бенуа и мечтал собрать все мои реликвии и окружить и себя подобной стариной — это понемногу, хоть лишь отчасти и, увы, ненадолго осуществилось в дальнейшем. Театр был любимейшей сферой Бенуа, частью его жизни, от него я узнал, что еще мальчиком он познал очарование этого мира и уже и тогда был настоящим балетоманом. У него был неисчерпаемый запас воспоминаний и наблюдений и понятно, что наши беседы касались очень часто театра. Во мне он находил самый восприимчивый отклик, т. к. у меня с детства была тяга к театру. Мы оба с ним между прочим с умилением вспоминали дорогие нам по детству наши петербургские балаганы. В ту пору впрочем я был еще далек от того увлечения, какое было у Бенуа, и не мог еще думать, что в будущем театр займет такое место в моей жизни. Но Бенуа задолго до этого первый приоткрыл мне, как художнику, завесу в этот пленительный мир.

Судьба свела меня с человеком невероятно богатой культуры, одним из самых замечательних людей, и если бы я всё время только это и помнил, меня бы это, конечно, стесняло с самого начала и не могло бы образоваться того сближения, которое возникло. Но Бенуа, при его деликатности, никогда и ни перед кем нарочно не показывал своего "превосходства". И отношение его настолько было сердечным, что в нем я видел раньше всего того очаровательного человека, которого впоследствии я по праву мог назвать моим другом.

Бенуа был необычайно общительный человек, и редко можно было застать его одного. Чаще всего я видел у него кн. Влад. Ник. Аргутинского и Яремича. Аргутинский в ту пору был как бы членом его семьи и почти неразлучен с Бенуа, как и Яремич, так велико было "обожание" его у обоих. У Дягилева я видел Аргутинского всегда молчаливым и серёзным, редко принимавшим участие в разговоре. Он не написал ни строчки в журнале, но все привыкли считаться с его оценками и дорожили его мнением. У него были большие знания в области старинной живописи, особенно русской, и все признавали его "безукоризненный вкус"... Он был в истинном значении слова "просвещенный любитель искусства" и обладал богатейшей коллекцией рисунков старых мастеров и гравюр главным образом 18-го века и совершенно замечательным собранием редчайшего русского фарфора. "Аргутон", как мы про себя его звали, был несколько моложе Дягилева и Бенуа, довольно плотный, широкоплечий, с маленькими усиками и со спокойными, даже ленивыми манерами. Одевался он с классической английской скромностью. Вкус его был весьма строг и взыскателен вообще, а в отношении к людям его требовательность

часто доходила до педантизма и немало забавляла, и немало и огорчала друзей. При всех этих маленьких недостатках он был необыкновенно верный и преданный друг (даже "рыцарь" — случаев было очень много) тому, кого он полюбил или в кого он навсегда поверил. Он очень мало кого приглашал к себе. Дамы же бывали совсем редко. Я любил бывать в его маленькой квартире на Миллионной. Обычные его посетители были Бенуа, Нувель, Сомов и Яремич. Квартира была верх изящества, на стенах висели превосходные картины, портреты и натюр-морты 17 и 18 века, на камине в углу была "горка" с его знаменитым фарфором, горели свечи в старинных канделябрах и бра, и был невероятный хаос — кучами лежали всюду книги, гравюры и папки, и рыться во всём этом было большое наслаждение. Приглашения получались такие: "милый друг, приходите сегодня ко мне, но не раньше 12-ти ночи". Он служил в Министерстве Иностранных Дел и был камер-юнкером, но никакой карьеры не делал. Часть его коллекции находилась в Париже, где у него был постоянный pied-á-terre.

Со Степ. Петр. Яремичем, несмотря на всю симпатичность этого оригинального человека, мы почему-то не были очень близки. Опять же, как и с некоторыми другими, сближение у меня возникло позже, особенно в после-революционное время, когда так была ценна дружба, и когда многие показали себя в настоящем, лучшем, свете. Он был неразлучен с Бенуа, и может быть у меня бессознательно было нечто в роде "ревности" — не знаю. Он был большим приятелем детей Бенуа, которые его называли "Стип", и всегда он принимал участие в их, часто очень талантливых, затеях. Он был долговязый, с длинной шеей и тощ, "как мощи", и ходил точно на цыпочках. Он мог быть очень ехидным, но при этом он сам был полон милейшего добродушия. Я только часто не знал, говорит он всерьёз, или шутит.

Художник он был тонкий, но скромный и невероятный лентяй. Я помню только два его пейзажа маслом и несколько небольших акварелей. Яремич был одним из первых в "Мире Искусства", который дал пример орнаментальных надписей и букв, украшавших "Мир Искусства" и "Художественные Сокровища России", это была безукоризненная каллиграфия самого чистого стиля. Он был киевлянином и до "Мира Искусства" работал с Врубелем по росписи Храма Св. Владимира.

Яремич одно время отсутствовал, уехал вместе с Бенуа в Париж, но остался там гораздо дольше, там он и собрал, роясь у маленьких антикваров, особенно у знаменитой m-me Prouté, "Прутихи", у которой мы все черпали множество замечательных рисунков старых мастеров — его собрание стало одним из самых ценных у нас. Впоследствии он его

пожертвовал в Эрмитаж, где стал служить — это было, конечно настоящим его призванием.

Он обладал большим литературным и критическим талантом и был знающим историком искусства; написано им для "Мира Искусства" и для отдельных книг было очень много, также и в советское время, когда между прочим, он написал внимательное и весьма меня тронувшее предисловие к альбому моих литографий Петербурга.

В одно из самых первых моих посещений Бенуа я познакомился у него с Сомовым. Он был роста небольшого, довольно полный в то время, стригся "ёжиком" и носил усы, одевался с большим вкусом, но скромно и во всех его манерах, походке и во всём том, что составляет внешний облик человека, было необыкновенное изящество. Была у него особенно милая манера смеяться и самый искренний весёлый смех.

К его искусству у меня была настоящая влюбленность, оно казалось мне чем-то поистине "драгоценным" и влияние его на меня было не меньшим, чем Бенуа, но совершенно иным. Это может показаться странным, т. к. темы его никогда не были моими темами, но удивительная наблюдательность его глаза и в то же время и "миниатюрность", а в других случаях свобода и мастерство его живописи, где не было ни кусочка, который бы не был сделан с чувством — очаровывали меня. А главное необыкновенная интимность его творчества, загадочность его образов, чувство грустного юмора и тогдашняя его "Гофмановская" романтика, меня глубоко волновали и приоткрывали какой-то странный мир, близкий моим смутным настроениям.

Мы очень скоро и душевно сошлись и Костя стал одним из самых близких и дорогих моих друзей на всю жизнь. Я был готов ему открывать самое мое заветное — я этого не боялся, несмотря на всегдашнюю его иронию и очень скептический и проницательный ум. У меня сделалась привычка показывать ему свои работы еще в незаконченном виде, как я показывал всегда раньше Грабарю. Насколько Бенуа был всегда моим добрым критиком и часто даже бывал "восхищен" тем, что я делаю (что меня, конечно, подбадривало) — настолько Сомов был строг и это очень мне нравилось. Его правдивость вообще была одной из самых прелестных его черт. Он тоже показывал еще только начатые и незаконченные вещи, и я часто настолько поражался их томительной поэзией, этим особенным, не определяемым словами "ароматом", что ничего не мог высказать. Я видел "на корню" его очаровательный "Echo du temps passé", его "Фейерверки", его "Радуги", странное "Волшебство", и многое другое. Особенно я любил оставшийся так и не законченным большой портрет мне неизвестной, сидящей на дерновой скамейке, необыкновенно красивой девушки с длинным овалом лица, с чёрной чолкой на лбу и глядящими в упор

глазами. Он почему-то им был недоволен и срезал его, оставив только голову, но я помню тёмнолиловое платье на фоне тёмной зелени и тонкие пальцы безвольно опущенных рук.*

Работал он, как и Серов, очень упорно и медленно,** признавал только самые лучшие краски (выписывал из Бельгии тюбики Blockx'a), и меня поражала его аккуратность, — около его рабочего столика красного дерева — никогда ни соринки. У него была в доме в верхнем этаже большая мастерская, но он там почти не работал.*** Когда у Бенуа собирались рисовать с обнаженной модели, самым аккуратным посетителем был Сомов. Он надевал очки и упорно рисовал одной линией (в этом виде, в очках и с пронзительным сердитым взгялом я его изобразил однажды в карикатуре). Так же часто он ходил по вечерам рисовать в "школу Бакста и Добужинского" и серьёзно просил меня поправлять его рисунок, от чего я упорно уклонялся[1]). Он очень мучился, рисуя с натуры и странно, что рисунки "от себя" у него получались гораздо "убедительнее", чем с натуры. Она его как бы лишала уверенности, точно он робел. Своим упорством он преодолел это и добился удивительного мастерства. Но я знаю, какого труда это эму стоило.[2]

Сомов жил в далекой "Коломне", по близости от Калинкина моста, вместе с отцом, в их собственном старом доме с окнами на Екатерининский канал. Отец его был старший хранитель Эрмитажа, почтеннейший историк искусства, и квартира их была полна старинных картин. Андрей Иванович был высокий, чрезвычайно худой старик с лицом монгольского типа и необыкновенно большими ушами. Сквозь очки глядели умные глаза. Отношения с отцом у Сомова были самые удивительные, они постоянно пикировались, что обычно происходило за обедом и меня очень забавляло. К "Косте", как художнику, он относился довольно скептически: "Портретистом он мог бы быть хорошим, а занимается глупостями", так он говорил и честил нас "декадентов". Своей ученостью он наводил на меня трепет. Я боялся попасть впросак в разговоре о старых мастерах (а он точно нарочно наводил на них) и всячески лавировал, чтобы не сделать "гафов", а такие всё-таки случались.

*Портрет этот нигде не был выставлен, известен лишь акварельный этюд к нему.

**Мой портрет, раскрашенный рисунок (тепер в Третьяковской галерее) он сделал в 23 сеанса по два — два с половиной часа, и это исключительно быстро для него.

***Настоящие "ателье" в Петербурге были только у него, у Бакста, Браза и Рериха.

[1]Он видно искоренне ценил мой рисунок и именно он настоял, чтобы я взялся преподавать в этой школе.

[2]Когда впоследствии он стал писать заказаные портреты, он мне жаловался, что "заказ" его парализует и, мучаясь в Москве над портретом Е. П. Н., Костя однажды признался мне: "Знаешь, Мстиславчик, кажется удеру через окно, как Подколёсин".

Я помню смешной случай: у Кости в комнате висел маленький Гварди. Раз при мне Андрей Иванович зашел к нему, шлепая туфлями, остановился перед этой картиной и, покачивая головой, проворчал: "какой я был дурак, что это подарил Косте" (т.е. картина просто перешла из соседней комнаты) а сын в ответ: "а я думаю еше от тебя забрать к себе Фрагонара". — "Что же ты хочешь, чтобы отец жил в сарае?"... Несмотря на постоянное брюзжание Андрея Ивановича и взаимные колкости, я знал, что Сомов нежно любил своего старика и когда тот медленно и мучительно умирал у себя дома*, он не отходил от него все долгие месяцы его болезни и нигде не показывался. После его смерти носил отцовский халат.

Костя был домосед, бывал только у самых близких друзей и очень был привязан к семье своей сестры Анны Андреевны, которая жила в том же доме, и к семье тогда только что умершего старшего брата, возился со своими маленькими племянниками и постоянно их рисовал. Он любил и моих детей и мы с ним даже "покумились": он крестил моего младшего сына. Жизнь Кости была очень бедна внешними событиями, летом всегда со своими домашними он живал на даче в маленьком Мартышкине возле Ораниенбаума и все его очаровательные ранние пейзажи были сделаны именно тут. На моей памяти он лишь два раза был за границей (до нашего знакомства Сомов долго жил в Париже) и помню его восторженные письма из Лондона. Его указания и советы очень мне помогли узнать и полюбить Лондон, когда я сам вскоре туда поехал.

Костя чрезвычайно много читал, (он прекрасно знал французский и немецкий, а английский начал учить на моей памяти) — читал главным образом французские и английские новинки и мемуарную литературу, много давал и мне читать. Одно время мы увлекались Жорж Занд, ее фантастическим романом "Laura". Как все его друзья, Сомов был большой театрал, и к моему удивлению постоянно ходил в Александринку смотреть Варламова и Давыдова, которыми восхищался. Он очень недурно пел своим сильным баритоном, пела и его сестра (оба они серьёзно учились). Они любили петь старинные французские арии.

У Дягилева Сомов не бывал — он его "не переносил".* Такое же отнешение к Дягилеву было и у дружившей давно с Сомовым, как и с

*Андрей Иванович был сбит с ног грузовиком на Дворцовой площади и это потрясение вызвало смертельный исход.

*Я много лет позже узнал о весьма серёзной ссоре между ними, когда Сомов, обиженный за Бакста одной грубостью Дягилева, написал ему столь резкое письмо, что друзья еле удержали Дягилева от вызова Сомова на дуэль! Это не мешало Дягилеву всегда глубочайшим образом ценить Сомова как художника. Об этом случае Сомов мне никогда не рассказывал, хотя от него я знал и другие причины его нериязни.

Бенуа, Анны Петровны Остроумовой. У Сомова и я познакомился с ней и тоже (но понемногу) сдружился и с нею. Мы оба учились у В.В. Матэ гравюре, но в разное время и я лишь мельком однажды у него видел ее маленькую фигурку с курносым носиком. В первое время знакомства я ее немного чуждался, у нее был очень острый "язычек" и насмешливость и такая же прямизна во мнениях, как и у Сомова; кроме того в моих глазах эта большая умница была настоящий "maitre". Но "лёд" начал таять довольно скоро. Она тогда еще была барышней и жила с родителями на Манежном переулке около Бассейной (отец ее был тов. обер-прокурора св. Синода), там я увидел ее превосходный Сомовский портрет, где она изображена в чёрной бархатной кофточке с лиловым бантиком и перламутровым лорнетом, сидящей на чёрном кожаном кресле — один из самых замечательных Сомовских портретов, как по острому сходству, так и по этому необычайно "вкусному" сочетанию бархата, лакированной кожи и перламутра. В ней было очень странное соединение грациозной хрупкости, которая сказалась в ее несколько болезненно склоненной на бок некрасивой головке, и в то же время какой-то внутренней твёрдости. Это и было выражено на том портрете Сомова. Сила была и в том, что она делала: недаром она отдалась столь не женскому делу, деревянной гравюре, самая техника которой не допускает никакой приблизительности или бесформеенности. В то же время это ее искусство было столь далеко от какой-либо сухости. Она раньше меня взялась за петербургские темы и умела передавать с особой интимностью его пейзажи. Некоторые гравюры, как например, "Летний Сад в снегу" или "Новая Голландия" и многие другие, были поистине поэтичны и эти гравюры мне душевно были очень близки.

Анна Петровна хотела было меня научить деревянной гравюре и дала несколько уроков, но ничего не вышло, к этого рода технике у меня совершенно не оказалось призвания.

Вскоре, когда она вышла замуж за милейшего человека Сергея Васильевича Лебедева (впоследствии известного профессора химии) наши отношения стали совсем дружеские и особенно нас сблизила общая жизнь в Париже в 1906 году.

Я еще хочу упомянуть о двух художниках, которых я мельком встретил у Бенуа: о Борисове-Мусатове и о Врубеле.

Мусатов появился в Петербурге ненадолго, — жил до этого в Париже, — и только что стал выставлять в Москве. Он сразу же был приглашен участвовать в выставках "Мира Искусства". В Москве говорили, что появился "новый Сомов". Это было неверно: сходство было лишь в "эпохе кринолинов", которую оба они любили, и была общая у обоих лиричность, но при большой поэзии у Мусатова, в его искусстве не было вовсе той остроты, как у Сомова. Мусатов был задет

импрессионизмом, был настоящий "живописец", писал "широкой манерой" большие полотна, очень красивые по краскам, или в "блеклых тонах". Искусство его было новым и свежим явлением, но к несчастью, очень кратковременным. Он вскоре скончался. Был он болезненный, маленький, горбатенький человек с острой бородкой, очень изысканно одевался и, помню, носил золотой браслет.

Врубеля раньше я встречал лишь случайно. Он появился снова в 1905 году, — у него был тогда "lucidum intervallum" и в этот период он много работал. При встрече с ним, также как это было при первом знакомстве с Бенуа, я был удивлен несоответствием его внешности с его искусством, — "демонческим" и необычайно сильным: я увидел человека небольшого роста, узкоплечего, довольно хилого, "джентльмена" по всем своим манерам, тихого и корректного. Он носил довольно длинные усы, и я заметил — имел недостаток переднего зуба, что его по-видимому стесняло. Однажды я навестил его (по поводу заказа ему Дягилевым обложки для программы открывавшейся "Портретной выставки"). Окна его квартиры выходили в узкий и тёмный переулок около Консерватории. Я удивился, как он мог создавать тут такие изумительные по цвету вещи, как его "Раковины". Я застал его за работой над одной из них. Его маленький рабочий столик возле окна, куда доходил скудный петербургский свет, был весь завален кусочками пастели, тюбиками акварели и окурками папирос, которые он курил не переставая. На уголке этого стола он и работал, кропотливо, как ювелир, мешая пастель и акварель и вклеивал еще кусочки бумаги, чтобы добиться нужного эффекта яркой краски. Жена его, Забелла Врубель (она была прекрасной певицей), очень женственная, — модель многих его картин, — и его сестра, маленькая старушка, Анна Александровна, по-видимому его очень берегли, помню жена со страданием удерживала его от налитой рюмки вина. Этот светлый промежуток был недолог, он вскоре окончательно помешался и умер. Ненормальности в нем никакой я не замечал, он только был болезненно и утомительно говорлив в последнюю встречу.

Бенуа был нашим общим центром, и уюту его дома очень помогала его жена, Анна Карловна, женщина на редкость милого и веселого характера, которую все без исключения любили. Всюду, куда переезжали Бенуа (за петербургское время они переменили три квартиры) создавалась та же теплая патриархальность. Ежедневно у них кто-нибудь бывал, иногда приходило много гостей, а в позднейшее время нередко собирался то, что называлось "весь Петербург". Мы все больше любили у него тесные собрания друзей. Все мы были молоды, дружны, веселы, такой же была наша болтовня и остроумие, в чем и проходили вечера, где сам Бенуа давал единственный ему свойственный

тон сердечной и заразительной веселости. Иногда он садился за рояль и импровизировал, не обращая внимания на гостей. Музыкальность его была исключительной, но он сам пальму первенства отдавал своему старшему брату Альберту) "дядя Берта", как его звали в семье Бенуа), который изредка появлялся среди нас, поражая своими действительно блестящими импровизациями. (По общему мнению у него был зарыт в землю замечательный музыкальный талант).

Эти вечера обычно чем нибудь ознаменовывались, или темой, всегда чрезвычайно интересной, на которой сосредотачивался разговор, или показом чего-либо из коллекций, или же последних работ Бенуа. Иногда кто-нибудь приносил свое. Нередко Бенуа читал вслух что-либо из вновь написанного им.

Замечательно, что вся наша жизнь в те годы была овеяна семейственностью. Не было и в помине какой либо "богемы", которая почему-то считается непременным свойством художника. Сам собой устанавливался обычай собираться, то у Бенуа, то у Лансере, то у Остроумовой, то у меня, на маленькие, а иногда и довольно многолюдные вечерние "чаепития". К нашим дружным между собою "семейным очагам" тянулись и те, кто были одиноки — Яремич, Аргутинский, Сомов, Нувель, даже мизантроп Нурок. В Подобной исключительной атмосфере интимной жизни и всё наше искусство было сосредоточенным и дружным общим делом. Не возникало никогда и признаков какой-либо зависти или обид самолюбия. "Успех" одного самым искренним образом радовал другого и всё время, то в том, то в ином случае, проявлялась моральная товарищеская помощь. "Нет, этот заказ не по мне, лучше пусть сделаешь ты" — так очень часто мы говорили друг другу. В этой идиллической картине нет ни капли преувеличения.

Наше товарищество было в высшей степени независимым и, как я говорил, не только свободным от всяких тенденций и навязанных теорий, но и бескорыстно: не было и в помине "предрешенных" меркантильных целей, или целей рекламы и "карьеры", об этом даже смешно говорить. Мы презирали газетную критику и признание официального мира. (Серов и Бенуа, когда началось это признание, отказались от звания академиков). Единственно ценным и дорогим в наших глазах было признание тех, кто был одной с нами культуры — тех же наших друзей.

Главное, что подымало творчество тех лет, было то, что мы чувствовали себя "пионерами" нового, и области, которые перед всеми открывались, были действительно "tabula rasa". Не было заезженных, захватанных примеров, никаких сбивающих теорий. В общем уклоне к "ретроспективизму" мы обращались к первоисточникам, не было и в

помине тех пособий и тех неисчислимых книг по искусству, в которых всё разжёвано теперешнему художнику, и в самостоятельных, подчас трудных, но необычайно интересных поисках было настоящее свежее обогащение. Область театра вся была впереди, а сколько других областей лежало еще совершенно нетронутыми и к себе манили...

Когда вспоминаешь это время, неповторимое, как неповторима молодость, делается понятным, что и наша духовная независимость и интимный уклад жизни и общая жизнерадостность и, конечно, нами самими несознаваемый идеализм — всё это было счастливейшей почвой общего искреннего подъёма не могло не дать в разраставшейся художественной жизни самые плодотворные ростки. Теперь, оглядываясь назад, и вспоминая небывалую тогдашнюю творческую продуктивность, и всё то, что начинало создаваться вокруг, — мы вправе назвать это время действительно нашим "Ренессансом".

Наш круг друзей "Мира Искусства" за годы 1903-04 расширялся мало, оставаясь таким же тесным. Около 1903 года вошел в него Нарбут, вначале верный последователь Билибина, стал появляться на горизонте Кустодиев.

Группа художников и писателей "Мира Искусства" образовалась сама собой, органически, путем естественного подбора (добровольно — "рыбак рыбака видит издалека"). Кто входил в нее позже, становился "своим". Роль Дягилева в деле основания журнала и привлечения сотрудников была очень ценной, но "сотрудники" и сама "группа" не были одно и то же, т.к. многие очень мало принимали участие в журнале, а то и совсем не "сотрудничали", а сотрудники далеко не все были членами группы. Понятие "группы", как нашего художественного "очага-гнезда" — как угодно — шире сотрудничества в "Мире Искусства".

"Мир Искусства" в широком смысле было объединение друзей, связанных одинаковой культурой и общим вкусом — последнее особенно замечательно.

Мне надо было иметь опору и подтверждение того, что мне подсказывал часто только инстинк. Это я с радостью и находил в нашем дружеском кругу.

Иногда кто-нибудь из друзей, Бакст например, приносил своё, я чаще всех это делал, ибо привык показывать еще в сыром виде свои работы в своё время Грабарю, потом Сомову (я больше всего боялся сухости и робости, особенно в графике, и мне нужны были советы). Я видел у Бенуа его бесчисленные альбомы рисунков с натуры, он вообще не расставался с карандашом, рисовал всё, накоплялись у него и

портретные наброски (в сходстве он не всегда был силен) и всё это были документы всей его жизни. Он часто отмечал на рисунке краски пейзажей и их валёры, чтобы потом дома разрабатывать их в большем виде — этому он и меня "научил".

Как ни странно, но в наших беседах мы мало говорили о передвижниках, и вообще мало ими интересовались. Относились мы к их поколению непочтительно, и отрицательное отношение установилось настолько прочно, что казалось незачем и затрагивать эти темы. Теперь кажется это напрасным. На склоне лет отношение изменилось; Александр Бенуа как-то признался (в 1950-х годах) в нашей парижской беседе, что он даже иногда любуется Владимиром Маковским...

Можно вообразить и с другой стороны, что появление на сцене нового поколения с высокомерным и блестящим Дягилевым во главе, могло возмутить и озлобить представителей "передвижничества". На смену им, типичным русским интеллигентам середины века, моралистам и, собственно говоря, довольно скучным и унылым "учителям" — каким был их апостол Чернышевский ("эта нездоровая фигура" по словам молодого Дягилева) — пришли совсем другие люди. Они принесли новый вкус и тот европеизм, который так чужд был среде предыдущего поколения.

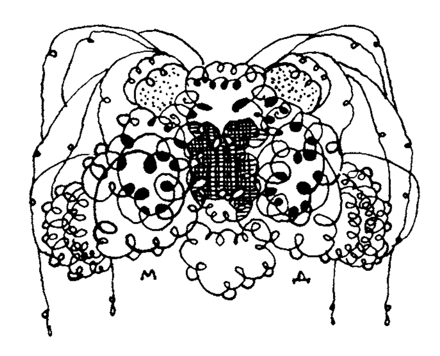
Ранний реализм "Мира Искусства" отличался от передвижнического, который казался нам пустым и плоским (тем более от т.наз. "социалистического реализма"!) Мы слишком любили мир и прелесть вещей и не было тогда потребности нарочно искажать действительность. То время было далеко от всяких "измов", которые попали (к нам) от Сезанна, Матиса и Ван-Гога. Мы были наивны и чисты и м. б. в этом было достоинство нашего искусства.

Нас стали называть "стилизаторами", естественно, что мы искали упрощения (сама графическая форма многих наших произведений .... почти всех привлекала, обязывала к этому упрощению). Упрощению же нас (также) учили японцы и, чего нельзя отрицать, некоторые французские импрессионисты, как Дега и Пьер Боннар например. Подобно нам они такие же реалисты по существу, а совсем не стилисты. Конечно, мы были "стилизаторы" в том смысле, что после передвижников впервые именно в среде "Мира Искусства" возник интерес к декоративным стилям прежних эпох и к архитектуре, которая вся основана на стиле и, кстати сказать, впервые в русском искусстве архитектурные сюжеты заняли такое большое место в произведениях художников "Мира Искусства".

Передвижники касались архитектуры в своих картинах лишь

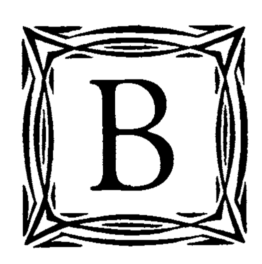
попутно и поверхностно — и где кроме "Балаганов" К. Маковского и "С квартиры на квартиру" В. Васнецова (на фоне Петропавловской крепости) ......можно найти архитектурный мотив?

"Отцами" однако передвижников назвать нельзя, т.к. мы ничем не обязаны им. Тут были во всём резкие различия.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1904 год.



НАЧАЛЕ 1904 года я поехал на несколько дней в Москву, чтобы посетить выставку только-что открывшегося "Союза Русских Художников", где я участвовал. До этого я Москвы не знал бывал лишь проездом; теперь провёл несколько дней, остановившись у моей тётки, на Трубной площади ("Труба", как говорили москвичи), где видел весёлый рынок певчих птичек.

Москва меня совершенно очаровала. Стояла снежная зима с крепким морозом и розовым солнцем, и я наслаждался прелестью московских переулков с уютными особняками и совершенно не похожей на петербургскую уличную жизнь Москвы — пёстрой, громкой, весёлой.

Моему праздничому настроению, охватившему меня, помогла и приветливость, которую я встретил у всех, и радушный приём в доме у Гиршмана, куда меня привёл тогда Грабарь.

Генриетта Леопольдовна, недавно лишь вышедшая замуж, была в расцвете юности и именно тогда Серов написал ее известный портрет перед зеркалом. Дом был даже до чрезмерности перегружен коллекциями антикварных предметов русской старины (гл. обр. 18 века и нашего "ампира") — мебели, миниатюр, табакерок и фарфора, но всё это было собрано с большим вкусом и любовью. Дом их, стоявший в замечательном месте — почти вплотную к глядщим в окна дома триумфальным "Красным Воротам", был настоящий музей и было там чем любоваться!

В то же время В.О. и Г.Л. Гиршман составляли обширную галерею картин современных русских художников, (но были у них и старинные портреты, м. пр. Левицкий,) главным образом художников "Мира

Искусства". Делалось это с большим выбором. Попасть в это собрание являлось большой честью и то, что моя пастель "Двор", (изображающая вид из окна нашей квартиры на 7-ой роте на ту пустынную стену, о которой я упоминал) была приобретана В.О. Гиршманом с выставки "Союза", это было начало и моего "признания" за пределами нашего дружеского круга, что очень подняло мой дух.*
Дом Гиршмана был в то время одним из центров художественной и артистической Москвы и в этот мой приезд я познакомился там с некоторыми москвичами — Юоном, Винаградовым, Переплётчиковым и Аппол. Васнецовым.

В этот же приезд Генриетта Леопольдовна повезла меня в своей карете в трескучий мороз к Серову и я видел у него много мне неизвестного. И к нему самому я ближе присмотрелся, меня он уже не отпугивал. Тогда же я, наконец, внимательно осмотрел Третьяковскую галерею и очень оценил живопись Врубеля и поражен был (знакомой мне лишь по репродукциям) серией Библейских видений Александра Иванова. Тут же у меня составилось надолго отрицательное мнение о передвижниках...

В Художественный Театр тогда я не попал и знакомство с ним (через тех же Гиршманов) состоялось только через четыре года в 1908 году.

Год 1904-ый был неспокойный, несчастная и бессмысленная японская война начала расшатывать все устои, пошли политические волнения, забастовки и "аграрные беспорядки". Несмотря на всё это — летом я поехал с женой и двумя маленькими детьми, Верочкой и Стивой, в Тамбовскую деревню к моей матери знакомить её с моей женой — в Кирсановском уезде было тихо. Взяли с собой и няню, племянницу моей собственной няни Марьи Осиповны, — Вету (Елизавету) и моей жене пришлось впервые пожить в очень примитивной деревенской обстановке. Появление в этом старосветском гнезде красивой и нарядно одетой дамы было, конечно, событием. Она побывала у всех соседей, терпеливо тряслась на бричке по деревенским ухабам. С моей мамой у нее сразу установились самые лучшие отношения, несмотря на ее невероятную требовательность к людям. Ей нравилось, что моя жена так безукоризненно говорит по французски, отлично играет на рояле и так прекрасно воспитана и с гордостью она ее возила всюду

*"Двор" был приобретен за 125 рублей; с первой же выставки, на которой я участвовал "Мира Искусства" в 1903 году, "Царское Село в снегу" было приобретено П. П. Перцовнм — это была первая продажа. В следующие годы в коллекцию Гиршмана попало еше несколько моих произведений, петербургских мотивов и театральных.

"показывать". (Сама моя мать не выезжала из деревни уже много лет и лишь в 1910 году мне удалось ее "выписать" в ненавистный ей Петербург).

Тем летом умер А.П. Чехов, я узнал об этом в деревне. К великому моему сожалению я не знал его лично, знал его только по его произведениям, и на меня очень тяжело подействовала эта смерть.

Из Семёновки мы с детьми и няней Ветой поехали в Ростов, к отцу моей жены, и после пяти лет я опять увидел этот пыльный и совершенно неинтересный город и комфортабельный дом, поставленный на настоящую "барскую ногу", с громадных размеров полутёмными комнатами и с окнами, всегда закрытыми жалюзи от палящего солнца. Из Ростова я привёз, законченные в Петербурге, акварель "Садик у стены" и большую пастель "Сараи и склады" — последняя на выставке "Союза" обратила на себя внимание. Юон, мнением которого я дорожил, сказал мне: "Вы сами не знаете, *что* Вы сделали"... (эта работа была воспроизведена в "Аполлоне"). Но пастель эта больше не существует, я стал ее поправлять и испортил.

Недолгое пребывание в деревне у моей матери было очень продуктивным, я нашел в Семеновке и селе Инжавино множество курьёзных мотивов — золотой крендель у сельской булочной, резные кладбищенские ворота со столбами, увенчанными жестяными луковицами, домики с зелёной крышей и железным кружевом на дымовых трубах, деревенскую улицу — серая линия изб с одинаковыми крылечками — и около маминого дома печальный вырубленный сад. Также из Ростова я вывез довольно много рисунков — двор с удивительными сараями и конюшнями, садик у кирпичной стены, зал с узкими "трюмо" в простенках окон с отражениями в паркете — один из первых (и может быть самых удачных) моих интерьеров. Некоторые летние рисунки я разработал уже в Петербурге и выставил на выставке "Союза".

С детства меня волновал вид приближающегося Петербурга и это волнение с годами становилось всё острее, когда так часто потом приходилось возвращаться из Москвы. Если поезд подходил к Петербургу вечером, то за семафором виднелась далёкая россыпь городских огней и длинные цепочки уличных фонарей; если утром, то уже издали над широкой равниной домов золотился купол Исаакия и блестели иглы и шпили Петербурга, даже сжималось сердце увидеть снова всё это! И когда с вокзала я ехал к себе домой, после пёстрой, тесной, расхлябанной Москвы с ее "Кривоколенными" переулками и тупиками, всегда меня по новому поражали петербургские просторы и эта ровная линия крыш, и больше всего зимой, когда снег лежал на всех

карнизах зданий и подчеркивал грандиозную горизонтальность Петербурга. Мне чувствовалось всё сильнее, что именно тут и только тут, в этом в высшей степени строгом и серьёзном городе, под этим серым и грустным небом, может и должно рождаться и совершиться нечто очень значительное. И по контрасту с Москвой я всё больше и больше чувствовал и всё больше любил *дух* Петербурга, его мужественный и суровый "Genius loci". Я думаю, что именно в эти годы, с 1904 по 1906, было время наибольшего подъёма в моем рисовании "лирического" и интимного Петербурга. Я только был довольно однообразен в моей технике раскрашенного рисунка и никто мне почему-то не подсказал изменить эту технику и обратиться к иным, живописным приёмам. Это пришло само собой уже перед революцией 1917 г. и в первые годы после нее, когда я увидел трагическое лицо Петербурга и испытал иной и прощальный подъём перед тем, как покинуть Петербург навсегда.

Но у меня был период и охлаждения к темам Петербурга (я думаю между 1908-м и 1914-м годами). Когда меня провозгласила критика "поэтом Петербурга", мне стало противно носить этот ярлык и исполнять как бы "общественный заказ" и как обязанность продолжать это "воспевание". Стать "специалистом" и "творить под диктовку" — претило всей моей натуре художника и моему вкусу.

В 1912 г. я сделал большую панораму Петербурга, рисуя непосредственно с натуры (из алтаря Сенатской церкви) — это был заказ для школьных картин Кнебеля и потому я рисовал без особенного подъёма.

На моих глазах, благодаря журналу "Мир Искусства" рос всё больший интерес к красотам Старого Петербурга не только в художественном мире, но и вообще происходил как-бы общий сдвиг вкуса в отношении к Петербургу, в облике которого еще недавно видели одну казёнщину и казарменность. Думается, что для "пропаганды Петербурга" сыграли вначале известную роль многочисленные рисунки — мотивы Петербурга, печатавшиеся с 1903 года на весьма популярных и очень распространенных в России открытых письмах Красного Креста — Остроумовой и мои.

Должен сказать,что я сам выбирал эти мотивы, рисовал только то, что мне самому нравилось и был совершенно свободен. Это я всегда очень ценил и, кстати, хочу добрым словом помянуть И.М. Степанова, преданного "Миру Искусства" друга, который "изобрёл" художественную открытку и столько сделал для популяризации наших произведений.

1903 год, (предпоследний в жизни "Мира Искусства", когда я был уже в курсе всех его дел и много работал по книжной графике) был

особенно продуктивен в области художественной книги. Пример давал сам журнал "Мир Искусства", замечательно печатавшийся в типографии Голике и Вильборга. Вышла в свет большая книга бар. Н.Н. Врангеля "Музей Александра III" и начала печататься выпусками "Русская Школа живописи" Ал. Бенуа, а до этого роскошно издано было "Царское Село" его же (для всех этих книг мною, Лансере и Яремичем было нарисовано множество виньеток и узорных надписей). В том же году была издана Экспедицией Заготовления Государственных Бумаг очаровательная "Азбука" Александра Бенуа, — она рождалась на моих глазах, но та же "Экспедиция", вначале столь расположенная к иллюстраторам "Мира Искусства", отказалась издать иллюстрации Бенуа к "Медному Всаднику", чем все мы были возмущены. "Медный Всадник" с этими чудесными иллюстрациями был через много лет прекрасно издан отдельной книгой "Комиссией по популяризации русских художественных изданий" (бывшее изд. Красного Креста).

Деятельность "Мира Искусства" с самого начала журнала протекала в условиях очень не мирных — травля прессы продолжалась, хотя нас это только забавляло, но был ряд неприятностей, тяжелых и для журнала, и для самого Дягилева и его сотрудников.

В 1903 году Бенуа, вследствие каких-то недоразумений с Обществом Поощрения Художеств, отказался по своей горячности от редактирования "Художественных Сокровищ России". Подробности мне неясны, но тут сыграл какую-то отрицательную роль Андриан Прахов и ....наш сотоварищ Рерих, секретарь Общества Поощрения Художеств, умывший по-видимому руки.

После этого с начала 1904 года Бенуа стал редактировать номера "Мира Искусства", которые посвящались старинному искусству, Дягилев же оставался редактором, выходящих в очередь с ними номеров, с обзором современного искусства. При этом "двуумвирате" журнал 1904 года был необыкновенно содержательным, так что отказ Бенуа от редактирования "Худ. Сокр. России" только обогатил "Мир Искусства".

В 1903 году Дягилева и "Мир Искусства" постиг очень большой и неожиданный удар. На выставку журнала "М.И" в Пассаже съехалось много москвичей, участвовавших на этой выставке, и обнаружилось накопившееся недовольство "диктаторством" Дягилева. Тут играло роль и личное самолюбие — многих задел очень резкий фельетон Бенуа — и вообще сказался традиционный антагонизм Петербурга и Москвы. На большом собрании, устроенном Дягилевым в его доме, он решил поставить точку над "i", и вроде как бы возбудил "вопрос о доверии", и тут неожиданно оказалось, что у москвичей уже предрешена организация самостоятельного выставочного объединения: "Союза

Русских Художников". Дягилев тут же отказался от ведения выставочного дела и москвичи, люди гораздо более деловые чем мы, оказались победителями. (Коноводами были Переплётчиков, Виноградов и хитрый Костя Коровин.)

Только что образовавшийся "Союз" сразу же начал зазывать в своё общество петербуржцев и нас стали заочно выбирать в члены "Союза" и в экспоненты его выставок. Дягилева никто заменить не мог, и ни у кого не было-бы охоты взяться за новую организацию выставок. В "Союзе" же всё было отлично и по коммерчески налажно.

Всем было не по себе идти в Московский лагерь, но в силу необходимости и с большими колебаниями, пришлось согласиться на уговоры Москвичей.

Дягилев мог только пожать плечами... (Будущее показало, какой непрочной оказалась наша связь с Москвой)...

Ничто не предвещало между тем конца журнала "Мир Искусства" — он был в полном своём расцвете, — но год 1904-ый оказался последним: в конце его издание прекратилось.

Многие думали, что причина в каких-то внутренних неладах и в том, что Дягилев "устал", или ему "надоело", но это неправда. Внутри всё было по прежному дружно, а Дягилев, несмотря на все неприятности, не только не утратил своей энергии, наоборот — это доказала его "Историческая выставка портретов" в Таврическом Дворце, предприятие всероссийское, устроенная вскоре по закрытии журнала, но уже всё лето 1904 года Дягилев посвятил подготовке этого грандиозного дела.

Единственной причиной прекращения "Мира Искусства" было отсутствие средств на дальнейшее его издание...

Никто, кроме самых ближайших друзей Дягилева, не был в курсе того, на какие средства журнал издается и об этом как-то даже непринято было говорить. Знали лишь, что в самом начале деньги на журнал даны были Саввой Ивановичем Мамонтовым и княгиней Тенишевой. Мамонтова затем постигла беда: он был объявлен банкротом и Тенишева с трудом и по-видимому неохотно продлила субсидию.

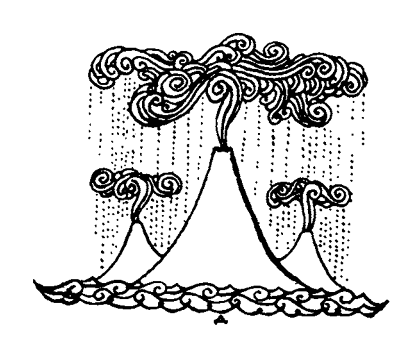
В своей книге "Воспоминания" она подробно и откровенно-недоброжелательно излагает все перепетии своих отношений к "Миру Искусства". Давая деньги на журнал и считая себя его "хозяйкой", эта властная женщина обрушивается на журнал и на Дягилева с рядом очень

несправедливых упрёков-осуждений, якобы за "травлю" Верещагина (на деле "Мир Искусства" считал его лишь усередным изобразителем, а не художником), "не может примириться с раздуванием ампира, с восхвалением всего иностранного в ущерб русскому, и с явно враждебным (!) отношением к русской старине"... (привожу подлинные выражения). "Я потребовала, — пишет она, — изменить состав сотрудников, пригласить Рериха (вместо Бенуа) и когда в списке сотрудников я прочла имя Бенуа, я немедленно поместила в газетах объявление, что никакого участия в журнале не принимаю и принимать не буду". "Это и было смертью "Мира Искусства"." Однако княгиня ошиблась и журнал просуществовал еще два года, ибо пришла совершенно неожиданная помощь.

В это критическое для "Мира Искусства" время Серов писал свой знаменитый портрет Государя (в тужурке) и беседовал с ним запросто во время сеансов, и рассказал о "Мире Искусства", о его культурном значении и о его материальных затруднениях, даже о несчастии, постигшем Мамонтова, и Царь, неожиданно для Серова, предложил субсидию журналу на два года из его личных средств, в размере пяти тысяч рублей....

Этот жест остался тайной почти для всех и, разумеется ни Дягилеву, ни кому другому естественное чувство корректности не позволило разглашать об этом. (Сам я узнал о субсидии много лет позже.)

В 1904 году кончалась эта субсидия, шла неудачная для России война, надвигалась революция и поднимать вопрос о возобновлении субсидии не могло быть и речи.



ПРИЛОЖЕНИЕ

•

СТАТЬИ

I

ИСТОРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ

В 1904 году журнал Дягилева "Мир Искусства" и его ежегодные выставки современных художников, после семилетней деятельности прекратили свое существование. Результаты этой деятельности, всколыхнувшей сонное царство нашего искусства, которое впадало в крайний провинциализм, уже тогда могли быть признаны огромными. Теперь же, по прошествии 50-ти лет, в перспективном отдалении, заслуги журнала, всего круга "Мира Искусства" и самого Дягилева — особенно ясны: это было обновление нашей художественной культуры, можно сказать, — ее возрождение.

В широчайшую программу "Мира Искусства", помимо пропаганды современного западного искусства, связи с которым так нехватало нашему художественному миру — входила и пропаганда и, можно сказать, "реабилитация" нашего собственного искусства прежних лет. Многое было забыто: наш замечательный 18-ый век был в небрежении; красота Петербурга, воспетая Пушкиным, трактовалась, как казённый казарменный стиль; европейские влияния считались гибельными для русского искусства. На всё это "Мир Искусства" открыл глаза по-новому.

Хотя "Мир Искусства" был явлением чисто петербургской культуры, его интересы в области русского искусства вовсе не ограничивались петербургским периодом: непрерывно, с первого до последнего номера журнала, помещались статьи и репродукции, посвященные творчеству до-петровской Руси, и, что особенно следует отметить, было всегдашнее стремление объединить оба мира: Петербург и Москву — задача почти неосуществимая...

Когда стало ясно, что журнал должен прекратиться*, Дягилев направил свою неисчерпаемую энергию на организацию нового

художественного дела: собрать со всей России русские портреты для исторической выставки, где бы во всем блеске могло быть показано портретное искусство, созданное у нас с Петра Великого до наших дней*. Это удалось Дягилеву в полной мере и было как бы завершением деятельности "Мира Искусства" в области истории русского искусства петербургской эпохи.

Никто, кроме Дягилева, в то время не мог бы взяться за это грандиозное предприятие, — так же как без Дягилева, по словам Ал. Бенуа, не мог бы возникнуть в свое время журнал "Мир Искусства". Не говоря об его организаторском таланте, энтузиазме и любви к 18-му веку, особенно русскому, он обладал глубокими знаниями в этой области, что доказала его книга, увенчанная Уваровской премией Академии Наук в 1902 г., о гордости русского искусства — Дмитрии Левицком.

С самого начала Дягилев нашел сочувствие у вел. кн. Николая Михайловича, которого знал лично, и который как раз в это время (1904 г.) начал издавать свой замечательный труд: многотомную книгу in folio о русских портретах.

Кстати сказать, вел. кн. был редким исключением в своей среде, состоял вне всякой политики, не занимал никакой командной должности, как другие его родственники и, как историк, был весьма уважаем в научном мире. Ему были доступны конечно, все архивы и он был автором многих исторических книг, посвященных, главным образом, эпохе Александра I.

Николай Михайлович дал свое шефство будущей выставке, устроил ей государственную субсидию и помог Дягилеву получить в полное его распоряжение для портретной выставки чудесный Потёмкинский дворец в Таврическом саду, много лет пустовавший и стоявший еще совершенно нетронутым, каким он был при Екатерине.

В каждой русской семье, которая дорожила памятью своих предков, сохранялись портреты отцов и дедов, — так было заведено искони. Писали их и русские художники и заезжие иностранцы. С начала XVIII века очень многие прославленные в Европе портретисты приглашались ко двору и писали членов царствующего дома и русскую знать. Портреты хранились во дворцах, министерствах, в разных учреждениях, в частных домах обеих столиц и в многочисленных поместьях. В имениях часто сохранялись целые галлереи предков —

* До Петра портреты были большой редкостью, царей писали или гравировали преимущественно иностранцы и большей частью это были изображения более или менее фантастические, лишь при Алексее Михайловиче портретное искусство в Россию стало проникать через Польшу. Несколько редчайших русских портретов этого времени во весь рост ("парсоны") фигурировали на выставке.

портреты, миниатюры, силуэты, иногда и бюсты, порой людей ничем не замечательных и никому неизвестных, но подчас изображения необыкновенно интересные и ценные с исторической и бытовой точек зрения. Качество этих произведений, конечно, было самое разнообразное, но среди них были настоящие шедевры, многие из которых оставались неизвестными публике, так как были скрыты во дворцах (как, например, чудесные "Смолянки" Левицкого), в особняках нашей аристократии и в бесчисленных имениях. Лишь в некоторых изданиях появлялись репродукции таких портретов, больше всего в журналах "Художественные сокровища России" и "Мир Искусства", но многое оставалось неизвестным.

Наиболее простой задачей Дягилева было получить портреты для выставки из дворцов, разных учреждений и частных коллекций Петербурга: всё это было под рукой, шефство великого князя открывало все двери, и Ал. Бенуа, который хорошо знал все дворцы столицы и ее окрестностей — Царское Село, Петергоф, Ораниенбаум, Павловск, Гатчину, а также и многие "подмосковные", тут ему много помог. В сотрудники по устройству выставки Дягилев пригласил несколько молодых любителей и знатоков искусства, художественных критиков и коллекционеров, которые знали что можно было найти в частных собраниях — это были: бар. Н.Н. Врангель, С. Н. Тройницкий, П. П. Вейнер, С. П. Яремич, А. А. Трубников, С. Н. Казнаков и кн. В. Н. Аргутинский — будущие основатели и сотрудники журнала "Старые Годы".

Предстояло еще получить портреты из Москвы и из провинциальных музеев, но главная и самая трудная задача была — раздобыть то, что могло находиться во множестве имений, разбросанных по разным губерниям. Дягилев самолично взялся за этот, поистине гигантский, труд — объехать все те имения, где, как было доподлинно известно находились старинные портреты, или где можно было предполагать их наличие. Время для того, чтобы разыскать эти скрытые сокровища, собрать и показать их, было самое подходящее так как, вместе с разными изменениями в быту, особенно помещичей жизни, когда стали вырубаться "вишневые сады", наступало полное равнодушие к окружающему, и "культ предков" уже выдыхался. Оказалось, что это надо сделать и потому, что надвигалась первая революция, которую в то время мало кто предвидел. Дягилев же — я в этом уверен, — ее предчувствовал и потому торопился. Лето 1904 г. было еще спокойное (я сам это видел, т. к. прожил то лето в Тамбовской губернии в деревне и потом проехал всю Россию с севера на юг) — это было как бы "затишье перед той бурей", во время которой погибло столько поместий. Всё это лето и было посвящено Дягилевым объезду имений.

Местные власти были, конечно, заранее уведомлены бумагой великого князя о дягилевской миссии и должны были помагать его поискам и посылке портретов в Петербург. Он ездил по России со своим секретарем А. Мавриным и побывал в самых отдаленных, "медвежьих" углах нашей родины. Чрезвычайно жаль, что Дягилев не оставил записок о своих странствиях и наблюдениях, и мы имеем лишь самые общие и отрывочные сведения об этой его поездке.

"С последним дуновением летнего ветра (сказал он в своей речи на московском банкете после открытия выставки)* я закончил долгие объезды вдоль и поперек необъятной России: видел глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием, посетил дворцы, странно обитаемые сегодняшними милыми, средними, не выносящими тяжести прежних парадов людьми, где доживают не люди — где доживает быт"...

"Добыча" Дягилева была огромная. Иногда, не имея времени на месте разобраться в картинах, он брал огулом целые "галереи предков", чтобы уже в Петербурге, в самом Таврическом дворце, делать окончательный отбор и производить художественную оценку каждого портрета.

С осени 1904 г. я, по приглашению Дягилева, стал принимать довольно близкое участие в устройстве Исторической выставки в Таврическом дворце. Дворец был мне уже знаком: в его великолепной белой колонной зале, с длинным рядом сверкающих хрустальных люстр, давались симфонические концерты под управлением Никиша, которые я посещал. Место, где в прошлом Потёмкин ставил блестящие празднества, было как раз походящим для того праздника искусства, каким хотел сделать и сделал Дягилев портретную выставку.

Чтобы под выставку приспособить огромные залы дворца, их приходилось разделять перегородками, которые не мешали бы архитектуре дворца, и эта задача была поручена молодым архитекторам Щуко и Ник. Лансере и художнику Е. Лансере. Получился целый ряд зал, предназначившихся для портретов отдельных царствований: Петра, Елизаветы, Екатерины, Павла, и др., и каждый зал был декорирован в соответствующим эпохе стиле, стены же перегородок обтягивались материей различных цветов. Особенно удачно был спроектирован Павловский зал с черным бархатным балдахином над страшным портретом императора, изображенного в одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена и с короной, надетой набекрень, работы Тончи. Под современный портрет, со второй половины XIX в., кончая Серовым, Кустодиевым и Сомовым, был отведен большой "Зимний сад", полукруглый зал

* Речь полностью приведена в № 5 "Весов" за 1906 год.

— абсида дворца, то самое место, где потом был устроен зал заседаний Государственной Думы. Центральная часть главного колонного зала дворца была отведена под "атриум" выставки и там сооружался по планам Бакста трельяжный сад в духе XVIII века с боскетами из лавровых деревьев, но когда Бакст торжественно показал свое произведение Дягилеву, тот неожиданно раскричался: "что за кладбище ты тут устроил" и велел сейчас же всё сломать до основания. Бедный Бакст должен был послушаться нашего деспота и сделал всё по-новому и, нужно сказать, этот новый боскетный сад оказался удачнее первого и был действительно очаровательной декорацией. Портретные мраморные бюсты екатерининского и александровского времен особенно украсили этот вход на выставку.

Чтобы все выставочные залы привести в еще более парадный и как бы "жилой" вид, их надо было обставить соответствующей эпохе мебелью и старинными предметами искусства, и эту задачу Дягилев поручил мне. Нашлись, прежде всего, в самом Таврическом дворце и в сараях на берегу Невы огромные склады мебели начала XIX в., а также множество декоративных украшений — остатки прежних празднеств во дворце, — золоченые орлы, трофеи и короны екатерининского времени, которые пригодились для убранства выставки. Но главная моя миссия состояла в объезде всех императорских дворцов Петербурга для выбора нужных вещей. Не очень легкая задача эта была мне, конечно, крайне интересна. Мне был дан в помощь реставратор Эрмитажа, толстый Сидоров, который знал все дворцы, и мы с ним разъезжали по всему Петербургу на извозчиках (автомобилей еще не было) с бумагой от Министерства Двора, открывавшей доступ всюду. Я побывал и во дворцах мало кому известных и давно пустовавших, как например в маленьком Петровском на Петровском острове, вскоре сгоревшем дотла, в Екатерингофском, а также в Елагинском и Каменноостровском. Больше всего мы взяли из Зимнего дворца — я обошел все его колоссальные залы; и почти ничего из Аничковского: там вся мебель оказалась на удивление банальной, а подчас и безобразной: изделия Мельцера в квазирусском стиле с полотенцами и петухами. Я воспользовался случаем и зашел в недоступный никому кабинет Александра III, огромную и пренеуютную комнату, занимавшую весь фасад дворца вдоль Невского и сохранявшуюся в том виде, как и при его жизни. Там было много семейных фотографий и групп, где члены царской фамилии сняты были в штатском виде, и я подивился гигантскому умывальнику, во всю стену в конце кабинета — точно могучий царь смывал весь обильный пот своих трудов в этом lavabo. В деревянном Екатерингофском загородном дворце мы нашли необыкновенно пышную мебель елизаветинского времени, черную с золотом, расписанную в китайском

духе, которая была в крайне плачевном состоянии: крыша дворца протекла и, в частности, вода капала на один замечательный стол, и кажется только тут управляющий это заметил. Из очаровательного Елагинского дворца на Островах мы могли взять изящную мебель карельской березы павловского времени, а Каменноостровский дворец принцессы Альтенбургской оказался переполненным великолепной ампирной мебелью, белой с золотом, сделанной по рисункам Росси, которая особенно украсила Историческую выставку. (В тот солнечный зимний день большой белый зал Каменноостровского дворца был, помнится, сказочно красив — весь в прозрачном хрустале — с вазами и люстрами, а в огромные окна, до полу, глядел заиндевевший парк). Попутно во всех дворцах я делал наброски всего примечательного.

Еще задолго до начала работ по устойству выставочных зал стали прибывать ящики с портретами со всех концов России и ими заполняться все помещения Таврического дворца. Я часто присутствовал при том, как вынимали картины из вороха стружек и сортировали их, и было много сюрпризов и любований; а держать в руках и временно, так сказать, "обладать" каким-нибудь Боровиковским или Росленом и рассматривать эти портреты вплотную — было огромным удовольствием. Тут я видел Дягилева во всём его блеске. Портреты часто бывали анонимные и тогда приходилось устанавливать и авторство художника, и личность изображаемых персон. среди устроителей бывали разногласия и споры, Дягилев же поражал своей необыкновенной интуицей в определениях, всегда безошибочных, поражал и памятью и вообще всеми своими сведениями в области портретной живописи. Он носился по холодному дворцу в шубе в накидку, совсем как полководец на поле сражения, и изо всех углов дворца доносился его командирский голос: "брак!" или "взять!" Многие портреты из огромного количества присланного были забракованы. Развеска колоссального количества портретов была задачей весьма сложной, но Дягилев имел долголетний опыт и всем руководил, входя, как всегда, в мельчайшие детали.

Был трагикомический случай: водружали один громадный портрет Александра I-го, и рабочий, возясь с его прикреплением, сорвался с лестницы и провалился сквозь холст, сделав во чреве императора огромную дыру. Произошел невероятный переполох и Дягилев, поспешивший на место катастрофы, первым делом спросил: "не сломал ли себе шею этот несчастный?" Но рабочий оказался жив и невредим и получил щедро на чай, а невозмутимый толстый Сидоров, мой "гид", случившийся тут же, на моих глазах сразу же начал операцию с Александром I. Он так быстро зачинил свежую рану, растянув портрет на мраморном столе и загладив утюгом рубцы, что все поражены были его

искусством. После окончательной ретушевки никаких следов не осталось, и казенное учреждение, от которого был получен портрет, так и не узнало о случае и не могло ничего заметить.

Перед открытием выставки, когда уже кончались работы по развеске портретов, мебель, привезенная из всех дворцов, мной была распределена по соответствующим залам и очень оживила выставку. Особенно всех восхитила Елизаветинская китайщина, найденная мной в Екатерингофском дворце, — этот раритет никому не был известен. Помимо огромного художественного наслаждения от дивных портретов, собранных на выставке, само ее декоративное устройство могло удовлетворить самый требовательный вкус — тут всё было *подлинное* и всё было, как и подобало духу "Мира Искусства", который там царил, "выдержано в стиле". Я был рад приложить собственную руку к этому устройству, хотя мое участие выразилось лишь в немногих мелочах — маленьких плакатах, обозначающих в каждом зале его эпоху, памятной этикетке на каждом портрете, и других графических работах. Я сделал, кроме того, по просьбе Дягилева, большой рисунок на пергаменте, украсивший адрес, поднесенный устроителями Исторической выставки вел. кн. Николаю Михайловичу.

Историческая выставка портретов открылась 6-го марта 1905 года. Дягилев сумел устроить праздник открытия с большой торжественностью. Но и сама выставка была в нашей жизни настоящим праздником искусства, и в то же время это был "пир во время чумы": летом 1905 г. вспыхнула революция и в погромах и пожарах имений погибло множество предметов искусства и семейных реликвий. По счастью некоторые портреты были спасены именно тем, что были отосланы на нашу Историческую выставку в Петербурге.

Для русской художественной культуры выставка имела очень большое значение: она дала возможность новых художественных сопоставлений и разных оценок, на ней было сделано и немало открытий, т. к. множество портретов было выставлено впервые. Целый ряд художников, в том числе Н. Ге и Крамской, показались в ином свете, более значительными и привлекательными по живописи и тому, что особенно свойственно русскому портретному искусству — психологичности или, точнее, душевности. С этой точки зрения можно было по-новому оценить на выставке, между прочим, Винтергальтера, работавшего в России в 1840-х г. Кисти этого блестящего салонного портретиста Второй Империи, часто слишком нарядного и эффектного, принадлежал портрет княгини Е. К. Воронцовой, той, к которой в ее молодости был неравнодушен Пушкин, — совершенно исключительный для этого художника по живописи, простоте,

жизненности и необыкновенному очарованию. Я подолгу простаивал перед этим портретом...

На выставке, наряду с русскими художниками, фигурировали все наиболее выдающиеся иностранные портретисты, работавшие в России с начала XVIII века и запечатлевшие многих представителей русской царствующей династии, аристократии и знаменитых людей*. Особенно поражали всех на выставке портреты Рослена по их мастерству и выразительности. Выставка с очевидностью доказывала, что наши портретисты того же XVIII века — Левицкий, Боровиковский, Шубин, Щукин, Рокотов и более позднего времени, как братья Брюлловы, Кипренский, Тропинин, Варнек, Соколов, стоят на уровне лучших европейских — их современников.

Несмотря на все старания Дягилева и вел. кн. Николая Михайловича, идея создать из всего, так счастливо собранного, музей — не осуществилась. Шла японская война, разрасталась революция и правительству было не до этого, и по закрытии выставки почти все портреты были развезены по своим местам, за исключением некоторых дворцовых портретов, переданных в Русский музей Александра III. Был издан очень тщательно составленный каталог, над которым работали многие сотрудники Дягилева. Каталог этот, изданный в нескольких частях, был, к сожалению, без репродукций, но многие портреты, как и интерьер выставки и боскеты Бакста, были увековечены на открытых письмах Красного Креста. Лучшим же памятником замечательного события явилось издание вел. кн. Николая Михайловича "Русские портреты". Оно было напечатано в 5-ти томах с великолепными воспроизведениями портретов (издание это было закончено в 1909 году).

Единственный (и несправедливый) упрёк, который делали Дягилеву по поводу выставки, был в отсутствии на ней многих художников "передвижников". Но он предпочитал, чтобы выставка выиграла в качестве, хотя бы и за счет исторической полноты, да и многие портретисты той эпохи (1870-80 гг.) весьма бы потеряли от соседства с их собратьями Крамским или Репиным; оба последние были хорошо представлены на выставке, как и прославленный портретист того времени Конст. Маковский. Своей портретной выставкой Дягилев окончательно завоевал и привлек на свою сторону общественное мнение. После многолетней борьбы, которую он вел вместе с "Миром Искусства" против косности и отсталости нашей в искусстве, это был его заслуженный триумф. Помимо своего огромного художествен-

4. Из Италии приезжали — Каравак, Торелли, Ротари, Лампи, Тончи, из Швеции — Шевалье де Рослен, из Германии — Р. Менгс и Анжелика Кауфман, из Франции — Грез, Виже Лебрен и Винтергальтер, из Англии — Дау, и.т.д.

ного значения, Портретная выставка Таврического дворца была и *исторической.* Эта незабываемая "ассамблея" изображений представителей всего петербургского периода нашей жизни, придворной, официальной и интимной, была как бы история этого времени и его быта в лицах.

"Не чувствуете ли вы", говорил Дягилев в упомянутной речи по поводу выставки, "что длинная галерея портретов великих и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца — есть грандиозный и убедительный итог, подводимый блестящему, но, увы, омертвевшему периоду нашей истории"... По его словам, во время его "жадных странствий" он особенно убедился в том, что мы живем в страшную пору перелома: "Мы осуждены умереть, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что останеться от нашей усталой мудрости. Я уверен, что вы свидетели величайшего исторического момента итогов и концов во имя новой неведомой культуры, которая нами возникнет, но и нас отметет"... Слова эти оказались во многом пророческими...

Закрылась выставка раньше предполагаемого срока, так как Таврический дворец был отдан под Государственную Думу и должен был в спешном порядке перестраиваться. Увы, новый зал Думы, бесстильный и некрасивый, представлял большой контраст со всем тем, что блистало великолепием на том же самом месте. Лишь большой колонный зал, где перед этим были развещены великолепные портреты екатерининского времени, остался почти нетронутым, и он стал прозаическим и шумным "кулуаром" нашего недолговечного парламента.

Историческая портретная выставка была заключением всей художественной деятельности Дягилева в России. С 1906 года он начал заграницей новую блестящую деятельность: ознакомление Запада с русским искусством, которое одержало ряд побед, и, можно сказать, покорило Европу. Он начал с концертов русской музыки и русских оперных спектаклей и одновременно с большой ретроспективной русской выставки в Париже (Grand Palais" и, затем, в Венеции и Берлине, на которой были и многие портреты с выставки в Таврическом дворце. С 1909 же года, т. е. спустя четыре года после Исторической выставки в Петербурге, он, как известно, всецело отдался пропаганде в Европе русского балетного искусства. "Saisons Russes" Дягилева давались ежегодно в Париже, Лондоне, Берлине, Барселоне, и продолжались два десятилетия до самой его смерти, на 57-ом году его замечательной жизни.

P.S. Зимой 1954/55 г., в Лондоне была выставка, посвященная Дягилеву, по случаю 25-летия со дня его смерти, имевшая неслыханный успех (больше 100 тыс. посетителей). Там было собрано всё, что касалось его русских балетных сезонов заграницей, и были выставлены театральные эскизы всех художников, работавших с ним, начиная с Ал. Бенуа и Бакста и кончая Пикассо и Руо. На выставке память Дягилева была прославлена достойно, но лишь как вдохновителя балета и пропагандиста нового в искусстве. Всё же, что было им сделано для искуства раньше, в России, было упомянуто лишь вскользь в каталоге, и не было на выставке никакого следа самого Петербурга — художественной родины Дягилева, где был источник и всех его балетных начинаний в Европе. А, главное, — не было отмечено то, что в Дягилеве являлось таким исключительным: широта его вкуса, ибо рядом с его увлечением и интересом к "последнему слову" в искусстве, он всю жизнь, до конца, оставался верен своей любви к XVIII веку, к старинной музыке и к Чайковскому...

II

РЕМИЗОВСКОЕ "БЕСОВСКОЕ ДЕЙСТВО".

В октябре 1907 года, когда уже почти совсем была готова моя работа для Евреиновского "Старинного театра", однажды, вдруг явился ко мне в Министерство Путей Сообщения (где я служил) Ф.Ф. Комиссаржевский, чтобы поговорить о деле: мне предлагалась постановка в театре Комиссаржевской "Бесовского действа" Алексея Ремизова — сделать все декорации, и костюмы. Срок был дан очень короткий. Я узнал также, что пьесу будет ставить Мейерхольд, и что меня "сосватал" Ремизов.

Предложение меня взволновало и обрадовало, а вели мы переговоры с Ф.Ф. о прекрасном в самом непоэтичном месте, в унылом коридоре, примостясь в углу на подоконнике. От Комиссаржевского я в общих чертах узнал о самой пьесе — что она вроде древне-русской мистерии, где художнику открываеться интереснейшая задача показать на сцене, в Ремизовском аспекте, фантастический мир бесов, ангелов, грешников и грешниц, ад и само "бесовское действо над неким праведным мужем", как гласил подзаголовок пьесы (он был вычеркнут цензурой!).

Я знал, что Ремизов великий эрудит и книгочий, и замечательный знаток русского фольклора. Пьеса, как потом он рассказывал мне, была основана на определённом древно-русском источнике — киевском "Патерике" (Жития печерских угодников"), а именно на житии Моисея Угрина, конечно, переработанного Ремизовым в его, ремизовском, духе.

С Ремизовым мы были знакомы уже года два, познакомился у моего приятеля Сюннерберга (моего "Человека в очках"), где я встречался с Федором Сологубом, Чулковым и Мейерхольдом, только что приехавшим тогда в Петербург.

То, что писал Ремизов, мне очень нравилось, многое было близко

моим настроениям и вкусу. Я любил его небольшие произведения, всегда филигранно отделанные с замечательными словечками, полные юмора и необыкновенной душевной теплоты. Особенно я был очарован его "Посолонью", где столько было и нежного, и загадочного, и смешного.

Я нередко к нему заходил на его узкий Казачий переулок около Фонтанки, с высокими мрачными домами (на одном брандмауере саженными буквами было выведено: "Здаютца квартеры"), а он меня стал навещать в моем не менее мрачном "питерском месте" — я жил на 7-ой роте Измайловского полка. Мне с Ремизовым всегда было интересно, забавно и очень уютно. Женат он был на Серафиме Павловне Довгелло, С Серафимой Павловной иногда было интересно поговорить на тему о наших литовских пращурах, — она принадлежала, как и я, к старому литовскому роду.

С Ремизовым меня связывала наша общая с ним любовь ко всему курьёзному и подетски наивному.

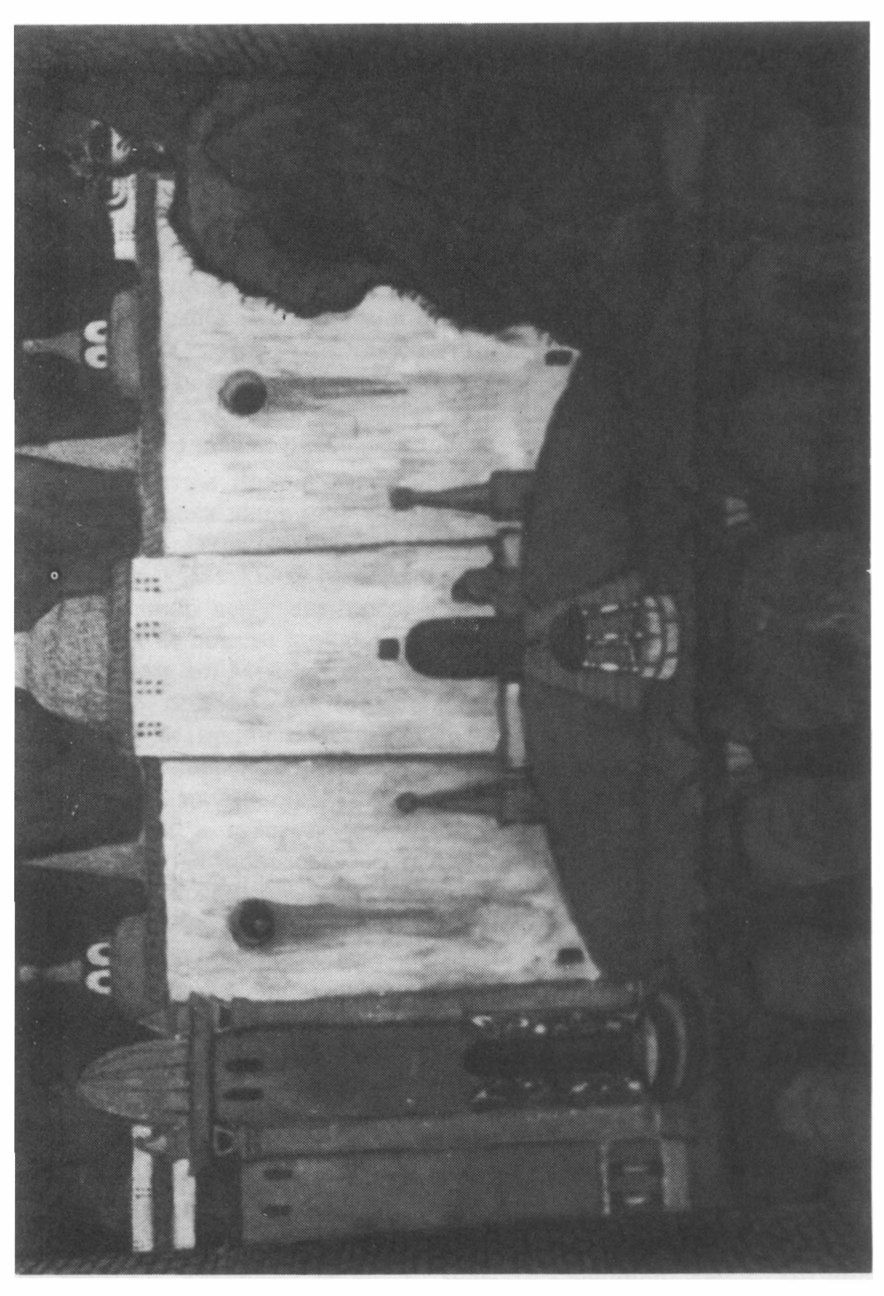
На квартире у Ремизова мы втроем с Мейерхольдом и стали обсуждать, как поставить "Бесовское действо" на сцене.

Когда я вчитался в пьесу и ознакомился с объяснениями Ремизова, мне не захотелось, как в старинном театре, делать какую-нибудь историческую реконструкцию народного лицедейства, а делать свободно, исходя из того, что могли дать мне обе мои любимые области русского искусства — лубок и народная игрушка.

Ремизов и Мейерхольд подход мой одобрили, я был окрылён этим, приступая к работе. Ремизов обладал умением по-своему оживать, делать *теперешними* народные образы и в своих писаниях давал мне пример — *как* отнестись к задаче. Все мы взялись осуществлять "бесовское действо" весело и это настроение было самыми лучшими "дрожжами".

Я держался очень близко к моим источникам, но позволял себе и "вольности" (декорация "Пролога" например, была "плод моей фантазии"). Но выдумки мои и отсебятина не выходили из рамок лубочного стиля, когда я старался на сцене показать ремизовские образы. Это было моей первой задачей.

Тут, как и в работе для Старинного театра, я был совершенным новичком. Театр был для меня еще tabula rasa, разные сценические опыты и поиски новых форм театра у нас только начинались, и Мейерхольд являлся одним из первых новаторов. В эти годы ничто не мешало быть "самим собой", не было еще никаких примеров "достойных подражания", и открывавшиеся в театре возможности казались безграничными. Роль пионера волновала необычайно, я вступал в театр с этим волнением и в настроении "изобретателя".



М. В. Добужинский. Декорация к "Бесовскому Действу" А. Ремизова. Театр Веры Комиссаржевской. С. П. Б. 1907.

Впервые испытывал я тот восхитительный подъём, который повторялся нередко позже, когда в работе (я всегда сам писал декорации) приходилось делать всё самому и забывать часы и усталость. С какой отвагой, не имея ни малейшего опыта взялся я за писание декораций!

Декорационная мастерская была очень большая и удобная, а в помощники был мне дан Володя, театральный парнишка, умевший разводить краски и разбивать холст на квадраты, шёлкая натёртой углем верёвкой. Рассказывали, что он однажды заснул на колосниках (закулисный мост над сценой) и оттуда упал на сцену посреди какого-то действия. От этого падения он стал несколько придурковатым, но это ему не помешало быть первым моим ментором по писанию декораций. Не зная, как взяться за дело, я порядком мучился над моей первой декорацией и рисовал, сидя на корточках.

Нам с этим Володей никто не мешал, но никто и не помогал. Заходил изредка лишь Ф.Ф. Комиссаржевский, чтобы подгонять нас. Ввиду моей театральной неопытности он во время постановки очень помог мне, как техник. Мейерхольда в этой роли не помню.

Декорацию всего спектакля я сделал двухярусной. Как родилась эта идея, я не совсем хорошо могу припомнить. Кажется мне теперь, что автором ее Мейерхольд не был: в книгах, посвященных ему, "Бесовское действо" упоминается только вскользь и конструкция сцены ему не приписывается. Я думаю, идея родилась у меня и у Ремизова одновременно и, может быть, всё-таки по ассоциации со средневековыми мистериями.

Оркестра в пьесе не было (музыка М. Кузмина игралась за сценой). Таким образом, место, занимаемое музыкантами, могло быть также использовано для представления. Там, в этом нижнем ярусе, был "Ад" с рядом арок, как будто пещер, ведущих в подполье под пол сцены и освещенных "адским пламенем". Посредине оркестра тлел огонь в большой чёрной зубчатой короне. На сцену вели "лестницы-стремянки", для бесов, которые по ходу действия карабкались наверх из ада.

Спектакль должен был начаться с "Пролога" на самой сцене — "Прение Живота со Смертью".

Пролог символизировал вечную борьбу жизни и смерти — и прообразом было у Ремизова русское сказание о непобедимом Анике Воине, которого поражает смерть.

Для пролога я сделал чёрное небо, на нем Большую Медведицу, из ее семи крупных звезд, и комету, сияющий хвост которой раскинулся по всему небу: под созвездием у самого горизонта — очень большой серп месяца. На Земле, посреди, белый камень означал

распутье. На сцену выходил тучный "Живот", подобие "Аники Воина" или "Бовы Королевича", в пышных и неправдоподобных золотых латах и шлеме, с кривым мечём, в красной епанче. Играл его богатырь Нелидов, оглашая театр зычным раскатистым голосом.

Смерть изображала Нарбекова, тоненькая актриса с тихим голосом. Появлялась она узко затянутой в чёрное трико, по которому были нарисованы белые кости скелета — согласно смешной лубочной анатомии. На череп была надета страшная маска с длинными седыми космами. Она несла песочные часы с крыльями, одной рукой опиралась на большую щербатую косу, а другой поддерживала развивающийся фиолетовый плащ. На сцене были еще испуганный оруженосец с копьём и щитом, и два ангела — светлый и темный.

Пролог кончался страшным поражением Живота и торжеством беззубой Смерти. "Пролог" проходил на фоне спускного занавеса, — сцена была неглубокая, — а за декорацией пролога уже стояла другая декорация — самого "действа" — белая стена монастыря с башней и воротами в духе игрушек Троицко-Сергиевской лавры. На чёрном небе из-за нее выглядывали золотые и синие купола и шпили. С одного боку стояла лилового цвета часовня с серебряной дверью, а с другого — слоистая гора с пещерой Змия: обе кулисы в иконном стиле. Посредине был сооружен колодезь, тоже, как стена, в "лаврском" стиле с колонками и куполком.

Тут происходило само бесовское действо, искушение некоего мужа. Фигурировала соблазнительница, Грешная дева в пурпурной "робе", и появлялись из Ада разных мастей бесы и два главных: Аратарь и Тимелик (последнего играл известный артист Бравич, покорно, по моему эскизу, он загримовал лицо ярко зеленой краской) Из горы вылезал Змей-Горыныч. В наступившем масляничном разгуле разноцветная толпа была наряжена мной в маски, сделанные по народным игрушкам зверей. Эти костюмы из всех были, пожалуй, самые удачные.

Во время моей работы я редко видел Веру Федоровну. Для нее самой не было роли в бесовском действе, но я ей показывал все рисунки и ее веселили мои выдумки.

В это именно время назревал конфликт между ней и Мейерхольдом. Она разочаровалась в его "идеях", захотела с ним расстаться. Мейерхольд ушел из театра среди работы над "Бесовским действом".

Уход Мейерхольда и последовавший третейский суд (Арианда Тыркова, Ф. Сологуб и прис. пов. Пергамент) стали сенсацией в петербургском театральном мире.

Чтобы спасти положение, в пьесу вошел Ф.Ф. Комиссаржевский, впервые, как режиссер (таким образом мы с ним 1907 году

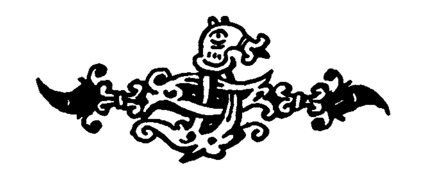
одновременно начали нашу театральную деятельность). Больших изменений в плане постановки, выработанной Мейерхольдом, Ремизовым и мной, он не сделал, и мы дружно довели работу до конца.

Спектакль состоялся 4 декабря 1907 года, ровно через месяц после первого разговора Ф.Ф. со мной о "Бесовском действе".

Пьеса вызвала скандал. Публика проглядела всё, что в пьесе было существенно, ее мистику и слёзы сквозь смех, публика возмутилась "издевательством над ней и балаганом", но мы с Ремизовым храбро выходили на аплодисменты части зрителей среди шума, свиста и негодующих выкриков. Нам было только забавно это первое театральное крещение. В газетах затем появились ругательные статьи и карикатуры. Только Ал. Бенуа в Московском Еженедельнике" написал сочувственное слово.*

Через две недели состоялась премьера в Старинном театре, и моя постановка Пастурели "Робэн и Марион" меня поглотила всецело.

"Русская Мысль" 13 сент. 1956 г.



* Эскизы декораций и пролога (также и эскизы "Robin et Marion") были приобретены Бахрушиным в театральный музей с выставки "Салон" С. Маковского в следующем 1908-ом году.

III

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР.

Московский Художественный Театр стал приезжать на гастроли в Петербург с 1904 года, на 6-ой год своего существования, и в нашем тесном кругу художников "Мира Искусства", весьма театрально настроенных, его новые и свежие слова были приняты с громадным интересом.

В первые годы театр привозил чеховские пьесы, "Юлия Цезаря", "Царя Федора", "Доктора Штокмана", "Горе от ума" и др., и то, что показал театр, по сравнению с тем, что большей частью царило в современной драме — с привычными шаблонами игры, неестественностью и декламацией, — было настоящим художественным откровением.

Всё в Московском Театре казалось необычным.

Новым был уже его занавес в лёгких складках с изображением чайки — символа Художественного Театра, не поднимавшийся, как всегда, а медленно раздвигавшийся что сразу вводило в настроение "камерности" представления. В театре был запрещен вход в зрительный зал после начала действия (на что петербургская публика, привыкшая опаздывать, немало негодовала) и это придавало особенную серьёзность спектаклю. Театр отменил и тот обычай, который теперь кажется невероятным: в тогдашних драматических театрах в антрактах обязательно играла музыка для развлечения публики и эти вальсы и легкие вещи ничего общего с пьесой не имели. Озадачивало, что в театре не полагалось аплодисментов и вызывов, — это даже обижало публику. Нововведением было и то, что на программах не было помечено, как всегда, "г-н или г-жа" такие-то, а И.М. Москвин, В.Л. Лужский, О. Л. Книппер, эти инициалы были и у игравших самые незначительные роли, что как бы выражало известное уважение к артистам. Слова "актёр", "Актриса" тут казались слишком грубыми.

Мы увидели на сцене не актёров, играющих "в публику", а

подлинных живых людей, говорящих между собой обыкновенным не приподнятым тоном, как у себя дома, свободно двигающихся и даже поворачивающихся спиной к зрителю (что казалось многим даже особенно дерзким нововведением) и душевность и простота их игры и естественность полутонов и пауз трогали нас милой и правдивой интимностью. Даже артисты играющие выходные и бессловесные роли, не были манекенами, как обычно, но и они создавали свой маленький художественнный образ, не переигрывая, при этом, и оставаясь в общем ансамбле игры. Больше всего поражала именно эта слаженность ансамблей и любовная и тщательная законченность всего.

Знаменитые "настроения" театра создавались, помимо всего темпа игры, также тонким и изобретательным звуковым фоном и "сверчки" москвичей сделались тогда крылатыми словечками. Новыми были и необыкновенно искусные нюансы освещения, так помогавшие этим настроениям, изумляла и необыкновенная иллюзия солнечного света (как в "Юлии Цезаре").

Изображая предельный реализм на сцене, театр отказывался от всякой условности и театральности. Для его духа это было логичным; но именно тут и было много такого, что нам, любившим в театре и его зрелищную сторону, казалось каким-то дефектом. Московский Театр, показывая порой очень уютные и остроумно построенные интерьеры, точно боялся красочности и декоративности.

Живописная сторона его декораций или отсутствовала вообще или, как в "Юлии Цезаре", не подымаясь выше Семирадского, а в Царе Феодоре" стояла лишь на уровне Конст. Маковского, и очень многое нам, петербуржцам, искушенным в области стиля и историзма, казалось досадно несовершенным. Станиславский гениально углубил задачи актёра, но внешняя сторона постановок, по сравнению с его огромной реформой, не была на подобной высоте.

Тогда М.Х. Театр почти не выходил из пределов натурализма, хотя постепенно, но медленно, его изживал и, идя своим путём, всё же всё время эволюционировал. В постоянных поисках был Станиславский, который являлся душой театра.

После первых петербургских гастролей Московского Театра Проходит несколько лет. За это время много нового созревает в художественном мире обеих столиц и в театральной жизни наступает острейший период новшеств.

В общей волне М.Х. Театр ищет своего собственного обновления и тогда происходит творческое сближение его с художниками петербургской культуры "Мира Искусства".

Это обращение Московского Художественного Театра к Петербуржцам, которое состоялось в 1909 году, в итоге, по существу, кажется особенно знаменательным. Наше сотрудничество явилось как бы одним из "мостов" между двумя такими различными мирами, какими были Петербург и Москва. Быт, психология и культура в каждой из столиц, которые и по облику своему были такими различными, — имели свои особенности и известно каким вообще "чреватым" был этот замечательный дуализм русской жизни и истории.

В Петербурге уже создавалась тогда целая новая театральная культура. Налицо были уже новые художники театра, а "Мир Искусства", как определенное течение, завоевал уже общее признание.

Обращение театра к петербургским художникам было естественным и вполне назревшим шагом. Те, к кому обратился театр, были свежими людьми в театре, совершенно свободные от обычных традиций и ищущие нового.

Эти художники обладали серьёзными знаниями разных исторических эпох и, главное (что было особенно ценно театру), — обладали чувством стиля.

В этом именно и требовалась помощь Московскому Театру, который уже сам замечал и ошибки своего вкуса и опасность "вариться в собственном соку" — ему мог угрожать тупик. Но мысль о привлечении этих художников в театре назревала медленно.

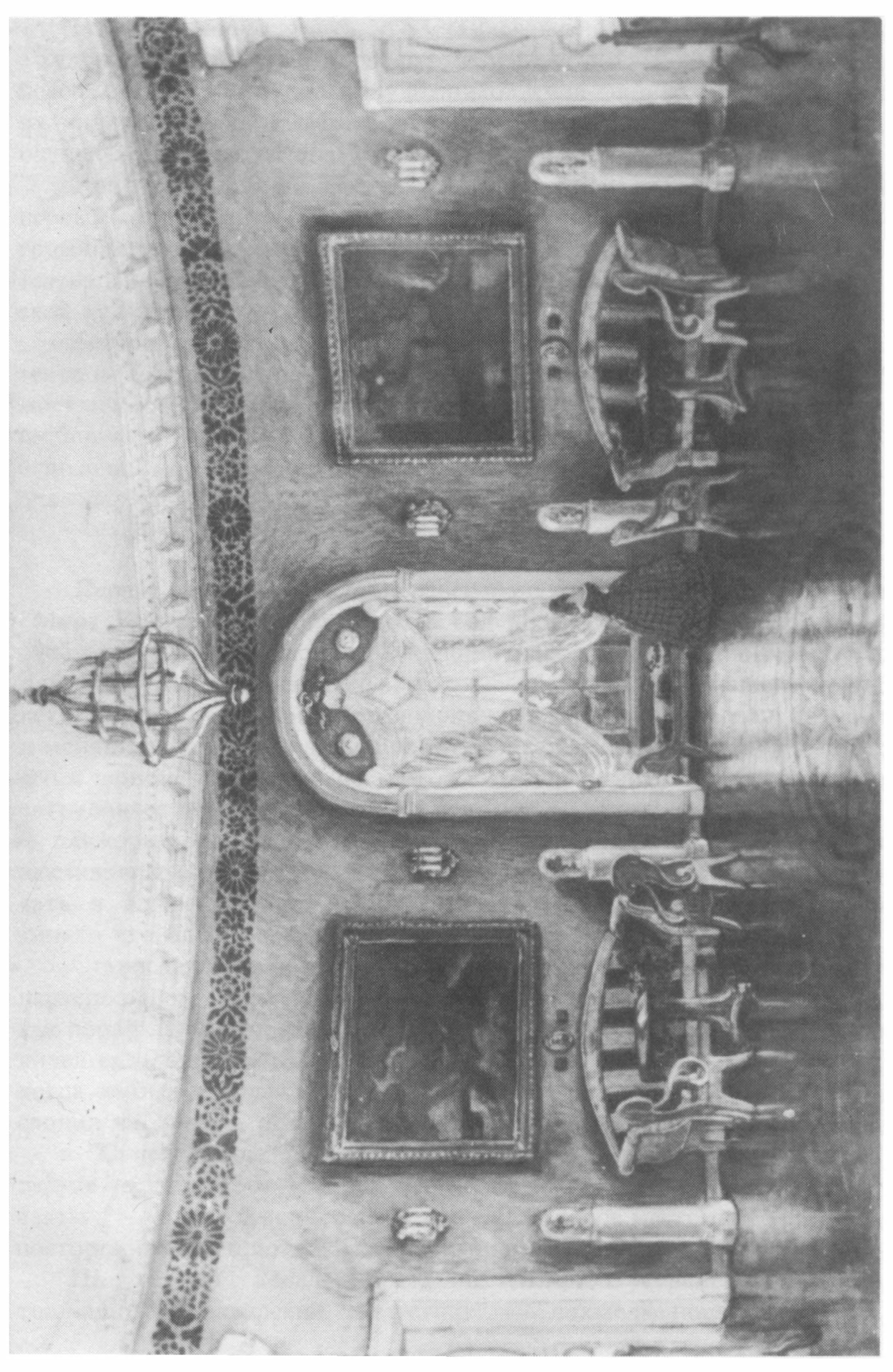
Почти все постановки, начиная с основания Художественного Театра, были сделаны с участием художника Виктора Андреевича Симова, превосходно знавшего сцену и театральное освещение. Этот очень добросовестный и скромный художник дал всё что мог в обширном и разнообразном репертуаре театра, но не выходил из рамок того довольно бледного и бескровного реализма, который был у передвижников.

Лишь последние годы перед обращением театра к "Миру Искусства" вошли в театр молодые московские художники — Ульянов ("Драма Жизни") и Егоров ("Жизнь Человека" и "Синяя Птица"); они внесли в эти постановки красочное оживление и темперамент.

В московском окружении театра были настоящие его друзья, сочувствующие всем начинаниям театра, которые часто откровенно осуждали недостатки декоративной стороны постановок и давно советовали Станиславскому привлечь новые силы — именно петербургских художников "Мира Искусства".*

---

* Думаю, что тут сыграло между прочем роль влияние Серова и Грабаря, которые были наполовину петербуржцами и являлись "мостом" между Петербургом и Москвой.



М. В. Добужинский. "Месяц в Деревне. Голубая Гостинная". М. Х. Г. Гуашь. 1909

Есть основания думать, что Станиславский, привыкший работать с художниками, точно следовавшими его указаниям, долго колебался, боясь "засилья" этих новых художников из-за слишком определенной их индивидуальности. Но, ближе познакомившись с нашим кругом, он, наоборот, увидел возможность самого интимного сближения.

Приглашение это явилось в московской театральной жизни первым обращением Москвы к Петербургу и не будет слишком громким сказать, что тут произошло, хотя и в специальной области театрального творчества, соприкосновение московской и петербургской культур.

Беспристрастно можно сказать, что результаты нашей связи с театром были поистине счастливыми. Удача была в том, что у нас с москвичами оказалась одна общая почва: все мы горели настоящей любовью к театру, а у меня лично каждая моя постановка была огромным подъёмом, за радость которого я остался навсегда благодарным театру.

Первое знакомство Станиславского с нашим кругом художников "Мира Искусства" произошло за год до нашего приглашения, — в 1908 году. Станиславский, приехавший зимой того года в Петербург, побывал у Александра Бенуа, который был центром нашего круга, встретился со многими другими художниками (посетил между прочим и меня) и видел много наших работ. Всё показывало большой интерес его к нашему искусству, но в этот его приезд никаких разговоров о сотрудничестве не возникало.

Вскоре после этого, на масленице 1909 года, я был в Москве по выставочным делам и, вспомнив приглашение Станиславского побывать в Художественном Театре, был на "Синей Птице", которая только что была поставлена.

Станиславский был необыкновенно мил и радушен, я сидел в партере рядом с ним и помню, как он внимательно следил за игрой и, как порой лицо его расплывалось в улыбку. Такую же улыбку я у него видел впоследствии на репетициях и в самых драматических местах, когда он был доволен искренностью его артистов. В антракте он меня сводил на сцену и показал, как делаются разные сценические трюки, — в "Синей Птице" они всех интриговали и поражали. Это была редкая честь для гостя: сцена в Художественном Театре была "святое святых" — для публики совершенно недоступное место, т.к. за кулисы посторонние абсолютно не могли проникнуть.

На первой неделе поста в М.Х.Т. устраивался всегда традиционный актёрский "Капустник", — "похмелье после масляной",

и я получил приглашение посетить это редкое зрелище. Капустники были закрытые и лишь два года, как театр стал на них пускать публику по особым приглашениям; хотя билеты раздавались с большим выбором, но присутствовала "вся Москва" — Капустники становились событием сезона.

Душой всевозможных дурачеств, пародий и экспромтов был Никита Балиев (игравший всегда только маленькие роли в театре), который был тогда в своем расцвете, как выдумщик и балагур. Из Капустников (и актёрских вечеринок в доме Перцова), где кроме Балиева расточали своё весьма талантливое остоумие артист Н.Н. Званцев, режиссёр Суллержицкий и весельчак, друг всей Москвы скрипач Аверино, — и родилась впоследствии "Летучая Мышь".

На этом Капустнике я познакомился с очень многими артистами, ставшими мне потом такими близкими и дорогими людьми.

В этот мой приезд в Москву Станиславский просил меня задержаться для важного, по его словам, разговора, который вскоре и состоялся в отдельном кабинете ресторана "Эрмитаж". Кроме него и Немировича-Данченко присутствовали Качалов, Лужский, Вишневский, Москвин, Леонидов и О. Л. Книппер — основатели и пайщики Художественного Театра.

Разговор был действительно важный и не только для меня, т.к. имел большие последствия в жизни театра: Станиславский к полной моей неожиданности предложил мне сделать постановку "Месяца в Деревне" Тургенева и, вместе с тем, просил передать Александру Бенуа и другим моим коллегам по "Миру Искусства" о желании театра соединиться с ними в непосредственной тесной работе.

Он и Немирович-Данченко мне объяснили, что Художественный Театр не удовлетворен тем, что у них делается в смысле декораций, роли художника они хотять отвести гораздо большее место, хотят свежих людей и их "Нового слова" и потому ждут от нас, столь ими ценимых за знание стилей и вкус, помощи и ближайшего сотрудничества.

Когда Станиславский высказал все эти пожелания, то как ни обрадовало и ни взволновало это приглашение, обращенное к нашей группе, я сам лично был искренно смущен предложением мне пьесы Тургенева. Реализм на сцене мне представлялся тогда чем то пресным и я прежде всего подумал, что это работа меня не захватит, что вообще будет неинтересно и я не справлюсь с задачей. Впрочем, думая так, я очень слабо помнил "Месяц в Деревне" из чтения и никогда не видел его на сцене.

И тут я совершенно растерялся и не знал, что ответить. Сошлись на том, что я подумаю и напишу из Петербурга. В душе мне

совершенно искренне казалось, что театр обращается не по адресу — Бакст или Сомов мне представлялись именно теми художниками, которые должны были бы поставить эту пьесу Тургенева.

Я уехал из Москвы с поручением передать нашей группе о чаяниях театра и с просьбой Станиславского сообщить, кто из нас и что именно хотел бы ставить в Художественном Театре, кого вообще к чему клонит.

По приезде в Петербург я собрал моих друзей художников и сообщил им о предложении.*

Предложение театра всех чрезвычайно заинтересовало и, после всех наших разговоров, я мог написать Станиславскому, что петербургские художники "Мира Искусства" с радостью принимают предложение сотрудничества и что Бенуа интересуется Мольером, Рерих — Ибсеном, Кустодиев — Островским и Билибин русскими историческими пьесами. Бакст же, о котором я думал, что он заинтересуется пьесой Тургенева, от своего Biedermayerzeit уже в ту пору отошел и находился в увлечении Элладой, и хотя и мечтал о постановке античной трагедии, не мог отозваться на предложение, т.к. был уже одной ногой в Париже (в 1909 году начались русские сезоны Дягилева). Сомов отказался вообще, потому что, хотя и был "записным театралом", но театром никогда не занимался, ибо ему казалась мучительной работа, где между его идеей и ее осуществлением стоит столько людей — что в театре неизбежно.

Что касается меня, то я признался Станиславскому, что мечтаю о Шекспире и Метерлинке, но что сделать "Месяц в Деревне" готов... Я решился на это после того, как все мои друзья в один голос стали меня убеждать.

Эпоха Тургенева, особенно 1830-40 годы, была мне душевно близка — театр мог знать мои иллюстрации и картины на тему этих старых годов — и довольно хорошо был мне знаком и помещичий быт: часто гостя с ранней юности в Тамбовской губернии у матери, я перевидал немало старых дворянских гнёзд на их закате. И хотя я был и не безоружен, у меня были всё же невольные колебания.

На мое письмо, где я подробно о всём написал, я получил восторженный ответ от Станиславского, который предвидел в

---

* Основное петербургское ядро "Мира Искусства" в то время составляли: Бакст, Бенуа, Браз, Билибин, Головин, Добужинский, Кустодиев, Лансере, Остроумова, Петров-Водкин, Рерих, Сапунов, Сомов, Судейкин, Ционглинский, кн. Шервашидзе, Чемберс, Яремич и др. Многие из них к театру отношения не имели, другие же постоянные участники выставок и близкие нам были москвичи: Грабарь, Милиоти, Серов. Такие же выдающиеся художники, как Анненков, Григорьев, Нарбут, Шухаев, Яковлев в те годы себя еще почти не проявляли.

дальнейшем много плодов от связи с "Миром Искусства", но в первую очередь, на ближайший сезон, намечался "Месяц в Деревне" и мне было предложено приступить к этой работе теперь же и приехать для переговоров в Москву — что я и сделал, предварительно вчитавшись в пьесу. В ней я открыл многое, меня даже взволновавшее.

Таким образом судьба пожелала, чтобы я первым из "Мира Искусства" вступил в тесное общение с Московским Художественным Театром, и 1909 год стал для меня моим "историческим" годом. Станиславский ввёл меня в самую интимную сторону работы и с тех пор я мог назвать себя его учеником. Я имел счастье и лично сблизиться с этим замечательным человеком.

С этого времени в течении восьми лет, лишь с немногими перерывами, продолжалась моя работа с театром, я стал жить подолгу в совершенно новом для меня мире — Москве — и, можно сказать, вошел в "лоно" Художественного Театра.

Связь с "Миром Искусства" выразилась за период с 1909 по 1917 год в 17-ти постановках, сделанных в театре Добужинским, Рерихом, Бенуа и Кустодиевым (в порядке начала их работ). Бенуа кроме того принимал самое ближайшее участие и в режиссуре. Долговременное сотрудничество его, человека исключительной культуры и дарований, зачинателя самого "Мира Искусства", следует особенно отметить.

В Москву я приехал по вызову Станиславского в марте того же 1909 года. За это первое мое "деловое" пребывание я успел ознакомиться с очень многими постановками театра — Станиславский очень хотел, чтобы я узнал всё, что они делали. Я особенно был восхищен "Тремя Сёстрами" и еще больше "Вишнёвым Садом". Я был в лёгком угаре от этой близости к театру и хотелось даже прощать ему те недочёты, которые я и раньше видел, а теперь особенно от них страдал. Разбираясь в этих "ошибках" я вскоре понял главную их причину: художник, работавший в театре, был черезчур связан всевозможными указаниями режиссёра и работал как бы под его диктовку; и собственное творчество проявить было трудно. Тот метод работы, который теперь мне предложил Станиславский, был совершенно иным и главное — я увидал, что у него было доверие к художнику, которое могло только окрылять.

Самим Станиславским я был совершенно очарован, что для знавших его лично понятно. Беседы наши и работа над "Месяцем в

Деревне" происходили всегда у него в Каретном Ряду в самой интимной обстановке.

В год "Месяца в Деревне" Станиславскому было ровно 50 лет. Седая его голова, необыкновенно густые чёрные брови и огромная статная фигура (он был головой выше меня) были чрезвычайно оригинальны. Он долго носил пушистые чёрные усы, но в то время был брит, и лицо его напоминало портрет вельможи Екатерининского или Александровского времени. При всей импозантности и великолепии его фигуры (в этом он напоминал Шаляпина) и удивительно красивом голосе*, в котором порой могли звучать властные ноты, — в облике его было нечто на редкость милое и приветливое, иногда даже до странности застенчивое, и всем знакомая вежливость его иногда даже бывала трогательно забавной. Типично-русского в его внешности казалось мало — недаром его бабка была француженкой, чем он, кажется, немного гордился.

Происходя из знатной московской купеческой семьи Алексеевых (его родственник был известный московский городской голова Алексеев), он, будучи директором театра, не терял связи со своей наследственной фабрикой. Это было очень курьёзно и по московски — в какой-то определенный день месяца он удалялся от театральных дел и занимался на своей фабрике золотых ниток и канители. В театре говорили с уважением: "старик на фабрике", и даже не острили над этой канителью. Вне театра об этом мало кто знал, а кто знал, находил это естественным и почтенным.

С Константином Сергеевичем несмотря на порядочную разницу лет, у меня сразу возникло большое душевное сближение. Он меня мало стеснял и умел необыкновенно уютно беседовать.

Задача, которая стояла передо мною в "Месяце в Деревне", была гораздо глубже и больше, чем просто создать "красивую рамку" пьесе. Я вошел в совершенно новую и исключительную атмосферу работы и то, что открывал мне Станиславский, было огромной для меня школой.

Как я уже упоминал, "Месяца в Деревне" я никогда не видел на сцене, хотя пьеса часто шла в Александринке с Савиной, но это было лучше, т.к. я мог подойти к задаче совсем свежо. "Месяц в Деревне" был Станиславским несколько сокращен — были выпущены некоторые слишком большие длинноты, осбенно в монологах. Сделано это было с большой тщательностью и обдуманностью.

С самого начала, когда мы с ним стали вчитываться в каждый акт

---

* В молодости он обладал прекрасным басом и учился пению у известного певца Ф.П. Комиссаржевского, тогда профессора Московской Консерватории.

и разбирать пьесу, он предварил меня, что пусть меня не связывают ремарки Тургенева, описывающие каждый акт — где дверь, где окно и т.д., ибо это отголосок традиционных театральных декораций того времени, чего нет надобности держаться, и потому мне открывалась тут возможность разнообразных выдумок.

Но Станиславский, вводя меня в мои задачи и ожидая от меня моих идей, с самого начала разъяснил мне, что декорация, вернее план сцены, должен быть органически связан с действием и что тут тесно сплетаются одновременно режиссерские и художественные соображения.

На очень многое у меня открылись глаза, когда он сказал мне: ”декорация должна как бы выростать из пола” и этот ”половой вопрос”, как он шутя говорил, и был самым главным сначала, который надо было нам совместно решить, обсудив все планировочные места, выходы и ”опорные пункты” игры каждого акта.

В то же время он ждал от меня, чтобы в конечном итоге декорация отвечала духу пьесы и смыслу ее — в данном случае — картине уютной и тихой помещичьей жизни, где в доме все места ”насижены”, всё устойчиво куда врывается ”буря”, но когда она утихает, всё остается на своем месте и жизнь опять течёт по старому руслу. С эскизами Станиславский меня не торопил, он просил приносить сначала наброски ”карандашиком на кусочке бумажки”, как он говорил, и мы вместе комбинировали всевозможные мизансцены. Такой способ работы делал ее особенно интересной и давал возможность всяческой изобретательности, но шел я не только одной логикой. Как художнику мне естественно было исходить от формы, ”начинать с конца”, представлять себе как результат и самую декорацию, думать и о чисто декоративном впечатлении от нее, но думал я и как режиссер, чтобы она помогала актёру. Моя работа шла одновременно в этих двух направлениях.

Об этой первой стадии нашей совместной работы над ”Месяцем в Деревне” Станиславский подробно и очень тепло вспоминает в своей книге ”Моя жизнь в искусстве”. Между прочим он пишет, что тогда ”хитрил” с художником, незаметно для него наводил его на нужные идеи, впрочем не насилуя при этом его воображения.

Но я отлично помню, *что* именно принадлежит моей собственной выдумке, и что часто было моей интуитивной находкой. ”Хитрить” мне не приходило в голову, но мои мысли как-раз очень часто счастливо совпадали и с его мыслями.

Такими ”осенившими” меня чисто декоративными идеями была полукруглая зала с симметрично расставленной мебелью и угловая

диванная. Эта симметрия и "уравновешенность", которая так типична для интерьера русского ампира, отвечала и намерениям Станиславского создать в этой постановке атмосферу спокойствия и дать внешнюю неподвижность актёрам при всей внутренней напряженности чувства и как бы "пригвоздить" их к местам. Этот характер игры был одним их этапов в режиссерском творчестве Станиславского. Мой план оказался и тут подходящим для темпа пьесы.

Вся постановка "Месяца в Деревне" оказалась построенной на симметрии.

Но принцип этот (я это подчеркиваю) не был предвзятым и надуманным теоретически, не во имя симметрии были сделаны мои декорации, она родилась сама собой во время нашей совместной работы со Станиславским и была подсказана внутренним духом действия, вылилась из режиссерских задач, а внешне была у меня навеяна чисто интуитивно декоративным воображением и воспоминаниями. Но было как бы чудо в том, что произошло слияние всего этого. Незаметно для себя в этой постановке мы вернулись к забытой, но спокон века существовавшей в театре симметрической декорации. Но теперь, после реалистических декораций Художественного Театра, это показалось новым и свежим, и симметрия действительно могла дать стройность и архитектурность постановке "Месяца в Деревне".

Дальнейшая разработка моих проектов была уже всецело в моих руках. Тут Станиславский предоставил мне полную свободу.

Я уже носил в себе тогда чувство "художественной экономии" и вкус к "минимуму" на сцене и в этой работе я старался отказаться от декоративных излишеств, которые бывают так соблазнительны в театре, но отвлекают внимание зрителя от актёра и ему самому мешают. Эта внутренняя добровольная самодисциплина явилась и следствием всего того, что я вынес из бесед со Станиславским. В них мне открывалось много нового, что впрочем отвечало и моим собственным предчувствиям и всё это делалось тем фундаментом, которому я старался быть верным и остался верным и в будущем.

В работе для "Месяца" меня, конечно, волновало выразить и лирическое настроение пьесы и при той любви, которая у меня рождалась и росла к ней, это выходило само собой и было естественным. Как это делалось — самому мне труднее всего объяснить.

Для тона пьесы была недопустима какая-либо подчеркнутость. Были уместны лишь "намёки". Мирной деревенской жизни в "Месяце" грозит душевная буря. И на стенах голубой гостиной меня "осенило" сделать две больших картины: морской шторм в духе Жозефа Верне и извержение Везувия. Эти темы были привычны и типичны именно для

русского интерьера, это исключало их нарочитость, но в то же время давало намёк умеющим видеть и создавало известное настроение акту.

Чтобы создать на сцене помещичьий дом 1840-х годов, было изобилие всяческих материалов. Помогали мне и впечатления виденного в русских поместьях (так, например, беседка из старых лип, использованная в декорации сада, была в имении моей матери). Разумеется, я не имел в виду никакого определенного имения и дом Ислаевых был "плодом моей фантазии".

Эскизами я занялся зимой в Петербурге и, — когда в мае театр приехал на гастроли, они были почти все готовы. Рисунки костюмов и бутафории я должен был сделать летом.

К концу пребывания театра в Петербурге можно было приступить и к исполнению декораций.

В Петербурге я всё лето был занят писанием декораций. Была нанята знакомая мне раньше большая мастерская, в закрывшемся уже тогда театре В. Ф. Комиссаржевской и в помошники я взял себе опытного и милейшого Н.Б. Шарбе, которого мне рекомендовал Бакст и с которым мы всё от начала до конца написали.

Я часто оставался ночевать в пустом театре, гдя была мне устроена маленькая комната, и ночью приходилось ощупью идти через тёмную сцену, натыкаясь на кулисы и слышать, как бегают крысы, а иногда вдруг шурша развёртывалась висячая декорация, и это было довольно романтично. Спичку я боялся зажигать из за страха не дай Бог пожара. Я так уставал, что крепко засыпал на своем диванчике под музыку, доносившуюся из соседнего увеселительного сада. И эта музыка, томительные белые ночи, чахлые берёзки под окном, всё очень поэтично связалось в памяти с этим летом и моим "месяцем в Деревне".

Я отдыхал на даче в Ораниенбауме, где за лето нарисовал все костюмы и рисунки мебели и еще успел съездить к моей матери в Кирсанов, и томошние кущи рощ и полосатые нивы мне пригодились для моей декорации сада.

В конце августа все декорации уже были на месте и меня пригласили в Москву, чтобы их проверить, и проверить костюмы. Тогда же должны были начаться уже и репетиции "Месяца в Деревне".

Я приехал с вокзала прямо в театр. В зрительном зале меня уже ждал Станиславский и вся труппа, и была повешена и освещена декорация сада, и какой был для меня сюрприз и какое я испытал волнение, когда вдруг при моем входе в зал все стали мне долго и горячо аплодировать....

Станиславский подошёл ко мне и благодарил меня. Я был как в

тумане. Мне говорили, что "таких декораций еще в театре не было" и я видел по улыбкам и приветливым глазам, как искренно все радовались.

Мне самому эта декорация, которую я видел лишь на полу мастерской, теперь освещенная так, как умели это делать только в Художественном Театре, показалась ожившей и полной прозрачного воздуха, и я убедился, что был прав в технике ее почти "графической" живописи. В моем сознании это был как бы выдержанный экзамен.

Я остановился было в гостинице, но Станиславский меня сразу же попросил переехать к нему, и с тех пор в течении нескольких лет, каждый раз, приезжая в Москву, я направлялся с вокзала прямо к нему в Каретный ряд.

Мне была дана маленькая, тихая комната с отдельным ходом с лестницы и с видом на дворовые крыши, где ворковали голуби, — которая и прозвана была с тех пор в семье Станиславского "комнатой Добужинского". Они снимали целый особняк, настоящий Московский с просторными комнатами, всегда зимой жарко натопленными, и с деревянной широкой лестницей, увешанной бутафорским оружием. Обстановки в доме, собственно, никакой не было, стояли какие-то гигантские готические шкапы (кажется оставшиеся от в серьёз сделанной бутафории "Уриель Акосты") и всё было большое, под стать хозяину. Стены оставались голые, лишь впоследствии в столовой сиротливо висел подаренный мной Станиславскому один итальянский этюд.

Старый его камердинер, очень милый старик с седыми усами, Василий Алексеевич весь день шаркал туфлями и трогательно заботился обо мне, совсем как о члене семьи, любил побеседовать и было уютно, что его фамилия тоже Алексеев, какой была настоящая фамилия Станиславского.

С семьёй Станиславского у меня создались самые дружеские отношения, которые остались на всю жизнь.

Утренний чай мы наспех пили всегда вместе с К.С. и затем на извозчике, которого он звал с подъезда зычным голосом, ехали в театр. Станиславский трусил каждого перекрёстка, ненавидел быструю езду и всегда препирался с извозчиком, хватая его за кушак. Его великолепная фигура всегда обращала на себя общее внимание и ехать с ним как то было даже неловко. Я любил всегда, и все будущие годы объединяться с К.С. по вечерам, после спектакля. Нас ждал самовар и всякая холодная закуска, на которую К.С. обыкновенно набрасывался: "я, собственно говоря, обжора".

Очень часто тогда приезжал кто-нибудь из театра — Ольга Леонардовна Книппер, Москвин, одно время зачастил Качалов, бывал

и А.А. Стахович, — и никогда Вл.Ив. Немирович-Данченко. Во время "Месяца в Деревне" я всегда встречал у К.С. маленького живого Сулержицкого, "Сулера", как его звали в театре, человека необыкновенно талантливого на все руки, весёлого и забавного собеседника. Перед тем, как отдаться театру, у него была совершенно необыкновенная жизнь: его очень любил Лев Толстой, он был преданный его последователь, и когда духоборы, которым помогал Толстой, переселились в Канаду, он туда их сопровождал. Об этом и вообще о себе и о Льве Николаевиче он рассказывал замечательные вещи.

Мы засиживались иногда до очень позднего часа и часто, по уходе гостей, еще продолжали беседовать вдвоём с К.С. Именно тогда, в эти ночные часы, обсуждались разные будущие проекты. Однажды, в позднейшее время, мы с К.С. несколько ночей подряд фантазировали на тему какие "вообще" могут быть декорации в театре — писанные, ширмовые, архитектурные, драпировочные, проекционные и т.д., со всякими их комбинациями и вариантами. К сожалению, у меня не сохранились сложнейшие и довольно чудаческие диаграммы, наброски и чертежи, которые мы тут делали.

У меня было много работы в самом театре — по установке декораций, их освещению и наблюдению за выполнением мебели (которая вся делалась по моим рисункам) и костюмов. Репетиции шли в моих декорациях и актёры репетировали часто в костюмах. На репетициях "Месяца" я постоянно присутствовал и работа Станиславского мне была бесконечно интерестна. Во время игры он всё время делал заметки и по окончании отдельной сцены или целого акта разбирал игру каждого артиста в присутствии всех остальных. Я не помню, чтобы были какие-нибудь нелады. Эта постановка создавалась удивительно гладко.

Станиславский был в самом разгаре своих исканий и постепенно создавал свою "систему", работая над актёрами. На репетициях я знакомился с его идеями, но мне не посвященному, удавалось улавливать отрывки. То, что называлось "переживаниями" и ходячие тогда выражения "круг" и "сквозное действие" — постепенно всё делалось понятным именно на репетициях, где я видел как ставились и разрешались самыя тонкие психологические задачи.

Во время подготовительной работы самого спектакля (репетиций было 114!) я тесно сжился с самой пьесой. Она раскрывалась на моих глазах и наполнялась подлинной жизнью, и актеры становились для меня больше, чем простыми исполнителями ролей. Я "верил" в

Ракитина-Станиславского, верил в Верочку-Кореневу, верил в Наталью Петровну-Книппер и в других, и все эти образы делались мне близкими, как живые люди.

Спектакль "Месяца в Деревне" состоялся 9-го декабря 1909 года. Произошло то, что еще не случалось в Художественном Театре: аплодировали декорациям при поднятии занавеса. Среди всяких комплиментов, которые меня весьма стесняли, больше всего мне было радостно то, что говорил Станиславский и артисты, — что декорации им давали большой подъем и помогали их настроениям. Было очень забавно, что многие из публики утверждали, что мои декорации изображают какое-то определенное имение, но одни называли одно, а другие — другое и даже спорили!

"Месяц в Деревне" был действительно событием в истории Художественного Театра и по новому принципу: максимума духовной выразительности при скупости движений актёров, по замечательной их игре и по той тургеневской лирике, которую действительно была проникнута вся постановка Станиславского. О спектакле единодушно писали в московской прессе самые восторженные вещи, печатались и репродукции декораций. Фотографии же постановки с того времени всегда висели в фойе театра.

В счастливом моем настроении одно мне мешало: мне было неловко и как-то конфузно перед художником Художественного Театра и долголетним его сотрудником В.А. Симовым, которого мне пришлось как бы "устранить". Встречаться с ним мне приходилось редко и, чувствуя точно какую-то вину перед ним, я не знал как себя держать. Впрочем он продолжал работать в театре и, — может быть это было влияние петербургских гостей, — но его постановки пьесы Островского "На Всякого Мурдеца" и особенно "У Жизни в Лапах", отличались и большой простотой и даже цветистостью.

После всего длительного подъема, в котором я был во время создания "Месяца" — тоже было всегда и позже в подобных случаях — я чувствовал тягостную пустоту, все было окончено, я становился лишним и лишь завидовал актерам, которые теперь только начинали жить данной им жизнью. В Петербурге я заполнял эту пустоту, делая "post scriptum" к моей работе, совершенствуя эскизы и начав некоторые наново. Сделал также для "Аполлона" серию виньеток, посвященных "закулисной" жизни пьесы — тому, что есть в ее намеках. Впоследствии два моих эскиза были приобретены с выставки "Мира Искусства" в Третьяковскую галерею.

Сантиментально утешил и позабавил меня и тот смешной сюрприз,

что когда я собрал все, что у меня накопилось от моей постановки и написал на большой папке этого архива инициалы пьесы: "М.в.Д.", я увидел, что это инициалы моего имени, отчества и фамилии! Утешался я и тем, что увижу весной мое "детище" на гастролях театра в Петербурге, а главное, что мне в будущем предстоит новая работа в Художественном Театре. Я уехал из Москвы с этим обещанием Станиславского.

В мае 1910 года М.Х.Т. привез "мой" "Месяц в Деревне" в Петербург. Декорациям хлопали, как и в Москве, и на премьере пьеса была принята так горячо, что театр нарушил все свои традиции и по окончании спектакля на сцену вышли все артисты со Станиславским, которые вывели и меня. Словом это был настоящий триумф "Месяца".

Меня познакомили с Савиной. Ее ядовитыя слова (не из ревности ли?) относительно обеих актрис, Книппер и Кореневой, игравших обе ее "коренные" роли — Натальи Петровны и Верочки (для нее Тургенев написал Верочку") — были несправедливы и ее томный комплимент "как бы я хотела сыграть в ваших декорациях" меня не тронул. "Нововременская" критика пьесы была кислая и пристрастная и, хотя мы в "Мире Искусства" привыкли сентенции этой газеты игнорировать и лишь забавлялись ее желчью, тут это, помнится, крайне меня раздражало: Художественный театр стал "моим" и я уже жил его огорчениями и обидами.

Я, конечно, не пропускал ни одного спектакля "Месяца в Деревне" и всегда выносил из театра радость. Каждый раз я видел новые штрихи в игре артистов, которые все время совершенствовали и сохраняли прежнюю свежесть.

Однажды заболел Грибунин, игравший роль доктора, и экспромтом его заменил Москвин и, т.к. он не успел приготовить роли, ему дали книжку, с которой он выходил и в нее заглядывал. Это было очень смело и могло казаться смешным, но публика это приняла, как должное, такое было уважение к театру.

Довольно наивно, что Станиславский, чтобы эта книжка была "незаметной", просил меня покрасить ее в синий цвет докторского сюртука, что для этой "мимикрии" я и сделал.

Следующая моя работа в Художественном Театре был Тургеневский спектакль: "Нахлебник", "Где Тонко Там и Рвется" и "Провинциалка", но Станиславский перед этим долго колебался с выбором пьесы. Я часто приезжал в Москву для бесед с ним но он ни на чем не мог остановиться. То была мысль возобновить "Чайку", то

поставить "Бешеные Деньги" Островского, то "Женитьбу" Гоголя, то "Вишнёвый Сад" по новому ("у нас есть "Вишнёвый Сад", но сада самого нет — сделайте нам так, чтобы в окно пахнуло цветущим садом", говорил мне Станиславский). Но ни чем особенно я не мог "зажечься", хотя я и начинал делать эскизы "карандашиком на кусочке бумажки" и Станиславский их одобрял; к Чехову же я не знал, как подойти — задача мне казалась очень трудной, особенно для "Вишнёвого Сада", постановку которого, такую как есть, я полюбил. Хотя я и видел ее недочёты, но мне казалось кощунством менять то, что так долго жило и было сделано при Чехове.

После всех колебаний, уже в начале 1911 года, решён был Тургеневский спектакль.

Работая для Тургеневского спектакля, я находился в прежних настроениях "Месяца" но эпоху (в "Месяце" 40-е годы) я взял другую — для "Нахлебника" 1830-е годы, для "Где тонко.." 50-е и для "Провинциалки" 60-е, и со Станиславским мы очень согласно выработали все планы. Первоначально мой эскиз для "Где тонко, там и рвется", который Станиславский принял, был розовый зал "в духе Растрелли" (в пьесе говорится о Растрелли) и к приезду театра в Петербург, в мае 1911 года декорация мной уже была написана и по просьбе Станиславского поставлена на сцене Михайловского театра для осмотря. Хотя декорация была эффектно освещена, мне она показалась тяжёлой. Кроме Станиславского и меня на этот показ были приглашены Немирович-Данченко и А.Н. Бенуа и мы вчетвером в один голос решили: это не для "Где тонко..." Кто знал Станиславского, может представить, как он, конфузясь и бася, сказал мне: "Ради Бога, простите, но это — для оперы, так и кажется вот выйдет тенор и, прижимая руку к сердцу, станет выводить рулады. Это моя ошибка, что утвердил эскиз и вас заставил напрасно работать, но и ваша вина что вы эскиз сделали талантливо, я и поверил". Немирович нашёл, что зал слишком "роскошен" для помещичьего дома, а Бенуа сказал, что тут скорее не Растрелли, а Штакеншнейдер...*

Я со всеми ими был вполне согласен.

Надо было искать нечто другое, то, что действительно отвечало бы легкости пьесы и было бы именно "тонко". Тут же мы решили, что упоминание о Растрели, сбившиее меня, можно игнорировать: в стилях при Тургеневе у нас не особенно разбирались и авторству Расстрелли любили приписывать что угодно. Это меняло задачу и

* Архитектор Николая Первого, строивший изяшные подражания стилю Людовика 15-го.

освобождало меня от того "рококо", которое у меня действительно получилось неубедительным и грузным.

Вероятно, только один Художественный Театр так честно избегал ошибок. Декорация была отменена и даже применена ни к чему не была.

Новая идея декорации в эскизе у меня возникла скоро, она была гораздо легче и воздушнее первой: бледно-зелёный зал, с архитектурой в духе Камерона, с большими окнами до полу, в которых виден широкий светлый пейзаж — это было уже "где тонко".

Но до самого Тургеневского спектакля было еще очень далеко и я, лишь постепенно выясняя всё в попрежнему дружеских и интереснейших беседах со Станиславским, готовил другие эскизы к нему. Театр был отвлечен иными большими работами: после "Месяца в Деревне", в 1910-11 годах, были поставлены — "На всякого мудреца" Островского ("Мудрец", как его называли в театре), "Братья Карамазовы", "Miserere", "Живой труп" и долго и мучительно рождавшийся "Гамлет".* Многое творилось на моих глазах, было мне очень близко и дорого, но создавалось без всякого моего участия. Больше всего меня взволновала замечательная постановка "Братьев Карамазовых" и я ревновал: о Достоевском я давно мечтал, впрочем его и дождался позже.

Бенуа, который был так желателен театру, был еще занят в Париже (в 1911 году он поставил своего "Петрушку") и всё, что там кипело, проходило без меня (лишь в 1914 году я был привлечен в Дягилевские балеты) — теперь же я весь ушел в жизнь Художественного Театра и по целым неделям жил в Москве.

В театре я долгое время чувствовал себя немного "гостем". При встрече сначала говорили: "Вы давно приехали?" а потом это заменялось: "Вы еще долго пробудете?" или "скоро уезжаете?" и я смеялся, что вероятно это означает, что пора домой. В ту пору я ни с кем особенно не сошелся, но все были очень приветливы, особенная же, чуть подчёркнутая, вежливость, я заметил, была общим свойством артистов М.Х.Т. Качалов, которого я помнил еще Виленским гимназистом и с которым я постоянно встречался, как-то не располагал к близости и был менее всего москвичем, не так, как иные "с душой на распашку". Но мне всегда нравились его сдержанность и джентельменство.

Более всех был ласков Лужский, шумный, весёлый, живой, немного актёрствовавший в жизни, и с ним тоже я ближе сошелся лишь позже, благодаря "Бесам" и "Розе и Кресту", где он принимал

* Для "Гамлета" был приглашён из Англии известный режиссер Гордон Крэг.

участие в режиссуре. Я охотно бывал в его комфортабельном и уютном доме, как и у О.Л. Книппер, с которой всегда было просто и весело. О Станиславском я не говорю, к нему у меня была настоящая влюблённость.

Я сразу же был очарован Алексеем Александровичем Стаховичем. Как актёр он появился в театре в 1910 году, когда сыграл князя Обрезкова в "Живом Трупе", но давно был другом Художественного Театра. Тогда он только что вышел в отставку из свитских генералов и стал третьим директором театра. Шутники говорили, что его пригласили, чтобы "полировать" актёров и учить их светских манерам. Он был одним из самых замечательных шармёров, каких мне приходилось встречать в жизни, был "барин" с головы до ног и прост и ровен со всеми. Я часто видел как он, сидя в буфете с каким нибудь скромным "сотрудником", весь наклонялся к нему держа ладонь возле уха, и выслушивал его, полный внимания и участия. Он бывал душой собраний у Станиславского и рассказчик был талантливейший. Помню его еще с бородой, — таким, и с моноклем в руке он и запечатлен на портрете Серова. Когда он по актёрски побрился, то со своим орлиным носом, чёрными бровами и круглым лицом он стал совершенный римлянин. Вспоминаю его всегда с необыкновенно тоненькой папироской. Позже, уже во время войны, несмотря на разницу лет, мы очень сошлись и перешли даже "на ты". Я иногда живал у него в квартире и мог вдосталь наслушаться его всевозможных воспоминаний, особенно из придворной, светской и театральной жизни Петербурга времён его молодости. Так мне жаль теперь, что и в голову не приходило что-нибудь из этого записать.

По утрам, спозаранку, я уже слышал его шаги, он ходил взад и вперед по соседней комнате, нетерпеливо дожидаясь 8-ми часов, когда сможет меня разбудить, чтобы поговорить. Он появлялся в длинной старомодной ночной сорочке до пят, с головой, повязанной платкам или сеткой, для причёски, с неизменной тоненькой папироской и с моноклем в глазу на широкой чёрной ленте. Он присаживался и начинались рассказы.

С Вл. Ив. Немирович-Данченко я еще в ту пору был далёк и его оценил, и даже душевно сошелся с ним, позже, в нашей незабвенной с ним работе над "Бесами". Он, второй директор Московского Художественного Театра, был полной противоположностью Станиславского и ничего московского в нем не было. "Безукоризненно" одетый (он носил всегда цилиндр) с аккуратно подстриженной бородой, со сдержанными манерами, с размеренной спокойной речью, Немирович был как-бы "сдерживающим центром"

для порывов Станиславского и его спокойствие и здравомыслие Станиславским очень ценились, и всегда каждая его постановка перед концом проверялась этим умнейшим и тактичнейшим человеком. И наоборот, каждая постановка Немировича· коррегировалась Станиславским (один как-бы смягчал углы и закруглял, другой придавал где надо "перцу" и обострял). Этот "симбиоз" держался очень прочно и чрезвычайно редко возникали между ними "трения".

Я полюбил самый театр с его круглым коридором, тёмным днем, покрытым коврами где шаги были совершенно бесшумны. По утрам из далёких верхних фойе доносились экзерсисы и сольфеджио и придавали особенный уют этим рабочим утрам.*

Я с интересом сидел на репетициях, когда они шли на самой сцене, но к сожалению не видел предварительных работ "за столом", что происходило в разных помещениях театра — делалось это келейно и совершенно интимно.

В перерыве репетиций буфет (с весьма скромными "студенческими" завтраками) был переполнен, тут и начались мои многие новые знакомства.

Актрисы в театре одевались очень просто, даже казались полумонашенками и всегда были гладко причёсаны (в театре они никогда не появлялись в шляпках — это считалось просто преступлением!). Даже разбитная и веселая Ольга Гзовская, тогда только-что появившаяся, старалась держаться общего тона.

За порядком и строжайшей дисциплиной, которая царила в театре, наблюдал отставной полковник фон Фессинг, называвшийся очень грозно: полицемейстер театра. Это был чрезвычайно прямой и сухощавый невысокий офицер с большими усами, всегда не только корректно, но торжественно вежливый, который не входил ни в какие посторонние разговоры. "Потрудитесь, пожалуйста, с этим вопросом обратиться к господину директору Констатину Сергеевичу Станиславскому" отчеканивал он. Изредка его белый драгунский воротник с пуговицей мелькали в буфете, через который он безмолвно проходил, позванивая шпорами. Но обычно место его, вооруженного очками, было за конторкой в приёмной театра. Ему подчинен был большой штат сторожей или капельдинеров театра, одетых в коричневую форму. Они играли большую роль в будничной жизни театра, особенно хитроватый толстый Григорий Максимыч, обший фактотум, и спокойный бородатый Константин. Первый всегда безошибочно предсказывал, будет или не будет успех той иной пьесы, и с этим, кажется, даже серьёзно считались.

---

* В театре все упражнялись в пении для постановки голоса.

За буфетными столиками велись часто самые беспечные разговоры. Я особенно веселился, слушая импровизацию Лужского. Он, с невозмутимым лицом, любил изображать какие-то нелепейшие диалоги между Станиславским и Немировичем, причем для каждого из них был установленный штамп интонаций. К сожалению это не передаваемо. Изобретались и им, и Качаловым, не отставали и другие, постоянно всё новые разговоры и анекдоты, причем Немирович прозывался "Колодкин" (от какого то магазина Немирова-Колодкина) — и это за ним так и удержалось в театре, — а Станиславский был "Старик".

О Немировиче создавалась легенда какого то невероятного неудачника, "22 несчастья", вроде Епиходова: то он будто бы садился в отдельном кабинете ресторана на звонок и в самое неподходящее время появлялись лакеи, то спотыкался на гладком месте, то зажигалась спичка в его кармане, то его знаменитая борода попадала в щель пюпитра и прочая ерунда. Это балагурство, конечно, нисколько не мешало обшему уважению к Владимиру Ивановичу и обшей любви к Константину Сергеевичу.

Вращаясь в театре, я имел, возможность внимательно присмотреться ко всем дефектам в постановках и причины многих грехов мне становились уже ясными. Критический глаз был действительно нужен и, по правде говоря, мне и позже Александру Бенуа удалось внести в М.Х.Т. нечто от наших знаний. Между прочим, по просьбе театра, я впоследствии поправил "Горе от Ума".

Сам принцип "правды на сцене" не во всем уже удовлетворял театр. И каким ненужным уже казался такой "реализм", когда во "Власти Тьмы", чтобы изобразить на сцене грязную дорогу, делались документальные гипсовые слепки с замёрзсшей колеи в подмосковском селе Иванкове... Перестал удовлетворять и тот "историзм", когда он простодушно сводился к показу на сцене подлинных вещей.

Самое очаровательное время бывало для меня в театре перед самой постановкой, в конце моей работы.

В театре за мной, так тень, всё время бегал артист Н.Г. Александров, нарочо ко мне приставленный, чтобы мне напоминать, что надо еше сделать, и я очень полюбил милейшего этого человека с его толстым носом, мигающими глазками и московскими словечками. Постоянно в коридорах позади себя я слышал его торопливую басистую скороговорку: "красавец, красавец, — остановитесь". (такие зовы слышались по ночам на московских улицах). "А как на счёт того и того?"

В один из приездов моих в Москву для разговоров о новой постановке я снова попал на очередной Капустник 1911 года, который как раз был одним из самых весёлых и удачных. Балиеву на репетиции пришла идея поставить "Уголок Вильны", воспользовавшись тем, что я, Качалов и Бравич* были виленцами, литовцем был поэт Балтрушайтис (близкий друг театра) и за такового мог сойти и Сулержицкий. Меня заставили экспромтом за ночь написать декорацию и я изобразил красный облупленый старый виленский дом, деревянные ворота с фонарем и разные вывески, и в том числе неизбежную "повивальную бабку", которых почему-то было много в Вильне. То, что мы будем играть, была тайна Балиева, но перед самым спектаклем появились гимназические фуражки, блузы, пояса и шинели, и нас пятерых в них облачили. Так как всё это было не по мерке, то получилось очень забавно. Едва мы уселись, (гимназисты на большой перемене), как оказались перед хохочущим залом — была, как водится, "вся Москва" и пока Балиев нас рекомендовал публике, началась сама собой "Commedia del Arte". Занавес открывался несколько раз под весёлые апплодисменты.

Среди увеселений этого Капустника был "музей восковых фигур" — загадочные ящики, в которых за занавесками обнаруживались терпеливо стоящие в покорных позах "живые" Станиславский, Немирович и другие столпы театра; был "исторический музей М.Х.Т.", где под стеклом фигурировал волос из бороды Владимира Ивановича и другие редкости, и интриговавшая будочка "Москва в натуральную величину" куда входили за особую плату и где в окно можно было полюбоваться на подлинный Камергерский переулок с фонарями, извозчиками и прохожими.

Репетиции Тургеневского спектакля начались лишь в конце 1911 года и спектакль состоялся 5 марта следующего года. Репетиций было гораздо меньше, чем для "Месяца в Деревне"** и вся постановка создавалась легче.

Для "Где тонко" пришлось много потрудиться над освещением сцены и монтёр Художественного Театра П.Н. Андреев сумел так залить ее светом, что уже на генеральной репетиции все ахнули. Всех поражало "настоящее солнце".

Премьера была новым для меня "праздником", апплодировали самой декорации "Где тонко" и это стало таким обычаем, что потом

*Бывший артист театра Комиссаржевской, поступавший тогда в М.Х.Т.
**Их было "всего" 48 для "Нахлебника" и по 31 для других двух пьес.

нарочно артистов сразу не выпускали на сцену, чтобы дать публике успокоиться! Декорация могла нравиться и этим солнцем и своей легкостью и прозрачностью, которую создавали кисея на окнах, хрустальная люстра, жирондоли и едва намеченный пейзаж с тоненькими березками и голубыми просветами белого облачного неба, который был виден сквозь пять высоких окон. Играли этот очаровательный и изящный пустячек Тургенева все с необыкновенной естественностью, мягкостью и молодостью. Особенно Качалов и Гзовская.

Для Тургеневского спектакля я с неменьшей любовью сделал декорации мрачного зала в "Нахлебнике" и комнатку "Провинциалки".

Станиславскому в "Провинциалке" я дал грим старого волокиты 60-х г.г. с зачёсанными вперед височками и с пышными баками, но почему-то после первых спектаклей он вдруг придумал себе длинные висячие бакенбарды, от которых физиономия получилась постная и унылая и даже было жаль этого старого франта, когда он рушился на колени перед лукавой провинциалкой.

Мы с Бенуа, который тогда только что появился в Москве, старались его переубедить, но он стоял на своем и так и не переделал этого грима. Я не подозревал, что в этой его неудаче он затаил обиду на художника и впоследствии это сказалось.

В мае того же 1912 года спектакль во всей своей свежести был показан в Петербурге и имел там пожалуй даже больший успех, чем в Москве.

В зимний сезон 1912-13 года была создана в Художественном Театре другим художником "Мира Искусства", Н.К. Рерихом, огромная постановка "Пер-Гинта" Ибсена. Вряд-ли кто из русских художников смог бы так, как Рерих, с его сильным и довольно мрачным искусством, передать поэзию Ибсена.

Той же зимой, в начале 1913 г., впервые вошел в работу театра и третий по счету художник "Мира Искусства" А.Н. Бенуа, до этого всего себя отдававший Дягилевским балетам в Париже.

Им были сделаны не только декорации и костюмы к "Браку по Неволе" и "Мнимому Больному" Мольера, но Бенуа принял большое участие и в режиссуре этих двух пьес — как и при дальнейших своих постановках. Его работа, особенно в "Мнимом Больном", придала спектаклю необыкновенную театральность и Художественный Театр несомненно под его влиянием освободился тут от чрезмерной внешней сдержанности. Своим необычайно живым темперпментом Бенуа

сумел по новому расшевелить актёров и был создан отличный стиль в их буффонаде. Эпоха Людовика 14, в знании и в чувстве которой он не имел соперников, была поставлена в театре полной жизни и блеска и в пышнейшей и дурацкой церемонии, которую кончался "Больной", с докторами, их шутовскими аттрибутами и балдахинами, развернулось забавнейшее, совершенно балетное зрелище. Наряду с этим, полным вкуса и стиля спектаклем, старые постановки в театре исторических пьес казались бедными и провинциальными. Станиславский в роли Аргана создал новый неожиданный тип и показал может быть самое настоящее свое призвание — комического актера.

В том же сезоне Бенуа сделал свою вторую, столь же стильную и остроумную постановку — "Трактирщицу" Гольдони, где опять же пленял своим тонким комизмом Станиславский в роли помпезного Кавалера Риффопрато; а в 1915 году Пушкинский спектакль из "Каменного Гостя", "Пира во время Чумы" и "Моцарта и Сальери".

В 1914 году сделал в М.Х.Т. постановку и четвертый петербуржец, — Б. М. Кустодиев — "Смерть Пазухина", драму Щедрина, насыщенную купеческим бытом, который Кустодиевым был показан на сцене весьма красочно и "вкусно". В следующий, мало интересной для художника пьесе, "Осенних Скрипках", Кустодиев "вышел с честью" из положения, введя в декорации свои любимые краски, особенно в поэтическом осеннем пейзаже городского провинциального сада.

За эти же годы у меня была моя третья постановка в М.Х.Т. — "Николай Ставрогин" по роману "Бесы" Достоевского, на которой я остановлюсь подробнее. Предложена она была внезапно.

В 1913 году было решено поставить "Коварство и Любовь" Шиллера и хотя я приготовил все эскизы и ездил на лето специально в Мюнхен и Штутгард, чтобы собрать исторические материалы, — постановка эта к моему огорчению неожиданно отпала (из-за болезни Германовой, которая должна была играть роль леди Мильфорд.) Роли были уже все распределены и можно было представить, как была бы сыграна пьеса с Качаловым-Фердинандом, Станиславским-Президентом и Москвиным-Вурмом.

Но я полностью был утешен новой работой, которая меня увлекла чрезвычайно и была одной из самых незабываемых для меня в М.Х.Т.

Мир Достоевского с юности меня волновал и теперь я погрузился в него всецело. "Бесы" были приспособлены для сцены Немировичем, который гордился, что ни одного слова не приписал — всё были слова

Достоевского, за исключением одной незначительной фразы, для связи. Немирович был опытный драматург и опыт свой тут применил так же блестяще, как и в "Братьях Карамазовых". Использована была лишь часть огромного романа и был исключен целый ряд действующих в нем лиц.

С Немировичем работалось очень дружно. Мы по долгу запирались в его кабинете в театре и эту комнату (сплошь увешанную фотографиями театральных людей) он мне часто предоставлял в полное распоряжение — другого помещения не было — и я мог там сосредоточиваться. У нас не случалось не только никаких разногласий, но я удивлялся, как мы одинаково воспринимали Достоевского и как ясно вставали общие задачи. Я очень дорожил всем, что подсказывали мне его умные и тонкие режиссёрские соображения, но я вовсе не был стеснен в моих проектах и всё им весьма охотно принималось.

Самый дух и темы пьесы были совершенно другие, чем в предыдущих моих постановках: вместо лирики была острейшая драматичность, которая по иному и "подстёгивала" меня. Тут я шел тем-же путем, как и в работе со Станиславским, но совсем в других настроениях. В противоположность симметрии, спокойным краскам и линиям — тому, что подсказывали благодушные тургеневские пьесы — динамика "Николая Ставрогина" и вся кипучая атмосфера "Бесов" требовали абсолютно другого.

В этой постановке я впервые как бы нашел себя — предчувствия были давно и в моих ранних мечтах о Шекспире — и, хотя лирические настроения остались мне близкими и в них я впоследствии "впадал" в театре, — но именно с этих пор то, что исходило из драмы, трагедии и романтических пьес, — особенно меня поднимало и возбуждало творчески.

Спектакль ставился в необычайном для театра темпе работы и хотя в общем было 107 репетиций, "Николай Ставрогин" был готов в концу октября, т.е. пьеса готовилась меньше двух месяцев — срок небывалый.

Это был общий подъём и для меня работа была одним из первых случаев того художественного "ража", который и впоследствии повторялся, когда я сам недоумевал откуда бралась энергия и как я успевал сделать так много за короткое время.

Свести декорации к простым фонам (так было в "Братьях Карамазовых") в "Бесах" казалось бедным и моя задача заключались в наибольшей выразительности и в то же время лаконичности декораций, — их было 11 и требовалась лёгкость их конструкций и перемен.

В этой моей задаче была попытка выразить то, о чём лишь в скрытых намёках говорится в романе, и как Немирович ограничился лишь словами Достоевского, я старался выразить самое острое, что чудилось в его неуловимом стиле и его скупых описаниях. Задача была как бы в "преодолении" ненужного тут натурализма. и я, насколько мог тогда смело взялся за это.

Может быть наиболее удачными оказалась длинная стена у паперти с рядом вдоль нее сидящих чёрных фигур нищих, мост, где всё было сведено к силуэту перил и фонаря, серая комната с мебелью в чехлах в "Скворешниках", где в амбразуре окна, освещённого заревом, жалась фигурка Лизы в зелёном бальном платье, закутанная в красную шаль, и силуэт голых деревьев в сцене ее бегства.

Были и неудачи. В сцене пожара и убийства Лизы (позже выпущенной) мы долго и напрасно бились над изображением дождя и дыма, но "реализм" тут провалился. Полунин, старик бутафор, придумал для дождя серебряные веревки, накрученные на вал, но они перепутались, вал визжал и чудак был в отчаянии. Когда же сооруженный им из войлока лохматый "дым" пополз кверху — это всех так рассмешило, что поскорее его убрали к конфузу изобретателя.

В маленькой комнате Шатова мы долго добивались нужного освещения. Я предлагал простую свечу, но в театре ужасно боялись пожара и она была заменена электрической лампой, скрытой за грудой книг, при чем, как я ни спорил, давали слишком сильный свет. Чтобы меня успокоить, его притушили на генеральной репетиции, а потом пускали во-всю. Немирович признался, что меня надо было "надуть" (вопрос освещения почти всегда неизбежный камень преткновения с режиссёром!).

В костюмах "Бесов" я придерживался конца 60-х годов — времени написания романа — и особенно меня увлекла задача ансамбля пёстрых нарядов на балу у губернатора. К сожалению, эта сцена, поставленная очень по Достоевскому, впослествии была тоже отменена. Как всегда, насколько позволяло время, я присутствовал на репетициях, образы "героев" Достоевского создавались на моих глазах и я помогал артистам в их внешнем облике.

Лучшего Ставрогина, чем был Качалов, нельзя было представить. Его красивая и благородная осанка и нечто "леденящее", что было в самой натуре артиста, всё подходило для внешности "великого князя", каким я хотел его сделать. Лиза — Коренева, которая так поразительно по Достоевскому совпадала в "Братьях Карамазовых" с типом другой "Lise" — хрупкой, капризной полу-женщины, полу-ребенка — тут развернула окончательно свой исключительный драматический талант. Была замечательна Бутова. Эта монахиня в жизни, с ее

строгим лицом и орлиным профилем, на сцене оказалась властной и сильной женщиной и настоящей "дамой", и был незабываем Берсенев — Петр Верховенский — у которого была и вертлявость "мелкого беса" и отлично сделанная подлость и подхалимство — он беспрестанно грыз ногти — что было очень удачно найдено.

В спектакле действительно веяло духом Достоевского. В необыкновенно остро поставленной Лужским, — помогавшим Немировичу, — истерической сцене бала с "кадрилью литературы" выступил впервые (в маленькой роли нигилиста) будущий чудесный артист Михаил Чехов и бесновались совсем юные тогда Бирман, Дурасова, Соловьёва, Успенская, Булгаков, Жилинский, Колин, Смышляев и многие другие — целый рой будущих прекрасных артистов.

И опять же, когда всё кончилось, после всего подъёма, я должен был найти исход волнению, в котором жил, я сделал много "послесловий" к "Николаю Ставрогину".* В "Бесах" был вообще перелом на моем пути художника.

После переделки мной старой постановки "Горя от Ума" в 1914 году (я с большим удовольствием исправил все неточности стиля и сделал много новых костюмов) — были еще три мои последние работы в М.Х.Т. перед революцией: "Будет Радость" Мережковского, "Село Степанчиково" Достоевского и "Роза и Крест" Блока.

В "Будет Радость", довольно нудной пьесе Мережковского, которую ставил Немирович, был лишь повод выразить некое романтическое настроение в декорации ночной залы; имела успех радуга и дождь сквозь солнце (неплохие световые эффекты) в сцене сада, и я помню, что утешил Немировича, дав намёк осени в пустых цветочных горшках, сложенных возле веранды. Тут можно было лишь показать "очищенный" — реализм.

"Село Степанчиково" создавалось в 1916 году в крайне тяжёлой атмосфере. Актёры говорили, что ни одна пьеса в театре еще не ставилась так трудно и туго Станиславским, и у меня тоже ни одна работа не была такой мучительной. Прежней идиллии, спокойствия, сосредоточенности — не было и в помине. На театре, особенно на Станиславском, сказывались угнетающие настроения войны, все устали, сам он был в периоде разочарований (не в своей системе — он ей оставался верен, хотя и запутывался), а в актёрах, был нервен и мрачен.

* Эскиз моста попал в Музей Александра III, а комната Шатова — в Третьяковскую Галерею.

У меня самого дело шло трудно, реализм меня связывал, и я никак не мог найти нужного подхода к этой сатире Достоевского, и хотя Станиславский, после моих тягостных поисков, эскизы одобрял, моя самокритика меня мучила.

На бесконечных репетициях разыгрывались тяжёлые сцены. Артисты часто не понимали чего хочет от них Станиславский, были - запуганы, терялись и я видел слёзы даже у почтенных артистов, как Книппер, Лилина и Грибунин. Он был придирчив, жесток, говорил подчас весьма обидные вещи и сам терзался и мудрил над своей ролью, вообразив, что она у него не выходит (на деле же в этой пьесе он был идеальным "полковником" Достоевского, какого только можно было представить).

Во время работы выплыло и то, чего никак нельзя было ожидать после стольких лет сотрудничества со Станиславским — его внезапная "ревность" к художнику.

О пресловутом "засильи" художников уже давно говорились кругом разные недоброжелательные вещи. Действовало и это возможно, что играли роль и наши художественные затеи, особенно у Бенуа и Кустодиева. Последнему, например, не могли в театре простить одну его "выходку": на фоне декорации нарисованную вдали лошадь, которую он ни за что не хотел убрать, уверяя, что это реализм — лошадь — де стоит неподвижно часами.

Бенуа часто тоже бывал настойчив, даже бывали крупные споры, и на иное Станиславский соглашался, вероятно, скрепя сердце, из уважения к авторитету Бенуа.

Тут и произошел крайне неприятный случай.

Еще в начале репетиций "Села Степанчикова", Станиславский, собрал всех участвующих, в их присутствии разбирая мои эскизы, сказал мне: "Ваши рисунки очень хороши, но они связывают актёра. Я не могу забыть, как в "Провинциалке" вы мне нарисовали грим. Я ему поверил и сделал, но не мог в нем играть — он не подходил к типу, который я представил, и потому я его сам изменил. Вы можете дать тут такой галстук, которого не "переиграть" актёру. Покажите нам разные образцы того, как одеваться и как гримироваться по эпохе, а мы сами выберем".

Я был страшно поражен и тут же при всех сказал приблизительно следующее: "Дорогий Константин Сергеевич, я не ожидал после всей моей работы с Вами этого недоверия. Я никогда не фокусничал и не навязывал пустых капризов. При таком отношении к художнику мне (здесь) нечего делать и я отказываюсь работать" — и ушел.

Я видел, как все были расстроены и сочувствовали мне, я же был совершенно подавлен. Потом всё наладилось. Было дружеское

объяснение с Константином Сергеевичем и объятия, но трещина залечилась лишь постепенно. Разумеется, всё это не могло не отразиться на моей работе.

Несмотря на все страдания и нервность, спектакль вышел удачен, многие же находили его замечательным.

Сам я не был удовлетворен своей частью, хотя меня многие уверяли, что я к себе несправедлив.

В том же 1916 году начались работы по постановке "Розы и Креста" А. Блока. Вначале для декораций был приглашен московский скульптор Андреев (автор памятника Гоголю) и он вместе с В.В. Лужским проектировали общую архитектурную конструкцию. Она была хотя и остроумна, но очень сложна и громоздка и ее оказалось невозможно осуществить.

Пьесу ставил Немирович и когда я был привлечен для нее, мы с ним, как было в "Бесах" и в "Будет Радость", вошли в очень тесное и ладное общение.

Моя сценическая декоративная задача была очень не легкой, в виду необходимости быстрых и незаметных переходов от одних сцен к другим, хотя в этом технически сходная с "Бесами", но здесь было еще больше сцен (13) и гораздо меньше антрактов между ними. Мы решили использовать давно не применявшуюся в новых постановках вертящуюся сцену, которая была отлично оборудована и на которой можно было разместить постройки всех сцен с системой отдельных занавесей, и теоретически всё казалось найденным.

Но пьеса в театре выходила какой-то мертворожденной. "Роза и Крест" ставилась чрезвычайно медленно — почти два года...

Артисты постепенно "увядали", многие роли переходили от одних к другим. Не выходило и с музыкой, которая должна была сопровождать многие сцены. Ильи Саца, написавшего замечательные музыкальные иллюстрации к многим пьесам, — "Синей Птице", "Miserere", "У Жизни в Лапах", уже не было в живых. Музыку пробовали писать многие, обращались и к С.В. Рахманинову, но почему-то ни на чем не могли остановиться...

Блок, с которым я видался неоднократно в Петербурге, дал мне много ценных материалов, но я, хотя и довольно хорошо и до этого знал эпоху, — работу свою засушил, слишком педантично собирал материалы (в Румянцевской библиотеке нашлись еще новые) и Блок был прав, написав в своем дневнике, впоследствии изданном, что "эскизы Д. какие-то деревянные".

Как ни странно, Блок настаивал на реальности постановки (он

говорил: "от Алисы должно нести луком"), несмотря на то, что в пьесе столько истинной поэзии и отдельные образы, как Гаэтан — почти видения. Всё это меня смущало и по настоящему мы не могли договориться.

Декорации я усердно писал в Москве и следил за очень тщательно, как всегда, исполнявшимися костюмами. Но при начавшейся разрухе было тяжело ездить в невероятную даль — новая декоративная мастерская театра помещалась на окраине города, где-то у Покровской заставы — и я физически изнемогал.

Когда всё почти было готово и уже была назначена генеральная репетиция с декорациями и костюмами, Станиславский, как обычно делалось при постановках Немировича, "вошел в пьесу". Пошли слухи о его неблагоприятных отзывах ко всему подходу Немировича и моему, и я будучи в полном отчаянии, смалодушествовал и перед самой репетицией уехал в Петроград... Это было накануне октябрьской революции.

Потом я узнал, что Станиславский решил всё сделать по новому. Не только для меня, но и для Немировича и для Блока, как и для всех артистов, которые истомились в ожидании спектакля, это был большой удар. Защищать же свою работу я по совести всё-таки не мог.

Переделка "Розы и Креста" была поручена Станиславским моему же помощнику по писанию декораций молодому художнику Гремиславскому, который по его указаниям перевел всё на драпировки. Говорили и об этой очередной неудаче...

Пьеса так и не была поставлена. Кажется в 1920 году ее передали в театр Незлобина, этим материально как-то был удовлетворен Блок, но и в этом театре ничего не получилось.

Уже посли смерти А.А. Блока был проект кинематографического режиссера Волкова поставить "Розу и Крест" в кинематографе. У меня начались с ним разговоры, но и это не осуществилось. Собирались в Москве издать книгу о "Розе и Кресте", для которой я сделал некоторые рисунки, но я не уверен, была ли она непечатана.

На неудаче с "Розой и Крестом" окончилась моя работа в Художественном Театре.

После революции я много работал в петербургских театрах, между прочим сделал постановку "Разбойников" Шиллера в Большом Драматическим Театре, объединившись с Болеславским и Сушкевичем, артистами М. Х. Т., режиссировавшими пьесу.

Будучи в Москве в 1921 году, я с завистью проводил Станиславского и театр, уезжавших на гастроли в Европу, и жил в самом здании театра. При тогдашних ужасающих жилищных усло-

виях негде было остановиться и мне устроили в пустовавшем театре "угол" — в уборной отсуствовавшего Качалова, где впрочем было трудно спать от страшного количества появившихся театральных крыс, с которыми не мог бы сладить даже бравый полковник фон Фессинг, если бы был жив...

В 1924 году я уехал за границу, но всё же нить с М.Х.Т. не порывалась. Через два года в Берлине я встретился с Немировичем и он предложил сделать эскизы к "Плодам Просвещения". Хотя пьеса меня как-то не вдохновляла, мы с ним начали обдумывать эту постановку и я нарисовал один проект, но почему-то это всё замерло и я уехал в Париж.

Но были зовы и в последующие годы и одно письмо от Немировича из Москвы, очень дружеское и подробное, о том, что именно они хотели бы ставить со мной, с тронувшими меня его словами, что в театре меня не перестают ценить и помнят, но, по разным причинам, я отказался...

В 1929 году было 25-летие смерти Антона Павловича Чехова и в Баденвейлер, где он умер в 1904 году, приехали многие из М.Х. Театра. Приехал и я, чтобы повидать старых друзей после долгой разлуки и был счастлив снова обнять Станиславского, увидеть его жену и детей и О.Л. Книппер (другие тогда уже уехали) и наговориться с ними. Но Станиславский был крайне нервен, говорил осторожно, с оглядкой, даже тут, в этом мирном курорте...

Он тогда очень постарел, его черные брови поседели и это очень меняло его. Я сделал тогда с большой любовью его портрет (карандашом). Нарисовал и белую гостиницу, где скончался А.П. Чехов и вид, на который он смотрел из своего окна перед смертью. Эти рисунки я послал в подарок театру.

Года за два до смерти Константина Сергеевича я получил от него из Франции длинное необыкновенно сердечное письмо. Он писал: "я долго не мог начать писать. Писал "на 'Вы" и у меня не выходило. Я не помню, пили ли мы на брудершафт, но только "на ты" и могу".

В 1937 году в Париже я видел три спектакля М.Х.Т.: "Враги", "Любовь Яровая" и "Анна Каренина". Встретился с Немировичем, с Васей Качаловым, с которым так сблизился за последние годы в Москве, с Книппер и другими, но все они, понятно, поневоле, были очень сдержаны. Владимира Ивановича Немировича я нашел совсем

таким же по внешности, как раньше, он только совершенно весь побелел и перестал уже носить свой цилиндр. Последние слова, которые я от него услышал, были — "а когда же Вы к нам?"...

От спектакля я вынес очень тяжёлое чувство. Была в лучшем случае лишь копия прошлого, все повторяли самих себя и нового творчества, новых наблюдений жизни, кроме типов общего шаблонного характера, я не заметил. Когда я увидел разные неточности в эпохе в "Анне Карениной" (постановка которой и отчасти игра были еще на известной высоте) и сказал об этом на сцене актёрам, прибавив: "воспользуйтесь мной, я вам охотно помогу", мне ответили: "это мелочи, которых не замечает публика".

Этот ответ меня больше всего огорчил, потому что в мое время театр был прежде всего художественно *честен* и подобное отношение говорило о том, что он перестал быть тем, чем он был.

IV

ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ И ПОЭТАМИ

1. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И "БАШНЯ"

С осени 1906 года я начал преподавать вместе с Бакстом в частной художественной мастерской ("Школа Бакста и Добужинского"), которая была основана Е.Н. Званцевой, бывшей ученицей Репина. Школа тогда помещалась на углу Таврической и Тверской улиц, против Таврического сада, — как раз под квартирой Вячеслава Иванова, которая была на самом верхнем этаже этого большого дома с угловой башней-фонарем. "Башня" и стала знаменитым названием собраний у Вяч. Иванова, его "сред", — нового литературного центра Петербурга.

Приезжая два раза в неделю в школу, я очень скоро через Званцову познакомился с "верхними жильцами" и не пропускал случая заходить к ним, и очень скоро сблизился с Вячеславом Ивановым и его женой, всегда чем-то горевшей, Лидией Дмитриевной. С ними жила дочь ее от первого брака, Вера Шварсалон, девушка с ангельски-голубыми глазами и золотой косой вокруг головы.

Званцева была своим человеком у Ивановых и была близка ко всему их кругу, а Волошин, один из ближайших друзей Вяч. Иванова, даже и поселился в квартире Званцовой и женат был на учившейся в нашей школе Маргарите Сабашниковой. Все это как то домашним образом сближало школу с Башней и школа не могла стоять в стороне, от того, что творилось "над ней". Некоторые ученики, по примеру Бакста и моему, бывали тоже посетителями гостеприимной Башни. Сама же школа под Башней становилась не только школой, — а маленьким "очагом", как бы содружеством, где в исключительной атмосфере зрело не мало будущих художников.

Я хочу вспомнить тут одну мою необыкновенно талантливую ученицу, Елену Гуро, маленькое, болезненное, некрасивое существо (она умерла очень скоро), которая была очень тонким и очаровательным поэтом. Она успела напечатать только одну маленькую книжку

стихов, ею самой прелестно иллюстрированную и посвяшенную ее сыну, который существовал лишь в ее воображении...

Вячеслав Иванов приехал тогда из Италии, прожив в Риме и отчасти в Афинах почти всю жизнь*, и был великим знатоком античного мира и уже давно сложившимся поэтом.

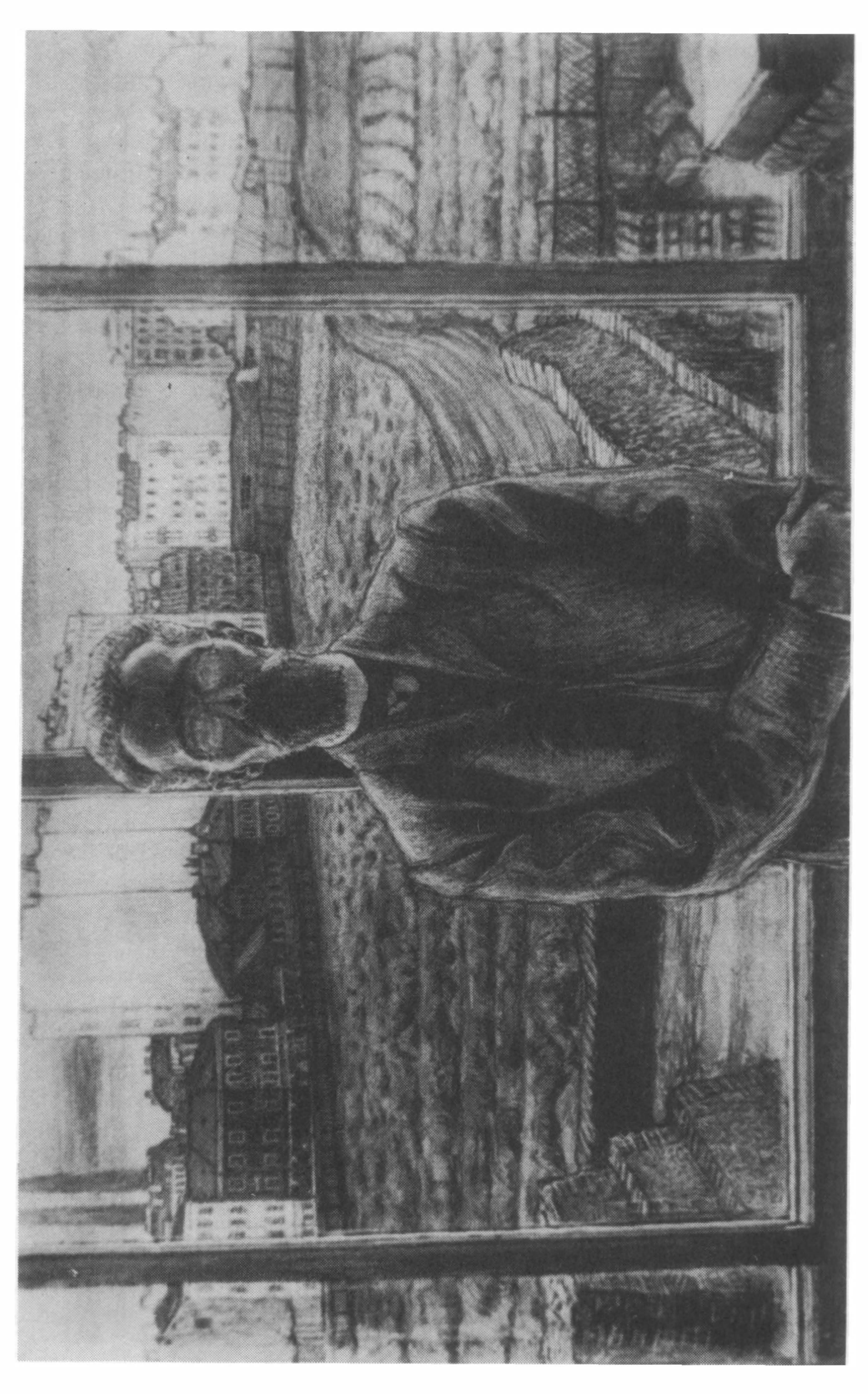
Как собеседник, он обладал совершенно особенным обаянием и хотя я не забывал, что передо мной ученый философ и глубокий поэт, но это не пугало — так он был внимателен, даже к такому профану, как я, и так порой весело-умны были его реплики и так заманчиво и интересно он заводил разные тонкие споры. Льстило и то, что он показывал особенно бережное уважение к художнику, как обладателю какой то своей тайны, суждения которого ценны и значительны. Его собственные проникновенные мысли об искусстве бывали мне очень интересны. Впоследствии он с необыкновенным прозрением высказался на тему о синтезе искусства по поводу творчества Чурлёниса.

Мне казалось, что от него веяло какой то чистотой, чем то надземным. Кто то написал о нем: "Солнечный старец с душой ребенка" (ему тогда было, впрочем, лет 40...), а Блок в одном из своих писем сказал: "Он уже совсем перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой". Это показывает, как всем хотелось идеализировать этого замечательного человека. Он же был столь "горним", что мог себя считать выше морали...

Вяч. Иванов тогда носил золотую бородку и золотую гриву волос, всегда был в черном сюртуке с черным галстуком, завязанным бантом. У него были маленькие, очень пристальные глаза, смотревшие сквозь пенснэ, которое он постоянно поправлял, и охотно появлявшаяся улыбка на розовом лоснящемся лице. Его довольно высокий голос и всегда легкий пафос подходили ко всему облику Поэта. Он был высок и худ и как то устремлен вперед и еще имел привычку в разговоре подыматься на цыпочки. Я раз нарисовал его в этой позе "стартирующим" к звездам с края Башни, с маленькими крылышками на каблуках — но эту не очень злую карикатуру я показал только своему другу Сюннербергу, все таки боясь, что Вяч. Ив. обидится...

В Башне, на еженедельных Средах, которых я одно время почти не пропускал, я встречал всех тогда и уже знаменитых и еше начинавших молодых поэтов — Александра Блока, только что окончившего СПБ университет, приезжавшего из Москвы Андрея

* "Я учился древности у Момзена, Рима и Афин" сказано им в его автобиографии.



М. В. Добужинский. "Человек в очках (К. Сюнерберг). 1904-5
Карандаш и акварель. (Третьяковская Галерея)

Белого, загадочного Кузмина, впервые тогда появившегося в Петербурге; встречался с имевшим тогда облик древнего старца Федором Сологубом и с лохматым, маленьким Ремизовым и другими. Завсегдатаями Башни были и зевсоподобный Волошин и Георгий Чулков.

Гости на Средах остовались иногда до раннего утра. Лидия Дмитриевна, любившая хитоны и пеплумы, красные и белые, предпочитала диванам и креслам ковры, на которых среди подушек многие группировались и возлежали. Помню, так было при приезде Брюсова, который, сидя на ковре в наполеоновской позе, читал свои зловещие стихи и свет был притушен. Но до "кадильниц" и тем более до каких то "оргий", о чем ходили слухи, в Башне, разумеется, не доходило. К этому "театру" мы (а из художников бывали Сомов, Бакст, Лансере и наши общие друзья Нувель и Гржебин), относились очень не в серьез, но с любопытством. Очевидно ко всему по философски равнодушно относился и сам хозяин.

Обыкновенно в Башне читались самые свежие, еще не напечатанные стихи и, разумеется, читались как было принято тогда, торжественно и нараспев — этот стиль, кажется, пошел от Андрея Белого, у которого такая декламация была своего рода пением (но он как то впезапно вдруг утратил эту способность) и это сделалось общим увлечением; читать иначе, реалистически, "с выражением", казалось неприличным и пошлым. (Профаны же, помнится, тогда называли эту модную монотонную декламацию "акафистом" или "панихидой").

Собрания проходили по семейному, за чаепитием, многие бывали с женами. После же чая кроме стихов часто читались доклады на одну из животрепещущих символических тем и тогда возникали нередко весьма горячие прения. Больше всего горячился Чулков, — после Бориса Пронина (зачинателя "Бродячей собаки" и "Привала комедиантов) и Н.Н. Евреинова — самый неистовый энтузиаст, каких я знал. По внешности он тогда походил на молодого апостола или Предтечу с бородой и большой шевелюрой, что было весьма в стиле его несколько театрального пафоса. Ни один доклад не проходил без его участия в прениях — тут он бывал порой блестящим или оппонентом или апологетом. Помню, как он неистовствовал, вещая на тему "Демоны и художники"! Чулков носился тогда с идеей "Мистического анархизма", системы, кажется, и для него самого довольно туманной, но в самом названии содержалось уже нечто многообещающее, магическое и заинтриговывающее.

Заинтересовало оно... и градоначальство. И, однажды, кажется в конце 1906 года, когда в Башне было одно из самых многолюдных

собраний и был в самом разгаре "чай", внезапно раскрылись двери передней (как раз против самовара) и театральнейшим образом, как настояший "deus ex machina", появился полицейский офицер с целым отрядом городовых. Всем велено было остаться на своих местах и немедленно у всех дверей поставлены были часовые. Забавно, что никакого переполоха не произошло и чаепитие продолжалось, как ни в чем не бывало. Однако по очереди все должны были удаляться в одну из комнат, где после краткого допроса, к всеобшему уже возмушению, началась чрезвычайно оскорбительная операция личного обыска. Сначала допрашиваемые старались шутить и дерзить, но когда руки городовых стали шарить в карманах, сделалось уже не до шуток.

Процедура эта тянулась до самого утра и обысканные с негодованием обсуждали, как же реагировать. Среди "пострадавших" присутствовала мать Максимилиана Волошина, только что приехавшая из Парижа, дама почтенного возраста, молчаливая и безобидная, но внешности весьма для полиции оскорбительной: стриженная, что было по тем временам еще очень либеральным и, пуще того, ходившая, — что, впрочем, и нас и весь Петербург удивляло — в широких и коротких шароварах, какие когда то носили велосипедистки. Она то и стала искупительной жертвой за всех нас. Полицейский офицер решил, что она и есть самый главный и опасный "мистический анархист" и забрал ее, уже совершенно растерявшуюся и расплакавшуюся, в Градоначальство. Пробыла она, впрочем, там недолго, так как утром кто то полетел к Трепову, с'умел пристыдить начальство и ее утром же освободили. Всех же остальных на заре, по окончании обыска, отпустили с миром. Отобранные документы мы все получили обратно из Градоначальства и никаких последствий ни для кого это глупое происшествие не имело.

Но кончилось оно еще одним анекдотом. Дм. Серг. Мережковский, при раз'езде после обыска в Башне не нашел своей бобровой шапки: "утащили мерзавцы", и сейчас же напечатал в "Руле" язвительное открытое письмо Министру Внутренних Дел: "Ваше Превосходительство, где моя шапка?" Но произошел большой конфуз: шапка на другой день нашлась застрявшей за каким то сундуком в передней...

У Вячеслава Иванова я еще бывал и по поводу затеянного им его собственного издательства "Ор". Он торжественно нарек меня почетным именем "художника Ор" и я сделал несколько обложек для крошечных книжек этого издательства, удовлетворяя Вячеслава Иванова моими символическими рисунками. (Эти книжки были: антология "Цветник Ор", "Трагический зверинец" и "33 урода" Лидии

Дмитриевны, писавшей под именем Зиновьевой-Аннибал, и "По звездам" Вячеслава Иванова).

Помню и почти экспромтный спектакль, затеянный в Башне Мейерхольдом и Судейкиным — "Поклонение Кресту" Кальдерона; пьеса эта была поставлена в ширмах, очень изысканно и поэтично.

Лидия Дмитриевна, нами искренно любимая, неожиданно скончалась от дифтерита летом 1909 года и Башня кончилась. Вячеслав Иванов вскоре переехал в Москву. Позже он женился на своей падчерице Вере Шварсалон и это было большой сенсацией...

С от'ездом Вячеслава Иванова в Москву наши отношения оборвались — подобные чисто внешние причины, увы, не раз в моей жизни кончали даже и близкую дружбу. В Москве я видел его лишь мельком в первые годы после революции, (он полысел и носил черную ермолку), слышал затем о внезапном и парадоксальном, но несомненно искреннем энтузиазме, который неожиданно для всех возник у этого человека не от мира сего к "Великому Эксперименту", узнал о смерти бедной Веры (от голода, как утверждали) и, затем, об от'езде Вячеслава Иванова в Италию уже безвозвратно. Там он перешел в католичество, так же несомненно со всей искренностью своего пафоса... То же, что он поселился в Риме на Тарпейской скале — не удивляло, а скорее радовало, — как некий законченный штрих в образе Поэта.

2. СОЛОГУБ

В тот год, как возникла "Башня", особенно в следующем 1907 году, я стал часто бывать у Федора Кузмича Сологуба, обычно вместе с моим приятелем Сюннербергом, тогда начинавшим поэтом.

Поэзия Сологуба уже давно меня пленяла, мне нравилась его презрительная гордость и горечь и сама музыка медленного и тяжелого стиха, а главное его "Творимая Легенда", мир, который он создавал над действительностью, и где мечта хотела быть настоящей реальностью.

Поэзия его не только восхищала своим ядом и прелестью образов, она отвечала настроениям тогдашнего моего "двойного бытия". Именно тогда я со всей остротой чувствовал спасительность иронии и собственным опытом узнал настоящий смысл "неприятия" и отрешенности, чем так часто звучала поэзия Сологуба. Она только утвердила во мне то, что я узнал самостоятельно — и хотя никогда не говорил об этом Сологубу и особенной близости у нас не создавалось (он был значительно старше меня), но во мне он, конечно, чувствовал понимание.

Он жил в те годы на 8-ой линии Васильевского острова, на казенной квартире в качестве инспектора городского училища и был "в миру" Тетерников. Тогда только что вышел его "Мелкий Бес", роман, так его прославивший, в издательстве Гржебина (с моей обложкой). Роман все мы уже читали и было странно видеть, что Сологуб жил в такой мещанской и банальной обстановке, достойной быть интерьером самого героя "Мелкого Беса" Передонова, с обоями в цветочках, с фикусами в углах гостинной и с чинно разставленной мебелью в чехлах. Циник Нувель, который тоже часто у него бывал, уверял, что Сологуб и есть сам Передонов и потому и купается в пошлости! Но тут то и рождалась его "Творимая легенда".

Федор Кузмич в то время имел весьма патриархальный вид лысого деда с седой бородой, что как раз не вязалось с изысканностью и греховностью его стихов и было в сущности его загадочной маской. После уютного чая с обильными бутербродами, который разливала гостям пожилая сестра Сологуба, худая и молчаливая Ольга Кузминишна, придававшая столовой сугубую чиновничью патриархальность, все перебирались в кабинет слушать чтение стихов. Часто читали Блок и Кузмин и сам хозяин своим глухим и бесстрастным голосом, а в книжном шкафу за стеклом выглядывала "недотыкомка", мной нарисованная. У Сологуба бывал и Сомов и из поэтов также Пяст и впервые на нашем горизонте появился только что начавший писать Потемкин, необыкновенно молчаливый, в застегнутом на все пуговицы сюртуке, студент.

Тогдашний облик Сологуба мне больше был по душе, чем тот (новая маска!), который он принял несколько лет спустя, когда уже был женат на Настасье Чеботаревской. Он стал бритым, причем обнаружилась большая бородавка у носа (портрет Сомова). Чеботаревская его окружила "роскошной" обстановкой с золотой рыночной мебелью и шелковыми гардинами. Было обидно за Сологуба, и как он мог все это выносить — непонятно. В этом "салоне" Чеботаревской (на Преображенской улице) устраивались не только литературные вечера, но однажды был и наделавший много шуму маскарад.

Чеботаревскую у нас не полюбили, но у нее был ужасный конец, за который ей все хотелось простить.

После революции она стала впадать все в большее нервное расстройство и в глухой осенний вечер 1921 года не вернулась домой: кто то видел — бросилась в воду с Тучкова моста. Говорили, что Сологуб, несмотря на всю очевидность, не верил смерти и ждал, что она вернется. С ужасом передавали, что он каждый день ставил для

нее обеденный прибор. Весной, когда тронулся лед, ее нашли и Сологуб снял с ее руки обручальное кольцо.

Я встречал Федора Кузмича и в самые тяжелые годы, после этой катастрофы. Он снова был с бородой и стал какой то просветленный и тихий и обычный сарказм его стал добродушнее. Он рассказал мне: "Сижу на бульваре на скамейке, подошли беспризорные. "Дай, дяденька, папироску". — А мандат на курение есть?" — Рассыпались во все стороны".

Каков был его одинокий конец, я не знаю.

3. РЕМИЗОВ

И в Шиповнике и у Вячеслава Иванова я часто встречался с Алексеем Михайловичем Ремизовым и его женой Серафимой Павловной Довгелло и затем стал у них бывать на Казачьем переулке.

Внешность Ремизова была необыкновенной: маленький, сгорбленный (в старости, в Париже, он уже совсем согнулся), курносый, в очках с огромным лбом и торчащими во все стороны вихрами — он походил на "чертяку" или колдуна его сказок. Его жена необычайной полноты и гораздо выше его, с правильными чертами красивого лица и добродушной улыбкой. Были они "на Вы". Она была ученым специалистом по русской палеографии, Ремизов же удивительным мастером писаного шрифта; его рукописи — поразительно каллиграфического почерка. Он умел писать и "уставом" и "полууставом" и выкручивал самые замысловатые завитки. Часто он уснащал свои писания и рисунками довольно странными — был в них настоящим сюрреалистом, еще до сюрреализма.

Квартира их была полна всевозможной курьезной чепухи, висели пришпиленные к обоям разные сушеные корни и "игры природы", вербные чертики и пр. Ремизов собирал и берег и всякие пустячки, которые ему что нибудь напоминали, пуговицу, которую потерял у него Василий Васильевич, коночный билет, по которому он ехал к Константину Андреевичу и т. д. В советское же время его квартира (тогда на Васильевском) превратилась уже совсем в колдовское гнездо, разный чудовищный вздор был развешан на веревках и стены были самым Ремизовым расписаны по обоям чертями и кикиморами.

Одной из чудаческих затей Ремизова было учреждение им "Великой Вольной Обезьяней Палаты" или "Обезволпала", Озорной Академии, в роде "всешутейшего собора", куда он единолично оптировал членов, нарекая их разными пышными титулами и выдавая

дипломы, которые "собственноручно" подписывал Царь Обезьяний Асыка. Подобный диплом заслужил после многолетного томительного ожидания и я, причем возведен был в сан "Старейшего (Митрофорного) Кавалера Обезьяньего Знака". Бенуа, Сомов, Нувель, Сюннерберг, Н. Бердяев, В. Булгаков и немногие другие — были одни "Князьями Обезьяними" иные "кавалерами", а иные и просто "обезьянья служка". Дипломы были шедеврами Ремизовской каллиграфии и каждый был украшен изображением печати с портретом самого кавалера или князя.

Во всех этих чудачествах Ремизова в жизни и в смехотворных его рассказах большой веселости для меня не было, даже многое бывало мучительным, как смех от щекотки. Но всетаки в иных его вещах сквозь это шутовство, мудрёные словечки и утомительно-филигранный слог, веяло большой поэзией и даже нежностью и вообще чем-то очень милым.

Общим у нас с Ремизовым (это и об'единило нас очень искренне) была наша любовь к детскому миру, особенно к народным лубкам и игрушкам, и первая мной иллюстрированная книжка для детей была "Морщинка" Ремизова. У меня собралась большая коллекция всевозможных народных игрушек и Ремизов, бывая у меня, вдохновился одной и написал забавные стишки; мне посвященные, "У Лисы Бал". Тогда же в 1907 году издавался его "Пруд" и этот крайне мрачный его роман в духе Достоевского на меня сильно подействовал и я с охотой сделал обложку — (пожалуй, одну из самых удачных того времени) а потом "Пруд" толкнул меня написать и маслом картину, на тему этого романа.

В то время, как готовили спектакль Старинного театра с моими декорациями и костюмами Robin et Marion, неожиданно мне предложено было сделать декорации и костюмы в театреКомиссаржевской для "Бесовского действа над некиим мужем" Алексея Ремизова.

В начале ноября 1907 года меня позвал к себе Ремизов на чтение своего нового произведения. Были Аничков, Чулков, Волынский, Сюннерберг и Мейерхольд. Пьеса оказалась очень забавной и чудаческой, как всегда у этого затейника, с потешными словечками и именами, и по содержанию являлась русским "искушением св. Антония" с чертями, Грешной Девой, ангелами, масляничным беснованием, с монастырем и адом, все в духе русского апокрифа, и все это было весьма соблазнительно для художника! Присутствующие вместе с автором точно сговорились и решили, что поставить это в театре должен непременно я с Мейерхольдом.

На другой день я с этим был у Бенуа и получили его "бла-

гословение", был у Билибина, чтобы он не ревновал... И не ожидая еще согласия Веры Федоровны Комиссаржевской уже начал с Мейерходьом и Ремизовым обдумывать постановку.

Опускаю все подробности этой постановки, которая получилась очень острой (музыку к "Бесовскому Действу" написал Кузмин), но премьера вызвала настоящий скандал в театре.

4. КУЗМИН

В Башне же впервые в 1906 году появился Кузмин. Удивила его тогдашняя внешность: — он носил синюю поддевку и своей смуглостью, черной бородой и слишком большими глазами, подстриженный "в скобку", походил на цыгана. Потом он эту внешность изменил (и не к лучшему) — побрился и стал носить франтовские жилеты и галстуки. Его прошлое окружала странная таинственность — говорили, что он не то жил одно время в каком-то скиту, не то был сидельцем в раскольничьей-лавке, но что по происхождению был полу-француз и много странствовал по Италии. Появился он в нашей среде уже готовым поэтом и в Башне был сразу признан. Всех поражала его замечательная литературная образованность, особенно во французской литературе.

Хотя теперь иное в его стихах может казаться вычурным и жеманным и "прости Господи глуповатым" (последнее впрочем, не есть укор), но рядом с глубокомыслием и сложностью символической поэзии стихи Кузмина, простенькие, хотя и очень изысканные по форме, часто фривольные и забавные и всегда чрезвычайно музыкальные, были действительно новым и свежим явлением. Новым и оригинальным было у него и необыкновенно причудливое сочетание народного, чего-то староверческого с восемнадцатым веком — та пикантная смесь "французского с нижегородским", которая может оправдыватся и быть убедительной лишь при большом вкусе и мастерстве творчества.

Кузьмин был одновременно и музыкантом (был учеником Римского-Корсакова), писал очень милую музыку на слова своих собственных стихов и, сам себе аккомпанировал, пел, вернее напевал, эти романсы и сонеты — и в Башне и у своих друзей, хотя и безискусственно, но неподражаемо своеобразно.

Его песенки сразу сделались очень популярными в петербургских богемных и полубогемных кругах. Их с большим тогда, казалось, шармом исполняла в "Бродячей Собаке" маленькая Каза Роза. Самым любимым было "Дитя, не тянися весною за розой".

Поэзия Кузмина отвечала многим уклонам тогдашних настроений и была поэтому необыкновенно современной. Дразнил и тайный и явный ее эротизм. В этом был ее успех. впрочем довольно дешёвый. Но то, что было действительно ценным у Кузмина (кроме того, что он был увлекательный рассказчик и этим уменьем он пожалуй больше всего был схож с Лесковым), это то, что он создал свой собственный стиль, очень искусно воскрешая архаический и наивный язык сентиментальных мадригалов и старинной лирики. Кузмин был в этом такой же ретроспективист, как Сомов. Их сближала и общая обоим грустная нота скептицизма. Подобно искусству Сомова, поэзия Кузмина уводила в страну воспоминаний, и в то же время оба они любили пленительность здешнего "милого мира", "дух мелочей прелестных и воздушных". Его романтизм и недоговореность давали большой простор воображению и могли чрезвычайно волновать иллюстратора, но для меня было особенно привлекательным то, что у Кузмина было навеяно Гофманом. Поэтому именно для его "Графа Калиостро" и для сонетов "Лесок" я с особым увлечением делал свои иллюстрации.

С Михаилом Александровичем мы встречались очень часто, сначала на средах у Вячеслава Иванова, потом у нашего общего друга Сомова, бывал он и у меня и у многих других приятелей. Сблизила нас и общая работа с ним и Бор. Романовым: маленькая постановка его забавной пантомимы "Выбор невесты" в "Привале Комедиантов". Также, как и к Бесовскому Действу, им была написана и музыка к пантомиме.

Последний раз я видел Кузмина перед окончательным моим от'ездом из Петербурга в 1924 году. После революции он как-то внезапно постарел и, когда-то красивый, стал страшен со своими ставшими еще громаднее глазами, сединой в редких волосах, морщинами и выпавшими зубами. Это был портрет Дориана Грея.

5. БЛОК

С Блоком, как и со многими другими нашими поэтами, я тоже познакомился на Средах у Вячеслава Иванова зимой 1906-1907 годов. Это был у Блока период "прекрасной Дамы" и "Незнакомки" и тогдашняя поэзия его действовала на меня еще глубже, чем поэзия Сологуба, и отраднее, чем она. Я испытывал к ней даже какое-то чувство благодарности. Блок был самым петербургским из современных поэтов и одним этим уже многое у него было для меня дорого и близко. Тогда только что был поставлен у Комиссаржевской его

"Балаганчик" с декорацией Сапунова — истинно поэтический, и до сего дня незабываема его странная и острая прелесть.

Сам Блок, как личность, мне казался в полной гармонии с его поэзией. Он был в те годы юн и строен, с гордо поставленной головой, в ореоле вьющихся волос, и с лицом молодого Гёте. Он был более красив, чем на довольно мертвенном портрете Сомова. Как Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брюсов, Волошин и другие Блок носил тогда черный сюртук и черный шелковый галстух бантом (и в отличие от других "байроновские" отложные воротнички). Это сделалось как бы формой поэта того времени. Традиция еще держалась...

Свои волнующие стихи Блок читал медленно, с полузакрытыми глазами, слегка на распев и монотонно, и у него это вовсе не было позой и действовало его чтение неотразимо, хотя у него был несколько глухой голос и он чуть чуть шепелявил.

Прочтя стихотворение он, точно спускаясь на землю, иногда говорил: "вот" или "всё".

Блок жил одно время по соседству со мной, на углу Офицерской и речки Пряжки. Из окон его был тот же самый вид, что я часто рисовал из моей квартиры: делекие эллинги Балтийского завода и его железные краны, корабельные мачты и маленький кусочек моря. Впереди узенькая речка описывала дугу.

Вначале у меня с Блоком встреч бывало немного. Раз мы с ним и Вячеславом Ивановым поехали вместе в одном купэ в Москву (на конкурс, устроенный "Золотым Руном" на тему "Дьявол"). Ехали в спальном вагоне III класса, было очень холодно и Блок, забравшись на верхнюю "полку", над моей головой, улегся, как был, в шубе с поднятым воротником, в мохнатой круглой шапке и в калошах. Мне это показалось глубоко-символическим (особенно калоши!), точно этим выражалась забронированность поэта от "презренной действительности". Я это ему заметил и насмешил.

Наши встречи с Блоком участились во время подготовки для сцены его пьесы. "Роза и Крест" в Московском Художественном Театре (1916-1917). Блок тогда был призван на военную службу, служил в инженерных войсках, где-то в Пинских, болотах, и оффициально именовался "табельщиком 13-ой строительной дружины", там в тылу проводил дороги и целыми днями не слезал с седла (что Блок был вообще спортивен и ездок, я только тогда узнал и дивился). Когда он приезжал в Петербург, было странно видеть его в военной форме, в "галифэ" и крагах, с обветренным лицом и коротко стриженного, что ему очень не шло.

В свои приезды он стал бывать у меня, навещал и я его. Тогда же я познакомился с его матерью Александрой Андреевной, маленькой

худенькой женщиной, по всему было видно обожавшей своего сына. Любовь же Дмитриевну, жену Блока, дочь Менделеева, я знал давно, еще по театру Комиссаржевской*. Встречались мы с Блоком и в Москве, где велись беседы с Вл. И. Немирович-Данченко о режиссерских планах и обсуждали мои эскизы "Розы и Креста".

Мне чрезвычайно нравилась "Роза и Крест". К удивлению Блок настаивал на реальности постановки и лишь в некоторых сценах (Гаэтана и Изоры) он допускал "условность" и "призрачность".

Блок мне очень помогал материалами. От него я получил интереснейшие средневековые французские романы и новеллы, из которых я извлек все, что относилось к разным деталям быта и могло быть применено для постановки. Он мне дал также очень много фотографий Бретани и Прованса — места действия драмы, и подарил многотомную "Galerie de Versailles". ценный труд по французской геральдике крестовых походов, чем очень тогда меня тронул.

Между тем постановка "Розы и Креста" готовилась с необыкновенной медлительностью и трудом; прошло почти два года и было несчетное число репетиций. Все переждали и всё перезрело. Я сам, вначале увлечённый, застрял в том самом реализме, которого хотел Блок, и все засушил и уже делал через силу. Этого не мог не видеть Блок и не даром в своем дневнике написал: "Эскизы Д. какие-то деревянные", — и был прав, а в одном письме к матери я прочел: "Видел у Д. эскизы — очень красиво, а четвертое действие, боюсь, слишком пышно". В заключение случилась настоящая катастрофа: на первой генеральной репетиции вся наша работа была забракована Станиславским, в ту пору чрезвычайно нервничавшим и точно потерявшим почву. Были обижены все — и Блок и Немирович и я.

Тут наступила Октябрьская революция и хотя Станиславский пытался сам продолжать работу и переделывал постановку, из этого ничего не получилось. "Роза и Крест" так и не была поставлена, может быть потому, что эта вещь слишком была тонка для сценического воплощения. Года через три после революции Станиславский хотел хоть что-нибудь сделать в интересах Блока и пьеса оффициально была передана в театр Незлобина. Благодаря этому Блок был до некоторой степени удовлетворен материально, но уже не верил в постановку; пожалуй, она была бы и не по времени...

В самые тёмные первые годы после революции появились "Двенадцать" Блока. Гениальное произведение вызвало совершенно противоположные толкования. Блоку приходилось тратить время и

* От Менделеева, сибиряка, Л.Д. Унаследовала узкие глаза и монгольские скулы; у Блока же от деда по матери, другого знаменитого ученого Бекетова, были тяжелые веки и курчавость.

силы на тогдашние неизбежные, бесконечные, часто бессмысленные заседания и он мало писал. Хотя посмертная критика и утверждала, что он всецело принял "Октябрь", но вряд ли всё было так просто. Не было ли в одном из его ранних замечательных стихотворений, из "Посвяшений", настояшего пророчества, когда он говорил:

Весь горизонт в огне и близко появленье...
...Но страшно мне — изменишь облик ты",

Последний раз я видел Блока в Москве в мае 1921 года, т.е. за несколько месяцев до его кончины. Он был уже болен и, кажется, окончательно надорвался тогда на одной из своих лекций. В Петербурге ему жилось чрезвычайно тяжело; достаточно сказать, что он, уже будучи совсем больным, несмотря на протесты и отчаяние своих близких, чтобы избавить их от физического труда, сам ежедневно носил в квартиру тяжелую ношу дров.

Чтобы вырвать его из невозможных условий жизни, стали хлопотать о его выезде заграницу и о санатории в Финляндии, но несмотря на все хлопоты (особенно старался Горький), разрешение пришло слишком поздно, он не дождался. Блок умер в августе в больших страданиях и физических и моральных. Говорили, что перед смертью он лишился рассудка*.

Я жил тогда в деревне и на похоронах его не пришлось быть. Юрий Анненков нарисовал Блока в гробу, его заостривишийся и ужасно исказившийся профиль.

Я встречался с Блоком за пятнадцать лет нашего знакомства реже, чем мог бы. Но я не искал близости. У меня в душе к нему было не только большое поклонение, но и род душевной влюбленности и мне казалось нужным некое отдаление и хотелось видеть его всегда как бы на пьедестале...

* Я позднее узнал (об этом упоминает лучший его биограф, его тетка Бекетова), что Блок особенно терзался какими-то неладами между самыми ему близкими и дорогими людьми — матерью и женой — повидимому болезненно все преувеличивая.

V
О ЧЮРЛЁНИСЕ

Осенью 1908 года перед приездом Чюрлёниса в Петербург я получил из Вильны известие, что там появился художник, изображающий красками музыкальные темы. "Чудак", "декадент" и другие подобные эпитеты, которые я услышал от людей, знавших его картины и дилетантски судивших о них, заставили меня еще больше заинтересоваться этим, видимо, необычным художником, который к тому же, как я выяснил, был и композитором. В особенности заинтриговало меня то, что он, как говорили, изображал какую то фантастическую Литву. Несмотря на то, что я жил тогда в Петербурге, я каждый год приезжал в Вильну и знал о зарождавшемся движении литовской интеллигенции. Тем не менее "лик" Литвы остался для меня загадочным и поэтичным, скрытым в густом тумане, и в появлении Чюрлёниса я надеялся увидеть какой то просвет. Поэтому, когда из письма Антанаса Жмуйдинавичюса я узнал, что Чюрлёнис собирается приехать в Петербург, я и те, кто уже слышал об удивительном художнике, с нетерпением стали ждать этого знаковства. Жмуйдинавичюс предупредил меня, что Чюрлёнис — чрезвычайно скромный, несмелый человек. И действительно, приехав в Петербург, он не решился зайти ни ко мне, ни к К. Сомову, который был тоже уведомлен о его приезде, а почему то послал вперед своего брата, еще более робкого, чем он сам. После того как Чюрлёнис все же решился прийти ко мне, он довольно скоро освоился и стал часто навещать нашу семью, так что у меня появилась возможность познакомится с ним ближе.

Жить Чюрлёнис устроился на Вознесенском проспекте, напротив Александровского рынка, между Фонтанкой и Садовой. Комнату, узкую и темную, он снял в бедной квартире, где постоянно шумели дети и пахло кухней. Здесь я впервые познакомился с его дивной фантазией. В этой крохотной темной комнатушке на бумаге, кнопка-

ми прикрепленной к стене, он кончал в те дни поэтичнейшую "Сонату моря".

О картинах Чюрлёниса я расказал своим друзьям. Они очень заинтересовались творчеством художника, и вскоре А. Бенуа, Сомов, Лансере, Бакст и Сергей Маковский (редактор журнала "Аполлон") пришли посмотреть все то, что привез с собой Чюрлёнис. Сам он на эту встречу не пришел — ему было не по себе говорить о своих работах с такими известными художниками, и мы условились, что картины покажу я сам. Маковский в то время собирался организовать большую выставку. Картины Чюрлёниса произвели на нас всех столь сильное впечатление, что было немедленно решено пригласить его участовать в этой выставке. Первое, что поразило нас в работах Чюрлёниса, — это их оригинальность и необычность. Они не были похожи ни на какие другие картины, и природа его творчества казалась нам глубокой и скрытой. В голову приходили сравнения, (и то весьма приблизительные) с Вильямом Блейком и Одилоном Редином — художниками, которых Чюрлёнис мог знать. Но знал ли он их и их ли влияние ощущается в его картинах — это вопрос, который еще следует выяснить.

Было очевидно, что искусство Чюрлёниса наполнено литовскими народными мотивами. Но его фантазия, все то, что скрывалось, за его музыкальными "программами", умение заглянуть в бесконечность пространства, в глубь веков делали Чюрлёниса художником чрезвычайно широким и глубоким, далеко шагнувшим за узкий круг национального искусства.

В творчестве Чюрлёниса нас особенно радовали его редкая искренность, настоящая мечта, глубокое духовное содержание. Если в некоторых работах Чюрлёнис был совсем не "мастером", иногда даже, бессильным в вопросах техники, то в наших глазах это не было недостатком. Даже наоборот, пастели и темперы, выполненные легкой рукой музыканта, иногда нарисованные по детски наивно, без всяких "рецептов" и манерности, а иногда возникшие как будто сами по себе, своей грациозностью и легкостью, удивительными цветовыми гаммами и композицией казались нам какими то незнакомыми драгоценностями.

Естественно, что мои друзья, увидев замечательные картины Чюрлёниса, захотели познакомиться и с ним самим. Хотя Чюрлёнис избегал общества, мне удалось уговорить его пойти к Александру Бенуа. У Бенуа по определенным дням, кроме близких друзей, собирались и многие передовые художники Петербурга. В такой компании Чюрлёнис, конечно, почувствовал бы себя неловко, но милая сердечность хозяев, предупредительно освободивших художника от на-

зойливых вопросов и предоставивших ему место в тихом углу, позволила Чюрлёнису спокойно рассматривать массу гравюр и рисунков и прислушиваться к иногда очень интересным спорам. После этого первого посещения Бенуа Чюрлёнис был там еще один или два раза. У меня, как я уже вспоминал, он бывал очень часто. В нашей семье Чюрлёнис, видимо, чувствовал себя хорошо и уютно, играл с детьми, сажал их на колени, радовался их лепету, а дочь называл ангелочком. Помню с каким вниманием рассматривал он их действительно интересные рисунки, которые я аккуратно собирал. При этом он все время повторял свое любимое выражение: "Необыкновенно". Вообще, вспоминаю его постоянно что то рассматривающим, читающим. У меня была большая библиотека и много гравюр.

О своих работах он говорил неохотно и очень не любил, когда его просили объяснить их содержание. Он сам мне как то рассказывал, что на вопрос, почему в картине "Сказка королей" на ветках дуба нарисованы маленькие города, он ответил: "А потому, что мне так хотелось".

Как сейчас вижу его лицо, необыкновенно голубые трагические глаза с напряженным взглядом, непослушные волосы, которые он постоянно поправлял, небольшие редкие усы, хорошую несмелую улыбку. Здороваясь, он приветливо смотрел в глаза и крепко пожимал руку, немножко оттягивал ее вниз. Он часто что то напевал, помнится, однажды, уходя, он стал напевать "Эгмонта" и при этом улыбался своим мыслям. К нам его привлекало еще и то, что здесь он мог играть на замечательном новом "Беккере". Когда Чюрлёнис окончательно свыкся с нашей обстановкой, он целыми часами просиживал у рояля, часто импровизируя, и приходил играть даже тогда, когда нас не было дома. Он много играл с моей женой в четыре руки, чаще всего симфонии Бетховена" (особенно 5-ю), "Эгмонта" и 6-ю симфонию, которую он очень любил. Играл он нам и свою симфоническую поэму "Море". Меня всегда удивляло, как тихий, робкий Чюрлёнис у рояля становился совсем другим, играл с необыкновенной силой, так что рояль под его руками ходуном ходил.

У Бенуа он познакомился с организаторами общества "Вечера современной музыки" П. Нувелем и А. Нуроком, которым показал свои музыкальные работы. На концертах общества испонялись лучшие произведения современной русской и западной музыки. И здесь Чюрлёнис был принят с восторгом. На одном из концертов этого общества исполнялась его симфоническая поэма ("Лесь" или "Море", не помню), которую виртуозно сыграла пианистка Плоцкая-Емцова. Я был на этом концерте и видел тихо сидевшего в далеком углу Чюрлёниса. Концерт этот состоялся, кажется, весной 1909 года. Неза-

долго до этого Чюрлёнис уезжал в Литву и вернулся со своей молодой женой, с которой мы тут же познакомились. Они обосновались на улице Малая Мастерская в светлой комнате с большими окнами, где Чюрлёнис создавал своего "Rex'a". Я особенно подчеркиваю этот факт, потому что некоторые исследователи творчества художника считают, что картина написана много раньше. Я помню эту картину незаконченной и должен сказать, что она по совету Бенуа и моему была выполнена на холсте. Все мы тогда очень советовали Чюрлёнису испробовать другою технику и сделать в ней монументальную работу. Возможно, что "Rex" был началом нового, неосуществленного цикла картин.

Открытая в 1908-1909 годах выставка "Салон", на которой впервые экспонировались картины Чюрлёниса, стала его триумфом. За редкими исключениями критика оценила его правильно. Бенуа написал о нем восторженную статью.

Насколько я помню, Чюрлёнис уехал из Петербурга ранней весной. Осенью, когда он вернулся, я был долго занят в Москве, в Художественном театре, и в мое отсутствие он раз-другой навестил нашу семью, а потом исчез. Вернувшись в начале зимы в Петербург, я стал беспокоиться, что он не показывается у нас, и пошел к нему (в то время он жил на Измайловском проспекте). Нашел его абсолютно больным. Я срочно сообщил об этом его жене в Вильну и его другу Ч. Саснаускасу, который жил в Петербурге. Больше я его не видел: его увезли в Друскининки, а потом — в Варшаву.

"Новое Русское Слово" 10 окт. 1965 г.

VI

О ФОКИНЕ И О РАБОТЕ С НИМ ХУДОЖНИКА.

С М.М. Фокиным, ранние петербургские постановки которого я почти все видел, мне в первый раз пришлось встретиться в общей работе для балета в 1914 году в Париже. Тогда Фокиным уже были созданы в русских балетах Дягилева все самые замечательные его произведения, в тесном сотрудничестве главным образом с Александром Бенуа и Бакстом, а также с Рерихом, Коровиным, Головиным и Анисфельдом.*

"Русский сезон" 1914 года в Париже был особенно блестящ: многие из этих прославленных балетов продолжали идти и в этом сезоне. Тогда же Фокин сделал еще четыре последние свои постановки у Дягилева: "Легенду об Иосифе" (декорация Серта), "Золотого Петушка" (декорации Гончаровой), "Papillons" и "Мидаса". Последние два балета и были поставлены с моим сотрудничеством.

Балет "Papillons" на музыку Шумана был за два года до этого поставлен Фокиным на Мариинской сцене. Декорации и костюмы в парижской постановке предполагались Бакста. Он успел сделать рисунки костюмов, но декорацию делать отказался: был тогда крайне переутомлен, нервничал и, кажется, была какая-то очередная размолвка с Дягилевым. По его совету и по совету Бенуа Дягилев обратался ко мне. Еще в Петербурге я успел сделать эскиз и затем был вызван Дягилевым в Париж для исполнения декораций, которые там и написал с помощью искуснейшего О.К. Аллегри.

У меня уже был театральный опыт в театре Комиссаржевской и в Московском Художественном Театре, для балета же мне пришлось работать впервые.

---

* С Бенуа Фокин поставил "Павильон Армиды" и "Петрушку"; с Бакстом — "Клеопатру", Карнавал", "Шехерезаду", "Spectre de la Rose", "Нарцисса", "Dieu Bleu", и др.; с Рерихом — "Половецкие пляски"; с Коровиным — "Les Festins"; с Головиным — "Жар-Птицу"; с Анисфельдом — "Садко", Фокиным было поставлено у Дягилева 20 балетов.

Так как хореография Фокиным была уже приготовлена, тут у меня с ним не могло быть большого контакта, – моя задача была лишь дать соответствующий "романтический" фон и сочетать цвета декораций с цветами костюмов Бакста; то, что мной было задумано – лунный парк с храмиком Амура у озера и с двумя боковыми розовыми павильонами с освещенными окнами и сходами лестниц, счастливо совпало с мизансценами Фокина.

Этот прелестный его былет (который был как бы продолжением "Карнавала"), имел большой успех и надолго остался в репертуаре Дягилевских балетов.*

В самом конце того же сезона 1914 года в Париже мне пришлось сделать вторую работу в балете и на этот раз уже в тесной связи с Фокиным, хотя и почти экспромтом; декорации и костюмы к "Мидасу". Было всего 10 дней, чтобы ему сочинить и поставить балет, а мне сделать эскизы и по ним всё выполнить. Все мы находились тогда в особенном подъёме, энтузиазм Дягилева, который обожал подобные экспромты, заражал всех, но помимо этого было столько собственной энергии и задора, что этот фантастически-короткий срок не смущал ни Фокина, ни меня. Я очень быстро "переварил" задачу, прослушал с Фокиным музыку Штейнберга, вчитался в "Метаморфозы" Овидия, и предложил Фокину сделать постановку в духе Кватроченто. Музыка в данном случае не обязывала ни к какому определенному стилю и мне казалось это острее и проще, чем пускаться в мало мне знакомую область античной Эллады, тем более, что это уже блестяще было использовано Бакстом во многих балетах, да и где было время, чтобы взяться за подобную задачу?

Фокин посвящал меня во все созревавшие у него планы, с которыми и встречались мои замыслы: пещеры, центрального холма, в роде как в "Парнасе" Мантеньи, образы нимф и богов.

Эта спешная и увлёкшая меня работа шла в условиях очень трудных. Были всяческие задержки, но все препятствия были преодолены. Декорация была по своей конструкции очень несложной и, увидев ее на сцене, Дягилев радостно говорил, что такой простой декорации у него еще не было. Ее превосходно написал по моему эскизу Н.Б. Шарбе, но готова она была лишь в день спектакля, а костюмы появились в Grand Opera только в антракте перед самой премьерой! Понятно, что было много волнений и страха, и было

---

* Перешёл он впоследствии и в балет де Базиля и до сих пор держится в репертуаре "Русского Балета в Монтекарло". Показывается и всё та же моя старая декорация, которая после стольких лет, конечно, потеряла уже совершенно свою прежнюю свежесть и краски.

много забавных историй. Но "il y a un dieu au theatre", и всё сошло очень удачно

"Мидас" после Парижа был показан в Лондоне, но в репертуаре Дягилева не удержался. Музыка, справедливо или нет, была сурово раскритикована прессой и, как впоследствии мне признавался Фокин, она тут и не очень его вдохновила. А он всегда в своей хореографии исходил прежде всего от музыки. Между тем то, что создавал в этом балете Фокин, было чрезвычайно красиво: и танцы бывшей в полном своем расцвете Карсавиной — нимфы, и торжественное шествие Судий-богов, и выход Аполлона с 9 музами, и группировки и позы Дриад, Гамадриад и Ореад, которые поднимались неожиданным явлением из-за обломков скал на фоне "блаженных" Мантеньевских далей.

Александер Бенуа в своей книге "Reminiscents of the Russian Ballet (London 1939) посвятил следующие строки теперь забытому "Мидасу": "Невнимание, оказанное этому балету, крайне незаслужено. Правда, музыка "Мидаса" далека от гениальности, но была всё же приятной, а сам спектакль был очарователен и превосходного вкуса. Фокин создал хореографию в необычайно короткий срок, но, как часто у него бывает, эта "импровизация" придала исключительную прелесть балету" (дальше следуют лестные для меня строки относительно декорации и костюмов).

Только через 27 лет после "Мидаса", в конце 1941 г. я снова объединился с Фокиным в общей работе для балета. За эти годы я участвовал в целом ряде балетных постановок и давно вошел в ставшую мне столь любимой область. В Лондоне я видел многие произведения Фокина последних лет — "Epreuve d'amour", "Дон Жуана" Моцарта, "Les Elements" Баха, "Золушку", а в Нью Йорке его новую версию "Золотого Петушка", поразительного "Паганини" на музыку Рахманинова и весёлую и остроумную "Синюю Бороду" и во всём был прежний его всесторонний гений. Я был, конечно, счастлив его предолжению поставить вместе новый балет на музыку Прокофьева для American Ballet Theatre.

Мы оба, как потом друг другу признались, несколько опасались, что после стольких лет (целой жизни!) мы не найдем "общего языка", что каждый из нас слишком установился в самом себе, как художник, и что не случится того, что так важно — общего понимания и, главное, взаимной уступчивости. Но на деле у меня редко с кем образовывалось такое тесное сближение в работе, как с ним.

В подобном дружном сотрудничестве иногда нельзя вспомнить, кому принадлежит та или иная идея, и отпадает желание отстаивать своё только потому, что оно "своё". Так бывало у меня в лучшие

моменты работы в театре со Станиславским, Немировичем-Данченко, Мих.Чеховым и в иных памятных случаях, так было и теперь.

Очень часто в современном балете декорация и ее конструкция сводится к обычной традиции: боковым кулисам и "球нику", чтобы дать наибольший простор движениям. Это мы видим нередко и в самых "передовых" постановках. Тут декорация является лишь живописным фоном для костюмов, увеличенным эскизом, "оживлённой картиной" — что, конечно, может создавать большие красочные и декоративные эффекты, хотя не обязательно всегда театральные и гармонирующие с действием... Фокинские балеты всегда отличались режиссерской изобретательностью, план сцены и конструкция декораций требовала изобретательности и от художника. В этом балете задачи художника были непосредственно связаны с развитием драматического действия и потому были особенно сложными.

В основу задуманного Фокиным балета была положена им музыка С. Прокофьева, написанная к "Поручику Киже". Музыка эта для Фокина являлась гораздо значительнее сюжета "Киже", в сущности анекдота, и подсказала ему совершенно иное содержание балета. Эту музыку мы прослушали много раз (по дискам Бостонского симфонического оркестра Кусевицкого), и я видел, что Фокин изучил каждый ее такт. В этой начальной стадии работы я еще раз мог убедиться какой исключительной была музыкальность Фокина.*

Это произведение Прокофьева действительно могло навеять целый ряд образов. В ней слышаться всё время мотивы страданий и печали, которые сменяются то звуками военной музыки, то лирическими и мирными музыкальными картинами, то весёлыми и плясовыми мелодиями; в конце снова звучит тема тоски, которая переплетается с живыми и бодрыми темами и в заключение замирает в безнадежности. Фокина "озарило" показать всё это на сцене, как смерть забытого раненого солдата, с его предсмертным бредом — видениями пережитого прошлого, — с его агонией и последней тягой к жизни.

Такова была канва созданного Фокиным балета, который вылился у него в своеобразную, стоящую особо в его творчестве, форму. В этом произведении — балете и пантомиме одновременно, — главное место отведено групповым танцам и сценам, и есть лишь одно центральное действующее лицо (если не считать фигуры Смерти): Солдат. Балет этот можно назвать "балетом кордебалета" и

* Многие, вероятно, не знают, что он изучил теорию музыки и занимался сам композицией.

в то же время *"монодрамой"*, т. к. по существу в идее, он представляет картины переживания одного лица.

Одной из технических и декоративных задач было найти способ незаметных и быстрых переходов от одних сцен к другим, — от реальных к видениям, — во время самого действия.* Нам обоим пришла мысль использовать в этих целях возможности прозрачного тюля; написанная на нем декорация может, в зависимости от освещения, "таять" и исчезать на глазах у зрителя, заменяться другой, видимой сквозь этот тюль, и затем вновь "оживать". Мы применили также и эффект движения декораций во время действия — опускание и подымание их, чем, кстати сказать, сравнительно редко пользуются в современном театре. Всё это могло придать известную иллюзию "видениям" солдата — появлению вместо пустынного поля ("реального" фона его агонии) — картины парада с подымающимся памятником, "всадника смерти", встающего среди пашен, и сцены деревенской свадьбы.

Одновременно с этим конструкция двухярусной сцены давала Фокину возможность, ставя хореографию в двух плоскостях, создать тот "контрапункт" двух одновременных действий, отвечающий и музыке, что явилось одним из замечательных его достижений в этой постановке.

После того, как все задачи ясно вырисовались в эскизах и планах, мы самым тщательным образом разработали в связи с музыкой и хореографией все перемены декораций и освещения (их было более 20-ти в течение всего короткого балета). Фокин составил подробнейшую схему этих перемен и исчислил в минутах и даже секундах время каждого переодевания артистов во время действия (обязывало к этому недостаточное число танцующих). Балет создавался на моих глазах. Я присутствовал на всех почти репетициях и имел возможность видеть ту сторону работы Фокина, которая обычно скрыта от непосвященных: когда он в своем неизменном "светере" весь в поту и с клавиром в руках, испещренном заметками, устанавливал малейшие детали и всё показывал сам, воплощаясь в каждую роль. Вся эта "миниатюрная" и кропотливая работа делалась им в самом тесном соответствии с каждым тактом музыки, и подобная чёткость создавала всегда необычайно выдержанный стиль Фокинской хореографии. Вместе с тем, что являлось всегда замечательным в его мастерстве, — эта "математичность" совмещалась с широтой и свежестью его композиций, куда он вкладывал весь свой темперамент и душу. В этой постановке я видел,

* Тут я считаю нелишним подробно сказать о той "кухне творчества", которая обыкновенно остается неизвестной публике.

что он требовал от исполнителей не только технического совершенства, но и душевной выразительности, которая была ценнейшей чертой всего творчества Фокина.

Было трудно найти название этому балету. Фокин хотел назвать его "Неизвестный Солдат", но это могло показаться слишком специальным символом, вызывающим определённые ассоциации, и пришлось остановиться на названии "Русский Солдат". Оно было уже темой балета, где представлена смерть солдата, не героя, а человека, жертвы войны.

При этом не было мысли подчеркнуть современность (на что могло намекать название). И без какой либо безвкусной точки над "i" зритель свободен делать желаемые сравнения и выводы. Налёт же историзма — тут была взята Павловская эпоха (единственное, что оставалось от сюжета "Киже") и "пейзанские", не современные и не этнографические костюмы крестьян, — как бы расширял и углублял тему человеческих страданий и смерти; всё представлялось как бы через вуаль условного отдаления. Для этой же цели, там, где надо было показать не реальность, а "сновидения", в мои декорации я ввёл некоторые черты "игрушечности" (сцена парада на фоне кубиков казарменных зданий) или оттенок "лубочности" (сцена свадьбы с разноцветной избой в духе русских старинных народных картинок).

Очень странно, что этот балет, идея которого принадлежит всецело Фокину, и который в жизни был его последним (если не считать "Елены Троянской" — этой постановки никто и не увидел на сцене) — весь был построен на теме Смерти, на борьбе с ней и на ее низбежной победе. Когда перед постановкой "Солдата" высказывалось мнение, что балет слишком мрачен, что публике он не может понравиться, Фокин не шёл ни на какие компромиссы и был, как всегда, в своем творчестве ясен и художественно честен. Как его ни уговаривали изменить финал, он не хотел никакого смягчения, ни, тем более, "апофеоза" умирающего солдата, по той причине, что музыка к этому не давала решительно никакого повода.

Тесно и дружески занимаясь с М.М., я имел случай видеть и всю подготовительную работу его и его поиски. Он говорил мне, что для тех сцен, где фигурируют жнецы и косари, он прочитал немало по агрикультуре. воспользовавшись случаем, чтобы узнать и эту область, и шутя хвастал, что теперь он осведомлен почти, как агроном. То же было им проделано и по русскому фольклору (свадебные обряды), и по военному артикулу Павловского времени. Так же и в других постановках, знакомясь с той или иной эпохой, ее стилем и бытом, он изучал предмет с подобным же вниманием и детальностью, и всегда шире, чем это требовалось для данного случая: т.к. конечно, лишь

зная больше чем надо, возможно по настоящему проникнуть в эпоху, почувствовать ее подлинный стиль и духовную суть, стать как бы ее современником и, главное, быть свободным в ее интерпретации. Фокин давал примеры чисто художественного, а не археологического подхода к источникам, когда именно глаз художника, откидывая всё ему ненужное, умеет найти то сокровище, которое скрыто и от учёного глаза. Этим своим проникновением он поражал и специалистов.

Не только этот наш петербургский ретроспективизм роднил Фокина с тем, что определенно связано с именем "Мира Искусства". Он, как артист и реформатор балета, "родился" и художественно вырос в том общем подъёме, когда в Петербурге создавалась неповторимая культурная и боевая атмосфера нашего художественного Возрождения, и сам он был одной из его активнейших сил, направленных "против течения".

Всё то, что в творчестве Фокина развернулось в поразительно широкую картину, начато было им в Петербурге, в Императорском классическом балете, плотью от плоти которого он был сам. Именно там впервые в живой пластике Фокиным было показано новое и свежее понимание античности, были воскрешены также по новому и Египет, и древняя Русь, и очарование 18-го века, и поэзия эпохи романтизма.* Фокин, инспирируемый на первых шагах своей деятельности столь различными эпохами искусства, открыл в них и забытые, и совершенно новые элементы танца. В то же время, будучи сам чистокровным классиком, он в своей новой хореографии оставался верен самому прочному фундаменту балета — классике, — но очистив ее от рутины, вдохнул в нее душу и смысл и по новому гениально оживил. Всё это произвело революцию в балете и положило начало новой эре в русской, а затем и в мировой хореографии.

Дальнейший самый замечательный период деятельности Фокина протекал почти всё время за границей**, где ему открылись гораздо более широкие возможности и где творчество его достигло своего

* Первые выступления Фокина (с 1905 года) на экзаменационных спектаклях учеников Театрального Училища и на благотворительных спектаклях, потом и на сцене Мариинского Театра. Эти первые его постановки были: "Ацис и Галатея", "Сон в летнюю ночь", "Шопениада" (будущие "Сильфиды"), "Оживленный Гобелен" (превратившийся впоследствии с Ал. Бенуа в "Павильон Армиды"), "Времена Года" Чайковского, "Евника", "Египетские Ночи" ("Клеопатра" у Дягилева,) "Карнавал" и "Половецкие — Пляски".

** В то же время, в Мариинском театре, в 1912 году (когда у Фокина был временный разрыв с Дягилевым) были поставлены им: "Исламей", "Стенька Разин", "Франческа" и "Аррагонская Хота" и в 1917 году танцы в "Руслане".

апогея. Но и тут его искусство не только по своему источнику и корням, но и по духу оставалось неизменно русским искусством.

Фокина можно назвать художником в настоящем значении этого слова и по его непрерывному внутреннему горению. "Фокин огонь", говорил Бенуа. И на фоне нервозного и бездушного современного эстетизма он оставался настоящим русским художником, может быть одним из последних могикан того русского искусства, одна из главных ценностей которого — честность, искренность и душевность. Многие идеи Фокина уже органически вросли в современную хореографию, но сберечь в неприкосновенности созданные им балеты, как целые художественные произведения, теперь, после его смерти, зависит лишь от исполнителей и руководителей. Станиславский сказал однажды: "театр груб по природе", и, действительно, каждый театральный человек знает, что малейшее ослабление "вожжей" опасно чрезвычайно, и когда нет живительной "единой воли" все фатально само собою грубеет. Техническая память отдельных танцоров и "коллективная память" ансамблей часто поражает своей точностью, но все таки не гарантирует от ошибок. Очень часто бывает, что некоторые изменения в танцах возникают незаметно даже для исполнителей, понемногу сами собой утверждаются, и только сам автор хореографии может "восстановить истину". Творчество Фокина, хотя и зафиксировано во множестве его заметок, планов и схем и увековечено в фотографиях и в фильмах*, но весьма многое в его хореографии держалось именно его "вожжами", его живой памятью и освежалось его личным воздействием. Эта живая связь с Фокиным была самым крепким цементом в его постановках и вливала душу в балеты. Тем более хрупким кажется теперь оставленное им наследство и только самое бережное и полное пиэтета отношение к его творчеству может сохранить балеты Фокина в том виде, в каком они блистали при его жизни. Это остается единственной надеждой. Но сейчас, в тяжелых условиях художественной жизни русского балета за границей, надежда эта вызывает, к сожалению, очень тревожные сомнения.

Впрочем, невольно думается, что многое в том утонченном искусстве, которое представляет собой современный балет, к сожалению недолговечно, точно есть какие то сроки жизни этих произведений... и это не потому, что в них, как мы видим на примере фокинских балетов, все неразрывно связано с личностью их творца и где столь многое зависит от нюансов внутренних переживаний: —

---

* Драгоценные сведения о каждой работе М.М. бережет и память В.П. Фокиной, которая была непрерывно, с начала его творчества, самой близкой сотрудницей его постановок, была, как говорил М.М., его "записной книжкой".

многие балеты Фокина, как "Шехеразада", "Карнавал", "Петрушка", требуют от всех участников того самого настроения, подъёма и общего понимания, в которых они были создаваемы. Без этого, даже если и сохраняется их хореографическая форма — она остается лишь внешней оболочкой и балеты лишаются их главного художественного смысла и очарования.

Но возможно ли требовать, особенно теперь, уже без их автора и вдохновителя, чтобы после стольких лет, силами уже совершенно других людей нового поколения, с иной психологией и вкусом, — каждый раз могли воскресать и прежние видения 1001 ночи, и шумановская романтика, и гофманская поэзия Петербургской "Арлекинады"? Можно ли ожидать, чтобы всё это оживало на сцене с той же самой свежестью, остротой и ароматом, как это было у Дягилева при Фокине, Баксте и Александре Бенуа? Классический балет с его незыблемыми формами кажется единственно долговечным и в то же время могущим эволюционировать: многое в творчестве Фокина, одухотворившего классику, доказывает это и несомненно, что новая хореография найдет еще множество источников вдохновения и "отправных точек" именно в области классического танца. В этой связи — залог и чистоты мастерства и вечной неувядаемости балетного искусства.

VII

ВОСПОМИНАНИЯ О РАХМАНИНОВЕ

К моему сожалению при всей моей симпатии к личности Рахманинова и восхищению его музыкой, мне не пришлось приблизиться к нему. Воспоминания мои о нем не очень богаты, но наши мимолетные встречи и все мелочи, связанные с знакомством, память сохраняет с любовью.

Познакомился я с Сергеем Васильевичем еще в 1916 году, но дальнейшие свидания были очень редки, с промежутками по несколько лет. Многие из моих друзей и знакомых, близко знавшие Рахманинова, говорили, что вообще к нему подойти было трудно, что по натуре он был человек замкнутый, но то, что многим казалось холодностью и даже высокомерием, часто объяснялось лишь его застенчивостью. В последней я сам убеждался неоднократно.

Еще до первой встречи с ним мне была знакома издали, по концертам, его высокая сутулая фигура и его серьезное, сосредоточенное, длинное лицо. Когда же я познакомился с ним, то вблизи меня особенно поразило это лицо. Я сразу подумал — какой замечательный портрет!

Он был коротко стрижен, что подчеркивало его татарский череп, скулы и крупные уши — признак ума (такие же были у Толстого). Не удивительно, что так много художников делали его портреты и что некоторые увлекались "документальной" передачей странных особенностей его лица с сеткой глубоких морщин и напряженных вен. Пожалуй, лучший портрет Рахманинова — один небольшой чрезвычайно тонкий и строгий и в то же время как бы "завуалированный" рисунок К. Сомова. Тут он избег соблазна подчеркивания узора этих деталей и ближе всего выразил духовную сущность этого человека.

Первая моя встреча с Рахманиновым случилась в фойе Московского Художественного Театра. Тогда ставилась в театре "Роза и Крест" Блока. Блок и я приехали в Москву для переговоров о

постановке и Рахманинову было предложено написать музыку для этой пьесы. По этому поводу он тогда и появился в театре и Немирович-Данченко нас и познакомил.

Я не знаю по каким причинам, но, повидимому, музыка написана им не была, да и сама пьеса, хотя и готовилась два года, так и не была поставлена. Я привожу лишь этот факт обращения Художественного Театра к Рахманинову, о чем, кажется, ни в одной его биографий не упоминается.

С Сергеем Васильевичем я встретился снова лишь в 1927 или 1928 году в Париже. Тогда же от моих друзей, К. Сомова и известного танцовщика Александра Сахарова, которые перед тем, будучи в Америке, часто бывали у Рахманинова, там гастролировавшего, я слышал о нем много милого — о его личной обаятельности и о его уютной семейственности. Сахаров с умилением рассказывал мне, как были трогательны прощания Сергея Васильевича на ночь с уже взрослыми тогда его дочерьми (старшая Ирина Сергеевна была уже замужем). Он точно провожал их в далекое путешествие, долго благословлял и не отпускал от себя.

"Как следует" я познакомился с Рахманиновым в Париже, бывая у его дочери Татьяны Сергеевны. Однажди было большое собрание, был Шаляпин, особенно блестящий в тот вечер. Он охотно пел, рассказывал и смешил разной талантливой ерундой. Таким весёлым, приветливым и в то же время мило-застенчивым я видел Сергея Васильевича впервые и с этой стороны впервые узнавал его.

С половины 30-ых годов, много живя в Лондоне и часто из него уезжая, я, к сожалению, как на зло всегда пропускал случай встретиться там с Сергеем Васильевичем. Он почти каждый свой приезд — и как раз в мое отсутствие — бывал в семье М.В. Брайкевича, которая и мне была близка. У них я как-то проговорился о моей идее балета на тему Андерсеновской "Принцессы на горошине", а Брайкевичи рассказали о моем либретто Рахманинову. Так как оно его, повидимому, заинтересовало и забавило, то Брайкевич посоветовал мне разработать сюжет и послать Сергею Васильевичу в Швейцарию, где он тогда жил, — может быть де он вдохновится и напишет музыку...

Так я и сделал. Сергей Васильевич прислал очень меня тронувшее письмо с обещанием, когда будет свободен, взяться за эту тему. Но так этого и не пришлось дождаться, хотя позже, однажды при встрече, он вспомнил с улыбкой свое обещание.

В 1937 году была устроена в Париже С. Лифарем Пушкинская выставка. Еще раньше я имел возможность хорошо ознакомиться с замечательными набросками Пушкина, очень ими увлекся (даже

дерзнул скопировать многие из них, стараясь подделаться под неподражаемую легкость Пушкинского пера) и было кстати прочесть на выставке доклад, посвященный Пушкину-графику. Аудитории были демонстрированы и эти копии. Во время лекции я был не мало смущен, увидев в первом ряду Сергея Васильевича, внимательного слушавшего и рассматривавшего рисунки, и был искренно обрадован, когда после лекции он меня благодарил за "открытия", которые для него были в некоторых из моих мыслей.

Вновь я встретился с Рахманиновым только в 1940 году уже в Нью Иорке, вскоре после моего приезда в Америку. Мы обедали у общих знакомых и неожиданно он предложил познакомить меня с Metropolitan Opera, обещав посоветовать дирекции поставить "Пиковую Даму" с моими декорациями (мои эскизы к этой опере для Брюссельского театра de la Monnaie он видел в Лондоне). Разумеется, на первых моих шагах в Америке, когда я, как художник, никому тут не был ведом, его участие были для меня очень ценным. Вскоре состоялось знакомство с директором Metropolitan Opera, которому и были показаны мои эскизы. Друзья уже начали мечтать, что Сергей Васильевич согласиться дирижировать его любимой оперой... Но после долгих колебаний Дирекции, по разным посторонним соображениям, оказалось, что опера Чайковского поставлена быть не может и тогда мне, как бы в замен "Пиковой Дамы", было предложено сделать декорации к "Балу Маскараду" Верди, что я и исполнил. Таким образом это вышло все же как бы "с легкой руки" Рахманинова.

Замечательно, что его дружеское участие во мне оставалось неизвестным даже его близким, так он был скромен в подобных доброжелательных поступках, не придавая им значения и не любя говорить о них никому.

Однажды летом 1941 года по приглашению Сергея Васильевича я посетил его в его вилле на Long Island. Он приехал на автомобиле встретить меня на станцию. Правил он сам и мне было странно — как руки артиста могут снизойти до грубого автомобильного руля? Я сказал ему это и получил забавный ответ: "Не забывайте, что я не только пианист, но и дирижер и после оркестра мое самое большое удовольствие управлять машиной. Я, ведь, "кондуктор"!

В это мое посещение Рахманинов опять мне показался таким же, каким я его узнал в Париже и его серьезность уже меня не пугала.

В Нью Иорке я старался не пропускать концертов Рахманинова, на которых подлинно наслаждался, и вместе с толпой эгоистически требовал бисов. Между тем, несмотря на всю поразительную силу и свежесть его дивной игры нельзя было не заметить каким невероятно

усталым он был последние годы. После концертов бывали коротенькие свидания в тесной артистической комнате Carnegie Hall, где, как бы опустошенный своей игрой, Рахманинов, одев белую перчатку, машинально пожимал руку своим бесконечным поклонникам.

Последняя моя встреча с ним была на спектакле оперы "Сорочинская Ярмарка". (Режиссура была М.А. Чехова, а декорации мои). Мне было радостно видеть довольного Сергея Васильевича. Во время спектакля я сидел позади его и он, обернувшись, сказал мне, указывая на мою малороссийскую деревню и пригорок с церковкой и тополями: "Вот бы дачку тут мне построить!".

"Дачку" вскоре он и устроил себе, хоть и на Американской земле, но, уже перед самым концом своей жизни

Сборник "Памяти Рахманинова"
New York, 1946

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАТЬИ

Printed in U.S.A., by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave., Clifton, N.J. 07011